ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ВЕСТНИК КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

31/1/
1929

AS262
.M58

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

По постановлению Комитета по стандартизации Совета Труда и Обороны, журнал, начиная с этого номера, выходит в стандартном формате Б5 176×250 мм.

Издательство Коммунистической академии

Москва. Главлит А 34.756. ИКА 461. Статформат Б5 176×250 мм. 3.000 экз.

«Мосполиграф», 16-я типография, Трехпрудный, 9.

By Transfer
Dept. of State
DEC 7 1940

ЛЕНИНСКИЙ КОНСПЕКТ «НАУКИ ЛОГИКИ» И ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДИАЛЕКТИКИ

И. Подволоцкий

Ленин, как революционный вождь и гениальный теоретик, не мог не придавать величайшего значения теоретическому мышлению. В ряде своих работ он доказывал, что марксистская философия — диалектический материализм — является *основой* марксизма. «Философской *основой* марксизма, — писал он, — как неоднократно заявляли Маркс и Энгельс, является диалектический материализм». Революционная тактика марксизма опирается на революционную теорию. Поэтому «политическая линия марксизма... неразрывно связана с его философскими основами». Отступления от марксизма в области теории, в области философии связаны живой реальной связью с политическими отступлениями от марксизма. «Вы не видите, г. Потресов, — пишет Ленин, — живой реальной связи между философским спором и марксистским течением? Позвольте же мне... почтительнейше указать вам на следующие хотя бы обстоятельства и соображения: 1) спор о том, что такое философский материализм, почему ошибочны, чем опасны и реакционны уклонения от него, *всегда* (курсив Ленина) связан «живой реальной связью» с «марксистским общественно-политическим течением» — иначе это последнее было бы не марксистским, не общественно-политическим и не течением. Отрицать «реальность» этой связи могут только ограниченные «реальные политики» реформизма или анархизма...» [1].

Ленин не только указывал на значение марксистской философии, но сам был мощным мыслителем-философом, поднявшим философию марксизма на более высокую ступень. Ленин с особенной силой выдвинул *методологическое* значение марксистской философии, поставил в центре внимания *материалистическую диалектику*.

Ленин показал руководящую роль материалистической диалектики не только в исследовании общественных явлений и в революционной практике (здесь он дал непревзойденные образцы применения диалектики), но и в области естествознания. В «Материализме и эмпириокритицизме» и других работах Ленин доказал, что основой кризиса современного естествознания является кризис его *методологических основ*, кризис метафизической методологии. Добытые естествознанием результаты противоречат традиционному метафизическому методу и все более настоятельно выдвигают необходимость разработки диалектики, необходимость синтеза их на основе

[1] Н. Ленин, «Собрание сочинений», т. XI, ч. 2-я, «Наши упразднители».

диалектической методологии. Поэтому выход из кризиса Ленин видел в марксистском философском обосновании естествознания, в синтезе диалектических по своему существу результатов современного естествознания на основе адэкватной им материалистически-диалектической методологии.

Поставив перед марксизмом в центре внимания разработку и развитие материалистической диалектики, Ленин дал ряд руководящих указаний в этом деле. Ленинское понимание материалистической диалектики, ее основных законов (особенно закона единства противоположностей) и их связей, как правильно замечает т. Деборин,— составляет *новую ступень* в развитии диалектического материализма.

Материалистическая диалектика, в своем историческом развитии, исходит из диалектики Гегеля, «снимая» последнюю. Она не просто отбросила гегелевскую философию, как в значительной части сделал это Фейербах, но, уничтожив ее идеалистическую форму, сохранила добытое ею содержание. Маркс и Энгельс «не довольствовались простым игнорированием Гегеля. Наоборот, они воспользовались... революционной стороной его философии, его диалектическим методом» [1]. «Гегелевскую диалектику, как самое всестороннее, богатое содержанием и глубокое учение о развитии, Маркс и Энгельс считали величайшим приобретением классической немецкой философии. Всякую иную формулировку принципа развития, эволюции они считали односторонней, бедной содержанием, уродующей и калечащей действительный ход развития (нередко со скачками, катастрофами, революцией) в природе и обществе [2].

Но для Гегеля диалектика была саморазвитием понятия и в этой идеалистической форме была неприемлема для Маркса и Энгельса. Поэтому они материалистически переработали диалектику Гегеля и, опираясь на Гегеля, создали материалистическую диалектику, являющуюся итогом всего предшествующего развития философии, конкретных научных знаний и революционной практики. Ленин, опираясь в разработке материалистической диалектики на теоретические работы Маркса и Энгельса, на опыт классовой борьбы и на результаты современного естествознания, в то же время увязывал разработку материалистической диалектики с материалистической переработкой гегелевской диалектики. В статье «О значении воинствующего материализма» и других работах Ленин со всей силой подчеркивал необходимость изучения и материалистической переработки гегелевской диалектики.

Необходимо,—писал Ленин,—«организовать систематическое изучение диалектики Гегеля с материалистической точки зрения, т. е. той диалектики, которую Маркс практически применял и в своем «Капитале» и в своих исторических и политических работах... Опираясь на то, как применял Маркс материалистически понятую диалектику Гегеля, мы можем и должны разрабатывать эту диалектику со всех сторон... Современные естествоиспытатели найдут (если сумеют искать и если мы научимся помогать им) в материалистически истолкованной диалектике Гегеля ряд ответов на те философские вопросы, которые ставятся революцией в естествознании

[1] Энгельс, «Людвиг Фейербах».
[2] Ленин, «К. Маркс».

и на которых «сбиваются» в реакцию интеллигентские поклонники буржуазной моды.

Без того, чтобы такую задачу себе поставить и систематически ее выполнять, материализм не может быть воинствующим материализмом. Он останется, употребляя щедринское выражение, не столько сражающимся, сколько сражаемым. Без этого крупные естествоиспытатели так же часто, как и до сих пор, будут беспомощны в своих философских выводах и обобщениях». Без изучения Гегеля невозможно понять метод Маркса.

«Нельзя,— пишет Ленин,— вполне понять «Капитала» Маркса и особенно его I главы, не проштудировав и не поняв *всей* Логики Гегеля. Следовательно, никто из марксистов не понял Маркса ½ века спустя!!»

Ленин упрекал даже Плеханова за недостаточное внимание к «Науке логики» Гегеля. «Плеханов — говорит Ленин — написал о философии (диалектике), вероятно, 1 000 страниц... Из них *ноль* большой логике, *по поводу* нее, *ее* мысли, т. е. *собственно* диалектика как философская наука nihil (ничего)!».

Ленин дал не только общие указания о разработке материалистической диалектики и материалистической переработке диалектики Гегеля. Он сам работал над материалистической переделкой гегелевской диалектики и считал, очевидно, эту задачу настолько важной, что в 1914 г., в начале империалистической войны, приступил к интенсивной работе над «Наукой логики» Гегеля. Результатом этой работы явился «Конспект «Науки логики» Гегеля».

Конспект «Науки логики» имеет богатейшее содержание. Ленин отмечает гегелевскую критику субъективного идеализма (проводимую Гегелем с точки зрения объективного идеализма и поэтому непоследовательно); критику кантианства, которой и Гегель и Ленин уделили большое внимание; критику скептицизма (причем Ленин замечает, что Гегель не только критикует, но и отмечает роль скептицизма в истории философии, указавшего «противоречие или антиномию во всех понятиях, которые он находил в науке»). Он приводит и комментирует критику Гегелем формальной логики и критику субъективизма. Особое внимание обращает на себя ленинское понимание единства логики и теории познания, включение практики в философию, понимание диалектического метода у Гегеля и в марксизме, понимание закона единства противоположностей.

«Конспект» Ленина идет здесь в том же направлении, что и «Диалектика природы» Энгельса и «Критика гегелевской философии права» Маркса. Замечательно, что три величайших теоретика марксизма в разработке материалистической диалектики обращаются к Гегелю, указывая тем самым путь исследования всем марксистам. Несмотря на то, что Ленин не был знаком с указанными трудами основоположников марксизма, наблюдается поразительное сходство основных мыслей и направления исследования. Но «Конспект» Ленина вместе с тем дополняет эти труды Маркса и Энгельса. «Конспект» — это единственная марксистская работа, в которой последовательно одна за другой комментируются в логической форме все основные категории диалектики. Поэтому основная задача работы над «Конспектом» (а эта работа может итти лишь параллельно с работой над «Наукой логики» Гегеля) — исследование категорий материалистической диалектики

в их связи. Проделать эту работу значит дать построение материалистической диалектики. Это работа многих лет и многих исследователей.

В рамках журнальной статьи, возникшей в результате первого знакомства с материалом, требующим длительной исследовательской работы, мы можем дать лишь попытку изложения некоторых положений Ленина о категориях Логики. Все заметки Ленина связаны с текстом «Науки логики», часто Ленин просто приводит цитаты из «Науки логики» без всяких замечаний. Поэтому нам придется не только брать заметки самого Ленина, но рассмотреть цитаты, обратившие его внимание, и прибегать к тексту «Науки логики» Гегеля.

I

В «Конспекте» Ленина имеется замечательное указание на то, как нужно критиковать предшествующие философские системы. «Плеханов — пишет Ленин—критикует кантианство (и агностицизм вообще) более с вульгарно-материалистической, чем с диалектически-материалистической точки зрения, поскольку он лишь a limine отвергает их рассуждения, а не исправляет (как Гегель исправлял Канта) эти рассуждения, углубляя, обобщая, расширяя их, показывая связь и переходы всех и всяких понятий» (197)[1]. И далее: «Марксисты критиковали (в начале 20 века) кантианцев и юмистов более по-фейербаховски (и по-бюхнеровски), чем по-гегелевски».

Ленин «по-гегелевски» подошел к критике гегелевской философии. Ведя борьбу с идеалистическим исходным пунктом философии Гегеля и с идеалистической формой гегелевской диалектики, давая местами чрезвычайно резкие характеристики (поповщина, мистика, чушь об абсолюте, ахинея, на $^{9}/_{10}$ сор и шелуха и т. д. и т. п.), Ленин в то же время не отвергал «с порога» всю гегелевскую философию.

Выдвинув *методологическое* значение философии, Ленин дал и *методологическую* критику Гегеля. Он проследил принципы его философии, раскрыл положительное содержание и внутренние противоречия гегелевской диалектики и показал, что все положительное содержание диалектики может быть последовательно развито только на материалистической основе.

Гегель поставил перед собою задачу всемирно-исторического значения: дать *новую* логику: *об'ективную, конкретную, содержательную*, отражающую в своих категориях *развитие*, короче говоря,—*диалектическую логику*. Поэтому Гегель дает критику формальной логики, формального понятия, противопоставляя суб'ективизму и формализму понятия и логики их об'ективность и конкретность; догматизму и метафизике—диалектику.

Именно с этой точки зрения Гегель дает критику предшествующих философских систем. Рационализм — говорит Гегель — признавал, что истинная сущность вещей обнаруживается в мышлении, в этом его преимущество перед эмпиризмом и критицизмом. Но в то же время, в познании сущности предметов, доступной в своей истине только разуму, пользовался категориями рассудка, категориями формальной логики. Рационалисты считали, что отвлеченные представления выражают истину, и вместо того, чтобы исследовать, как предмет определяет сам себя в развитии, извне приписывали ему обычные представления, ставили их одно возле другого. Поэтому они впадали в *догматизм*; противоположные определения брали они не в их единстве, а напротив, одно из противоположных определений считалось необходимо истинным, другое — необходимо ложным.

[1] Цифры в скобках обозначают номера страниц IX Ленинского сборника.

Эмпиризм, в противоположность отвлеченным теориям рассудка, с пренебрежением относящимся к действительности, положил в свое основание «чрезвычайно важное начало, что истинно только то, что находится в действительности и подлежит наблюдению» (Логика, 69). Но эмпиризм, как и рационализм, в определении своих предметов пользовался обычными представлениями. Стоя на догматической основе и признавая лишь об'ективность единичного, эмпиризм отвергал об'ективность всеобщего. Поэтому «в деятельности мышления он видел одно отвлечение, основывающееся на начале чисто формальной всеобщности и тождества» (Логика, 70). Но вместе с тем, поскольку эмпирики не отказывались от мышления, а мышление невозможно без применения понятий и категорий, эмпиризм — говорит Гегель — употребляет логические категории (единство, множество, всеобщность, бесконечность, причина и т. д.) и делает, руководствуясь ими, выводы из фактов, пользуется готовыми формами суждений и умозаключений и при этом не знает, что он сам содержит всеобщие определения, категории, которые он называет метафизикой и которые не об'яснены и не об'яснимы на ограниченной почве эмпиризма. Он пользуется этими категориями и понятиями без всякой критики, без исследования и поэтому очень часто содержит в себе наихудшую метафизику, Эмпиризм, последовательно отвергающий об'ективность всеобщего и признающий поэтому суб'ективизм и формальность *всех* понятий — приводит к отрицанию всяких об'ективных научных знаний, к скептицизму (Юм).

Кант исследует категории познания, но исследует со стороны их суб'ективного или об'ективного значения и не исследует их со стороны *содержания*, взаимной *связи*. При этом, называя всеобщность и необходимость об'ективным элементом, на деле он превращает их в *суб'ективные* априорные формы. Но историческая заслуга Канта заключается в доказательстве того, что рассудочные определения (которые по мнению рационалистов отражают сущность вещей) конечны и не могут дать познания вещей в себе, что мы *необходимо* впадаем в противоречие, как только пытаемся при помощи категорий рассудка познавать предметы разума. Тем самым Кант доказал недостаточность догматизма. Но доказав это, Кант не дает новой логики, категории которой отражали бы вещи в их истине, и не признает противоречие основным законом действительности. Напротив, он отказывается от познания вещей в себе, переносит противоречие в суб'ект и, ограничивая познание исследованием *явлений*, он оставляет в этом ограниченном кругу всю познавательную силу за формальными представлениями рассудка. Поэтому Гегель прав, что Кант выполняет отрицательную задачу: он дает лишь критику знания, но не дает инструмента для познания истины. Правда, в этих границах Кант пытается дать связь логических форм с содержанием. Но его логика была трансцендентальной и поэтому *суб'ективной*. Логические формы не являются для него формами об'ективного содержания, определяемыми этим содержанием. Наоборот, они являются априорными познавательными формами суб'екта, формирующими чувственное содержание в предметы опыта. Следовательно, логические формы

у Канта являются суб'ективными формами, основное определение которых— отвлеченная всеобщность, формальное тождество. «Вследствие того, мысль противоположна истине, т. е. конкретной всеобщности. Эта высшая ступень составляет разум и в ней неприменимы категории» (Логика, 110).

В противовес суб'ективному пониманию логических форм, Гегель доказывает, что понятия и категории мышления не являются только суб'ективными определениями, но что они являются также и об'ективными, существенными определениями самих вещей. «Если все эти категории, например единство, причина, действие и проч., созданы нашею мыслью, то из этого еще не следует, чтоб они принадлежали нам самим и не составляли в то же время определений, свойственных самим вещам» (Логика, 82). Равным образом и об'ективное содержание отражается в познающем суб'екте: «истинное содержание принадлежит как нашей мысли, так и самим предметам» (Логика, 82). Гегель не разрывает форму от содержания, не сводит определения суб'екта к суб'ективной бессодержательной форме, а об'ект— к бесформенному содержанию. Содержание и форма существуют и в об'екте и в нашем мышлении, при этом наше мышление отражает форму и содержание самого об'екта. Гегель постоянно подчеркивает, что в познании мы должны отдаться движению самого предмета, следить за тем, как он ставит свои определения, не внося суб'ективного произвола. «Гегель,— пишет Ленин,—действительно *доказал*, что логические формы и законы— не пустая оболочка, а *отражение* об'ективного мира. Вернее не доказал, а *гениально угадал*» (199).

Следовательно, Гегель отбрасывает существенный признак формально-логического «понятия» — его *суб'ективность*.

Показав об'ективность категорий, Гегель отвергает понимание бессодержательной формы. Форма, как правильно указывает на это тов. Деборин, составляет *существенную определенность* содержания, его структуру и в дальнейшей конкретизации — его *закон*. К форме — говорит Гегель—вообще относится все определенное. Форма неразрывна с содержанием. Нет бессодержательной формы, как нет и бесформенного содержания. Поэтому и категории, об'ективные, содержательные формы, не являются абстрактными всеобщностями. «Они определены и, следовательно, имеют свое собственное содержание» (Логика, 83).

На всем протяжении логики Гегель подчеркивает конкретность, содержательность категорий. Если категории формальной логики представляют собою бессодержательные тождественные всеобщности, то все определения диалектической логики, содержащие в себе противоречие, конкретны. В критике формальных категорий (абстрактного тождества, формального основания, формальной возможности и др.) Гегель показывает их пустоту. Переход от этих формальных категорий к реальным категориям всюду совершается через наполнение их содержанием. В начале логики Гегель, начиная с бытия и ничто, бессодержательных отвлечений, указывает, что эти категории не истинны сами по себе, что их истина есть становление. Становление есть единство противоположностей, и поэтому первая конкретная категория логики. «Возникновение есть первая наполненная мысль, следовательно первое понятие, в противоположность бытию и ничто, как пустым отвлечениям. Истинное понятие бытия есть возникновение» (Логика, 155).

Каждая последующая категория конкретнее предыдущих, ибо она включает в себя все их содержание. Для характеристики этого положения Ленин приводит следующий замечательный отрывок, который по его словам «очень недурно подводит своего рода итог тому, что такое диалектика» (295). ...«*Познание движется от содержания к содержанию*. Прежде всего это движение вперед определяет себя так, что оно начинается от простых определенностей и что следующие за ними становятся все *богаче и конкретнее*. Ибо *результат содержит в себе свое начало, и движение последнего обогатило его некоторою новою определенностью*. Общее составляет основу: вследствие того движение вперед не должно быть принимаемо за некоторое течение от некоторого другого к некоторому другому. Понятие в абсолютном методе сохраняется в своем инобытии, общее — в своем порознении, в суждении и реальности; *на каждой ступени дальнейшего определения воздвигается вся масса его предшествующего содержания и через свой диалектический ход вперед не только ничего не теряет и не оставляет позади себя, но несет с собою все приобретенное, и обогащает и сгущает себя в себе*» (295).

Понятие является самым конкретным определением. Оно является для Гегеля единством бытия и сущности и содержит в себе все определения этих сфер, в том числе форму и содержание. В противоположность формально-логическому представлению, содержание которого тем беднее, чем шире его об'ем, Гегель считает наиболее широкое по об'ему понятие и наиболее содержательным, ибо понятие есть «не только абстрактное всеобщее, но всеобщее такое, которое воплощает в себе богатство особенного, индивидуального, отдельного». («Прекрасная формула... Великолепно!» (53) — замечает Ленин).

Итак категории логики не являются суб'ективными бессодержательными формами. «Неверно,—замечает *Ленин*, комментируя Гегеля,—что мысленные формы только «средство», «полезность». Неверно также, что они — «внешние формы», «формы, кои суть лишь формы на содержании, а не само содержание» NB. И далее Ленин дает следующую характеристику логики Гегеля: «*Гегель же требует логики, в коей формы были бы содержательными формами, формами живого, реального содержания, связанными неразрывно с содержанием*» (39). Понятие есть «не отвлеченное неподвижное, а конкретное». Это, замечает Ленин, «характерно» для Гегеля и составляет «дух и суть диалектики» (53).

Развитие познания, развитие категорий идет от *абстрактного к конкретному*. Переход от одной категории к другой, от одного понятия к другому совершается через развитие противоречивого содержания и есть переход к более содержательному, более конкретному определению. «*Отрицательное есть в равной мере положительное*, противоречивое разлагается не в нуль, не в отвлеченное ничто, но существенно *в отрицание своего особого содержания*. Поскольку результат, отрицание есть определенное отрицание, оно обладает *содержанием*. Оно есть понятие новое, *высшее, более содержательное*, чем предшествующее ему... Этим путем должна вообще образоваться система понятий...» (Н. Л. 9—10).

Конкретные понятия и категории являются определениями истинной сущности предметов, т. е. *развития конкретного*. Поэтому метод познания «*есть не внешняя форма, но душа и понятие содержания*»... (307), «*метод есть сознание формы внутреннего самодвижения ее содержания*» (47), « *в нем*

совершает движение вперед содержание внутри себя, та диалектика, которую он имеет в себе» (47). Останавливаясь на этих положениях Гегеля, Ленин передает их в следующем виде: «*двигает вперед данную область явлений само содержание этой области, диалектика, которую оно (это содержание) имеет на нем самом*» (*т. е. диалектика его собственного движения)*» (49). Метод должен взять свои определения из движения самого предмета, поэтому познание должно следить за тем, как сам предмет ставит свои определения, не привнося ничего из внешней рефлексии. «... абсолютный метод (т. е. метод познания об'ективной истины) действует не как внешняя рефлексия, а берет определенное из самого предмета своего, так как этот метод сам есть его имманентный принцип и душа. Это есть то, чего Платон требовал от познания,—*рассматривать вещи в себе и для себя самих*, отчасти в их общности, отчасти же не уклоняться от них в сторону и не хвататься за побочные обстоятельства, примеры и сравнения, но *иметь единственно эти вещи перед собою и возводить в сознание то, что им имманентно*»... (273).

Методом самой философии также «может быть лишь *природа ее* (философии) *содержания, движущаяся* в научном познании, причем вместе с тем *собственная рефлексия содержания сама полагает и производит его определения*» (Н. Л., XXV). «Метод философии,—замечает *Ленин*,—должен быть ее собственный (*не* математики contra Спинозы, Вольфа и друг.)» (47).

Отмечая положительное содержание гегелевской диалектики, Ленин отмечал в то же время ее мистифицирующую сторону. Логику Гегеля — писал Ленин — нужно «очистить от Ideenmistik». Мистифицирующая сторона философии Гегеля состоит в том, что сущностью и субстанцией всей действительности является для Гегеля *понятие*. Развитие категорий есть самодвижение понятия. Давая замечательные характеристики, выражающие суть диалектики, Гегель остается на почве идеализма. Переход познания от содержания к содержанию для него есть вместе с тем лишь углубление в себя понятия. Самое содержательное есть вместе с тем и самое суб'ективное.

Переход от абстрактного к конкретному в мышлении является для Гегеля процессом создания самого конкретного из абстрактного, и в конечном счете, созданием конкретной действительности из движения понятия. «Абстрактные определения — говорит Маркс — ведут к воспроизведению конкретного путем мышления. Гегель поэтому поддается иллюзии, что реальное следует понимать как результат восходящего к внутреннему единству в себя углубляющегося и из себя развивающегося мышления, между тем восхождение от абстрактного к конкретному есть лишь способ, при помощи которого мышление усваивает себе конкретное, воспроизводит его духовно, как конкретное».

Гегель разгромил формально-логическое, суб'ективное понятие, но чтобы показать об'ективность и конкретность понятий, Гегель превращает самое действительность в отблеск *об'ективного* понятия. Вместо того, чтобы сделать понятие отражением реальных существенных связей материальной действительности, Гегель гипостазирует категории и формы человеческого мышления, отвлекает их от конкретного содержания, превращает их в самостоятельные об'ективные сущности, в определения *об'ективного* понятия, и делает их сущностью, субстанцией всей действительности.

Из правильного положения, что существенные связи вещей познаются не путем непосредственного знания, а через опосредование в мышлении и отражаются в понятиях, Гегель постулирует, что истинное содержание, субстанция и сущность всей действительности есть понятие. Об'ективное понятие Гегеля является лишь гипостазированным, поставленным вне человека человеческим мышлением, отсюда легко по попутному ветру вывести человеческое понятие из *об'ективного* понятия и показать об'ективную значимость суб'ективных понятий. Положение, что нет ничего в мысли чего не было бы сперва в чувстве—говорит Гегель,—является совершенно правильным, но оно правильно только потому, что в чувствах нет ничего, чего не было бы сперва в мысли, в об'ективном понятии. Тем самым снимается вопрос о том, как в понятии мы можем отразить об'ективные связи, как установить единство суб'екта и об'екта, ибо понятие отражает лишь понятие, устанавливается тождество между мышлением и об'ектом на почве об'ективного мышления.

Гегель изменяет и своей задаче дать конкретную содержательную логику. Категории, являющиеся лишь отражением всеобщих связей и законов материальной действительности, неразрывно связанных с конкретным чувственным содержанием, превращаются Гегелем в самостоятельные, об'ективно-существующие сущности, порождающие в своем развитии всю конкретность природы и истории. Ленин приводит как «*характерное*» для Гегеля следующее положение: «развитие всякой естественной и духовной жизни» покоится «*на натуре чистых сущностей, составляющих содержание логики*» (31), и особенно отмечает гегелевскую характеристику категорий логики как «*чистых сущностей*» (31).

Логика исследует эти сущности в их чистом виде, как чистые тени, как они суть сами по себе без всякой чувственной конкретности. Ленин приводит следующее положение, характеризующее логику Гегеля: «*система логики есть царство чистых теней*», *свободных от* «*всех чувственных конкретностей*» (53). «Логику следует поэтому понимать как систему чистого разума, как царство чистой мысли. *Это царство есть истина, как она без покрова есть сама в себе и для себя*» (Н. Л. I, 6). Для Маркса отдельная категория «не может существовать иначе, как абстрактное, одностороннее отношение уже данного конкретного и живого целого». Для Гегеля логические категории суть самостоятельные «чистые сущности», «чистые тени», истинное существование которых есть чисто-логическое существование без всякого конкретного, чувственного покрова. Они обладают своим собственным логическим движением и переходят друг в друга, образуя в целом жизнь и самодвижение об'ективного понятия. Поэтому наука логики должна быть построена без всяких предварительных рефлексий. Логика составляет «существенное содержание всех иных знаний» не потому, что она является высшим синтезом, итогом всех иных знаний, напротив: все конкретные знания являются выводом из абстрактных законов логики.

Все богатство конкретного содержания своей логики, все богатство категорий Гегель пытается вывести из саморазвития понятия, из логического развития чистых сущностей, чистых теней, лишенных всякой чувственной конкретности. Гегель хотел дать конкретную содержательную логику и в то же время сводил ее к совокупности чистых форм мысли, лишенных всякого конкретного чувственного содержания, т. е. лишенных всякого

содержания. Гегель хотел дать движение содержания, конкретизацию категорий. Но движение «чистых сущностей» — есть движение лишенных всякой чувственной конкретности абстрактных всеобщностей. Короче — Гегель пытался дать конкретную, содержательную логику на основе идеализма, т. е. на абстрактной основе. Противоречие между конкретным и абстрактным есть коренное противоречие гегелевской диалектики.

На пути идеалистического выведения через движение чистых сущностей нельзя вывести ни одной категории, ни одной содержательной формы, никакого конкретного содержания. Но мы уже показали, что Гегель ставил своей задачей дать конкретную содержательную логику, и мы действительно имеем в логике Гегеля почти все конкретные законы и формы развития, имеем богатейшее содержание. «Мистификация, которой диалектика подверглась в руках Гегеля, нисколько не мешает тому, что он впервые изобразил всеобъемлющим и сознательным образом ее всеобщие формы движения» (Маркс). «В произведениях Гегеля имеется обширная энциклопедия диалектики, хотя и развитая из совершенно ложной исходной точки» (Энгельс). Совершенно ясно, что это содержание Гегель не мог вывести из движений понятия, движения чистых теней.

На деле об'ективное понятие Гегеля, как мы уже отметили, есть гипостазированное, поставленное вне человека человеческое мышление. Если Гегель говорит, что история человеческого мышления вообще и история философии в частности есть лишь отражение в человеческом мышлении логического саморазвития абсолютного духа, то на деле ступени логического развития абсолютного духа являются лишь абстракциями логических категорий и форм человеческого мышления, раскрывающихся в истории мышления и истории философии. Поэтому в форме движения «чистых сущностей» Гегель изображает на деле движение (порядок возникновения, связи, переходов) категорий в истории человеческой мысли вообще и в истории философии в частности. Если Гегель считал, что «движение сознания «как развитие всякой естественной и духовной жизни» покоится на натуре чистых сущностей, составляющих содержание логики» — говорит Ленин, — то, чтобы показать истинное положение, нужно «перевернуть: логика и теория познания должны быть выведены из «развития» всей жизни природы и духа» (31). И далее: «видимо, Гегель берет свое саморазвитие понятий и категорий в связи со всей историей философии. Это дает еще *новую* сторону всей Логики» (79).

Порядок категорий отражает не самодвижение абсолютного духа, а порядок образования понятий, категорий в процессе познания человеком все более и более глубоких и существенных связей реальной действительности. Именно в этом рациональный смысл гегелевской диалектики. «Первое и простейшее образование понятий (суждений, заключений etc.), — пишет Ленин, — означает познание человека все более и более глубокой об'ективной связи мира. *Здесь надо искать истинного смысла, значения и роли гегелевской Логики*. Это NB» (197).

Наши понятия, категории и формы мысли являются отражением об'ективных законов материальной действительности. Диалектика понятий отражает в большей или меньшей мере диалектику бытия. Гипостазируя человеческое мышление, Гегель отражает в «самодвижении» об'ективного понятия диалектику материальной действительности. «*Гегель*, — пишет Ленин, — *гениально угадал в смене взаимозависимости всех понятий, в тождестве их противоположностей, в переходах одного понятия в другое, в вечной смене движения понятий именно такое отношение вещей, природы — именно угадал, не больше*» (229»).

Кроме того, Гегель, в отличие от Шеллинга и Платона, считал свое об'ективное понятие не абстрактным тождеством, противостоящим конкретному многообразию, а внутренне-противоречивым и *имманентным* природе и человеческой мысли. В движении природы и истории проявляется логическое развитие понятия. Отсюда, возможность для Гегеля брать конкретный материал действительности и изображать диалектику действительности как диалектику понятий, «обожествлять» ее — как пишет Ленин. «NB: *Гегель «только» обожествляет эту «логическую идею», закономерность, всеобщность*». Своеобразный фетишизм!

Содержание гегелевской логики, все богатство диалектических категорий не выведено и не могло быть выведено из логического движения чистых сущностей. Оно взято из природы. Мы отмечали, что переход и связь категорий обусловлены развитием их противоречивого содержании но это содержание, дающее конкретность категориям и обусл вливающее их связь и переходы, *включено* в логику из материальной действительности, а не является результатом саморазвития понятия. Своим различением «*предположения*» и «*положения*» категорий сам Гегель косвенно доказывает, что содержание логики заимствуется им из материальной действительности. Новые категории сначала «*предполагаются*», т. е. находятся в нашей мысли или действительности при помощи внешней рефлексии, и лишь потом они «*полагаются*» т. е. выводятся из логического развития предшествующих категорий. Фейербах прав, что Гегель, прежде чем выводить категории, уже имел их в своем мышлении.

Итак. Конкретное содержание, все основные категории логики Гегель не мог вывести на идеалистической основе. Идеализм был бессилен справиться с этой задачей. Поэтому Гегель берет содержание Логики из действительности. Под «мистической оболочкой» самодвижения абстрактных форм чистой мысли скрыты всеобщие законы развития материальной действительности. Отсюда противоречие между конкретным содержание гегелевской логики и абстрактной, идеалистической ее формой. Эту *двойственность* гегелевской диалектики, это противоречие между конкретным и абстрактным необходимо иметь в виду для понимания необходимости и возможности материалистической переработки гегелевской диалектики.

Если бы мы имели у Гегеля только формализм, идеалистическое самодвижение чистых форм (как иногда пытаются представить диалектику Гегеля) — материалистическая переработка диалектики Гегеля была бы невозможна. Впрочем тогда у Гегеля не было бы и диалектики. Поверить Гегелю, что у него имеется только самодвижение понятия, самодвижение чистых сущностей, рождающее все содержание его логики, — значит признать возможность построения диалектики на идеалистической основе.

Но также неверно было бы сказать, что идеалистический исходный пункт не влияет на форму логики, на движение конкретного содержания категорий. Тогда не нужна была бы материалистическая переработка логики Гегеля, тогда ее можно было бы взять как данную, сделав лишь терминологические исправления (поставив вместо

понятия—материальное движение и пр.). *Идеалистическая форма дает логике абстрактный характер, искусственность переходов, мистификацию всего движения содержания.* «Логику Гегеля нельзя применять в данном виде,—говорит Ленин,—нельзя *брать* как данное. Из нее *надо выбрать* логические (гносеологические) оттенки, очистив от Ideenmystik; это еще большая работа». Необходима материалистическая переработка гегелевской диалектики. Возможность этой переработки обусловлена тем, что Гегель включил в свою Логику громадное конкретное содержание. Монизм, об'ективная точка зрения, включение в логику конкретно-диалектического материала, взятого из действительности, приводят к тому, «что система Гегеля—перевернутый материализм» (299) [1]. *«Итог и резюме, последнее слово и суть логики Гегеля,*— пишет Ленин,— *есть диалектический метод — это крайне замечательно. И еще одно: в этом самом идеалистическом произведении Гегеля всего меньше идеализма, всего больше материализма. «Противоречиво», но факт!»* (301).

Ленин считал поэтому возможной материалистическую переработку Гегеля. «Я вообще стараюсь читать Гегеля материалистически: Гегель есть поставленный на голову материализм (по Энгельсу) — т. е. я выкидываю большей частью боженьку, абсолют, чистую идею etc» (59). Двойственность гегелевской диалектики, противоречивость в ней между абстрактным и конкретным, между идеализмом и конкретным диалектическим содержанием, взятым из действительности, прекрасно выразил Ленин, когда в одном и том же предложении увидел и идеалистическую ахинею и гениальное диалектическое содержание. Приведя положение Гегеля:

«Логика есть чистая наука, т. е. чистое
знание в *полном* об'еме своего *развития*»...

Ленин замечает: «1-я строка—ахинея, 2-я гениальна» (57).

Противоречие гегелевской диалектики показывает с одной стороны несостоятельность идеализма, невозможность идеалистического выведения конкретной логики; с другой стороны — наличие конкретного содержания, противоречащего идеалистическому, абстрактному способу выведения, делает необходимой и возможной материалистическую переработку гегелевской диалектики. Эта переработка должна итти путем вскрытия за абстрактными формами самодвижения понятия конкретных законов развития действительности, путем преодоления *идеализма* и обусловленной им *абстрактной формы диалектики*. Все категории гегелевской логики получают свое рациональное обоснование и движение только на основе материализма. Выход из противоречия гегелевской логики — в материалистической диалектике. Материалистическая диалектика является истиной гегелевской диалектики. Таким образом материалистическая диалектика генетически связана с диалектикой Гегеля; преодолевая эту философию, она дает более высокую точку зрения.

Материалистическая диалектика, преодолевая гегелевскую диалектику, вместе с тем уничтожает необходимость в философских системах, от-

[1] Развитие промышленности и конкретных знаний вело к тому—говорит Энгельс,—что «системы идеалистов неудержимо переполнялись материалистическим содержанием... В гегелевской системе дело дошло, наконец, до того, что она и по методу и по содержанию оказалась лишь перевернутым вверх дном материализмом» (Энгельс. «Людвиг Фейербах», 44).

рицает философию как систему. Уже Гегель—замечает Энгельс,—разработавши диалектический метод, указывает, хотя бессознательно, путь, «ведущий из лабиринта систем к действительному и положительному познанию мира». Но вместе с тем противоречие между идеализмом и диалектикой в самом методе Гегеля переносится на всю его систему, создавая противоречие между системой и методом. Диалектика отрицает всякие метафизические границы познания. Идеализм требовал системы. Гегель высоко ценил эмпирические науки, считал их необходимой ступенью к философии. Но эмпирические науки, по мнению Гегеля, исследуют лишь внешнее проявление абсолютной идеи. Это внешнее проявление отражает внутреннюю сущность вещей, их понятие и поэтому эмпирические науки могут познавать, внешне схватывать законы действительности. Но они не познают эти законы в их *необходимости* и *связи*. Необходимость и связь этих законов будут доказаны лишь в том случае, если будет показана необходимость их возникновения из логического развития понятия. Поэтому наряду с эмпирическими науками должны быть философские науки. Содержание последних не нуждается в опытном исследовании, оно является логическим развитием понятия. Поэтому оно есть абсолютное знание. Идеализм вел к необходимости создания системы философских наук.

Вместе с тем монизм, имманентность логических форм самой действительности позволяли Гегелю не только косвенно, но и прямо использовать содержание конкретных знаний и делать на их основе ценнейшие диалектические обобщения. Поэтому и здесь мы снова встречаем, наряду с идеалистическими искажениями, абстрактностью, схематизмом, метафизикой богатейшее положительное содержание.

Такой подход к исследованию, когда истинным считается только знание, выведенное из имманентного логического движения об'ективного понятия, противоречит диалектике, требующей конкретного исследования самодвижения *самих* предметов. Гегель как диалектик выдвигал принцип конкретного исследования внутреннего движения самого предмета, без привнесения суб'ективных представлений. «В философии,— писал он,— доказать значит показать, как предмет из себя и через самого себя становится тем, что он есть» (Логика, 140). Но, как идеалист, Гегель должен был вывести всю действительность, все предметы из имманентного развития понятия, подчинить всю действительность логическому ритму понятия [1]. Истинным об'ектом исследования становится не движение конкретного предмета, а логическое движение понятия. Познание является внешним предмету: истинным знанием становится не конкретное исследование конкретных законов данного предмета, а обнаружение в движении предмета абстрактных законов движения понятия, которым предмет должен подчиниться. «Интерес направлен только на то, чтобы в каждом элементе, будь то элемент государства, будь то элемент природы, снова найти «чистую

[1] «Семья и гражданское общество *сами себя* превращают в государство. Они являются движущим моментом. По Гегелю же, они *созданы* действительной идеей. Их об'единение в государстве не есть *результат их собственного развития*, а предопределено развитием идеи. Семья и гражданское общество суть сферы конечности этой идеи. *Их существование обусловлено не их собственным, а чужим духом.* Они суть определения, внесенные третьим моментом, а не *самоопределения*» (К. Маркс, «Критика философии права Гегеля». «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», кн. 3, стр. 146).

идею», «логическую идею», действительные же субъекты, как, например, здесь «политическое устройство», становятся простыми *названиями идеи*, и мы в результате имеем только видимость действительного познания. Эти субъекты суть и остаются непонятными, не постигнутыми в их специфической особенности, определениями». Гегель «развивает свою мысль не из предмета, а конструирует свой предмет по образцу завершившего, именно—в абстрактной сфере логики завершившего свой круг—мышления. Задача тут не в том, чтобы развить конкретную идею политического устройства, а в том, чтобы политическое устройство поставить в отношение к абстрактной идее, сделать первое моментом развития идеи,—что представляет собою явную мистификацию» (К. Маркс, «Критика философии права Гегеля», «Архив Маркса и Энгельса», книга 3, стр. 149—151). Конкретное сводится таким образом к абстрактному. «Конкретное содержание, действительное определение, — пишет Маркс, — выступает как формальный момент; совершенно абстрактное же определение формы выступает как конкретное содержание. Сущность определений государства состоит не в том, что они являются определениями государства, а в том, что они в своей наиболее абстрактной форме могут быть рассматриваемы как логико-метафизические определения. Центр тяжести интереса лежит не в сфере философии права, а в сфере логики. Философская работа Гегеля направлена не на то, чтобы наполнить абстрактное мышление конкретным содержанием политических определений, а на то, чтобы испарить содержание существующих политических определений и превратить их в абстрактные мысли. Не логика дела, а дело логики является философским моментом»[1].

Идеалистический исходный пункт определяет абстрактный характер диалектики и всей философии Гегеля.

Материалистическая диалектика последовательно проводит точку зрения *конкретного* исследования. Преодолевая идеализм, ставя на место логического развития понятия реальное материальное движение, диалектический материализм устраняет возможность существования специальной системы рациональных философских наук наряду с конкретными опытными науками. Конкретное научное знание, все более углубляющееся познание мира,—раскрывает действительные связи вещей. Сама философия есть лишь наиболее высокое научное обобщение, исследующее на основе всех достижений науки всеобщие связи и законы материального движения и логические категории, лежащие в основе всякого научного знания. Поэтому она в свою очередь является *методологией* всякого научного знания. Философия сводится к основам мировоззрения и к методологии всякого научного знания — к диалектическому материализму.

II

Если у Гегеля диалектика есть саморазвитие понятия, то материалистическая диалектика есть наука об общих законах движения во внешнем мире и в человеческой мысли. Исходным пунктом материалистической диалектики является признание материальности мира, т. е. материалистическое решение основного вопроса философии об отношении мышления к бы-

[1] К. Маркс. «Критика философии права Гегеля» «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса» кн. 3, стр. 153.

тию. Тем самым диалектика (как и всякая наука) имеет дело не с вневременным и внепространственным логическим развертыванием чистой мысли, а с материальным движением в пространстве и времени. Определения пространства и времени заключены во всех законах диалектики, как законах материального движения.

Категории логики, отражающие всеобщие законы материального движения, возникли из опыта. Вся метафизическая философия отвергает или объективность, или эмпирическое происхождение категорий, или то и другое вместе (для Канта, например, *всеобщность* и *необходимость* категорий *исключала* возможность их опытного происхождения). Она стоит поэтому перед неразрешимым для нее противоречием: процесс мышления предполагает логические категории, может совершаться только при их посредстве, с другой стороны сами понятия и категории мышления могут возникнуть лишь в процессе мышления.

Только материалистическая диалектика раскрывает объективную природу категорий — их всеобщность и необходимость, их опытное происхождение.

Люди в своей практике сталкиваются с миллионами и миллиардами явлений природы, познают многообразие их свойств, связей, законов. Все эти законы и связи конкретных предметов суть лишь проявление всеобщих законов движения, и всеобщие законы движения существуют только в конкретных формах. Всеобщее и особенное существуют и могут существовать только в единстве и это их единство проявляется во всех единичных предметах, явлениях. Таким образом, все, что дано человеку в практике и познании, содержит в себе всеобщие диалектические законы. Миллионы и миллиарды раз повторяющиеся во всем, с чем приходится встречаться человеку в своей практике, миллионы и миллиарды раз отражающиеся в различных конкретных формах в сознании,—диалектические законы, связи, ритм действительности становятся формами связи, фигурами умозаключений, категориями, ритмом движения представлений в человеческом мышлении. Повторяясь бесконечно, они начинают автоматически действовать в познании, принимают аксиоматический характер, становятся всеобщими, необходимыми логическими категориями, формами суждений, умозаключений, синтеза, анализа и т. п. «Для Гегеля,—пишет Ленин,—*действование*, практика есть *логическое «заключение»*, фигура логики. И это правда. Конечно, не в том смысле, что фигура логики инобытием своим имеет практику человека (=абсолютный идеализм), а vice versa, наоборот, *практика человека, миллиарды раз повторяясь, закрепляется в сознании человека фигурами логики. Фигуры эти имеют прочность предрассудка, аксиоматический характер именно (и только) в силу этого миллиардного повторения*» (267).

И еще о том же. Сопровождая замечанием NB «категории логики и человеческая практика», Ленин пишет: «Когда Гегель—иногда даже тщится и пыжится подвести целесообразную деятельность человека под категории логики, говоря, что эта деятельность есть «заключение», что субъект (человек) играет роль такого-то «члена» в логической «фигуре» заключения и т. п.—то это не только натяжка, не только игра. Тут есть очень глубокое содержание, чисто материалистическое. Надо перевернуть: *практическая деятельность человека миллиарды раз должна была приводить сознание*

человека к повторению разных логических фигур, дабы эти фигуры могли получить значение аксиом. Это Nota bene» (219). Поэтому категории и логические формы суждений и умозаключений суть отражение об'ективной диалектики. «*Самые обычные логические фигуры*—пишет Ленин—*суть школьно-рассматриваемые*, sit venia verbo, *самые обычные отношения вещей*» (195).

Таким образом, логические категории и формы мысли не привносятся извне конкретному знанию, не навязываются ему как заранее данные схемы и формы, а являются внутренним ритмом всего конкретного. Логические категории возникают вместе с конкретным знанием, в самом процессе познания. Их общий источник — практика. Вместе с тем логические категории и формы, как и все конкретное знание, отражают *об'ективные* отношения вещей. Они отражают *всеобщие* законы движения и этим обусловлена *их всеобщность* и *необходимость*. Конкретное содержание мысли всегда движется в логических формах именно потому, что в самой природе конкретные формы существуют всегда в единстве с всеобщими законами: «Природа *и* конкретна *и* абстрактна, *и* явление *и* суть, *и* мгновение *и* отношение» (249).

Логические формы и категории не являются случайными формами, выбор которых зависит от произвола суб'екта, не являются только полезными или экономными формами и пр. Формы мысли, проходящие через все наши представления, являются всеобщими и необходимыми формами познания, отражающими об'ективную закономерность. Категории логики даются нам самой природой об'ективного мира. «Тем менее можем мы считать, что формы мысли, протягивающиеся через все наши представления, будут ли они только теоретическими или же имеющими содержание, принадлежащее чувствам, стремлениям, воле,—служат нам, что мы владеем ими, а не наоборот, они нами» (Н. Л. XXX). Комментируя это положение Гегеля, *Ленин* пишет: «И о формах мысли нельзя сказать, что они нам служат, ибо они проходят «через все наши представления» (XXX), они суть «общее как таковое», *категории мышления не пособие человека, а выражение закономерности и природы человека* (37). «Логические формы и законы,—пишет Ленин,— не пустая оболочка, а отражение об'ективного мира» (199). «Законы логики,— продолжает Ленин,— суть отражения об'ективного в суб'ективном сознании человека».

Ленин, в полном согласии с Марксом и Энгельсом, понимал отражение действительности в сознании в гораздо более широком и глубоком смысле, чем обычно думают. Не только ощущения отражают об'ективность, но все движение мысли: понятия, категории, суждения, умозаключения, синтез, анализ, метод познания действительности, поскольку они истинны, являются отражением форм и законов движения об'екта.

Таким образом, категории диалектической логики не являются лишь абстрактными всеобщностями или суб'ективными абстракциями, как пытаются изобразить их некоторые «марксисты». Признание категорий и всех иных понятий лишь суб'ективными абстракциями ведет к отрицанию об'ективности научных знаний (пример Юма). Логические категории и формы составляют, так сказать, «естественную» форму человеческой мысли. И обратно, сами категории, употребляемые бессознательно, составляют здесь еще *«естественную* логику» мышления. «Деятельность мышления — пишет Гегель — происходит... бессознательно *(естественная логика)*» (Н. Л. XXXI). «Такое употребление категорий, которое в прежнее время называлось естественной логикой, бессознательно» (Н. Л. XXX). Человек бессознательно пользовался категориями, прежде чем он стал исследовать процесс познания и законы познания и создал науку логики. Здесь, как и во всем, вначале было дело. Человек, воздействуя на окружающий материальный мир, познавал его и в процессе познания все больше и больше усваивал законы и связи природы; всеобщие законы ее отразил в своих категориях. И лишь после того, как в результате этого единства суб'екта и об'екта (основным проявлением которого является практика) были достигнуты большие знания, были выработаны формы мысли, человек задался вопросом: а возможно ли вообще об'ективное знание, возможно ли вообще единство суб'екта и об'екта, возможны ли опытное происхождение и об'ективность категорий познания? Но прежде чем возникли эти вопросы, они были решены практикой человека и действительным процессом познания. Более того, сами эти вопросы были бы невозможны, если бы человек задолго до этого не разрешил их практически.

Таким образом нашему познанию *имманентно* присущи логические категории. Суждение, являющееся, так сказать, «клетчаткой» мышления, содержит в себе движение категорий. «Иван есть человек, Жучка есть собака и т. п.,—пишет Ленин,—(как гениально заметил Гегель) есть диалектика: *отдельное* есть *общее*».

Ленин отмечает положение Гегеля о «связи мышления с языком» (33). «Формы мысли ближайшим образом выражаются и отлагаются в языке». Поэтому всякому предложению, каково бы ни было его конкретное содержание, имманентно присущи определения мысли, логические категории. «В каждом предложении, хотя бы его содержание было совершенно чувственное, вмешаны категории, так например, в предложении: *этот* лист есть зеленый,—категории *бытия, единичности*» (Логика, 5). «В любом предложении — пишет Ленин — можно (и должно) как в «ячейке», «клеточке» вскрыть зачатки всех элементов диалектики, показав таким образом, что всему познанию человека вообще свойственна диалектика».

* * *

Развитие познания ведет к обогащению логических форм мышления. Научное мышление уже невозможно без таких категорий как сущность, закон, причинность, необходимость.

Об'ект познания *конкретен*,—содержит в своем единстве множество определений и связей. Конкретное, говорит Маркс, «является исходным пунктом действительности и следовательно также исходным пунктом наглядного созерцания и представления». В созерцании дано бесконечное многообразие видимости. Остановиться только на этом внешнем многообразии значит остановиться на его *описании*. Познание не останавливается на внешнем многообразии. Оно исследует его связи, всеобщие определения и познает внутренние существенные связи вещей. Истинное понимание предмета есть понимание во всей его конкретности, в единстве всех его многообразных связей и отношений. Но человеческая мысль не может познать все эти связи при первом же знакомстве с предметом, иначе была бы совершенно ненужна наука и не было бы *процесса познания*.

Раскрытие основных связей предмета есть продукт длинного исторического процесса познания. «Истина,—пишет Ленин,—лежит не в начале, а в конце, вернее в продолжении. Истина не есть начальное впечатление» (185).

В начале процесса познания наше мышление о конкретных предметах действительности еще чрезвычайно бедно определениями. Мышление констатирует вначале лишь наличное бытие чувственно данного конкретного. Углубляясь в предмет, сознание переходит от одних связей к познанию других более глубоких, существенных связей. Если внешнее многообразие отражается как созерцание и представление, то внутренние связи вещей фиксируются в *понятиях*. Понятия не являются субъективными абстракциями и не являются в отличие от представлений простым возведением непосредственно данного чувственного материала в форму всеобщности. Образование понятий (исходя из созерцаний и представлений) выражает собою переход от непосредственно данного многообразия к внутренним существенным связям, к сущности, моменту всеобщности в вещах. Понятия выражают эти существенные связи объективной действительности и поэтому являются весьма конкретными и содержательными определениями. И самое «образование абстрактных понятий и операции с ними,—пишет Ленин,—*уже включают* в себе представление, убеждение, *сознание* закономерности, объективной связи мира. Отрицать объективность понятий, объективность общего в отдельном и особом невозможно» (197).

Поэтому переход от созерцания и представления к понятиям не есть отход от действительности в сферу субъективных абстракций, а углубление наших знаний о предмете, познание его существенных связей, лежащих в основе внешних явлений и отношений. «Гегель,— пишет Ленин,— вполне прав *по существу* против Канта. *Мышление, восходя от конкретного к абстрактному, не отходит — если оно правильное* (NB) (а Кант, как и все философы, говорит о правильном мышлении) — *от истины, а подходит к ней. Абстракция материи, закона природы, абстракция стоимости и т. д.,— одним словом все научные* (правильные, серьезные, не вздорные) *абстракции отражают природу глубже, вернее, полнее*. От живого созерцания к абстрактному мышлению *и от него к практике* — таков диалектический путь познания *истины*, познания объективной реальности» (183). Понятия отражают более глубокие, более конкретные связи действительности, поэтому «*стоимость*,—пишет Ленин,—есть категория, которая лишена вещества чувственности, но она *истиннее*, чем закон спроса и предложения» [1] (187). Поэтому,—пишет Ленин, «уже самое простое *обобщение*, первое и простейшее образование *понятий* (суждений, заключений) означает познание человека все более и более глубокой *объективной* связи мира» (197).

Познание есть *процесс* перехода познания от одних связей действительности к другим, более глубоким и существенным. Углубление познания, раскрытие все новых и новых связей и законов движения предмета и познание всех внешних проявлений, исходя из этих внутренних связей и законов,— есть процесс все большей конкретизации нашего знания о предмете, воспроизведение предмета как конкретного в мышлении. Поэтому в мышлении конкретное «выступает как процесс соединения, как результат, но не как исходный пункт» (Маркс). Порядок перехода в процессе познания от одних связей к другим определяется характером этих связей, их взаимоотношением... «*Развитие (познания)... должно определяться природою вещей и самим содержанием*»... (59).

[1] Энгельс писал то же самое. «Абстрактное и конкретное. Общий закон изменения формы движения гораздо конкретнее, чем каждый отдельный «конкретный» пример этого» («Диалектика природы»).

Движение познания от одних связей к другим отражается в ряде понятий, законов. «Познание,—пишет Ленин,— есть отражение человеком природы. *Но это не простое, не непосредственное, не цельное отражение, а процесс ряда абстракций, формулирования, образования понятий, законов etc., каковые понятия, законы etc.* (мышление, наука=логическая идея)» *и охватывают условно, приблизительно универсальную закономерность вечно движущейся и развивающейся природы*... Человек не может охватить=отразить=отобразить природы *всей*, полностью, ее «непосредственной цельности», он может лишь *вечно* приближаться к этому, создавая абстракции, понятия, законы, научную картину мира и т. п. и т. д.» (203). Но процесс конкретного мышления, познания конкретных связей вещей — как мы уже отмечали — есть вместе с тем процесс образования логических форм и категорий. «*Форма отражения природы в познании человека*, — пишет Ленин,—*эта форма и есть понятия, законы, категории, etc.*» (203). *Поэтому углубление мышления, познание все новых форм конкретных связей действительности есть вместе с тем процесс образования новых логических форм и категорий, в которых мышление фиксирует эти всеобщие связи действительности* и при помощи которых познает конкретные формы этих всеобщих связей. «*Категории*, — пишет Ленин, — *суть ступеньки выделения, т. е. познания мира, узловые пункты в сети, помогающие познавать ее и овладевать ею*» (41). «*Моменты познания* (=«*идеи*») *человеком природы— вот что такое категории логики*» (231).

Образование новых логических форм категорий есть отражение развития познания, раскрытия им все новых и новых существенных связей действительности. Логические категории,—как правильно подчеркивает это А. М. Деборин в своем предисловии,—понимаются Лениным, как исторические *ступени* в процессе познания мира. Процесс познания идет от внешнего многообразия, данного в созерцании и представлении, к познанию связей вещей. Сперва познаются внешние связи, отражающиеся последовательно в *категориях качества, количества, меры*. «Непосредственное, чувственное сознание — говорит Гегель — в своем мышлении ограничивается преимущественно отвлеченными определениями качества и количества» (Логика, 143). Переход к познанию существенных связей ведет к образованию *категорий сущности*; здесь в свою очередь переход от познания одних существенных связей к другим, более глубоким и конкретным связям — обусловливает образование различных категорий: тождества, различия, противоположности, противоречия, основания, условий закона, необходимости, причинности и т. д. Ленин дает следующее понимание исторического следования категорий в процесс познания. «*Сначала* **мелькают** *впечатления, затем выделяется* **нечто,** *затем развиваются понятия* **качества** *(определения вещи или явления) и* **количества.** *Затем изучение и размышление направляют мысль к познанию тождества—различия—основы—сущности versus явления, причинности etc. Все эти моменты (шаги, ступени, процессы) познания направляются от субъекта к объекту, проверяясь*

практикой и приходя через эту проверку к истине (=абсолютной идее)» [1]. Этот путь проходит человеческое мышление в своей истории. Таков вообще путь научного познания и всякого научного исследования. Мышление, углубляясь в познание новых связей природы, не сразу вырабатывает новые категории. Оно нередко подходит к познанию новых связей действительности со старыми категориями. Получается противоречие между конкретным материалом познания и категориями. Это ведет к возникновению новых категорий. «Исследование природы, благодаря реальности, сохраняемой ее предметами, приводит к несбходимости прибегать в нем к категориям, которых уже нельзя долее игнорировать, хотя бы это приводило к величайшей непоследовательности относительно других категорий, которые *также* сохраняют значение» (Н. Л. XXVIII). Последующие категории выражают более глубокие связи вещей и поэтому выявляют недостаточность познания природы на предшествующих ступенях познания. *Ленин* указывает на следующий пример перехода познания к более глубоким связям и более истинным категориям, приведенный Гегелем: «Успехи образования вообще и в частности наук даже опытных и чувственных, поскольку они вообще движутся в обычных категориях (напр. целого и части, вещи и ее свойств и т. п.), выдвигают постепенно новые мысленные отношения или, по крайней мере, повышают их к большей общности, а потому вызывают к ним большее внимание. Если, напр., в физике получило преобладание мысленное определение *силы*, то в новое время главную роль играет категория *полярности* (которая, впрочем, очень à tors et à travers проникла всюду, даже в учение о свете) — определение такого различия, в котором различаемое *нераздельно* связано; огромную важность имеет то, что таким образом удаляются от формы отвлеченности, от такого тожества, через которое некоторая определенность, напр. сила, получает самостоятельность, и выдвигается и становится обычным представлением форма определения различия, остающегося в нераздельном тожестве с собою» (Н. Л. XXVIII).

Истинное свое определение категории имеют только в их единстве. Поэтому на первых ступенях познания, когда в сознании выступили только некоторые категории (и притом сначала выступают категории внешних связей или менее существенных связей), эти категории выступают односторонне. Поэтому вещи еще не познаются в их самодвижении и развитии. Отсюда возможность метафизического мышления. Энгельс обращал внимание на метафизический период в развитии мышления, обусловленный необходимостью аналитического рассмотрения вещей и исследования простейших форм движения (механика). Разумеется, и в этот период суждения и предложения являлись формой *диалектического* движения категорий. Но в более высоких синтезах, в научном познании господствовал метафизический метод.

Мы уже указывали, что логические формы и категории познания возникают бессознательно в самом процессе познания. Здесь логические формы и категории погружены в конкретное содержание и являются имманентным «жизненным пульсом» познания.

[1] Взято из предисловия тов. Деборина к IX Ленинскому сборнику.

Лишь после того, как образовались все основные формы мысли и категории логики и, двигаясь в этих логических формах, познание достигло значительных успехов — люди сделали об'ектом своего познания сам процесс познания и те логические формы и категории, при помощи которых они мыслят. Логические формы тем самым исследуются в чистом виде, выделяются от чувственного материала, представлений конкретных форм, в которых они только и могут существовать и жизненным пульсом которых они являются. Это предполагает уже высокую ступень человеческого сознания, большую способность абстракции. «Занятие «чистыми мыслями»,— комментирует Ленин,— предполагает «длинный путь, который должен быть пройден человеческим духом» (35). Ленин приводит далее положение Гегеля, что «*выделение форм мышления от того содержания, в котором они погружены*», «от материала представлений, желаний etc, выработка общего (Платон, Аристотель)—является «бесконечным прогрессом» (35). Этим кладется начало познания логических форм и категорий и тем самым — начало *научной логики* или *науки логики*. Научная логика изучает логические формы и категории, возникшие в историческом процессе познания, и их об'ективную основу — всеобщие законы движения.

Инстинктивное мышление, пользующееся бессознательно своими категориями, рассеивается в бесконечно разнообразном содержании. Напротив сознательное выделение категорий означает, что в сети бесконечно разнообразных явлений «*завязываются там и сям прочные узлы*», служащие опорными пунктами в научном познании.

Познание логических категорий есть также длительный процесс. Мышление с большим напряжением приближается к адэкватному познанию своих собственных законов. Формальная логика является примером неверного отражения законов мышления. Гегель правильно отмечает, что «перед пустотою просто формальных категорий инстинкт здравого разума чувствует себя в конце концов столь сильным, что он презрительно оставляет их познание на долю школьной логики и метафизики».

Исследование логических форм и категорий познания происходит в историческом ряде философских систем. Каждая философская система имеет в своей основе определенные принципы. Эти принципы все более обогащались и конкретизировались в истории философии. Каждая из великих философских систем не просто отвергала предшествующую, а возвышалась над нею, включая в себя как момент все ее положительное содержание. От разработки простейших принципов философия шаг за шагом возвышается до сознания *научной логики*.

Но «философов толкала вперед вовсе не одна только сила чистого мышления, как они это воображали. Напротив. В действительности их толкали вперед огромные, все более и более быстрые успехи естествознания и промышленности» (Энгельс). Развитие естествознания и общественных наук, развитие философии — вели к созданию *диалектической* логики, получившей систематическую разработку в философии Гегеля. Диалектика Гегеля в идеалистической форме движения чистых сущностей отразила историческое развитие категорий мышления в процессе познания и историческое отражение их в истории философии. Внутренние противоречия между системой и методом и противоречия в самом методе между абстрактным и конкретным могли быть разрешены только на основе материалистической

диалектики. Материалистическая диалектика является истинной *научной логикой*.

Диалектическая логика должна показать логические категории и формы мышления в их внутренней связи и переходах. «Диалектическая логика, в противоположность старой, чисто формальной логике, не довольствуется тем, чтобы перечислить и сопоставить без связи формы движения мышления, т. е. различные формы суждения и умозаключения. Она, наоборот, выводит эти формы одну из другой, устанавливает между ними отношения субординации, а не координации, она развивает высшие формы из низших»[1]. Комментируя Гегеля, Ленин замечает: «Категории надо *вывести* (а не произвольно или механически взять) (не «рассказывая», не «уверяя», а *доказывая*), исходя из простейших основных (бытие, ничто, становление) (не беря иных),—здесь в них в «этом зародыше все развитие» (43). «Главное для Гегеля,—пишет Ленин,—*наметить переходы*. С известной точки зрения, при известных условиях всеобщее есть отдельное, отдельное есть всеобщее. Не только (1) *связь*, и связь неразрывная, всех понятий и суждений, но (2) *переходы* одного в другое, и не только переходы, но и (3) *тождество противоположностей*,—вот что для Гегеля главное. Но это лишь «просвечивает» сквозь *туман* изложения архи «abstrus» (193—195).

И эта внутренняя связь и переходы логических категорий и форм, обусловленные различием связей в самой природе, уже даны в историческом процессе познания. Категории являлись историческими ступенями в процессе познания действительности. Они являются ступенями развития всякого научного познания, всякого конкретного научного анализа. Логика, еще в своей бессознательной форме, являлась ритмом и жизненным пульсом движения всякого познания. Связь ее категорий, их переход и последовательность определялись имманентным движением самого содержания познания. Поэтому и научная логика не должна брать для своего построения произвольных конструкций или заимствовать метод от какой-либо частной и подчиненной науки, например, математики. Она должна взять путь движения научного познания (необходимо обусловленный характером и соотношением связей в самой действительности). Методом построения логики может быть лишь «природа ее содержания, движущаяся в научном познании», т. е. связи и переходы категорий в науке логики должны отразить связи, переходы категорий в историческом развитии мышления. Лишь познав *необходимый* путь развития категорий в истории познания, обусловленный имманентным движением самого содержания познания, логика становится действительно-научной. «Наука о мышлении, как и всякая наука, есть историческая наука, наука об историческом развитии человеческого мышления» [2]. Ленин полностью разделяет эту точку зрения. Комментируя Гегеля, Ленин пишет: «Предмет логики выражен (у Гегеля) словами: «*Развитие мышления в его необходимости*» (43). «Сам себя конструирующий путь»—*путь* (тут гвоздь по-моему) действительного познания, познавания движения» (31). Приводя положение Гегеля, что методом построения логики «может быть лишь природа ее содержания, движущаяся в научном познании, причем вместе с тем собственная рефлексия

[1] Энгельс. «Диалектика природы», стр. 179.
[2] Там же, стр. 125.

содержания сама полагает и производит его определения».—Ленин снова подчеркивает: «*движение научного познания — вот суть*» (29).

Таким образом, связь и порядок категорий материалистической диалектики отражают собою исторический путь развития мышления, порядок образования логических форм и категорий в истории познания. Логическое отражает историческое. Ленин прекрасно выражает это в следующем положении: «*История мысли с точки зрения развития и применения общих понятий и категорий Логики — вот что нужно*» (195) [1].

Вместе с тем логика отражает не только порядок категорий, бессознательно возникающих в процессе познания, но и порядок сознательного исследования категорий в истории философии. Ленин отметил этот момент у Гегеля. «Видимо, Гегель берет свое саморазвитие понятий, категорий в связи со всей историей философии. Это дает еще *новую* сторону всей Логики».

Кант пытался исследовать категории и формы познания и установить границы познания без исследования исторического процесса развития мышления. Но эта попытка заранее была обречена на неудачу. Ибо логические категории являются *имманентными* формами самого содержания, они возникают и развиваются в движении конкретного познания. Поэтому познать логические формы и категории и их связь можно только путем исследования исторического процесса конкретного мышления. Категории, законы мышления — говорит Ленин — «нельзя понять вне процесса понимания (познания, конкретного изучения etc)». «*Чтобы понять, нужно эмпирически начать понимание, изучение, от эмпирии подниматься к общему*. Чтобы научиться плавать, надо лезть в воду» (245). «*Я*» *у Канта*—пишет Ленин,—*пустая форма (самовысасывание)* без конкретного анализа процесса познания». Это же относится и к границам познания. Нет метафизических границ познания. Границы познания историчны, определяются самым процессом познания на данном этапе. И само познание границы означает выход за границу. «Говорят, что разум имеет границы,—замечает Ленин и в ответ приводит цитату из Гегеля: «В этом заявлении дано отсутствие сознания того, что именно через определение нечто, как предела, уже совершается выход за этот предел» (71). Ленин соглашается с этим положением (сопровождает его замечанием: «очень хорошо!»).

[1] «Логический метод исследования—писал Энгельс—является поэтому единственно подходящим. Последний, однако, есть тот же исторический метод, только освобожденный от исторической формы и от нарушающих стройность изложения исторических случайностей. Логический ход мыслей должен начать с того, с чего начинает и история, и его дальнейшее развитие будет представлять собой не что иное, как отражение в абстрактной и теоретически последовательной форме исторического процесса, исправленное отражение, но исправленное соответственно законам, которым нас учит сама историческая действительность, ибо логический способ исследования дает возможность изучить всякий момент развития в его самой зрелой стадии, в его классической форме» («Под знаменем марксизма», 1923 г. № 2—3, стр. 55). Это положение Энгельса относится к конкретной науке, но оно полностью может быть применено к диалектике в том отношении, что она является *логическим* воспроизведением исторического следования категорий в развитии познания. Вместе с тем здесь необходимо отметить и разницу между конкретными науками и логикой. В конкретных науках движение категорий от абстрактного к конкретному может отражать историческое развитие законов самого предмета исследования. Законы же, изучаемые диалектикой, как всеобщие законы всякого движения, всегда существуют лишь в их единстве. Но об этом далее.

Выступая против гносеологической метафизики, Ленин выдвигает единство диалектики и теории познания. Диалектика исторически подходит к познанию и тем устраняет метафизические границы познания. В своих категориях она отражает ступени развития познания, углубления познания действительности. Диалектика включает в себя теорию познания. Этот вопрос будет развит нами при рассмотрении ленинского конспекта третьей книги «Наука логики» — учения о понятии.

Историческое движение познания, порядок образования и связь категорий в нем определяются соотношением законов и в самой материальной действительности. Поэтому связь, переходы, субординация категорий логики обоснована не только историей развития мышления, но и субординацией диалектических законов, связей в действительности. Группировка логических категорий и форм мысли, говорит Энгельс, «обоснована не только законами мышления, но и законами природы» [1].

Развивая эту же точку зрения, Ленин пишет: «Отношения (=переходы=противоречия) понятий=главное содержание логики, *причем* эти понятия (и их отношения, переходы, противоречия) показаны, как отражения об'ективного мира. Диалектика *вещей* создает диалектику *идей*, а не наоборот» (229). Как понять это положение, что отношения, переходы категорий логики суть «отражение об'ективного мира», обоснованы законами природы?

Диалектические законы суть наиболее общие законы *всякого* движения. С развитием высших форм движения эти законы усложняются, модифицируются; развиваются новые связи и отношения. Но во всех формах движения все диалектические законы неразрывно связаны друг с другом в единстве движения и не могут существовать самостоятельно и вне его. Всякий предмет содержит все диалектические законы в их единстве и притом в конкретной форме. Поэтому было бы неправильно трактовать диалектическую связь и переходы категорий материалистической диалектики в таком виде, что будто бы порядок категорий логики, их переход друг в друга отражают исторический порядок следования законов диалектики друг за другом во времени (примерно в таком виде: первоначальная недифференцировавшаяся материя — это бытие; диференцируясь, в нем выделяются качества, которые определяются количественно, и т. д.). Это было бы ухудшенным изданием Гегеля. Гегель представляет категории как чистые сущности, в силу логического развития порождающие друг друга. Указанная трактовка законов материалистической диалектики также представляла бы их как самостоятельные сущности, порождающие друг друга во времени. Тов. Варьяш присоединяется, например, к гегелевскому положению, что «качество *первично*» [2] по отношению к количеству. Этим мистифицируется реальное движение. В реальном материальном движении, будь это движение еще недиференцировавшейся материи, качество, количество, сущности, единство противоположностей и все другие категории находятся в единстве и только единство этих моментов и составляет движение. Диалектические законы в действительности не могут существовать вне их единства и вне конкретных форм. Абстрагировать отдельную категорию, взять ее вне единства можно только в мышлении; такая абстрактная категория не является, конечно, только

[1] Энгельс. «Диалектика природы», стр. 181.
[2] Сборник механистов «Диалектика в природе», № 2, стр. 88.

суб'ективной, но она будет односторонним отражением действительности. «В своей отвлеченной форме, в коей оно проявляется в анализе, — говорит Гегель, логическое, конечно, дано лишь в познании, равно как наоборот, оно есть не только нечто положенное, но и нечто сущее в себе» (Гегель). Отдельные категории, взятые вне их связи с другими категориями, вне единства, становятся *формальными* определениями. Основной недостаток формальной логики в том и заключается, что она берет категории 1) как суб'ективные бессодержательные формы, 2) как самостоятельные определения, а не как моменты. Напротив, диалектическая логика показывает, что любая категория «не может существовать иначе, как абстрактное, одностороннее отношение уже данного конкретного и живого целого» (Маркс). Поэтому диалектика рассматривает категории не как самостоятельные сущности, а как моменты отношений и связей.

Но если нужно признать неправильным такое якобы «материалистическое» об'яснение порядка категорий логики, которое считает этот порядок отображением об'ективного исторического следования законов движения друг за другом во времени, то это вовсе не значит, что тем самым устраняется материалистическое об'яснение порядка категорий диалектики. Существование и единство всех диалектических связей законов не устраняет *различия, многообразия диалектических связей и субординации этих связей в предмете*. Напротив. Именно потому, что законы диалектики *всегда* существуют *в единстве* и *необходимой связи*, как *моменты целого*, что каждый закон существует лишь в той связи, которая необходимо ведет к другим законам,—мы имеем *субординацию* диалектических законов в самой действительности. «Отдельное не существует иначе, как в той связи, которая ведет к общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное... превращение отдельного в общее, случайного в необходимое, переходы, переливы, взаимная связь противоположностей» (Ленин). Законы движения не представляют из себя самостоятельных сущностей, не порождают друг друга во времени, но каждый из них содержит отношение к другому, *ведет к другому в связях целого*. Поэтому категории логики, отражающие эти законы, также необходимо связаны и необходимо ведут одна к другой. «*Каждое понятие* — пишет Ленин— *находится в известном отношении, в известной связи со всеми остальными*». «Всесторонняя, универсальная гибкость понятий, гибкость, доходящая до тождества противоположностей — вот в чем суть. Эта гибкость, примененная суб'ективно,= эклектике и софистике. Гибкость, примененная об'ективно, т. е. отражающая всесторонность материального процесса и единство его, есть диалектика, есть правильное отражение развития мира» (71).

Различие форм связи, субординация диалектических законов в предмете обусловливает процесс человеческого познания, порядок образования категорий в историческом процессе познания, порядок *сознательного* исследования категорий в истории философии и субординацию их в логике.

Например: категории «бытия» отражают внешние связи (категории непосредственности). Но содержание этих связей неразрывно связано и обусловлено внутренними существенными связями, поэтому и в логике (как и в историческом ходе познания) они ведут к категориям сущности. Именно потому, что эти связи неразрывны и вместе с тем субординированы в самом об'екте — в логике (как и в истории познания) одни категории связаны

с другими. «Понятие (познание)—пишет Ленин—в бытии (в непосредственных явлениях) открывает сущность (закон причины, тождество, различие), таков действительно *общий ход* всего человеческого познания (всей науки) вообще. Таков ход и *естествознания, и истории, и политической экономии*. Диалектика Гегеля есть, постольку, обобщение истории мысли. Чрезвычайно благодарной кажется задача проследить ее конкретнее, подробнее на *истории отдельных наук*. В логике история мысли *должна* в общем и целом совпадать с законами мышления» [1].

Отражение исторического процесса познания в *логической* связи категорий означает, *во-первых*, что категории, выступавшие исторически во времени и поэтому односторонне: предыдущие — без связи с последующими, выступают здесь в единстве и всеобщей взаимной связи, *во-вторых*, берется основная связь категорий, освобожденная от всяких исторических случайностей, всеобщие связи действительности берутся в их чистом виде. Поэтому в категориях диалектической логики мы имеем более верное отражение содержания и связи диалектических законов, чем в историческом развертывании категорий.

Итак, Диалектическая логика должна отразить процесс движения категорий в истории развития мышления, обоснованный соотношением связей в самой реальной действительности. Поэтому диалектика отражает в то же время всеобщие законы движения, и субординация категорий и форм логики должна соответствовать субординации диалектических законов в самой действительности.

Поэтому «*Логика есть учение не о внешних формах мышления, а о законах развития «всех материальных, природных и духовных вещей, т. е. развития всего конкретного содержания мира и познания его, т. е. итог, сумма, вывод* **истории** *познания мира*» (41).

Материалистическая диалектика,—говорит Ленин,—представляет поэтому «итог опыта наук» и «существенное содержание всех иных знаний» (53).

Вместе с тем, отражая в развитии своих категорий имманентный путь всякого познания и обусловливающую его субординацию диалектических законов в самой действительности, показывая тем самым единство диалектических законов мышления и бытия — диалектика является *методологией* всякого научного знания.

* * *

Итак. Конкретное «является исходным пунктом в действительности и, следовательно, также исходным пунктом наглядного созерцания и представления» (Маркс). Но научная логика, как и отражаемый ею процесс движения категорий в истории познания, не может начинаться с самых конкретных категорий, как категорий действительности. В мышлении конкретное выступает как результат, но не как исходный пункт. Если бы знание конкретного было исходным пунктом, тогда не нужна была бы наука. Познание начинается с простейших определений, прежде всего с признания реальности, бытия своего предмета. Философское решение вопроса об об'ективности, материальности мира составляет предпосылку и исходный пункт материалистической диалектики. Материальное движение является предметом всякой науки, в том числе и диалектики. В непрерывном движении выделяется *определенность, устойчивость, — качество*; качество существует неразрывно с *количеством*; исследование качества ведет к его количественной определенности. Качество и количество взаимны—*в мере* исследуется их связь и соотношение. Но эти категории дают *описание* непосредственных связей вещей. Мышление приходит к об'яснению их, к *опосредованному познанию* внутренних *существенных связей* вещей: сущность предмета состоит в *противоречивости*, все существенные связи выявляются как *единство противоположностей*. Единство противоположностей является *основой* самодвижения. Раскрытие существенных связей идет далее в ряде определений: *основание, закон, необходимость, причинность* и т. п. Во «*взаимодействии*» предмет выступает как конкретное единство всех связей и опосредований. Но это конкретное уже не есть простое хаотическое содержание внешнего многообразия, но мысленно воспроизведенное конкретное во всем богатстве его определений. Общий ход категории: *от абстрактного к конкретному*. Каждая последующая категория (как ступень развития познания) включает все богатство предшествующих определений и конкретизирует его далее.

Понятие предмета отражает его существенные связи. Поэтому конкретное понятие предмета во всем богатстве его определений может быть составлено лишь в результате исследования его существенных связей. Поэтому неправильно было бы давать понятие в начале логики (как это сделал тов. Варьяш) или сразу же после первых категорий логики. Понятие превратилось бы тогда в формально-логическое понятие. Конкретное содержательное понятие может быть дано лишь в результате раскрытия всех существенных реальных связей, т. е. теория понятия может быть дана лишь после взаимодействия [1].

III

Все категории логики Гегеля суть *определения абсолютного*. Во всем богатстве своих определений абсолютная идея выступает в конце логики. Но вместе с тем она витает с самого начала на всем протяжении логики как суб'ект всех категорий. В конце же мы имеем раскрытие того, что было в начале. В философии понятие делает само понятие своим предметом. Началом логики, не требующим никаких предварительных рефлексий, является, по мысли Гегеля, чистое *бытие* понятия, без всяких дальнейших определений. Но это чистое бытие тем самым равно *ничто*. Эти определения бытия и ничто существуют лишь в их *переходе* и дают категории *становления* и наличного бытия (Daseyn).

Но, *во-первых*, абстрактное бытие не есть непосредственное: оно в действительности абстрагировано Гегелем от реального материального

[1] «Ленинский сборник». IX. Предисловие т. Деборина.

[1] «Так называемые *логические* формы суждения и заключения, пишет Фейербах, не являются *активными* мыслительными формами, или ut ita dicam, *причинными* условиями разума. Они *предполагают* метафизические понятия всеобщности, особенности, частности, целого и части, в качестве Regula de omni, предполагают понятия необходимости, основания и следствия; они мыслимы только посредством этих понятий. Следовательно, они являются производными, выведенными, а не первоначальными мыслительными формами. Только метафизические отношения суть логические отношения, только метафизика, как наука о категориях, является истинной *эзотерической* логикой. Такова глубокая мысль Гегеля».

бытия, которое и является *непосредственным* об'ектом всякого познания; *во-вторых*, из абстракций бытия и ничто нельзя вывести никакого становления, никакого наличного бытия. В действительности нет и не может быть становления, возникновения чего-нибудь из чистого ничто. В действительности всякое возникновение есть переход от одной формы субстанции к другой ее форме. В диалектической связи, т. е. в развитии, каждая последующая форма подготовляется предшествующей; между ними не может быть абсолютного разрыва. Еще Спиноза заметил, что «вещи, не имеющие между собою ничего общего, не могут быть причиной одна другой». Стремясь опровергнуть материализм, Гегель выдвигает принцип возникновения из ничто. Но тем самым Гегель изменяет диалектике, ибо становление выступает у него как абсолютный разрыв. Поэтому Ленин отвергает этот принцип, замечая, что не может быть перехода от ничто, но «от чего-нибудь *всегда*» (113). Мы следовательно не можем принять ни чистое бытие, ни чистое ничто, ни возникновение из чистого ничто, ибо это идеалистические и вместе с тем метафизические определения.

Правда, Гегель в дальнейшем вносит рациональное содержание в понятие бытия и ничто. Он рассматривает их как моменты становления, считая становление *первым* конкретным определением, первым понятием логики. Вместе с тем ничто становится уже не абстрактным ничто, а ничто какого-либо конкретного нечто и является выражением того, что всякое бытие содержит в себе самом свое отрицание, свое небытие, т. е. переход в другое. Ленин приводит положения Гегеля, в своей рациональной форме имеющие большое методологическое значение. «Было бы нетрудно обнаружить это единство бытия и ничто... на *каждом* случае действительности или мысли... нет ничего, что не содержало бы в себе того и другого, бытия и ничто» (63—65) «Нет ничего, что не было бы средним состоянием между бытием и ничто» — например «бесконечно-малые величины, кои берутся в процессе исчезновения» (65). Уже «*начало*»,—отмечает Ленин,—содержит в себе противоположные определения: бытия и небытия (59). В этом своем содержании этот принцип имеет важнейшее значение и является первым выражением самодвижения и единства противоположностей.

Материалистическая диалектика имеет своей основой материалистическое решение вопроса об отношении духа к природе. Не понятие творит действительность, как думал Гегель, а само понятие есть лишь отражение материальной действительности. Материя является об'ектом всякого познания и следовательно об'ектом диалектики. Признание об'ективной реальности, признание материального бытия, является предпосылкой всякого научного знания и исходным пунктом диалектики. *Непосредственным* для познания является не чистое бытие, а конкретное бытие, материальный мир. Без наличия этой *непосредственности* никакое мышление невозможно. Об'ект познания «остается все время вне головы, существуя как нечто самостоятельное», он должен «постоянно витать в нашем представлении, как предпосылка» (Маркс).

Формой существования материи является движение; единая субстанция выступает во многообразии форм. Все определения мысли, все категории логики суть лишь отражение законов материального движения. Если для Гегеля категории логики суть определения абсолютного духа, то для нас они являются отражением законов материального движения.

Первым определением мысли, наиболее бедным содержанием, является определение материального *бытия*, признание *реальности* данной в созерцании чувственной конкретности. Данная в созерцании конкретность многообразна, но она еще не раскрыта в познании. В мысли в начале открывается лишь одно ее определение: *бытие* данной в созерцании конкретности. Признание *реальности, бытия* предмета исследования составляет безусловную предпосылку познания.

В созерцании реальность выступает как поток изменений: «сначала мелькают *впечатления*» писал Ленин. Но движение и изменение всегда происходит в *определенных* формах, поэтому познание выделяет из потока изменений «*нечто*» как *определенность*, относительную *устойчивость*. Материя существует только как *определенная* материя, как наличное бытие, существование (Daseyn). «Возникновение,—говорит Гегель,—есть непрерывное движение в себе, но оно не может сохранить этой отвлеченной подвижности» (Л. 158). Оно совершается в форме какой-нибудь *определенности*. «*Наличное существование* есть бытие с какой-нибудь определенностью и притом с непосредственною или нераздельною от бытия (сущего) определенностью, составляющего *качество*». «Существование—пишет Ленин—есть *определенное* (NB) «конкретное» бытие — качество, отдельное от другого,— *изменчивое* и *конечное*» (65).

Таким образом материальное движение происходит в *определенных*, относительно *устойчивых* формах. «Определенность,—приводит Ленин положение Гегеля,—изолированная так для себя, как сущая определенность, есть качество» (67). «*Определение есть уже качество*»—пишет Ленин (61). Качество есть об'ективная определенность, нераздельная с бытием. Лишаясь своей качественной определенности, нечто перестает быть тем, что оно есть. Научное познание невозможно без выделения *определенного* предмета исследования, без познания его *определенности*, его *качества*. Установление связей или даже простой классификации предметов возможно только тогда, когда фиксирована *определенность* реальности.

Без качества, как тождественной с бытием определенности, относительной устойчивости, не может быть развития. «Без относительного покоя нет развития» (Энгельс). Развитие есть переход данных качеств в их противоположность на основе внутреннего движения, внутренней определенности данных качеств. Развитие есть развитие конкретного, качественно определенной материи. Отрицание качеств, определенностей, конкретности означает отрицание развития.

Положение «все течет» — правильное, но недостаточное определение. Здесь выступает лишь момент постоянного отрицания, но нет никакой *определенности* и *устойчивости*. Определенность выступает как отрицание этого абстрактного отрицания — как *утверждение*. Это утверждение и определенность и есть *нечто*, об'ект изменений, относительная устойчивость, без которой движение невозможно. Ленин приводит положение Гегеля, что «Нечто есть первое отрицание отрицания» (67) как простое сущее отношение к себе [1].

[1] Поэтому Плеханов считал неверным известное положение Кратила. «О Кратиле, одном из учеников Платона, рассказывали, что он не соглашался даже с Гераклитом, говорившим: «мы не можем спуститься два раза по одной и той же реке». Кратил утверждал, что мы не можем сделать это даже и один раз: пока мы спускаемся, река изменяется,

Качество, как определенность нечто, *выделяет* его из среды других. «Через свое качество нечто противополагается другому». Нечто постоянно утверждает свою *определенность*, свое существование, только противопоставляя себя другим нечто, ограничиваясь ими и в то же время ограничивая их. Уже здесь, в простейших определениях, преодолевается кантовское понимание вещи в себе. Бытие в себе невозможно без бытия для другого, каждое качество находится во многообразии связей со всеми другими качествами. «Вещь в себе *вообще* есть пустая, безжизненная абстракция,—пишет Ленин.—В жизни, в движении все и вся *бывает* как «в себе», так и «для других», в отношении к другому, превращаясь из одного состояния в другое» (67). Ленин приводит следующее положение Гегеля: «Определенное, конечное бытие есть такое, которое относится к чему-либо другому; это есть содержание, которое находится в отношении необходимости к другому содержанию, ко всему миру. В отношении к взаимноопределяющейся связи целого метафизика в праве сделать утверждение—в сущности тожесловное,—что, если будет разрушена одна пылинка, то разрушится вся вселенная» (63). Тем самым уже здесь,—говорит Ленин,—устанавливается «*необходимая связь всего мира*» ...«*взаимоопределяющая связь всего*» (Ленин, 63). Поэтому качество есть *об'ективная определенность* вещи, нераздельная с ее бытием, через которую она своеобразно относится ко всем другим качествам и сохраняется в этом отношении. Качество поэтому обнаруживает себя во внешнем отношении, отражает свою своеобразную природу в действии на другие вещи. Качество, обнаруживающееся во внешнем отношении, есть *свойство*. «Качество (Qualität) есть *свойство* (Eigenschaft) прежде всего и преимущественно в том смысле, поскольку оно обнаруживает себя *во внешнем отношении*, как *имманентное определение*». Через свойства вещи своеобразно *сохраняют себя* в отношении к другому, не допускают в себя чужих положенных в нем влияний, но сами *заявляют* свои собственные определения в другом, хотя бы они и не отстраняли их от себя. Более покоящиеся определения, как, напр., фигуру, внешний вид, не называют, напротив, свойствами, ни даже качествами, поскольку они представляются изменчивыми, не тождественными с бытием» (Н. Л. 54).

Для Ленина, как и для Гегеля, *качество об'ективно*, оно есть нераздельная с бытием *определенность*. Материя всегда может существовать лишь в определенных формах и каждая форма материи есть *об'ективная определенность*, своеобразно относящаяся ко всему остальному. Все формы материи, начиная с самых «простых», заключают в себе многообразие определений и отношений. Электрон — писал Ленин — неисчерпаем, бесконечен по многообразию своих определений, свойств. Не может быть бескачественной, лишенной определений реальности. Бесформенная, бескачественная материя, материя, как таковая, была бы чистейшим ничто. Именно потому, что предметы качественно определенны, они активны и взаимодействуют. Качественно определенный предмет сохраняет себя в отношении к другому

становится другой. В таких суждениях элемент наличного бытия как бы отменяется элементом становления. Это—злоупотребление диалектикой, а не правильное применение диалектического метода. Гегель замечает: «Das Etwas ist die erste Negation der Negation (нечто есть первое отрицание отрицания)».

и воздействует на все другие предметы согласно своей внутренней природе, выявляя свое качество в свойствах [1].

Через свое отношение к другому нечто ограничивается. Но граница не есть внешнее определение, она есть имманентное определение его качества. Нечто определено в своих границах, но вместе с тем «через определение нечто, как предела, уже совершается выход за предел» (71). Граница есть одновременно и определенность качества, и его отрицание, отношение к другому. «Определенность есть отрицание (Спиноза). Omnis determinatio est negatio—это выражение имеет безмерную важность» (67). Следовательно в своей собственной определенности нечто содержит отношение к другому. Поэтому качество не является лишь просто положительным, не остается неподвижным. Через свое отношение к другому нечто выступает как изменчивое *состояние*, но это изменение не определяется только извне, не является изменением только по его бытию—для другого, но изменение есть в то же время *определение* самого качества. Качество в самом себе изменчиво, оно есть реальность и отрицание, но, различаясь и изменяясь, качество содержит эти изменения в своей определенности, изменения происходят внутри его. Изменение нечто есть проявление его внутренней природы. Живое — говорит Гегель—умирает по той простой причине, что оно, как живое, в самом себе носит зерно смерти. «Через свое качество *нечто* противополагается *другому*, есть изменчивое и конечное, совершенно отрицательно определенное не только в противоположность к другому, но и в нем самом» (Н. Л. 49).

Всякое качество не равнодушно к другому, но содержит его как свой собственный момент, поэтому оно изменяется в себе самом, имеет свою имманентную *границу* и выходит за эту границу, переходя в другое. Поэтому нечто — есть *изменчивое* и *конечное*. «Нечто, взятое с точки зрения его имманентной границы,—с точки зрения его противоречия с самим собой, каковое противоречие толкает его (это нечто) и выводит его дальше своих пределов, есть *конечное*» (69). «Когда о вещах говорят, что они — конечны, то этим признают, что их небытие есть их натура, «небытие есть их бытие» (69). И далее Ленин приводит положение Гегеля: «Они (вещи) суть, но истина этого бытия есть их конец» (69). Они содержат в себе зародыш перехождения, развертывание их жизни есть вместе с тем подготовление их смерти.

Следовательно уже в качестве выступает самодвижение и противоречие (в изменении — пишет Гегель — обнаруживается внутреннее противоречие), ибо «представление имеет, конечно, повсюду своим содержанием

[1] Наряду с воздействием на другие предметы, качественно определенные предметы действуют и на человека, вызывая различные впечатления, являющиеся отражением об'ективных качеств. Качествами являются не наши впечатления (цвет, звук и пр.), а об'екты этих впечатлений, сами же впечатления, как выражающие отношение суб'екта и об'екта, суть скорее свойства. Механисты, об'являя качествами наши впечатления, считают поэтому все многообразные качества суб'ективными. Но качество есть об'ективная нераздельная от бытия определенность; наши же впечатления есть результат воздействия качества на нас. Отрицание об'ективности качеств устраняет об'ективную основу знания и поэтому ведет к суб'ективизму. И наоборот, ленинская теория отражения, отвергаемая механистами, полностью вытекает из об'ективного понимания качеств.

противоречие». Но в категории качества, на данной ступени, дается лишь *описание* этого самодвижения и противоречия с его внешней стороны. Поэтому здесь не дается еще понятия противоречия, еще не раскрыты внутренние связи вещей, являющиеся *основанием* всех изменений.

Дальнейшая задача познания и состоит в раскрытии внутренних связей, в раскрытии всего содержания определенности, качества предмета. В качестве, как непосредственно данной нераздельной с бытием определенности, дано внешнее выражение связей самодвижения, противоречивости, основания и условий, внутреннего и внешнего (бытие в себе, бытие для другого; определение и состояние и т. д.). И нечто как конечное выступает уже здесь в единстве с бесконечным, единичное со всеобщим. Качество изменяется в соотношении к другому, но изменяясь дает не просто другое, но другое себя самого, приходит к себе самому, но лишь на более высокой ступени развития (спираль развития) «Что-нибудь, переходя в иное, только приходит к самому себе, и это соотношение в переходе и в ином к самому себе образует *истинную бесконечность*» (Логика, 165). Тем самым высказывается самодвижение и переход в противоположность. Развитие идет внутри качества *в определенном направлении*, каждая последующая ступень подготовляется предшествующею и снимает ее, подготовляя новую ступень. От зародыша, в постоянной связи с другими качествами, к развернутому в самодвижении качеству (бытие для себя) — таково движение качества. Но все большая напряженность нечто есть вместе с тем приближение к его имманентному отрицанию и переходу в другое качество, в противоположность. Таким образом в отличие от дурной бесконечности, дающей бесконечный ряд повторений одного и того же, неспособной дать переход в противоположность, высказывающей лишь бесконечное долженствование этого перехода, истинная бесконечность есть выражение самодвижения, развития. «Истинная бесконечность была уже Гегелем правильно вложена в *заполненное* пространство и время, в природу и в историю. Теперь вся природа разложена, сведена к истории... Это бесконечное многообразие природы и истории заключает в себе бесконечность пространства и времени — дурную бесконечность — только как снятый, хотя и существенный, но не преобладающий момент» (Энгельс, «Диалектика природы», 17).

Становление бесконечного множества изменений в *единстве* качества, ход изменений в определенном направлении указывает на *всеобщее, бесконечное, закономерность* в самом конечном. Уже здесь зародыш понимания рефлексивных определений сущности, категорий *связи*. Конечное и бесконечное существуют в их связи и единстве. «Вопрос, как приходит бесконечное к конечному,—пишет Ленин — считают иногда сущностью философии. *Но этот вопрос сводится к выяснению их связи*... (75).

В реальности,—пишет Ленин,—«конечное и бесконечное неотделимы. Они — *едино суть*» (73, курсив Ленина) [1]. «Единство конечного и бесконечного не есть их внешнее сопоставление, ниже несоответственное, противоположное их определению соединение, в котором связаны разделенные и противоположные, самостоятельные одно относительно другого и стало

[1] Познание — говорит Энгельс — «заключается в том, что мы находим бесконечное в конечном, вечное в преходящем. Но форма всеобщности есть форма в себе замкнутости, а следовательно бесконечности» (Диалектика природы, 149).

быть несогласующиеся сущие, но каждое есть само в нем это единство, и каждое есть лишь *снятие* себя самого, причем ни одно не имеет перед другим преимущества бытия в себе и утвердительного существования. Как было показано ранее, конечность есть лишь выход за себя; поэтому в ней содержится бесконечность, другое ее самой» (75). Приведя это положение Гегеля, *Ленин* замечает: «применить к атомам versus электроны. Вообще бесконечность материи вглубь...» (75), т. е. развитие.

Абсолютное и относительное, конечное и бесконечное,—говорит Ленин — есть моменты одного и того же мира. Истинная бесконечность понимается в единстве с конечным. Напротив, «ложная бесконечность» — замечает Ленин — есть «бесконечность, качественно противоположная конечности, не связанная с ней, отгороженная от нее, как будто конечное было посюсторонним, а бесконечное потусторонним, как будто бесконечное стоит над конечным, вне его» (73). Чтобы превзойти метафизику,—говорит Гегель,—утверждают, что конечное существует совершенно независимо от бесконечного. Но тем самым «следуют самой вседневной рассудочной метафизике».

Качество — как *непосредственно* данная определенность—есть односторонняя, ограниченная категория. Приступая к научному исследованию, человек *выделяет* качественно одинаковые вещи, опираясь на непосредственные показания органов чувств. Это выделение совершается на основе об'ективной качественной определенности вещей, но это об'ективное качество на данной ступени не познано, оно только фиксировано как непосредственное. Здесь еще не познаны внутренние *связи* предмета и следовательно не развернуто *отношение* и *связь* различных качеств.

Бытие—для—себя является у Гегеля завершением непосредственно данного качества; здесь качество достигает своей полной определенности. Тем самым оно определяется как единое, относительно *самостоятельное*, исключающее из себя иное. Оно есть самостоятельное «*одно*».

Таким образом совершается у Гегеля переход к количеству. Ленин отмечает искусственность и темноту этого перехода. Но, как и всегда, Гегель делает и в этом переходе важнейшее положение о единстве притяжения и отталкивания.

* * *

В действительности качество неразрывно связано с количеством и количественно определяется. Поэтому, начав с выделения качественно определенного бытия, сознание переходит к познанию количественных отношений, познанию *количества*. Но этот переход в мысли от качества к количеству отнюдь не означает сведения качества к количеству в реальной действительности.

Облеченный Гегелем в мистическую форму переход качества в количество имеет то рациональное зерно, что он правильно отражает следование этих категорий в истории мысли. Прежде чем возможен был счет, нужно было выделить отдельные вещи из общего потока явлений, как определенные, ограниченные. Вместе с тем должна быть развита способность брать их как единицы, абстрагируясь от других свойств. «Понятия о числе и фигуре могли взяться только из реального мира и ниоткуда больше... Для сосчитывания нужны не только считаемые предметы, но

уже и способность при счете не обращать внимания на все остальные, кроме числа, свойства предметов, а эта способность — результат долгого исторического развития, опыта» [1].

В начале главы о количестве Ленин останавливается на гегелевской критике кантовской антиномии о непрерывности и дискретности мира. В истории философии оба момента этой антиномии были выражены порознь: элеатами, признававшими непрерывность мира, и атомистиками, выдвигавшими дискретные частицы, атомы, движущиеся в пустоте. Кант не мог разрешить этой антиномии и перенес в конце-концов противоречие в суб'ект. «Разбирая Канта весьма придирчиво (и остроумно),—пишет Ленин,—Гегель получает вывод, что Кант просто повторяет в выводах сказанное в посылках, именно повторяет то, что есть категория *непрерывности* и категория *дискретности*. Отсюда же вытекает лишь, «что истина свойственна не одному из этих определений, взятому отдельно, но лишь их единству. Таково истинно диалектическое воззрение на них так же, как их истинный результат» (стр. 81). Приводя положение Гегеля о непрерывности и дискретности, Ленин замечает: «*истинная диалектика*» (81). Решение вопроса Гегелем было действительно диалектическим и правильным. Современная наука уже *конкретно* решает этот вопрос в направлении, указанном Гегелем. Односторонний принцип *непрерывности*, которым в наше время механисты хотели заменить материалистическую диалектику, Ленин считал недостаточным. Истина в единстве непрерывности и дискретности.

Даже количество, ибо оно является моментом реального мира, содержит оба момента — и непрерывность и дискретность. «*Дискретность*, как и *непрерывность*, есть *момент количества*» (81).

По категории количества Ленин делает мало замечаний. Мы остановимся лишь на следующем важнейшем замечании Ленина, ставящем принципиальный вопрос о роли, о значении и границах применения категории количества в научном исследовании и о соотношении количества с другими категориями. Это положение,— говорит в предисловии к сборнику А. М. Деборин,— заслуживает особого внимания. У Гегеля есть — пишет Ленин — «*по вопросу о роли и значении числа* (много о Пифагоре etc., etc.) *между прочим меткое замечание*:

«*Чем богаче определенностью, а тем самым и отношениями становятся мысли, тем, с одной стороны, более запутанным, а с другой — более произвольным и лишенным смысла становится их изображение в таких формах, как числа*». (Оценка мыслей: богатство определениями и, *следовательно*, отношениями) (83).

Чтобы понять это важнейшее положение, необходимо хотя бы в самых общих чертах рассмотреть количество.

Количество есть определение материальной действительности и неразрывно связано с определением качества. Но количество, взятое абстрактно, отвлекается от качественной определенности предмета, рассматривает его лишь как единицу. Выражая через количество связи вещей, и процессы отвлекаются от всякой определенности связей, кроме количественных отношений. Если качество является тождественной с бытием определенностью, так что «благодаря своему качеству, нечто есть то, что оно есть, и, теряя свое качество, оно перестает быть, чем было», то *количество* также «составляет определенность бытия, но уже не тождественную с ним непосредственно, а равнодушную относительно его и ему внешнюю», «так что вещь несмотря на то, что количество меняется, остается все тем же, чем она есть» (Гегель).

[1] Энгельс, «Анти-Дюринг», стр. 30.

Составляя определенность материальной действительности, количество отражает ее внешне, как равнодушную к определенности, как «индиферентность, имеющую лишь одни количественные отличия». Чистое пространство и время — говорит Гегель,—«можно принять в пример количества, если признать, что они равнодушны к своему реальному наполнению». Энгельс в полном согласии с Гегелем формулирует: чистая *математика*, *т. е. наука о количестве*, «имеет своим предметом пространственные формы и количественные отношения реального мира, т. е. весьма реальный материал». Но в количественном выражении «материал этот является перед нами *в крайне абстрактной форме*» (Анти-Дюринг, 30). Количество абстрагирует от всего содержания, отбрасывая все конкретное. «Для того же, чтобы эти формы и отношения исследовать в их чистом виде, необходимо отделить их от их содержания, и последнее, как безразличное, отбросить; тогда мы получаем точки без протяжения, линии без толщины и ширины, равные *a* и *b*, *x*... (Анти-Дюринг, 30). Поэтому *математика является наиболее абстрактной и наиболее бедной конкретным содержанием наукой о действительности*. Количественное увеличение и уменьшение есть повторение одного и того же, поэтому Гегель назвал количественную бесконечность дурной бесконечностью. Здесь не получается *нового*. Поэтому «истинная бесконечность,—говорит Энгельс,—была уже Гегелем правильно вложена в *заполненное* пространство и время, в природу и историю» (Дн., 17). Истинная бесконечность есть выражение *развития*, количество и дурная бесконечность содержатся в нем как момент.

Количество выражает не только число и величину предметов, но и *процесс* их изменения и их *связи*. Но количественное выражение связей дает лишь внешнее *описание* количественных отношений, может дать статистическое правило, но не дает, и не может дать *познания* внутренних существенных связей, лежащих в основе процессов и связей вещей, и следовательно, не может дать познания внутренней необходимости и закономерности этих связей. Через бесконечно большие и бесконечно малые величины в математику входит движение. Но математика лишь «*изображает* становление» (Гегель), указывает на количественные отношения процесса, но не об'ясняет его.

Функциональные отношения, которыми математика (и эмпиризм) думают заменить понятие причинности и необходимости, совершенно не достаточны для познания существенных связей вещей, они лишь *описывают* количественные отношения, но не *познают* закономерности и необходимости. Махисты—писал Ленин — «поверили немецким профессорам—эмпириокритикам, что если сказать: «функциональное соотношение», то это составит открытие «новейшего позитивизма», избавит от «фетишизма» выражений, вроде «необходимость» «закон» и т. п. Конечно, это чистейшие пустяки» [1].

[1] Собрание сочинений, т. X, стр. 129.

Необходимость, причинность, закон выражают внутренние, об'ективные, существенные связи самих вещей. Познание количественных проявлений вовсе не устраняет об'ективного характера этих связей и необходимости их исследования.

Количественное определение связей и процессов является необходимым этапом на пути познания сущности, но оно совершенно не исчерпывает этих связей, не об'ясняет их. Напротив. Сами количественные отношения получают свое об'яснение из познания существенных связей в их необходимости, выступая как их количественная определенность. Количественные схемы — писал Ленин — «сами по себе ничего доказывать не могут; они могут только *иллюстрировать* процесс, *если его отдельные элементы выяснены* теоретически» [1]. *Теоретическое* выяснение существенных связей и необходимости исследуется при помощи категорий сущности, которые, включая в себе и количественные отношения, дают вместе с тем познание существенных связей вещей.

Маркс считал одним из основных недостатков классической политической экономии то, что она не исследовала формы стоимости, как выражения существенных связей капиталистических производственных отношений и подошла чисто количественно к пониманию стоимости. Рикардо — говорит Маркс — «совершенно не исследует стоимости со стороны ее *формы — определенной формы*, которую принимает труд как субстанция стоимости, но исследует *только величину* стоимости».

Диалектическая логика, не ограничивающаяся количеством, охватывающая все наиболее общие законы, связи действительности, является истинным методом познания. «Диалектический метод — пишет Ленин — связан «с наполненным бытием», с бытием, полным содержания и конкретным» (299). Сведение всех отношений к количеству, и таким образом превращение количества в единственный методологический принцип, является абсолютно неправильным.

Количество, как всеобщий момент действительности, присуще каждому предмету, и поэтому всякое исследование пользуется категорией количества. Но количество есть лишь *одно* из всеобщих определений действительности и поэтому не охватывает и не об'ясняет других всеобщих законов действительности.

Само количество может быть понято только в связи с другими всеобщими законами движения только на основе логики. Поэтому математика — наука о количестве, — берущая количество как данное, не может самостоятельно доказать ряд своих исходных положений. Эти положения и аксиомы, являющиеся выражением необходимых свойств количества, могут быть доказаны лишь на основе логики, выясняющей содержание количества как всеобщего момента движения в его связи с другими всеобщими законами движения. «Так называемые математические аксиомы, это — те немногие рассудочные определения, которые необходимы математике в качестве исходного пункта. Математика, это — наука о величинах, она исходит из понятия величины. Она недостаточно определяет последнюю и прибавляет затем внешним образом, в качестве аксиом, другие элементарные определенности величины, которые не фигурируют в дефиниции.

[1] Ленин, «Собрание сочинений», т. II, стр. 477.

После этого они кажутся недоказуемыми *математически*. При анализе понятия величины все эти определения аксиом окажутся необходимыми свойствами величины. Спенсер прав в том отношении, что *самоочевидность* этих аксиом *унаследуется* нами. Они доказуемы диалектически, поскольку они не чистые тавтологии» (Энгельс, Диалектика природы, 13). «Математические аксиомы суть выражения весьма скудного идейного содержания, которое математика должна заимствовать у логики». Например, математическое положение: «Две величины, порознь равные третьей, равны между собою. Закон этот, как уже доказал Гегель, есть заключение, за правильность которого ручается логика; следовательно оно уже доказано, хотя и вне чистой математики. Все остальные аксиомы о равенстве и неравенстве представляют собою лишь логические расширения этого заключения» (Энгельс, Анти-Дюринг, 31).

Наука о количестве — математика, — поскольку содержание ее абстрагировано от конкретных вещей, подчиняется общей логике, отражающей всеобщие законы всей действительности. Именно так смотрел на математику Энгельс, который доказывал, что элементарная математика движется в общем в границах формальной логики, а высшая математика руководствуется законами диалектики. «Элементарная математика — писал Энгельс — математика постоянных величин, движется, по крайней мере в целом и общем, в границах формальной логики; математика переменных величин, существеннейший отдел которой составляет исчисление бесконечно малых, есть в сущности не что иное, как применение диалектики к математическим отношениям» [1].

Следовательно, количество может быть лишь моментом в развитии мышления, далеко не охватывающим всех связей действительности. Поэтому исследование количества есть лишь один из моментов исследования, необходимо ведущий к раскрытию других, более конкретных связей действительности, в единстве с которыми только и может быть понято само количество.

Поэтому Ленин правильно подчеркнул, что чем более сложными и богатыми существенными внутренними связями являются предметы, тем менее можно выразить все их отношения и связи с помощью категории количества. Для познания существенных связей в мышлении вырабатываются новые категории (различные категории сущности), отражающие эти существенные связи и отношения.

* * *

Количество, абстрактно взятое, отражает реальные отношения односторонне. В действительности количество выступает как момент движения и, если брать непосредственное познание, как момент меры, *качество и количество взаимны, находятся в неразрывной связи*. Мера есть качественно определенное количество и количественно определенное качество. И если абстрактно взятое количество рассматривалось как равнодушная бытию определенность, то реально существующее количество *всегда* связано с качественной определенностью и не равнодушно к ней, так что изменение качества ведет к изменению количества и изменение количества

[1] Энгельс, «Анти-Дюринг», стр. 123.

ведет к изменению качества. Количество существенно связано с качеством. Взаимность качества и количества можно проследить на любом факте действительности. Так, у всякого металла—говорит Энгельс—имеется своя температура плавления; так, у всякой жидкости имеется своя определенная (при данном давлении) точка замерзания и кипения; у каждого газа имеется своя критическая точка и т. д. Разрыв качества и количества или сведение одного к другому превращает их из моментов меры в абстракции. «Обыкновенно полагают, что качество и количество суть два совершенно самостоятельные, одно от другого независящие определения, и поэтому говорят, что вещи определены не только качественно, но и количественно. Откуда берутся эти определения и как они относятся одно к другому, об этом не спрашивают» (Логика, 173). Но качество и количество взаимны, находятся в имманентной связи друг с другом. «В мере, выражаясь отвлеченно, соединяются качество и количество» (89). «Развитие меры содержит в себе различение этих моментов, но также и их отношение» (Н. Л., 227). Лишь взятые в единстве и связи, как моменты развития, качество и количество выявляют свое действительное *содержание* и значение.

Ленин подчеркивает положение Гегеля, что мера отражает более конкретные отношения действительности и поэтому является более высокой точкой зрения по сравнению с количеством. «Велика заслуга познать эмпирические числа природы, напр., взаимные расстояния планет; но еще неизмеримо большая заслуга заставить исчезнуть эмпирические определенные количества, возвысив их до общей формы количественных определений так, чтобы они стали моментами закона или меры»; заслуга Галилея и Кеплера (состоит в том, что) «они доказали найденные ими законы, показав, что им соответствует весь об'ем воспринимаемых частностей» (93).

Точка зрения меры опровергает *«одностороннее обращение внимания на абстрактные определения количества»*,—приводит Ленин слова Гегеля и комментирует: «т. е. *без учета всесторонних изменений и конкретных качеств* etc». (91).

Ленин считал односторонней точку зрения количества. Он выдвигает необходимость учета всесторонних изменений и конкретных качеств, т. е. вместо механического сведения качества к количеству выдвигает *взаимность, связь* качества и количества — выдвигает *меру*. В категории *«меры»* исследуется имманентная связь качества и количества. Моментами единства и взаимности качества и количества в мере мы имеем двойной переход: качества в количество и количества в качество. Тем самым в «мере» выявляется *активность* качества.

Механическая точка зрения сводит качество к количеству и приписывает всю активность в изменениях лишь количеству. Механисты берут количественные изменения как *данные* и не выясняют причин количественных изменений. Они не понимают, что количественные изменения имеют своим основанием активность качества, «переход качества в количество». «Механическая концепция... об'ясняет всякие изменения из изменений места, все качественные различия от количественных, не замечает, что отношение между качеством и количеством взаимно, что качество также переходит в количество, как количество в качество, что здесь имеется взаимодействие» (Диалектика природы, 145).

Методологические положения Ленина и Энгельса являются буквально директивой в исследовании соотношения качества и количества.

Во всех формах движения качественные изменения вызываются количественными изменениями. Но это определение не исчерпывает всего содержания взаимной связи качества и количества и не выясняет основы самих количественных изменений. Выяснить эту основу можно лишь путем исследования второго момента связи *«перехода качества в количество»*. Точнее, каждый из «переходов» является лишь моментом связи качества и количества, моментом меры, и поэтому может быть понят только как момент меры. В свою очередь мера, а следовательно, и ее моменты могут быть поняты только в связи с другой мерой или рядом мер. Ибо каждая вещь развивается *во-первых*, на основе своей собственной *активности*, самодвижения, *во-вторых*, процесс движения вещи может происходить лишь во взаимодействии в связи с другими вещами. Не может быть бытия в себе без бытия — для — другого. Количественные изменения данной меры не об'яснимы вне связи ее с другими мерами, ибо движение не может быть создано, оно может быть лишь передано или превращено из одной формы в другую. Количество движения *вообще* не может увеличиваться или уменьшаться; но оно может увеличиваться в одной форме и уменьшаться в другой. И при всяком изменении и развитии мы имеем переход движения из одного состояния в другое. Поэтому количественные изменения данной меры возможны лишь при условии связи ее с другими мерами и перехода движения от одной меры к другой. (Мы не делаем здесь различия, понимается ли под мерой весь предмет или его часть; укажем лишь, что мера может состоят из целого ряда мер и сама входить в высшую меру как момент. Так, атом есть мера, состоящая из ряда мер, входит в свою очередь в молекулу, которая тоже входит как момент в высшую меру; клетка—мера, состоящая из ряда мер, сама входит моментом в органы, органы—в организм.)

Следовательно, количественнные изменения меры могут происходить лишь за счет переноса движения из других мер в данную меру и обратно. Мера может существовать лишь во взаимодействии с другими мерами, лишь в постоянном процессе такого переноса движения. «Изменение формы движения — говорит Энгельс — является всегда процессом, происходящим, по меньшей мере, между двумя телами, из которых одно теряет определенное количество движения такого-то качества (например, теплоту), а другое приобретает соответствующее количество движения такого-то другого качества (механическое движение, электричество, химическое разложение). Следовательно, количество и качество соответствуют здесь друг другу взаимно. До сих пор еще не удалось превратить движение внутри отдельного изолированного тела из одной формы в другую. Здесь речь идет пока только о неорганических телах; этот же самый закон применим и к органическим телам, но он происходит при гораздо более запутанных обстоятельствах, и количественное измерение здесь еще и ныне часто невозможно» («Диалектика природы», стр. 223).

Таким образом всюду, где имеются количественные изменения качества, мы имеем процесс взаимодействия между двумя *мерами* или рядом мер. Это отношение является необходимым *условием* количественных изменений качества. Но воспринимает ли данная мера чисто пассивно это получаемое извне «количество» материального движения? Играет ли

качество какую-либо роль в определении своих количественных изменений?

Взаимодействие между качеством и количеством различно в различных формах движения. «Полное отвлеченное безразличие развитой меры, т. е. ее *законов*, говорит Гегель, может иметь место лишь в области *механизма*, в которой конкретно-телесное есть лишь отвлеченная материя; ее качественные различия имеют свою определенность существенно в количественном; *пространство* и *время* суть сами чистые внешности, а *множество* материй, массы, напряженность *веса* суть также внешние определения, имеющие свою своеобразную определенность в количественном» (Н. Л., 228).

Но было бы неправильно форму взаимоотношений качества и количества, встречающуюся в механическом движении, универсализировать, переносить на все другие формы, ибо различным областям природы, *различным формам движения соответствуют «различные формы, в которых реализуется мера»* (Гегель). Так чисто количественная определенность меры, свойственная механике, как «определенность отвлеченно-материального нарушается уже в *физике*, а тем более в *органике*, множественностью и связанным с нею столкновением качеств. Но здесь имеет место не только столкновение качеств, как таковых, а мера подчиняется более высоким отношениям» (Н. Л., 228).

Здесь *качество* выступает как основа в единстве меры. Диалектика рассматривает изменения прежде всего под углом зрения *самодвижения*. Она не может остановиться на точке зрения бессвязных изменений, вызываемых лишь внешними влияниями. Она рассматривает вещи в их развитии.

Мы уже отмечали, что качество есть определенность, своеобразно относящаяся ко всему другому и отстаивающая себя в этом отношении. Качество *активно* и в своих изменениях и в своем воздействии на другое. Если количественные изменения меры могут происходить лишь при условии усвоения внешнего движения, то этот процесс не происходит без активности качества и не является для него только внешним. Качество активно воздействует на другое, активно усваивает внешнее движение и превращает его в себя, полагая тем свои количественные изменения.

Даже в том случае, когда в процессе взаимодействия меры остаются самостоятельными и внешними друг к другу,—внешнее влияние своеобразно усваивается качеством согласно его специфической определенности. Так одно и то же изменение температуры воздуха по-различному изменяет температуру различных тел, так действие холодной температуры по-разному отражается на различных растениях и животных, так действие одних и тех же географических условий различно на различные формы человеческого общества, так равенство норм права, по отношению к неравным индивидам, есть неравенство для них и т. д. Нет автоматически-однородного действия однородной среды на различные предметы. Качественно различные тела различно воспринимают одно и то же внешнее действие, *специфицируют* его согласно своей внутренней природе, «снимают» и своеобразно преломляют его (специфицирующая мера у Гегеля). Уже здесь обнаруживается активность качества по отношению к количеству и примат внутренне-закономерного процесса над внешним влиянием.

Мы выше показали, что количественные изменения качества могут происходить лишь при условии связи по крайней мере двух мер. Таким образом внешние количества движения, влияющие на изменение качества, сами не являются абстрактным количеством. Они сами качественны, т. е. являются мерой. Тем самым еще более выявляется активность качества: к спецификации внешних количественных изменений среды данным качеством прибавляется и специфичность самой среды. Получается целый ряд различных количественных показателей отношений. Эти количественные показатели отношений суть выражение отношений *качеств*. Количественные изменения определены отношением качеств. Следовательно, количественные изменения качества обусловлены: 1) взаимодействием двух мер, где количественное изменение выступает как отношение качеств; 2) активностью самого изменяющегося качества, специфически относящегося к влиянию внешнего качества, активно превращающего внешнее движение в себя самого и тем самым определяющего свое изменение.

Активная роль качества в определении количественных изменений выступает еще более сильно при таком отношении мер, в котором они не остаются равнодушными и внешними друг другу, но снимаются в своем отношении и дают новую меру как их синтез. В химизме имеем, правда, внешнее соединение, в котором, по выражению Гегеля, «оба члена, определенные как такие самостоятельные меры, состоят один вне другого в отдельных вещах и полагаются внешним образом в соединение». Но соединение дает здесь новое качество. Каждая мера здесь своеобразно относится ко всем другим и выступает как ряд отношений мер. Получается таким образом много рядов отношений мер. При этом каждая мера соединяется не со всеми другими мерами, *а избирает* те меры, с которыми она соединяется по преимуществу. Мера здесь активна не только в том смысле, что она дает ряд соединений, определяет количественные отношения этих соединений, но она активна и в *выборе качеств*.

Еще более активность меры выступает в *развитии* (развитие органического мира, общества и пр.). В развитии выступают наиболее полно *взаимность* качества и количества и активность качества. Развитие возможно также лишь при условии взаимодействия по крайней мере двух мер. Материал для развития меры может быть получен только из среды. Но «*органическое* тело реагирует *самостоятельным образом*—разумеется, в пределах его сил (сон) при допущении притока пищи,—но эта притекающая пища действует лишь после того, как она ассимилирована, а не непосредственным образом, как на низших ступенях, так что здесь органическое тело обладает *самостоятельной* силой реакции, новая реакция должна происходить *через* посредство его» (Энгельс, «Диалектика природы», 51, курсив Энгельса).

Таким образом, в *развитии* данное качество *активно* воздействует на среду, *выбирает* необходимый ему материал, *превращает* его в свой собственный момент и через это количественно изменяется. Количественное изменение выступает здесь как результат *активного* воздействия данной меры на окружающие условия; основой его является *самодвижение* предмета. Предмет сам является здесь основанием и продуктом своего собственного движения. «В одном случае тело есть *условие* процесса; в другом—оно есть его *продукт*; так что тело бывает началом и концом процесса, от чего зависит его положение в ряду других тел» (Фил. пр., 383).

Количественные определения выступают здесь как *степени* развития качества. Понятие *интенсивности* количества выступает здесь наиболее ярко, оно является количественным выражением степеней развития качества. Само *качество* выступает здесь в полном определении. Оно активно определяет свои количественные изменения, «*качество переходит в количество*». Процесс «перехода качества в количество» есть в то же время процесс количественных изменений данного качества, рост количества. Соответственно своему количественному росту качество развертывается, проходит ряд степеней, этапов; становится все более интенсивным и напряженным. Процесс развертывания меры есть процесс взаимодействия качества и количества, примат в котором принадлежит качеству.

Лишь пройдя этот процесс, развив до предела свой количественный рост, а следовательно, и свою напряженность и противоречия, качество подходит к своей границе. Количество переходит в качество, данная мера превращается в другую меру, происходит скачок. Скачок и есть не что иное, как переход одного качества в другое качество, точнее переход меры в меру.

Скачок, переход количества в качество, предполагает активность качества, переход качества в количество.

Только выяснив *взаимность* качества и количества как моментов меры, можно понять скачок. Скачка не было бы, если бы качество не было активно по отношению к количеству, если бы не было перехода «качества в количество»; равным образом количественные изменения не привели бы к скачку, если бы количество было равнодушно к качеству, не было бы в то же время степенями развития качества.

Переход одного качества в другое есть *скачок, перерыв постепенности*. В противоположность модной теперь «теории» непрерывности Ленин с особой силой подчеркивает в главе о мере все, что говорится Гегелем о *скачке*. Ленин безусловно прав, обращая сугубое внимание на категорию скачка, ибо скачок дает понимание *новообразования*, одной из важнейших проблем диалектики. А трудность заключается именно в понимании *новообразования*, возникновения *нового* качества, в переходе данного качества в *его противоположность*. Ленин приводит следующее положение Гегеля: «Трудность, встречаемая... стремящимся к пониманию рассудком, заключается в качественном переходе нечто в его другое вообще и в противоположное ему» (97). Понимание развития невозможно без правильного решения вопроса о новообразовании, а это в свою очередь — без *скачка*.

Может ли вообще возникать *новое* и каким образом может возникать *новое?* Если стать на ту точку зрения, что «*качества уже даны*», то тем самым вообще снимается проблема *новообразования*, может быть лишь анализ уже данных качеств. Суть метафизической концепции заключается именно в том, что она снимает проблему *новообразования*; для нее вещи даны, а не становятся; для нее нет развития и перехода в противоположность. Движение сводится к движению в установленном кругу в рамках уже данных качеств.

На этой же метафизической точке зрения *по существу* остаются теории, пытающиеся об'яснить возникновение «нового», исходя только из внешнего толчка, из механических комбинаций однородных частиц или из вульгарно-эволюционистской точки зрения, исходящей из *постепенности* изменений. В основе их лежит отрицание возможности

возникновения нового из внутреннего развития качества. Теория Кювье, например, как правильно отметил Энгельс, по существу исходила из метафизического понимания вещей, как не имеющих внутреннего самодвижения и развития, и поэтому неспособных породить новую форму в силу своего собственного развития. Возникновение нового Кювье рассматривал как внешне-обусловленную катастрофу. Между предшествующей и последующей формой нет никакой связи, последняя не возникла из развития первой, как ее необходимое другое, как ее противоположность. Существует метафизический разрыв. Признание метафизического разрыва между вещами является необходимым дополнением к точке зрения, отрицающей развитие вещей и скачки. Поэтому «теория Кювье о претерпеваемых землею революциях была революционна на словах и реакционна на деле. На место акта божественного творения она поставила целый ряд подобных творческих актов и сделала из чуда существенный рычаг природы» (Энгельс).

Понимание *постепенности* всех изменений по существу исходит из той же метафизической точки зрения: невозможности развития, невозможности *скачка*, как необходимого результата внутреннего движения самого предмета. Но отказ от признания возникновения нового через *скачок*, т. е. отрицание перехода к новому качеству, обусловленного развитием данного качества, ведет или к признанию возникновения нового при посредстве внешнеобусловленной катастрофы или вообще к отрицанию возможности возникновения *новых* качеств. Постепенность дает понимание изменений только в рамках данного качества. Она не может об'яснить возникновения новых качеств и содержит в себе предположение, что «качества уже даны», но даны в зародыше, так что изменение сводится лишь к их количественному росту. «Возникновение» сводится к увеличению уже существующего, но в силу своего малого роста чувственно не воспринимаемого предмета; а исчезание сводится к его уменьшению до минимальнейших размеров. Но тем самым вообще отрицается возможность возникновения нового. Ленин приводит следующее положение Гегеля и, судя по заметкам (скачки!), полностью соглашается с ним.

«Предположение о постепенности происхождения основывается на том представлении, будто происходящее, существуя уже чувственно или вообще в действительности, не может еще быть воспринимаемо лишь вследствие его малой величины; равно как при постепенности исчезания небытие или другое, выступающее вместо исчезающего, также существуют, но еще незаметны; и притом то и другое существуют не в том смысле, что другое содержится в данном другом в себе, но в том, что имеет место, как существование, только незаметное. Тем самым происхождение и уничтожение вообще снимаются, или иначе, сущее в себе, внутреннее, в котором нечто есть до своего существования, превращается в малую величину внешнего существования, а существенное различие, или различие понятия—во внешнее просто-количественное различие.—Делать понятным происхождение или уничтожение постепенности изменения значит впадать в скуку, свойственную тавтологии; при этом предполагается, что возникающее или уничтожающееся наперед имеется уже в готовом виде, и изменение превращается в простую перемену внешнего различия, благодаря чему в действительности и получается тавтология» (97).

XLVI

Точка зрения постепенности есть односторонне количественная точка зрения, ибо все изменения она сводит к количественному изменению уже данных качеств, к их увеличению и уменьшению. Постепенность есть «*уменьшение или увеличение и одностороннее удержание величины*» (91).

Диалектическая точка зрения преодолевает как вульгарную точку зрения постепенности, устраняющую возможность возникновения нового, так и точку зрения внешне обусловленных катастроф, устанавливающую метафизический разрыв между предшествующим и последующим.

Скачок есть переход к новому, но к такому новому, которое подготовлено имманентным движением данного качества и является его необходимым другим, его противоположностью. Поэтому скачок означает разрыв между возникающим новым качеством и тем качеством, из снятия которого возникает новое, но вместе с тем в нем содержится *связь* этих качеств.

Ленин, останавливаясь на перерывах постепенности, *скачках* у Гегеля, подчеркивает, что «*постепенность ничего не об'ясняет без скачков*» (95), и приводит следующее положение Гегеля: «Говорится, что в природе не бывает скачков; и обычное представление, если оно желает понять происхождение или уничтожение, полагает...что поймет их, представляя их как постепенное возникновение или исчезновение. Но... изменения бытия суть вообще не переход одной величины в другую, но переход от количественного в качественное и, наоборот, становление другим, перерыв постепенности и качественно иное в противоположность предшествовавшему существованию. Вода через охлаждение не становится постепенно твердою так, чтобы она делалась сначала студенистою и постепенно затвердевала до консистенции льда, но становится сразу твердою; достигнув уже температуры замерзания, она, если остается в покое, может еще сохранять жидкое состояние, но малейшее сотрясение приводит ее в состояние твердости» (95).

Таким образом постепенные количественные изменения внутри качества ведут к перерыву постепенности, скачку, в котором возникает новое качество. Это новое качество, являясь вначале зародышем — принципом по выражению Гегеля,—постепенно развертывается (в борьбе с остатками старого) и, достигнув своего предела через скачок, переходит к новому качеству и т. д. Образуется ряд возникающих одно из другого качеств, из которых каждое связано с предыдущим и отрицает его, а все вместе образуют цепь развития. Такой ряд, такую цепь Гегель называет *узловой линией мер*. Это очень важное понятие, характеризующее предметы лишь как узлы, завязывающиеся в цепи изменений. Каждый из этих узлов относительно самостоятелен, возник из отрицания прежних узлов, из скачка и разрыва и вместе с тем связан с ними, является лишь одним из узлов линии развития.

В мере преодолевается односторонний количественный и односторонний качественный подход к исследованию. Она *берет качество и количество в их единстве и взаимной связи; не сводит одно из них к другому, а устанавливает связь между ними и роль каждого из них в единстве меры*. Поэтому количество и качество могут быть правильно поняты лишь как моменты движения. Связь количества и качества различна в различных формах движения. При переходе к высшим формам движения все уплотняется связь качества и количества в единстве меры и вместе с тем растет внутренняя качественная активность меры.

XLVII

Мера есть более высокая ступень познания. В мере выступает известное *правило, мерность*, связь всего существующего. Мир выступает как *система мер*, находящихся в определенных *мерных* отношениях. В мере уже дается *связь* вещей и переход их друг в друга. В категории меры дается *описание развития* и описание всеобщих связей вещей и установление мерных отношений этих связей. Мера «есть не только безразличная и внешняя, но и сущая в себе определенность; таким образом она есть *конкретная истина бытия*» (Н. Л. 226).

Но в мере еще не дается *познания внутренних связей, необходимости* и *закономерности* развития.

В действительности внешние связи вещей неразрывно связаны с их внутренними существенными связями, являются их проявлением. Поэтому познание внешних связей *ведет* к внутренним связям. Познание углубляется в предмет, переходя к раскрытию его внутренних и существенных связей.

Мерные отношения всех вещей — указывают на их *закономерную* связь. Активность меры в определении своих количественных изменений, движение и переход мер друг в друга — указывают на самодвижение, развитие, и ведут к раскрытию внутренних связей, необходимости и закономерности, к раскрытию единства противоположностей как основания самодвижения и развития.

Познание переходит от *мерных* отношений к познанию *существенных, закономерных* и *необходимых связей* развития, от *непосредственного* знания — к *опосредованному*, от *описания* к *об'яснению*. Это движение познания, опирающееся на соотношение связей в самой действительности, ведет к образованию *категорий сущности*, отражающих существенные связи вещей. В логике это отражается в переходе категорий бытия к категориям сущности.

Только правильное понимание связи качества и количества и их единства — меры — ведет к сущности.

И наоборот, только категории сущности дают истинное понимание категорий бытия: единство качества и количества, активность качества в положении своих количественных изменений могут быть поняты только на основе закона единства противоположностей; скачок получает свое истинное обоснование только в переходе в противоположность, мерность— в закономерности и т. д.

(Продолжение следует)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЧЕРНЫШЕВСКОГО [1]

Э. Лейкин

III. СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАПИТАЛИЗМА

1

«Экономический строй, основанный на трехчленной системе распределения» — под таким наименованием выступает у Чернышевского капиталистический способ производства. В этом нет ничего удивительного, ибо социально-исторические определения хозяйства Чернышевский относит в сферу распределения. Исследования капиталистического производства мы у него, естественно, не находим. Его понятие «капитала» есть натуралистическая категория, очищенная от последних остатков историзма. Капитал есть та «форма труда, когда он реализировался в материальных продуктах, содействующих дальнейшему производству» [2]. Чернышевский противопоставляет понятие «капитал» понятию «капиталист» [3], в их смешении он усматривает один из важнейших грехов политэкономии, для преодоления которого он пошел бы даже на введение новой терминологии, если бы его «книга имела в публике такое значение, чтобы могла утвердить право гражданства за столь большими нововведениями» [4]. Чернышевский здесь последовательно проводит свою (уже знакомую нам) идею об'ективирования экономических категорий, сведения их к «коренной сущности» явлений, освобождения их от внешней маски, наложенной принципом соперничества и т. д. Но в соответствии с общей установкой Чернышевского его здоровое стремление к об'ективированию категорий политэкономии

[1] См. «ВКА» кн. 30 (6).

[2] «Милль», VII, 151. Или: «Капиталом называются те продукты труда, которые служат средствами для нового производства» (VII—135). «Капитал есть та часть сбереженных продуктов, потребление которой нужно для успешности самого процесса труда» (104).

[3] «Слово «капитал» служит ныне лозунгом чрезвычайно сильной полемики между отсталою и прогрессивною школами. Отсталая школа неистощима в панегириках капиталу, прогрессивная — в проклятиях ему. Но читатель без труда заметит, что тут идет дело не о том элементе производства, который называется капиталом в строгой науке, а собственно только о роли, какую при известных общественных условиях играют капиталисты. Самое название капиталиста принадлежит не строгой научной теории, а только разговорному языку и почти постоянно употребляется именно в таком из своих многочисленных значений, которое совершенно различно от смысла, какой имеет термин «капитал» в науке» («Милль», VII—132).

[4] «Милль», VII—135.

приводит к ненаучному результату — к их натурализации, овеществлению, ибо Чернышевскому неизвестна природа исторически-определенной капиталистической об'ективности.

Так как капитал, по Чернышевскому,—элемент производства, то к нему целиком относится общая установка нашего автора в вопросах производства. Задачу свою он видит в том, чтобы показать, что современный экономический строй несовместим с «истинным», «строго-научным» понятием капитала. И хотя при ее решении Чернышевский высказывает несколько глубоких замечаний (напр., о количественном отношении между воспроизводимым и накопляемым капиталами), однако, утопический характер самой задачи не может не привести к совершенно ненаучному, нормативному ответу. Вот этот ответ в резюмированном у Чернышевского виде: «Коренная идея науки заключается в том, что труд есть единственный источник производства с человеческой точки зрения. Другой элемент, которым человек может участвовать в производстве, капитал, составляет только видоизменение труда и притом видоизменение очень мимолетное, исчезает чрезвычайно быстро, так что поддерживается лишь постоянным воспроизведением через труд и по сущности дела не имеет ни малейшей независимости от труда, который один и создает и сохраняет его. Из этого легко видеть, что всякая претензия приписывать капиталу не только преобладание над трудом, но хотя бы какую-нибудь самостоятельность, должна считаться уклонением от нормального экономического порядка. Как по своему происхождению, так и по самым условиям возможности длить свое существование, капитал в сущности дела не больше, как только принадлежность труда» [1]

В своем исходном пункте учение о трехчленной формуле распределения непосредственно связано с основными экономическими понятиями Чернышевского. Существует некоторый разумный, соответствующий требованиям теории принцип распределения, и трехчленная система есть отступление от этого принципа, «чрезвычайная несуразность». Из естественного принципа распределения выводятся естественные формы вознаграждения участников производства. «Точная научная теория вознаграждения» состоит в следующем: «С человеческой точки зрения, весь продукт обязан своим возникновением труду; стало быть, весь он должен составлять принадлежность того самого организма, трудом которого создан. Если в создании продукта участвовал труд не одного, а многих человеческих организмов, продукт должен распределиться между ними пропорционально количеству труда, вложенному каждым из них в создание продукта» [2]. Этот истинный

[1] «Милль», VII, 156. Еще гораздо более наивное толкование капитала под этим же углом зрения противопоставления капитала капиталистической системе находим в статье 1857 г. В ней Чернышевский устанавливает существование наряду с материальным капиталом гораздо более важного «нравственного капитала», сливающегося с организмом работника и заключающегося в трудолюбии, честности, расчетливости, благоразумии, умственной развитости, предприимчивости. Этот нравственный капитал не только источник материального, но и постоянно превосходит последний по ценности. Если мы это усвоим, то, «избежав односторонности понятий, предохранимся и от опасности жертвовать участью массы народа ради выгод людей, располагающих материальными капиталами» («О некоторых условиях, способствующих умножению народного капитала. Речь И. Бабста».—III, 507—9).

[2] «Милль», VII,—150.

принцип вознаграждения подвергается в современном экономическом строе троякого рода извращениям.

Первое.—В нынешнем строе существует требование вознаграждения за отсрочку личного потребления, или умеренность, или воздержание. Чернышевский остроумно замечает, что «нормальное вознаграждение», вытекающее из сущности дела, заключается здесь «во-первых в сознании благоразумности такого образа действий; во-вторых, и это главное, в том, что сохранение вещи... дает средство потребить ее завтра». А «если кроме этого нормального вознаграждения существует еще требование особенного вознаграждения, не вытекающего из сущности дела и состоящего в том, чтобы количество продукта не просто сохранялось, а увеличивалось от его сохранения, то наука должна рассмотреть, из каких внешних, посторонних самому делу обстоятельств проистекает такое требование, благоприятны ли для общественного благосостояния эти обстоятельства, и, если благоприятны, то какими способами можно поддержать и усилить их, а если неблагоприятны, то какими способами можно ослабить и искоренить их» [1]. Так стоит вопрос о прибыли.

Второе.— «Отступлением из принципа, основанного на сущности дела, являются те случаи, когда материалы или силы природы, существующие независимо от труда, доставляются природою или в количестве, допускающем обращение их под власть отдельных людей, или даже в количестве, меньшем того, какое было бы нужно людям; в этих случаях, при известном состоянии общества, возникает монополия таких предметов и сил». Задача науки здесь: «рассмотрение экономической роли этого феномена и об'яснение степени его соответственности с потребностями человека и с экономическим расчетом» [2]. Так стоит проблема ренты.

Третье.— Наличие этих двух отклонений от нормального принципа извращает самый принцип. Вместо вознаграждения за труд, равного «всей сумме продуктов, бывающих результатом труда», выступает «рабочая плата — сумма предметов, получаемых трудящимся, если он трудится не в свою собственную прибыль, а в прибыль хозяина» [3].

Изложенная, основная у Чернышевского, постановка проблемы капиталистического распределения производит двойственное впечатление. Четко направленная социальная заостренность не имеет сколько-нибудь строгой экономической опоры. Поспешность, с какою делаются социально-нормативные выводы, способна вызвать сомнение в том, выводы ли это, не готовый ли это ответ, известный автору до всякого исследования, не вытекающий из исследования, заменяющий собою исследование или даже подставляющий вместо научного исследования подбор аргументов. Но говорить так было бы несправедливо. В действительности то, что мы изложили, представляет доступную Чернышевскому и предопределенную его методологическими предпосылками форму об'ективной постановки проблемы распределения. Научная теория капиталистического распределения должна дать ответ на два коренных вопроса, органически связанных: 1) *что именно* распределяется, — вопрос *о поддежащей распределению субстанции* и 2) *как происходит* распределение, — вопрос *о механизме распределения.*

[1] «Милль», VII, 80.
[2] Ib., 150.
[3] Ib., 48.

Чтобы разрешить первый вопрос, необходимо подвергнуть исследованию *экономическую ткань* капиталистической системы как таковую, как материал, из которого построено здание капитализма, и притом как материал в его абстрактной форме, в форме абстрактной субстанции, безразличной к многообразию своих реальных проявлений. Маркс потому мог дать совершенную научную теорию распределения, что, направив анализ на элементарную форму богатства в капиталистическом обществе — на товар, выявил специфическую экономическую субстанцию товарного хозяйства (абстрактный труд), имеющую свою имманентную форму существования в стоимости. Таким образом оказалось, что всякое деление и сочетание богатства (в том числе и распределение доходов), происходящее в товарно-хозяйственной системе, может быть понято *лишь как деление и сочетание стоимостей*.

Чтобы разрешить второй вопрос — о механизме распределения — необходимо подвергнуть исследованию общественный способ создания экономической субстанции, подлежащей распределению. Распределение продуктов производства неминуемо (по природе дела) складывается в систему, обслуживающую и вызывающую такую расстановку этих продуктов как элементов и условий производства, при которой стало бы возможным и необходимым продолжение (повторение) производства. Распределение продуктов производства поэтому определяется самым непосредственным (почти рефлекторным) образом общественным способом производства. Маркс потому мог дать совершенную научную теорию распределения, что, раскрыв тайну товара, он вслед за тем раскрыл тайну капиталистического производства товаров, что, следовательно, открыв экономическую субстанцию товарно-хозяйственной системы, он затем открыл закон сохранения и умножения этой экономической субстанции при капитализме. Таким образом оказалось, что всякая форма распределения при капитализме есть не что иное, как выполнение соответственного требования капиталистической формы производства, что распределительные отношения представляют лишь иное выражение капиталистических производственных отношений.

При тех методологических предпосылках, которыми пользовался Чернышевский, ему были *принципиально недоступны* изложенные условия научной теории распределения. Мы видели, что капиталистические отношения стоимости он считал лишь неправильным способом общественного расчета и рассматривал их вне какой бы то ни было связи с производством. С другой стороны, законы производства и капиталистические социальные отношения он выводил и определял изолированно, противопоставляя одни другим как нечто принципиально непримиримое, как исторически случайно и неестественно существующую комбинацию, подлежащую устранению. Идея исторической определенности законов производства была начисто исключена методологическими основами системы Чернышевского.

Теоретическое бессилие Чернышевского в вопросах распределения отчетливо выступает в вышеприведенной формулировке «точной научной теории вознаграждения», представляющей основу его теории распределения: «С человеческой точки зрения весь продукт обязан своим возникновением труду; стало быть, весь он должен составлять принадлежность того самого организма, трудом которого создан». Но что означает «человеческая точка зрения», этот сколок антропологического принципа, в политической экономии? Раз'яснение Чернышевского гласит: «Продукт труда возникает

из сочетания трех основных элементов, из которых один вносится в него человеческим организмом, а два другие — внешнею природою: из материала, из сил природы, преобразующих этот материал, и из труда... Внешние предметы и силы внешних предметов *входят в экономический расчет* лишь тогда, когда бывают продуктами труда, и должны входить в него пропорционально количеству труда, употребленного на их создание» [1].

Положение Чернышевского очень тяжело. Что продукты обязаны своим возникновением, кроме труда, еще средствам производства и земле, невозможно отрицать. Как же тогда опровергнуть апологетические вымыслы буржуазной экономии, что продукт труда должен делиться между обладателями этих трех элементов производства? У Маркса, открывшего, что распределение продуктов при капитализме осуществляется при посредстве распределения стоимостей, не иначе, как в форме распределения стоимостей и лишь поскольку происходит распределение стоимостей, и знавшего, что стоимость создается только трудом, ложь вульгарной экономии опровергалась мимоходом. Но для Чернышевского, видевшего во «внутренней ценности вещей» одновременно и «коренное понятие труда» и потребительную стоимость и понимавшего капиталистическое распределение как и извращенное распределение продуктов, борьба с буржуазной экономией требовала огромного напряжения. Какая глубокая интуиция видна в стремлении Чернышевского разрешить проблему путем *противопоставления материальных элементов производства «экономическому расчету»*! Но ведь общественный «экономический расчет» при капитализме сливается с продуктами производства и существует в них как их свойство (стоимость); эта сверхчувственная воплощенность и образует способ, которым элементы производства вводятся в экономический расчет, так что последний реализуется в форме самостоятельного движения как будто внутреннего свойства продуктов. А Чернышевский искал некий верховный принцип экономического расчета, витающий над элементами производства, выбирающий между элементами производства и даже в попорченном историческими случайностями виде независимый от элементов производства. Оттого и самый принцип экономического расчета носит двойственный характер нерешенного вопроса: то ли его понимать в смысле имманентного и об'ективного, то ли в смысле нормального и должного.

Теоретическое преодоление теории распределения вульгарной экономии было для Чернышевского невозможно. Капитуляция была неизбежна. И действительно, в главе о трехчленном распределении продукта читаем: «Не к тому мы ведем речь, что не нужно было в науке раздробление продукта на три части (ренту, прибыль и рабочую плату), соответственно каждому из трех элементов производства (земле, капиталу и труду). Напротив, это очень нужно, совершенно необходимо для теории... Политическая экономия непременно должна разлагать продукт на доли, соответствующие разным элементам производства: ренту, прибыль и рабочую плату». И все, что метод Чернышевского может дать для аргументации против вульгарной экономии, выражено в следующих за этим фразах нашего автора, теоретически совершенно беспомощных: «Но этою частью дела, на которой останавливается господствующая теория, еще не исчерпывается вся задача науки... Разложив продукт на доли, соответствующие

[1] «Милль», VII, 150—151; курсив наш.

разным элементам производства, она должна искать, какое сочетание этих элементов и долей дает наивыгоднейший практический результат. В чем тут состоит задача, понятно каждому: надобно отыскать, при каком сочетании элементов производства данное количество производительных сил дает наибольший продукт» [1].

Мог ли Чернышевский, не ответив на вопрос о природе распределяемой субстанции, разрешить вопрос о механизме распределения? Разумеется, нет. Все, что было ему доступно, это ссылка на конкуренцию. И действительно, он пишет: «Форма трехчленного распределения предполагает, что из трех элементов производства каждый особо принадлежит отдельному классу, *и доля из продукта, достающаяся этому классу*, определяется соперничеством» [2].

И в самом деле, каким бы образом мог продвинуться глубже этой поверхности волнений современной экономики человек, не исследовавший процесса капиталистического производства? Чернышевский не понимал природы общественного экономического расчета при капитализме. Это значит, он не знал, каким образом, на основе каких закономерностей вводятся при капитализме в экономический расчет факторы производства. Чернышевский считал непререкаемым принципом, что по природе дела экономически учитывается лишь труд и то, что носит на себе печать труда. Но Чернышевский не понимал, *каким образом труд — как источник богатства — входит в экономический расчет* в современном хозяйственном строе: он не знал труда, создающего стоимость. Но раз так, ему невозможно было знать, *каким образом* при капитализме *вводится в экономический расчет труд как элемент производства*. Что же удивительного в том, что, хорошо зная факт эксплоатации наемного рабочего [3] и в значительной мере на этом факте строя свою социалистическую аргументацию, Чернышевский не поднялся до сколько-нибудь научной теории прибавочной стоимости, что он нигде (даже в «Милле») совершенно не разрабатывает этого вопроса, будучи не в силах усмотреть в нем узловую проблему трехчленной системы распределения и даже соскальзывая, как мы видели, на грубое деление продукта соответственно элементам производства.

И при всем том представляет большой интерес следить за напряженными исканиями Чернышевского *около* проблемы. Это поучительнейший пример борьбы Чернышевского со своим методом. Метод заявляет: «Коренной-то вопрос состоит в том: *следует ли* труду быть товаром, *следует ли* ему иметь меновую ценность?.. Труд — не предмет отдельный от человека, т. е. не такой предмет, который дозволительно покупать и продавать, не такой предмет, которому следует иметь меновую ценность» [4]. Ищущая мысль Чернышевского отвечает: коренной вопрос в том, *может ли* труд быть товаром, *может ли* труд быть ценностью? «Труд не есть продукт. Он

[1] «Милль», VII, 363—364.
[2] «Милль», VII, 371; курсив наш.
[3] Так, в статье «Капитал и труд» читаем: «По распределению ценностей общество распадается на два разряда: экономическое положение одного из них основывается на том, что в руках каждого из его членов остается количество ценностей, производимых трудом многих лиц второго разряда; экономическое положение людей второго разряда состоит в том, что часть ценностей, производимых трудом каждого из его членов, переходит в руки лиц первого разряда» (VI—27).
[4] «Милль», VII, 436.

еще только производительная сила, он только источник продукта. Он отличается от продукта, как мускул от поднимаемой мускулом тяжести, как человек от сукна или хлеба» [1]. Метод говорит: однако, это факт, что в современном быту труд есть товар и продается в качестве ценности; и задача теории поэтому в том, чтобы доказать ненормальность этого факта, представляющего лишь количественное отличие от невольничества [2], и чтобы нынешний нездоровый строй противопоставить естественному, в котором труд не будет товаром. Неугомонная мысль Чернышевского не слушает и продолжает искать: труд есть норма ценностей, их мера, их источник — он не может поэтому сам быть ценностью; «мерилом предмета или понятия, конечно, не может служить сам предмет или само понятие,— для этого нужны другой предмет, другое понятие, находящиеся в тесной связи с измеряемыми, как их источники, причины или результаты, но совершенно различные от них; господствующая теория только потому и не могла понять норму ценности, что причислила труд к ценностям» [3].

Сознание Чернышевского, как видим, почти вплотную подходит к необходимости об'яснить факт наемного труда продажей не труда, как это делает известная ему политэкономия, а чего-то отличного от труда. Но достаточно бегло просмотреть *форму* исканий Чернышевского, чтобы не осталось сомнений, что открыть товар—рабочую силу—ему невозможно. Вырываясь от своего метода, Чернышевский тянет за собой важнейшие из его заветов, будучи органически не в силах избавиться от них. Чернышевский ищет разрешения глубоко уловленного им противоречия на пути натуралистических противопоставлений труда продукту и на пути внеисторических категорий «внутренней ценности» и нормы внутренней ценности. При таких условиях безоружные искания не могли не превратиться в случайные блуждания, и победа ошибочного метода, поддерживаемого огромным логическим инстинктом Чернышевского, была неизбежна.

2

Рассмотрим заработную плату, прибыль и ренту в понимании Чернышевского.

Заработная плата.—С нее начинает Чернышевский разбор трех элементов трехчленного распределения. Не связав ее с производственным процессом, не пойдя дальше совершенно общего положения, что заработная плата есть «оплата труда с дисконтом», поставив ее, следовательно, в зависимость от одной лишь конкуренции, Чернышевский с первых же строк оказывается в плену теории «фонда рабочей платы». Анализ заработной платы у Чернышевского есть в основном критический аккомпанимент к теории фонда,

[1] «Милль», VII, 493.
[2] «Чем же отличается покупка труда от покупки человека? Только двумя обстоятельствами: во-первых, продолжительностью времени, на которое совершается продажа, во-вторых, степенью власти, какую дает над собой продающийся покупающему. Но очевидно, что то и другое различие — различие только количественное, а не качественное, только по степени, а не по основному характеру. И притом прямо так называемая покупка человека может принимать формы, ничем не отличающиеся от так называемой покупки труда, и по этим обоим отношениям... Юрист и администратор могут интересоваться разницею между покупкою труда и невольничеством; но политико-экономист не должен» (ib., 437).
[3] «Милль», VII, 493.

проводимый в характерных для нашего автора методологических формах. Вот резюме: «При данном состоянии нации величина рабочей платы определяется пропорциею между суммою капитала, идущего на рабочую плату, и числом людей, нанимающихся в работу. Чем больше число этих людей, тем ниже уровень рабочей платы. Чем ниже уровень рабочей платы, тем больше выгоды нанимателям труда». «Если размножение не сдерживается какими-нибудь средствами, рабочая плата быстро падает до минимума, и дальнейшее ее понижение задерживается только физическою невозможностью поддерживать жизнь при меньшей величине ее. Постоянно возникающий излишек населения постоянно уносится последствиями материальной нужды» [1].

Критический аккомпанимент, которым Чернышевский сопровождает принимаемую им теорию фонда рабочей платы, в сущности не больше, чем характерное для него осуждение такого положения, которое буржуазная экономия стремится оправдать в качестве якобы естественного. Чернышевский нарочито подчеркивает, что «при трехчленной системе распределения необходимо приискивать искусственные средства, чтобы отвратить излишек размножения и избавить общество от его убийственных последствий»[2]. Это по Чернышевскому единственно мыслимый ответ на проблему заработной платы, и из «политико-экономов почти ни у кого недостает характера, чтобы понимать всю суровость представляющейся им задачи». Но для Чернышевского не может быть сомнений, что искусственное регулирование размножения — чистейшая фантазия; отсюда его убеждение в невозможности улучшить положение рабочего класса при капитализме [3]. Он считает несостоятельными все проекты повышения зарплаты, предлагаемые экономистами, называет их бессильными паллиативами, обнаруживая при критике этих проектов замечательное чутье жизни и тонкое остроумие [4].

Но рассуждения Чернышевского о заработной плате далеко не ограничиваются социалистическим толкованием теории фонда. Вопросы заработной платы Чернышевский видел чрезвычайно многосторонне и в большом числе связей. Он видел влияние машин [5], понимал значение женского и детского труда [6], дал критику теории компенсации, оценил значение отставания сельского хозяйства для движения заработной платы [7], отметил влияние международной миграции рабочих [8]. Наконец, в связи с законами

[1] «Милль», VII, 388, 375.
[2] Ib., 375.
[3] «Размножение — пишет Чернышевский — может войти в надлежащие границы, а рабочая плата может иметь удовлетворительную высоту лишь тогда, когда ход промышленных дел будет основываться не на наемной работе; иначе сказать, величина рабочей платы может быть удовлетворительна лишь тогда, когда в действительности не будет наемного труда, т. е. не будет и рабочей платы,— когда в действительности этот элемент будет сочетаться в одних руках с прибылью, когда отдельные классы наемных работников и нанимателей исчезнут, заменившись одним классом людей, которые будут работниками и хозяевами вместе» (ib.—388).
[4] Нельзя в этой связи оставить без внимания рассуждения Чернышевского о «праве на работу», «провозглашенном людьми, которые не имели решимости идти до конца, но не имели бездушного тупоумия говорить, что общество ничего не может сделать в пользу массы» («Милль», VII, 380—381).
[5] Но об'яснял его своеобразно и во многом неправильно. См. «Милль», VII—182.
[6] Ib. 392.
[7] Ib. VII, 527.
[8] Ib. VII, 388.

прибыли, он пытался установить добавочную тенденцию к падению заработной платы [1]. Но все это разнообразное обилие аргументов, часто не развитых научно, но всегда глубоко захватывающих экономическую жизнь, не могло не остаться в рассыпанном виде, ибо необходимого условия целостной аргументации, сцепляющей воедино различные доводы,— увязывания проблемы заработной платы с процессом капиталистического производства — Чернышевский не имел.

Прибыль. — Здесь игнорирование капиталистического производственного процесса оставляет доступными для Чернышевского лишь чисто описательные и теоретически ошибочные положения. Вот центральное из них: «При трехчленном делении продукта затраты на производство делает капиталист: за вычетом этих расходов остается ему из продукта доля, называющаяся прибылью. Она состоит из нескольких элементов. Часть ее служит капиталисту вознаграждением за то, что он обратил на производство свой капитал; эта часть называется в строгом смысле слова процентами на капитал. Из остающегося, за вычетом этих процентов, излишка прибыли часть служит вознаграждением за риск предприятия. Другая часть излишка служит вонаграждением за труд управления делом. Каждый из этих трех элементов прибыли очень часто отделяется от других» [2]. Чернышевский, следовательно, придерживался своеобразной теории *вменения* отдельных частей прибыли отдельным функциям капиталиста. Вопрос о создании прибыли Чернышевский не включает в свои рассуждения, и его знания о прибавочной стоимости остаются без приложения к развиваемой им теории прибыли. Для него характерен своеобразный прагматизм в постановке проблемы прибыли, который может быть выражен так: не может быть капиталиста без прибыли, а так как в современном строе хозяйничают капиталисты, то должна существовать и прибыль. Каковы реальная природа и источники этой прибыли, процесс ее возникновения, ее границы — все эти вопросы Чернышевским просто не ставятся. Все, что он знает по вопросу о границах прибыли, это то, что она находится в обратном отношении с рабочей платой, но т. к. он отожествляет рабочую плату со всеми издержками производства (в соответствии со смитовским сведением всего продукта к v+m), то это положение есть не что иное, как констатирование, что разность и вычитаемое стоят друг с другом в обратном отношении. Никакого анализа экономического содержания этого обратного отношения прибыли и зарплаты у Чернышевского, по самой постановке вопроса, найти нельзя. Нечего и говорить, что возможности одновременного возрастания той и другой Чернышевский допускать не мог.

Основным законом развития прибыли Чернышевский считает тенденцию к росту.

«Ни Рикардо, ни кто другой из политико-экономов смитовской школы не обратили надлежащего внимания на результаты, происходящие от свойства прибыли и в особенности от свойства процентов расти по геометрической прогрессии»[3],— говорит Чернышевский и строит на вычислении сложных процентов длинные цифровые ряды. Бурно ускоряющийся темп возрастания прибыли, полученный таким образом, он сопоставляет с ростом

[1] «Милль», VII, 523—524.
[2] Ib. VII—393.
[3] Ib., 398.

богатства (суммы продукта), несравненно более медленным (ибо процент возрастания здесь берется значительно меньший); и вот готов вывод: «Прибыль имеет постоянную тенденцию развиваться до того, чтобы захватывать как можно большую долю из фонда рабочей платы; она стремится поглотить весь этот фонд и останавливается в таком стремлении лишь материальною невозможностью для работника существовать иначе, как при известной величине рабочей платы». Наивная аргументация арифметикой процентов ведет свою историю от младенчества политэкономии, она не требует даже критики. Но всякая наивность имеет свою логику: логика теории Чернышевского о «силе сложных процентов» [1], создающей тенденцию прибыли к возрастанию, заключается в пренебрежении проблемою капиталистического производства.

Чернышевский видит совершенную нереальность тех норм и темпов, к которым его приводит «сила сложных процентов». Чтобы примирить с действительностью полученную им тенденцию прибыли, он формулирует несколько контртенденций, важнейшие из которых обусловлены «натурою человека», условиями возрастания рабочего населения в «высоко развитом обществе» и тенденцией земельной ренты, которая в отношении прибыли играет — по Чернышевскому — ту же роль, что прибыль в отношении зарплаты [2].

Земельная рента.— Чернышевский исходит из Рикардо и занимается только дифференциальной рентой, подобно Рикардо связывая ее с последовательным переходом к обработке худших земель [3]. Но так как он не опирается на предварительное исследование капиталистического процесса производства, то все время колеблется между двумя противоположными пониманиями ренты. С одной стороны, рента есть вычет из прибыли [4]; следовательно, имеет своим прямым источником прибыль. С другой стороны, рента *противостоит прибыли и рабочей плате*, как сама прибыль противостоит рабочей плате и имеет «тенденцию поглотить прибыль и рабочую плату» [5]; следовательно, основана на некоем самостоятельном от прибыли источнике.

Тенденцию ренты к абсолютному и относительному росту Чернышевский с присущей ему наблюдательностью видит отчетливо, но обосновывает он ее такой же цифровой игрой, как и тенденцию прибыли. И здесь описываемый им механизм роста движется на холостом ходу, совершенно изъятый из сферы экономической реальности. И здесь Чернышевский вынужден приспособить его к действительности, дополняя свою схему препятствиями к осуществлению тенденции. Препятствия росту ренты он видит в «действии двух сил, совершенно противоположных по влиянию на общественное благосостояние, но совершенно одинаково действующих на ренту». «Первая из этих сил — сила, совершенно посторонняя трехчленному делению продукта, сила цивилизации, прогресса, усовершенствований. Общая формула всякого прогресса состоит в том, что он уменьшает силу неравенств. Таким образом низшая норма успешности дела, норма, определяющая ренту, значительно облегчается» [1]. Вторая сила «находится в самой чрезмерности стремления ренты возрастать: рента идет к поглощению прибыли и рабочей платы, т. е. к низвержению трехчленного деления продукта, к замене его формою устройства, еще менее удовлетворительною,— формою, при которой и предприниматель и работник потеряли бы самостоятельность, сделались бы принадлежностью землевладельца, частью его собственности... Такая ретроградная тенденция отражается на производстве уменьшением его успешности... (что ведет—*Э. Л.*) к уменьшению самой суммы продукта, т. е. ведет к уменьшению населения; а при уменьшении населения, конечно, прекращается надобность возделывать последний из возделывавшихся прежде сортов земли, и от этого рента подрывает сама себя» [2].

Но среди этих слабых, совсем некритических положений, сама остроумность которых представляет надуманную игру в полумраке абстракции, внезапно сверкнет чистая глубина проблемы, освещенная социальной проницательностью нашего автора. Такова его полемика против утверждения политической экономии, что «рента вообще не увеличивает собою расходов производства». «Если смотреть на дело — пишет Чернышевский — только со стороны продажных цен при трехчленном делении продукта, оно действительно кажется так. Если бы капиталист не платил ренту, то кажется, что он продавал бы хлеб все-таки за ту же цену, за какую продает его при платеже ренты. Но совершенно иное открывается, когда мы, не останавливаясь на цене, феномене внешнем и случайном, разберем сущность дела» [3]. И переводя ренту из денежного счета в счет труда, Чернышевский на ряде таблиц показывает, что оплата ренты отвлекает от совокупного общественного труда все растущую долю, которая при отсутствии землевладельцев была бы обращена на обслуживание необходимых потребностей общества.

3

Изолирование экономических категорий капитализма от процесса производства и трактовка их как уклонений от некоей естественно-определенной экономической системы, два проявления общеметодологических предпосылок Чернышевского, лежат, как мы видели, в основе его теоретических злоключений в исследовании капиталистической экономики. При этом борьба, которую научный инстинкт Чернышевского вел с его ошибочным методом, принимает своеобразные формы. С одной стороны, конкретные особенности капиталистической системы стоят перед Чернышевским как ряд готовых фактов, требующих своего включения в общую теоретико-

[1] «Милль», VII, 403.
[2] «Милль», VII, 403—404 и 533—534.
[3] «Она — только излишек прибыли, остающийся в некоторых случаях по некоторым отраслям производства», «Милль», VII—401.
[4] Но Чернышевский угадывал и абсолютную ренту. Заявляя, что землевладелец уступит худшую землю даром, он оговаривает: «Разумеется, надобно понимать это относительно тех участков последнего сорта, которые лежат небольшими клочками среди лучшей земли. Они возделываются благодаря своему местоположению, но ничего не прибавляют к плате, получаемой землевладельцами за лучшую землю (VII—405). В одной из ранних статей (1854 г.) Чернышевский, однако, придавал абсолютной ренте большее значение: «Теория Рикардо совершенно основательна, но не совершенно полна; она об'ясняет только причину различия в ренте различных земель, не принимая, что и самая плохая из обрабатываемых земель приносит ренту, и не об'ясняя этого: она выводит ренту ниже действительной величины ее, потому что берет ренту только при достаточности, а не при недостаточности производства» («О земле как элементе богатства, А. Львова», I—138).
[5] «Милль», VII, 414.

[1] «Милль», VII—413.
[2] Ib., 414.
[3] Ib., 408—409.

экономическую схему. С другой стороны, эластичность логических границ этой схемы не приспособлена к тому, чтобы вместить в форме саморазвивающейся дедуктивной цепи многостороннюю систему капиталистической экономики. В самом деле, по Чернышевскому капиталистические формы не больше, чем уклонения от естественного экономического порядка, вызванные причинами, внешними по отношению к нему. Но такая постановка исключает самую идею монистического толкования законов капиталистической системы. Плюралистичность, а значит эклектичность, обоснований здесь совершенно неизбежна и лежит в природе дела. И действительно, мы были свидетелями, как при изучении капиталистических закономерностей метод Чернышевского теряет характер продуманности и внутренней цельности и рассеивается в виде разрозненных и случайных апелляций к разуму и психологии естественного порядка и в виде специальных, ad hoc построенных и друг с другом внутренне не связанных (а порою друг другу даже противоречащих) числовых выкладок. Можно поэтому утверждать, что никакой эвристической и теоретико-познавательной службы при об'яснении фактов капиталистической действительности, а тем более при распознавании и определении скрытых в этих фактах тенденций метод Чернышевского нести не мог. Мы несколько раз видели, как замечательный исторический и экономический инстинкт Чернышевского подсказывает ему в той или иной области ответ, близкий к правильному (часто даже совпадающий с правильным), а его логический инстинкт выдвигает сбоснование, близкое к его общеметодологической схеме (иногда совпадающее с нею). Такими верными ответами, конечно, никогда не идущими дальше самых общих формулировок, Чернышевский обязан своей способности вырываться из методологической сети (здесь, правда, основательно развязанной), хотя при этом он вовсе не преодолевает ее. Но гораздо больше случаев, когда невооруженный инстинкт обманывает Чернышевского или когда ошибочное обоснование затемняет и спутывает верную догадку или острое наблюдение. Многочисленные верные псложения Чернышевского о заработной плате, прибыли, ренте, об их соотносительном движении часто напоминают в его изложении кучу звеньев рассыпавшейся цепи, сложенных в порядке, не соответствующем природе ни звеньев ни цепи и в своей искусственности окрашенном в наивные тона «здравого» психологизма и веры в силу абстрактного числа. Собрать звенья в единую цепь, адэкватную капиталистическому способу производства, Чернышевскому не было дано. Неудивительно. Выводя капитал непосредственно из труда, следовательно, независимо от стоимости, Чернышевский закрывал себе путь к единственно научному пониманию капитала как самовозрастающей в процессе производства стоимости. Лишившись таким образом субстанциальной основы для учения о капиталистическом распределении, Чернышевский должен был самое это учение превратить в своеобразный вариант той теории, которая через полстолетия выступила в науке под названием социальной теории распределения. Поскольку природу капитализма Чернышевский сводил к природе капиталистического распределения, его учение о содержании современного хозяйственного строя оказалось лишенным научного скелета и расплылось на разрозненные логические струйки, не раз даже противоположно направленные.

И все же, хотя теоретическая мысль здесь обессилена и принижена, и даже верные положения строятся на ложных основаниях, так что глубина

этих положений есть глубина проницательности и предчувствия, но не научного анализа, — все же огромный и многосторонний ум Чернышевского делает его искания поучительным эпизодом в истории социалистической экономической теории.

IV. ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.— ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛИЗМА

Историческая миссия капиталистического способа производства — огромное и максимальной стремительности развитие производительных сил, невзирая на вызываемые этим развитием страдания человеческих масс, ценою этих страданий, ценою обезличения человека и прямого разрушения его жизни, словом — производство ради производства, непосредственно бессмысленный процесс, несущий в себе, однако, глубокий исторический смысл— подготовку материальных и социальных условий для общественного производства, этой тысячелетней мечты человечества об экономическом благоденствии и свободном развитии индивидуума. Чернышевский не понимал исторического места и исторической миссии капитализма, он казался ему извращением естественного порядка, порождением внешних причин, следовательно, почти историческим недоразумением. Отсюда неспособность занять об'ективную позицию по отношению к капиталистическим процессам, неумение об'ективировать экономические категории капитализма, приверженность к огульному отрицанию капиталистического процесса. Отсюда же неумение проецировать жизненные проблемы человеческого общества на экономическом экране капиталистического способа производства. Смещение масштабов и пропорций и изменение удельных весов, которым подвергаются отдельные из этих проблем и целые связки проблем, преломляясь в капиталистической производственной среде, не могли быть доступны Чернышевскому, раз он не понимал самого процесса капиталистического производства. Это обстоятельство наложило тяжелые путы на его теоретико-экономическую систему, связав его тем кругом и тем порядком проблем, которые он нашел у буржуазной экономии, не давая ему осознать, что тот совершенно новый подход к этим проблемам, который он выдвинул, и та оригинальная окраска проблем, которую он произвел, несовместимы со старой архитектоникой науки. В значительной мере поэтому происходит и то, что наиболее глубокие и истинные положения Чернышевского не сливаются с его теоретической схемой, а если и связаны с нею, то мнимою и логически незаконною связью. В последнем мы могли убедиться в предыдущей главе и еще ярче это выступит в последующем изложении, где огромный экономический инстинкт и острая наблюдательность Чернышевского предстанут пред нами в своем полном величии и где в то же время с неотразимой ясностью подтвердится замечание Гегеля: «То, что известно, еще не есть оттого познанное».

1

Чернышевский придавал незаслуженно большое значение проблеме народонаселения [1]. В его сознании гуманиста и человеколюбца высший и

[1] Из шести с половиной сотен страниц «Милля» целая сотня занята вопросами народонаселения, если же взять только собственный текст Чернышевского, доля будет еще больше.

конечный смысл хозяйственного процесса отожествлялся со свободой и радостью естественной жизни. Он ненавидел капитализм, потому что капитализм омрачал и извращал этот смысл, не давал ему осуществиться, а собственный смысл капиталистического способа производства был ему неизвестен. Но в буржуазной политической экономии проблема народонаселения противопоставлялась социальной проблеме, служила аргументом против последней и оправданием капиталистического строя. Приняв бой в той плоскости, которая ему предлагалась политической экономией, Чернышевский — в соответствии с общей своей установкой — взялся доказать, что мальтусова естественного перенаселения при «естественном экономическом порядке» быть не может.

Критику Мальтуса Чернышевский ведет в высшей степени умело и оригинально. Он прекрасно отдает себе отчет, с кем имеет дело. «Мальтус — пишет он — начал свои исследования с намерением защитить нынешний экономический порядок от упреков, делавшихся ему реформаторами... Прямым образом защищать обычаи и учреждения, являющиеся невыгодными для человеческого благосостояния, казалось ему невозможным»[1]. Чернышевский видит также невежество Мальтуса и легко показывает, что последний совершенно незнаком с фактами, которые берется обобщать, и что он «выписывает из математических книг цифры, происхождения и смысла которых не понимает сам» [2]. Но, что всего важнее, Чернышевский нащупал теоретический стержень мальтузианских рассуждений и сумел извлечь из этого все важнейшие выводы.

Чернышевский дает чрезвычайно удачную формулировку пресловутому тезису Мальтуса, такую, которая раскрывает путь к наглядному его опровержению. Вот эта формулировка: «Земледельческие усовершенствования не в силах уравновесить дефицит в продукте, являющийся от ослабления производительности земледельческого труда с возрастанием количества труда... Величина дефицита представляется в теории Мальтуса громадною, непобедимою» [3].

Отсюда задача критики оказывается в том, чтобы исследовать, *во-первых*, действительно ли размеры Мальтусова дефицита так огромны, а, *во-вторых*, действительно ли этот дефицит не может быть преодолен естественными экономическими средствами.

Чернышевский остроумно показывает, что если из прогрессий Мальтуса делать выводы «не по бессчетной фантазии, а по правилам арифметики», дефицит окажется совершенно ничтожным [4]. И вслед за этим направляет

[1] «Милль», VII—247.

[2] Ib., 269.—Таким образом, и в те годы, когда он относил Мальтуса к классикам политэкономии, Чернышевский оценивал его достаточно отрицательно. В дальнейшем эта оценка заостряется, и в одном письме 1877 года (из Вилюйска) Мальтус называется «пустым шарлатаном, на которого стоит лишь плюнуть». («Чернышевский в Сибири», вып. II, письмо от 21 апреля 1877 г.).

[3] «Милль», VII—253.

[4] Он исходит при этом из следующей трактовки содержания Мальтусовых прогрессий (геометрической для размножения, арифметической для увеличения продукта): «Ясно, по какому отношению возникают члены второй строки из членов первой: возрастающие в геометрической прогрессии прибавки к числу работников дают каждая одинаковую прибавку к продукту. Например, 1 новый работник, прибавившийся во втором периоде, увеличивает своею работою продукт на 1; 2 работника, прибавившиеся в третьем периоде, увеличивают продукт также только на 1; 4 новые работника четвертого периода и 8 новых работников 5 периода и т. д. увеличивают продукт также на 1. Очевидно, что производительность труда новых работников, прибавляющихся в каждом новом периоде, уменьшается в той же прогрессии, в какой возрастает количество этих прибавляющихся работников... Иначе говоря, Мальтусова теорема предполагает, что процент размножения работников служит процентом уменьшения производительной силы труда прибывающих работников» (254). По существу Чернышевский здесь правильно толкует Мальтуса. Плеханов за неточностями выражений и ошибочностью некоторых деталей просмотрел, что *в основном* Чернышевский здесь верно схватил жизненный нерв Мальтусова построения. Антонов приводит отзыв, данный Каутским в 1881 г. (т. е. когда он еще пытался примирить социализм с мальтузианством) о работе Чернышевского: «Мальтус так блестяще опровергнут им, что уже немыслимо спасти сочинения и личность Мальтуса» (Антонов — Н. Г. Чернышевский, 1910, стр. 4). Это, правда, несколько расходится с тем, как тот же Каутский в 1910 году толкует свое тогдашнее (1881 г.) впечатление от критики Чернышевского (см. предисл. к русск. изд. «Размнож. и развитие и т. д.»).

огромную силу критического удара против главного теоретического нерва мальтузианской лжи—против закона убывающего плодородия земли, на котором, как на внутренней предпосылке, эта ложь покоится и вместе с которым она стоит и падает. Ложность же этого «закона» Чернышевский понимал совершенно таким же образом, как ее понимает марксизм [1].

Вывод нашего автора из подробнейшего анализа мальтузианской теоремы гласит: «Ни в каком случае дефицит земледельческого продукта не может появляться от естественной невозможности предотвратить его. Если мы примем явно преувеличенную прогрессию ослабления производительности земледельческого труда, принимаемую Мальтусом, и если мы примем какой угодно краткий период удвоения (населения — *Э. Л.)*, хотя бы явно невозможный по устройству организма, мы все-таки получим, что для предотвращения дефицита нужно было бы усовершенствование земледельческой техники лишь в таком размере, который гораздо меньше действительного прогресса в земледельческом искусстве». И поэтому «на необозримое пространство времени отстраняется право приписывать закону природы человеческие бедствия. Все то будущее, о котором в силах мы судить или хотя воображать, и далекое течение времени за самыми пределами этого горизонта—очищено наукою от необходимости или какой бы то ни было надобности быть бедственным для человека» [2].

Но опровержением мальтузианской апологетики капитализма, скрывающейся за ламентациями об ужасах перенаселения, Чернышевский не ограничивается. Приняв бой на территории противника и выбив оружие из

[1] «Странно сказать,— пишет Чернышевский,— вот уже несколько десятков лет твердят экономисты, вслед за Мальтусом, о прогрессивном уменьшении производительности земледельческого труда, а между тем до сих пор никто не позаботился собрать какие-нибудь статистические данные, относящиеся к этой прогрессии,—никто даже не сообразил, что это было бы нужно: что пока этого не будет сделано, об уменьшении производительности земледельческого труда можно будет рассуждать лишь совершенно наобум, как рассуждал Мальтус, как рассуждают до сих пор» (VII—253). Что же касается теоретического анализа проблемы убывающего плодородия, то Чернышевскому принадлежит замечательная по простоте и исчерпывающей содержательности аргументация: «Положим, например, что существует в известной стране трехпольное хозяйство с известными посевами и что земля возделывается плугами и боронами известного устройства. Если все это остается в прежнем виде, а число населения и число хлебопащев удвоится, то земледельческий продукт не будет достигать величины, вдвое большей прежнего. Но если трехпольное хозяйство заменилось лучшим севооборотом, или при сохранении трехпольного хозяйства улучшилось качество посева, или введены лучшие способы пахания, или улучшилось устройство орудий, то усиление производительности, приносимое этими улучшениями, может дать при удвоении числа работников продукт не только вдвое больший, но и слишком вдвое больше прежнего» (VII—255).

[2] «Милль», VII—281, 283.

его рук, Чернышевский направляет оружие своего противника против него самого. Разрушив корыстную легенду Мальтуса о *естественных* границах человеческого благополучия, Чернышевский *эти же самые границы* об'являет *противоестественной* причиной современных экономических страданий масс. Он пишет: «Мальтус был прав, говоря, что с размножением населения является непобедимый никакими земледельческими улучшениями дефицит земледельческого продукта,—дефицит, производящий нищету с ее последствиями. Мальтус ошибся только тем, что остановился на одновременности этих двух явлений и голословно назвал одно из них причиною другого, между тем как связь между ними только связь одновременности, а не причинности, и происходят они не одно из другого, а каждое имеет свою особенную причину... Дефицит производится тем, что, несмотря на успехи цивилизации, еще остается в жизни общества слишком много отношений, искажающих характер цивилизации» [1].

Две причины вызывают, по Чернышевскому, дефицит земледельческого продукта в современном хозяйственном строе. *Первая:* «несоразмерное нуждам науки и размеру успехов земледельческой техники отвлечение рук от земледелия к другим занятиям или переход их к праздной жизни» [2]. В силу этой причины дефицит должен оказаться гораздо большим, нежели тот, о котором шла речь до сих пор и который брался в предположении неизменного числа земледельческого населения. *Вторая*: малая прибыльность капитальных вложений в сельском хозяйстве, отвлекающая «рассудительных людей» от совершенствования земледелия. Эта причина затрудняет борьбу с дефицитом, быстро возрастающим согласно первой причине [3].

Какая слабая позитивная аргументация после сокрушительной критики, данной Мальтусу! Следствия выдаются за причины, вопросы считаются решенными там, где они только удовлетворительно сформулированы, а последнею инстанцией об'являются естественные нормы: в первом случае абстрактные «нужды науки», во втором — туманная и невыясненная, но по всей видимости природная особенность земледелия [4].

Чернышевский видел *факт* перенаселения при капитализме. Он хорошо понимал, что это перенаселение не может быть приписано естественным причинам. Он понимал, таким образом, его *историческую относительность*. Но не исследовав капиталистического способа производства, он был бессилен раскрыть действительные корни и действительный характер перепроизводства людей при капитализме, этого избыточного населения при избыточном производстве, и об'яснял его недостатком продуктов питания, т. е. недостаточным производством. Относительное перенаселение капиталистического общества он обосновывал, таким образом, аргументами от абсолютного перенаселения. Какое поразительное чутье экономической жизни заключается в следующей фразе Чернышевского, звучащей прямо как афоризм: при системе трехчленного распределения «каждая страна уже имеет излишек населения, как скоро перестала быть пустыней» [1]. Но создать *теорию относительного перенаселения*, т. е. научно обосновать свое замечательно верное наблюдение, *Чернышевскому не было дано*.

[1] «Милль», VII—290. И несколько дальше: «Он неотвратим при их существовании, хотя бы размножалось население, хотя бы не размножалось. Пока они существуют, остаются в полной силе действия над обществом те выводы мальтусовой теории, которые нимало не оправдываются теориею производства. Пока существуют те обстоятельства, масса не может выбиться из нищеты с ее последствиями» (303).

[2] Ib., 291.

[3] Но ежели бы вместо капиталистов само общество занялось экономическим расчетом, то оно «руководилось бы тут вовсе не расчетом процентов прибыли на капитал, а просто потребностью избежать страданий, которые были бы порождены земледельческим дефицитом; без всякой потери для общества могут быть обращаемы на производство земледельческих улучшений все те руки, которые не заняты выгодным для общества производством; какова бы ни была прибавка от их труда к земледельческому продукту, она будет составлять чистый выигрыш». «А пока дело идет о снабжении общества достаточным продовольствием, выгодным для общества трудом бывает лишь производство предметов необходимости» (VII—295).

[4] К каким невероятным ошибкам приводит Чернышевского эта аргументация, видно из того, что в связи с нею он высказывает положение, что ежели бы в сельском хозяйстве нужны были только высокоприбыльные капитальные вложения, не «существовало бы нищеты в Европе» (ib., 292).

2

Позиция Чернышевского в вопросе народонаселения характерна для его отношения к проблемам экономического развития вообще. Это — *реабилитация естественного прогресса*. В противовес буржуазной науке, относящейся к законам капиталистического развития как к естественным экономическим законам, Чернышевский каждое явление современного хозяйственного процесса *разлагает на «коренную сущность» и «внешнюю форму»*. Внешняя форма при капитализме извращает и омрачает внутреннюю сущность экономического процесса. И реальное экономическое явление при капитализме есть уклонение от естественной линии прогресса, представляющее результат *борьбы* двух сил — абстрактной и внутренней тенденции прогресса,— с одной стороны, и препятствий к ее осуществлению, порожденных внешними историческими условиями [2],— с другой стороны. Если буржуазная экономия, стремясь реабилитировать капитализм, об'являла его естественным порядком общества, то Чернышевский, стремясь осудить капитализм, противопоставлял его естественному порядку, который в его глазах таким образом реабилитировался.

Приведем два примера этой реабилитации естественного порядка в дополнение к рассмотренной реабилитации естественного закона народонаселения. В примечаниях к Миллю Чернышевский специальную главу посвящает «неприятности труда». Ее идея в следующем: «Почти все роды труда, и в том числе все важные роды его, имеют по своей сущности приятность или привлекательность, которая далеко превышает их неприятную сторону, если даже есть в их сущности неприятная сторона (существование которой сомнительно)», так что «почти все неприятные ощущения производятся не самою сущностью труда, а только внешнею, случайною обстановкою его»; а эта обстановка создается «такою организациею общества, которая была устроена для деятельностей, совершенно не похожих на труд и требующих характера отношений, противоположного тому, какой нужен для труда» [3].

[1] «Милль», VII, 380.

[2] «По истории оказалось,—пишет Чернышевский,—что нынешние экономические формы возникли под влиянием отношений, противоречащих требованиям экономической науки, несовместных ни с успешностью труда, ни с расчетливостью потребления,— словом сказать, представляют собой результаты причин, враждебных и труду и благосостоянию. Например, в Западной Европе экономический быт основан на завоевании, на конфискации, на монополии» («Начала народного хозяйства, В. Рошера», VIII—140).

[3] «Милль», VII, 71, 74, 75.

Так же ставится Чернышевским вопрос о влиянии разделения труда на работника. «Принцип разделения труда сам по себе очень согласен с физиологическими потребностями человеческого организма и (мы) можем только заключать из этого, что если бы нашлась в действительности какая-нибудь форма производства, противная гигиеническим условиям, то вред человеческому здоровью наносился бы естественно этою формою, а не принципом разделения труда, только неудачным, односторонним его применением, а не сущностью его» [1].

Резюмируя свою оценку разделения труда при капитализме, Чернышевский дает формулировку, характеризующую его установку во всей проблеме капиталистического прогресса: «*Мы имеем две формулы, соединение которых дает тот вывод: элемент, развитие которого необходимо для благосостояния, гибелен для массы людей своим развитием... К подобному выводу сводятся почти все вопросы политической экономии*. Долго недоумевали мыслители, как разрешить *эту антиномию*. Сначала им показалось, что она неразрешима, и знаменитейший приговор в этом смысле был произнесен Мальтусом: страдания — неизбежная участь массы. *Но теперь вся штука раз'яснилась иначе*» [2]. Чернышевский, как мы знаем, эту «антиномию» капиталистического развития раз'яснил учением о том, что естественный экономический прогресс задерживается в своем поступательном движении препятствиями, вырастающими из современного устройства экономического быта. Но что же такое самый этот естественный прогресс? Плеханов верно подчеркивает неясность, отвлеченность, расплывчатость представлений Чернышевского о прогрессе [3]. В качестве основы выступает «развитие науки», оно «служит общим источником всех других (сторон прогресса): благодаря ему совершенствуется техника, уничтожаются варварские учреждения и дикие обычаи, распространяется участие в гражданских правах на массу населения» [4], причем «общая формула всякого прогресса состоит в том, что он уменьшает силу неравенства» [5].

Совершенно ясно, что при всей своей социальной остроте формулировка, которую Чернышевский дает «антиномии» капиталистического развития, была бессильна вскрыть реальное содержание движущего механизма современного экономического строя, а следовательно, его исторические корни, его историческую предопределенность и развитие условий его конца. Неизбежность гибели капитализма Чернышевский не мог выводить из нарастания его внутренних противоречий, а должен был доказывать положением об усилении противоречий между трехчленной системой распределения, с одной стороны, и требованиями естественного прогресса, т. е. науки, разума, абстрактного интереса нации или человечества и т. д., с другой стороны.

В чем Чернышевский видит источники препятствий, все в возрастающей мере воздвигаемых трехчленной системой распределения на пути

[1] «Милль», VII, 85.
[2] Ib., 184—185; курсив наш. — *Э. Л.*
[3] Но Плеханов не прав, заявляя, что Чернышевский различал *прогресс сам по себе* от экономического прогресса. Экономический прогресс у Чернышевского входил составной частью *в общий естественный прогресс* (который как целое противопоставлялся влияниям, идущим от трехчленной системы) и представлял «силу, совершенно постороннюю трехчленному делению продукта, силу цивилизации, прогресса, усовершенствований» («Милль», VII, 413).
[4] Ib., 183.
[5] Ib., 183.

естественного экономического прогресса? Во-первых, в том, что эта система означает невыгодное для общественного прогресса распределение покупательной силы, в форме которой выступает здесь распределение продукта; во-вторых, в том, что эта система вызывает рост экономического неравенства.

Все, что в очень разнообразном изобилии написано Чернышевским по поводу первого из этих двух источников — невыгодного для прогресса распределения покупательной силы — может быть сведено к четырем проблемам, разумеется, тесно между собою связанным в качестве взаимодействующих и друг в друга переходящих.

Во-первых.—При трехчленной системе нарушается научный принцип общественного экономического расчета. По Чернышевскому, из «сущности дела» вытекает классификация всех родов труда на абсолютно-выгодные, абсолютно-убыточные и такие, степень выгодности которых определяется в зависимости от степени материального благосостояния и размера средств, достигнутых обществом [1]. Из предыдущего мы знаем, что принцип общественного расчета заключается в том, чтобы распределить труд общества таким способом, при котором он не тратился бы на обслуживание высших потребностей, когда еще не удовлетворены низшие. Между тем, в современном хозяйственном строе распределение труда следует за распределением покупательной силы, а это последнее лишь выражает распределение продукта. Поэтому распределение труда «начинается с удовлетворения высших (потребностей), а на низшие оставляется только то, чему случилось остаться» [2]. Далее, мы знаем, что трехчленная система распределения представляет нарушение естественного принципа вознаграждения и что ее тенденцией является рост прибыли по сравнению с заработной платой и рост ренты по сравнению с зарплатой и прибылью, вместе взятыми. Отсюда прямо вытекает, что чем дольше существует трехчленная система деления, тем больше покупательной силы уходит на «фальшивые потребности», на роскошь, на «общественные дурачества» [3]. Тем больше, следовательно, становится расхождение между существующим распределением труда, с одной стороны, и требованиями науки и верховного принципа хозяйствования — с другой.

Во-вторых.— Невыгодность для общества современной системы распределения покупательной силы вытекает из факта торговли. Ныне «всякое возвышение экономической деятельности становится увеличением обменов между хозяйственными единицами, так что наконец при высоком развитии такого быта торговые обороты владычествуют, повидимому, над всею экономическою деятельностью» [4]. По этой причине происходит отвлечение «самых деятельных и даровитых людей от производства, в котором всего полезнее были бы для общества их способности, к торговле, в которой

[1] См. подробнее «Милль», VII, 65.
[2] Ib., VII, 61.
[3] Об отношении науки трудящихся к роскоши см. VII—68, об «общественных дурачествах»—там же, 330. Ср. также отношение Чернышевского к Миллю, видящему наличие большого излишка в современных странах, поскольку они непроизводительно потребляют значительную часть годичного продукта, и сожалеющему, что этот излишек неравномерно и неразумно распределяется. Чернышевский считает этот миллевский излишек мнимым и указывает: «Надобно жалеть не только о том, что мнимый излишек... распределяется и употребляется дурно, надобно еще больше жалеть о том, что нация обольщается, воображая, будто имеет излишек, когда вовсе не имеет его» (86—7).
[4] Ib., VII, 494.

силы их обращены не на увеличение продукта, а только на разные перестановки уже готового продукта». Число торговцев очень велико, потому что «столько их может прожить в убыток обществу торговою прибылью» [1].

В-третьих.— Невыгодность распределения покупательной силы в современном обществе вытекает из основанных на этом распределении периодических кризисов. Чернышевский прямо формулирует: «Корень этого бедствия заключается в отделении покупательной силы от производства и потребления» [2]. Он высмеивает об'яснение кризиса кредитными явлениями. Его не удовлетворяет также миллевское толкование кризиса с «одной коммерческой стороны процесса». Чернышевский считает, что надо рассмотреть отношение между производством и потреблением, чтобы дойти до источника причин кризиса. И тогда обнаруживается «противоречие действительности с экономической теорией». «Теория предполагает, что производство ведется по расчету сбыта на потребление; в таком случае производство никогда не может оказаться чрезмерным... Но регулируясь спекуляциею, производство увлекается работать не по расчету потребления, опережать размер сбыта на действительное потребление. От этого происходит периодический излишек производства над потреблением, ведущий к остановке в производстве... Усиленный поток производства не успел еще дойти до области потребления, как он уже сжимается, сохнет, по бессилию спекуляции питать его долгое время» [3]. «Сбыт не идет размеренным шагом, как потребление; он вечно находится в лихорадочных пароксизмах, и крайняя энергия сменяется в нем совершенным бессилием. К довершению гибельности невозможно заблаговременно предусматривать ни времени, ни продолжительности этих перемен, ни интенсивности каждой из них. Потому производство капиталиста подвержено беспрерывным застоям, а весь экономический порядок, основанный не на потреблении, а на сбыте, подвержен неизбежным промышленным и торговым кризисам, из которых каждый состоит в потере мильонов и десятков мильонов рабочих дней. Эти кризисы, эта насильственная утрата рабочего времени невозможна при производстве, мерилом которого служит потребление» [4].

Как видим, в теории кризисов ищущая мысль Чернышевского зарывалась глубже кого бы то ни было из предшественников Маркса в экономическую подпочву капитализма, с изумительной чуткостью улавливая фальшь существующих толкований кризиса [5] и угадывая коренную причину этого сложнейшего явления капиталистического хозяйства (противоречие между производством и потреблением при капитализме). Но Чернышевский оказался не в силах раскрыть внутренние связи проблемы и превратить гениальную догадку в научное об'яснение. Бесскелетная формула распределения покупательной силы толкает к уже совершенно бесформенному положению об «отделении покупательной силы от производства и потребления», а это положение неизбежно расплывается в рассуждения о торговле как причине кризисов, рассуждения, растворяющие все специфические отличия капитализма в общих определениях обмена. Отнесение к спекуляции всего круга факторов, составляющих содержание взлета капиталистического накопления в фазе под'ема, снова и снова отражает *отсутствие исследования капиталистического производства* у Чернышевского, эту роковую границу всех его теоретических построений [1].

В-четвертых.— Неправильное, не соответствующее теории распределение покупательной силы при трехчленной системе «замедляет успехи производства и ослабляет успешность труда» [2]. Это связано с положением и перспективами крупного производства в современном экономическом строе.

Крупное производство для Чернышевского обесспорное веление теории, следствие и составная часть верховного принципа экономической деятельности, непреложное условие «устройства, допускающего нацию извлекать полную выгоду из естественных средств страны» [3]. «Коренная черта экономического прогресса с технической стороны — расширение производительной единицы по мере успехов сочетания труда; все отрасли производства постепенно принимают фабричный размер» [4]. Но «повсюду успех производства является произведением двух факторов: один из факторов — степень совершенства производительных операций, другой фактор — качество труда или, что то же, качество работника, исполняющего эти операции» [5]. Первый связан с разделением труда, моментом, искаженным при современном строе; второй достигает для крупного производства подлинного развития лишь при самостоятельности трудящегося, т. е. при уничтожении наемного труда [6]. Вот почему в современной экономической системе «хозяйственная единица не имеет значительного размера, требуемого теориею, и не может, по недостаточному своему об'ему, совместить занятие множеством нужных человеку производств с высоким разделением труда в каждом производстве» [7]. Это положение следует понимать двояко. Оно означает, во-первых, что укрупнению производства кладется известный предел современною системой хозяйства и, во-вторых, что и в доступных при этой системе пределах не может быть достигнута наилучшая степень успешности труда [8].

---

[1] «Милль», VII, 500.
[2] Ib., 485.
[3] Ib., 484—85.
[4] «Капитал и труд», VI, 43.
[5] Нельзя не отметить умного отзыва Чернышевского о реакционных фантазиях Мальтуса и Сисмонди — устранить капиталистические кризисы перепроизводства посредством перепотребления эксплоататорских классов. «Они делали,—писал Чернышевский,— фальшивое заключение, когда полагали, что прекращение роскоши могло бы усилить обременительность таких явлений, которые собственно и производятся непропорциональным со средствами общества распределением рабочих сил между производством предметов первой необходимости и предметов роскоши, слишком большою тратою труда на предметы роскоши и на занятия, совершенно непроизводительные» («Милль», VII, 101).

[1] Конечно, Чернышевский, выдвигая спекуляцию как непосредственную причину кризисов, считал ее неотделимой от капитализма, а значит и самые кризисы неустранимыми. Он писал: «Спекуляция — душа нынешней торговли. Восставать против спекуляции или стараться обуздать ее при нынешнем порядке — пустая трата слов, напрасная игра в бесплодные, стеснительные меры. Наука требует, чтобы вместо ребяческой борьбы с неизбежным результатом известного устройства мы занялись разбором и исправлением самого устройства, производящего такой результат» (VII, 500).
[2] «Милль», VII, 509.
[3] Ib., 380.
[4] Ib., 523.
[5] Ib., 211.
[6] Обоснование, которое Чернышевский дает последнему положению, мы приводим ниже, в большой цитате из «Милля» о смене форм труда.
[7] Ib., VII, 493—4.
[8] В статье «Капитал и труд» обоснование этого последнего положения систематизировано в виде трех причин, заключающих в себе моменты, уже известные нам: 1) «энергия труда пропорциональна степени участия трудящегося в продуктах», 2) «направление

Вывод (на примере сельскохозяйственного производства) [1] гласит: «Для хорошего хозяйства необходим большой размер полей. Для хорошего хозяйства необходимо, чтобы работники были хозяева, а не наемники. Пока эти условия не совместились в хозяйстве, оно будет плохо» [2]. Поэтому, чтобы открыть свободный путь естественному экономическому прогрессу, необходимо современную систему заменить «товариществами трудящихся».

Мы видим, что капиталистическая концентрация производства освещается методом Чернышевского совершенно извращенно. Концентрация производства, происходящая по законам капиталистической системы и в силу этих законов, есть, по Чернышевскому, линия естественного экономического прогресса, тормозящаяся капитализмом и находящая себе осуществление *вопреки* капитализму. Но, превратно поняв импульсы и движущие силы современной концентрации производства, Чернышевский не мог поставить и решить вопрос о пределах этой концентрации, а тем самым и вопрос о пределах капиталистического способа производства вообще.

Мы рассмотрели четыре направления, в которых распределение покупательной силы при трехчленной системе оказывается невыгодным для общественного прогресса. Наряду с ними и в связи с ними Чернышевский, как указано, особо выдвигает *рост экономического неравенства* при трехчленном делении продукта.

Из предыдущего мы знакомы с «верховным принципом распределения» Чернышевского, представляющим вознаграждение индивидуума по средней цифре, то есть равенство в распределении. Мы приводили также фразу Чернышевского, что «общая формула истинного прогресса состоит в том, что он уменьшает силу неравенства». Между тем, современный строй в своем развитии стремится углубить экономическое неравенство. Сосредоточивая внимание на этом факте, Чернышевский не ограничивается уже знакомыми нам заключениями о росте ренты относительно прибыли и зарплаты и росте прибыли относительно зарплаты. Он ставит кардинальный вопрос о «законе самобытного действия экономических принципов, управляющих движением частной собственности» [3]. Он предпринимает кропотливейшие расчеты, чтобы выявить последствия принципа наследования в области позе-

производства, характер продуктов, на которые обращен труд», 3) «кризисы невозможны при производстве, мерилом которого служит потребление». См. подробное рассуждение, Цит. соч., VI, 42—43.

[1] Чернышевский отчетливо понимает, что сельское хозяйство подчиняется тем же экономическим законам, что и промышленность. В этом вопросе он полемизирует с политэкономами (в частности с Миллем). Он убежден «в приближении коренной реформы земледельческого производства, реформы вроде той, какая произведена в мануфактурном деле открытиями конца прошлого и начала нынешнего столетий. Земледельческий процесс отличается от фабричного гораздо большей сложностью элементов, участвующих в нем... Этим об'ясняется, почему наука стала управляться с земледельческими вопросами гораздо позднее, чем с фабричными... Теперь она уже владеет значительной частью нужных по земледельческим вопросам сведений и быстро приобретает те, которых еще недостает ей. Из этого надобно заключать, что скоро исчезнут причины различия между земледелием и фабричной промышленностью по отношению к выгодности производства в большом размере» («Милль», VII, 209). Чернышевский придавал огромное значение Либиху и паровому плугу, тогда еще новинке. Говоря о теории народонаселения Чернышевского, мы уже имели случай указать на его оценку перспектив сельскохозяйственного производства при «естественном ходе дел» и при трехчленном делении. Ср. также «Милль», VII, 282.

[2] «Милль», VII, 210—11.

[3] «О поземельной собственности», III, 494.

мельной собственности, и приходит к следующему выводу: «Принцип наследственности постоянно и быстро влечет поземельную собственность к сосредоточению все в меньшем и меньшем числе рук, все более и более громадными массами. Действие этой преобладающей силы ускоряется действием имеющих одинаковое с ним направление принципов приданого, дарения и завещания. В нормальном ходе экономических отношений по тому же направлению действует принцип покупки и продажи, чем еще более ускоряется ход сосредоточения» [1]. «Все это,—пишет Чернышевский,—действует в обе стороны, как разрушающая сила,— мы сказали бы, как революционная сила,— но революция производится людьми с каким-нибудь расчетом, стремится к какой-нибудь цели, а эта сила действует без всякой цели, слепо, просто будто какая-то вулканическая сила, будто сила наводнений или урагана, только наводнений и ураганов, постоянно свирепствующих над обществом неотступно каждый день и каждый час. Разрушение производит он... тем, что в малочисленном кругу лиц, на которых валит землю громадными грудами, он низвергает благосостояние семейств баловством, отучением от труда и расчетливости, развитием расточительности... Этой судьбе подвергается общество одною стороною действий принципа наследственности. Другая сторона его, дробя незначительную долю земли между бесконечным множеством лиц, заставляет их продавать или как-нибудь переуступать землю, переводит их в разрастающийся класс людей, лишенных недвижимого имущества, не имеющих никакого обеспечения в жизни» [2].

Чернышевский снова обнаруживает большое чутье экономических тенденций капитализма. Но снова он оказывается не в силах создать научную теорию замеченных им тенденций — все по той же проклятой причине, не дававшей его исканиям претвориться в достижения. Всеобщий закон капиталистического накопления, как мы знаем от Маркса, есть функция капиталистического способа производства, между тем именно этот последний Чернышевский не подверг самостоятельному изучению. Поэтому Чернышевский, желая обосновать закон концентрации и централизации капиталов, должен итти по пути абстрактных (арифметических) раскладок о действии принципов наследования, приданого, дарения, покупки и продажи,—другими словами, выводить концентрацию и централизацию капиталов независимо от концентрации и централизации капиталистического производства и, таким образом, представить специфический капиталистический процесс в качестве «закона самобытного действия экономических принципов, управляющих движением частной поземельной собственности». Проницательный социалист стоит без ключа у ворот научного познания капиталистического накопления и в своем теоретическом бессилии *принимает классовую поляризацию капитализма за имущественную поляризацию по «самобытному закону частной собственности»*, делает исходным и типичным пунктом капиталистического процесса судьбу земельной собственности и снижает проблему до наивной аргументации моральным разложением богачей.

Но при роковом теоретическом бессилии, какая полновесность восприятия экономической жизни! «В общество вносится всепоглощающая

[1] «О поземельной собственности», III, 494.

[2] «Милль», VII, 661.

экспроприация»— пишет Чернышевский [1]— и по великолепному совпадению как раз на последних страницах своего главного труда, подобно тому как Маркс своим учением об экспроприирующей тенденции современной экономической системы закончил исследование капиталистического способа производства в первом томе «Капитала». Такое совпадение не могло, конечно, быть только случайностью.

3

Мы неоднократно приводили собственные слова Чернышевского о том, что трехчленная система возникла в силу случайных, с точки зрения экономических законов, причин и даже вопреки требованиям принципов экономики. Такое представление целиком вытекает из методологических предпосылок экономической теории Чернышевского. Но именно такое представление должно было вызывать внутреннюю неудовлетворенность у Чернышевского, столь чуткого к жизни и столь критического к самому себе. Поэтому наряду с отрицанием экономической предопределенности капитализма, естественным в логической цепи Чернышевского, мы встречаем в его сочинениях идею о «переходном» характере капитализма [2], т. е. неопределившееся представление об его относительной экономической прогрессивности. Так, осуждая соперничество, Чернышевский усиленно подчеркивает «перевес соперничества над патриархальными средствами расчета»: «его недостатки — недостатки не по сравнению с патриархальными формами расчета, а с теми формами, каких требует разум» [3]. Так, Чернышевский считает, что «каково бы ни было фермерство, оно в тысячи и миллионы раз выше и лучше системы половничества, системы обязательного труда и системы оброка» [4].

Эта двойственность ложно направленных, но полных предчувствия, исканий окрашивает и даваемое Чернышевским доказательство необходимости социализма, которое в его теоретической системе, естественно, заключается в *доказательстве отсутствия необходимости капитализма*.

Система Чернышевского исключала проблему вызревания экономических (технико-экономических и социально экономических) предпосылок социализма в недрах капитализма. «В Милле» читаем: «В обществах не то что цивилизованных, а даже и во всех тех, которые успели выйти хотя из грубейшего дикарства, стали оседлыми, земледельческими,— не только в нынешней Англии или Германии, а даже в Англии IX века, в Германии X века, в нынешней Персии, в нынешней Малой Азии труд по степени своей внутренней успешности уже мог бы содержать общество в благосостоянии» [5]. И это заявление Чернышевского не случайно. Могло ли быть иначе, раз он изучал капитализм без исследования капиталистического производства? Чернышевский видел распространение крупного производства, но усматривал в нем не действие капиталистических сил, а — напротив — их преодоление силами естественного прогресса. Он видел, что «увеличивается пропорция наемных работников и уменьшается пропорция самостоятельных хозяев в рабочих классах» [1], но относил это к злым недостаткам капитализма: «язва пролетариатства» — у него не случайно оброненные слова. Он отдавал себе ясный отчет, что социализм возможен лишь как крупное производство экономически самостоятельных производителей, но не знал проблемы исторической подготовки экономических условий ассоциированного крупного производства.

Считая социализм естественным порядком экономического быта, Чернышевский видел все необходимые для него условия в устранении препятствий свободному ходу естественного прогресса. А эти условия, полагал он, будут налицо, коль скоро просвещенность масс вызовет у них активное желание избавиться от трехчленной системы распределения, и коль скоро система эта таким образом будет устранена [2].

С самого начала неудовлетворенность, как тень, сопровождает эти формальные, социально-психологические, социально-нормативные (моральные) аргументы, идущие от теоретической концепции Чернышевского и навязываемые ею. Чернышевский ищет вне своей схемы и помимо нее об'ективной, детерминистски-непреложной аргументации в пользу неизбежности социализма. Эти искания представляют тем больший интерес, что направляются они по двум разным руслам, из которых одно сменяет другое.

В 1857—58 гг. внимание Чернышевского направлено на гегелевский логический закон смены форм в историческом процессе. В экономических статьях этого периода, почти целиком посвященных аграрной проблеме, Чернышевский стремится доказать выгоду общинного пользования землею, выдвигая положение «о делении народной жизни на три периода: период, где общинное пользование землею удобнее; период, где оно имеет свои неудобства; период, где оно вновь становится необходимостью» [3].

В 1858 г. Чернышевский пишет специальную работу для «философского» обоснования необходимости общинной системы хозяйства. Гегелевская триада (ибо она-то и есть это философское обоснование) облекается здесь в подробное экономическое рассуждение. Однако в полученном таким образом построении [4] отсутствуют движущие силы процесса, и смена форм

[1] «Милль», VII, 662.
[2] «Экономическая деятельность и законодательство», IV, 450.
[3] «Милль», VII, 322—23.
[4] «О поземельной собственности», III, 496. И вместе с тем в этом сочинении читаем, что корень фермерства «в интересах праздной ренты и помещения избыточествующих капиталов, а вовсе не в интересах успехов сельского хозяйства» (471); в «Милле» же развивается мысль, что «хозяйство поселян-собственников при одинаковости условий несравненно успешнее хозяйства фермеров-капиталистов» (VII, 358).
[5] «Милль», VII, 321.

[1] «Милль», VII, 523.
[2] Последнее обстоятельство чрезвычайно важно для взглядов Чернышевского: в противоположность своим учителям-утопистам он всегда был чужд идее строительства социализма в недрах капитализма.
[3] «О поземельной собственности», III, 439.
[4] Его следует привести во всей подробности. Чернышевский исходит из «повсюду неизменной верности развития одному и тому же закону: высшая ступень развития представляется по форме возвращением к первобытному началу развития. Само собою разумеется, что при сходстве формы содержание в конце безмерно богаче и выше, нежели в начале». Эта «норма неизбежно ведет к такому построению поземельных отношений:

Первобытное состояние (начало развития). Общинное владение землею. Оно существует потому, что человеческий труд не имеет прочных и дорогих связей с известным участком земли. Номады не имеют земледелия, не производят над землею никакой работы. Земледелие сначала также не соединено с затратою почти никаких капиталов собственно на землю.

Вторичное состояние (усиление развития). Земледелие требует затраты капитала и труда собственно на землю. Земля улучшается множеством разных способов и работ, из которых самою общею и повсеместною необходимостью представляется удобрение.

происходит вне органической связи с развитием выражаемого ими экономического содержания, являя ряд фактов, механически сопоставленных и механически же противопоставленных на неизвестной, в сущности, базе. Стремясь вырваться из одной схемы, Чернышевский попадает в другую, имеющую внешний вид об'ективности, но лишенную об'ективности внутренне принудительного процесса: она изолирована от реального содержания охватываемого ею развития отношений. Маркс вывел неизбежность социализма из анализа законов и тенденций капиталистического способа производства, подтвердив этим применимость диалектической триады и к экономической области. Чернышевский, не изучив капиталистического производства, исходит из триады, как из непреложной данности, априорной аксиомы, которой не может не подчиняться развитие форм собственности. Ему остается поэтому расположить известные ему факты сообразно плану триады, комбинируя их при этом неизбежно на основе внешних, к корню вещей не доходящих критериев.

Чернышевский скоро понял бессильный схематизм своего философского обоснования, не захватывающего стержень экономической эволюции и оперирующего движением лишенных телесности, а значит мнимых, экономических связей. В «Милле» (1860—61) стремление дополнить основную схему помощью нарочитого логизирования экономических отношений уже не встречается. Ищущая неудовлетворенность Чернышевского устремляется здесь на скрытые факторы самих экономических отношений и порою прорывается к коренным началам экономики. Вот два примера:

Человек, затративший капитал на землю, должен неот'емлемо владеть ею; следствие того — поступление земли в частную собственность. Эта форма достигает своей цели потому, что землевладение не есть предмет спекуляции, а источник правильного дохода.

Вот две степени, о которых толкуют противники общинного владения,—но ведь только две, где же третья? Неужели ход развития исчерпывается ими?

Промышленно-торговая деятельность усиливается и производит громадное развитие спекуляции; спекуляция, охватив все другие отрасли народного хозяйства, обращается на основную и самую обширную ветвь его — на земледелие. Оттого поземельная собственность теряет свой прежний характер. Прежде землею владел тот, кто обрабатывал ее, затрачивал свой капитал на ее улучшение...; но вот является новая система: фермерство по контракту; при ней рента, возвышающаяся вследствие улучшений, производимых фермером, идет в руки другому лицу, которое или вовсе не участвовало или только в самой незначительной степени участвовало своим капиталом в улучшении земли, а между тем пользуется всею прибылью, какую доставляют улучшения. Таким образом, личная поземельная собственность перестает быть способом к вознаграждению за затрату капитала на улучшение земли. С тем вместе обработка земли начинает требовать таких капиталов, которые превышают средства огромного большинства земледельцев, а земледельческое хозяйство требует таких размеров, которые далеко превышают силы отдельного семейства, и по обширности хозяйственных участков также исключают (при частной собственности) огромное большинство земледельцев от участия в выгодах, доставляемых ведением хозяйства, и обращают это большинство в наемных работников. Этими переменами уничтожаются те причины преимущества частной поземельной собственности перед общинным владением, которые существовали в прежнее время. Общинное владение становится единственным способом доставить огромному большинству земледельцев участие в вознаграждении, приносимом землею, за улучшения, производимые в ней трудом. Таким образом, общинное владение представляется нужным не только для благосостояния земледельческого класса, но и для успехов самого земледелия: оно оказывается единственным разумным и полным средством соединить выгоду земледельца с улучшением земли и методы производства с добросовестным исполнением работы. А без этого соединения невозможно вполне успешное производство» («Критика философских предубеждений против общинного владения», IV, 313, 321—22).

1. Изложив в одном месте «принцип экономического расчета, поставляемый теориею», Чернышевский добавляет: «Только с изменением *форм производства* возможно осуществление условий, им требуемых... Большая часть людей при нынешнем порядке производства не может и оценить средств точным образом, по норме, требуемой наукою... Точный счет рабочих сил, точный счет количеству труда, нужному на получение известного продукта, на удовлетворение известной надобности, будет введен лишь тогда, когда на этом счете будет основано производство, которое теперь основано не на нем, а на слишком неверной принадлежности его — цене» [1].

2. Рассуждение о смене форм труда: «При грубых процессах производства, какими ограничивалась техника варварских обществ, рабский труд не представлял несообразность с орудиями, к которым прилагался: то и другое было одинаково дурно. Когда техника несколько развилась, когда явились довольно многосложные и деликатные орудия, грубый труд раба оказался непригодным: машина не терпит возле себя невольничества; она не выдерживает тяжелых рук его беспечности. Не выдерживают невольничества и все те мастерства, в которых введены сколько-нибудь усовершенствованные инструменты. Для них необходим вольный человек. Но когда производство совершенствуется до того, что требует ведения в широком размере, для него становится недостаточным одно то условие, чтобы работник был свободен [2]... Тут наемный труд даром тратит половину времени, даром пропадает половина силы, даваемой машинами. Вместо наемного труда выгодою дела требуется тут уже другая форма труда, более заботливая, более добросовестная к делу. Тут нужно, чтобы каждый работник имел побуждение к добросовестному труду не в постороннем надзоре, который уже не может уследить за ним, а в собственном своем расчете; тут уже нужно, чтобы вознаграждение за труд заключалось в самом продукте труда, а не в какой-нибудь плате, потому что никакая плата не будет тут достаточно вознаграждать за добросовестный труд, а различать добросовестный труд от недобросовестного становится все менее и менее возможным кому бы то ни было, кроме самого трудящегося.—Мы видим, что перемены в качествах труда вызываются переменами в характере производительных процессов» [3].

Эти два случая бессознательной критики Чернышевским своей собственной теоретической схемы очень поучительны. Они показывают, как глубоко Чернышевский ощущал ее недостаточность, непригодность в вопросах развития экономической жизни. Но они же показывают, с какою неодолимою цепкостью опутывали Чернышевского в его смелых научных порывах ложные методологические посылки. Блестящая работа мысли сдавлена фантомами «научных норм», «оценою», «соображений выгодности», «добросовестности труда», «естественности и неестественности» и т. п. Логическая требовательность Чернышевского выступает здесь как недо-

---

[1] «Милль», VII, 336—37. Курсив наш.—*Э. Л.*

[2] «В небольшой мастерской,—поясняет Чернышевский,—в маленьком хозяйстве хозяин может наблюсти за исполнением дела; тут нет большой разницы между работою хозяина и наемника, потому что наемник работает на глазах у хозяина, который может уследить за всякою мелочью. Но чем обширнее становится размер хозяйства, тем меньше возможности одному хозяину усмотреть за постоянно возрастающим числом работников, за подробностями дела, принимающего громадную величину».

[3] «Милль», VII, 212—13.

статок, она не дает возможности нашему автору по частям избавиться от ложной схемы. Разломать же ее как целое, т. е. заменить ее другою системою взглядов, Чернышевскому было не дано [1].

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После опубликования в 1928 г. юношеского дневника Чернышевского (1848—53 гг.) [2] можно доподлинно установить идейный генезис Чернышевского. Но так как «теория трудящихся» Чернышевского не просто инстинктивный протест против старого социализма, а осознанная попытка поднять социализм на принципиально новую ступень, ее действительная природа раскрывается не в сравнении с предшествовавшим ей социализмом, а в сопоставлении с марксизмом, т. е. с той ступенью социализма, к которой безуспешно устремлялся Чернышевский.

Мы шаг за шагом именно под таким углом зрения рассмотрели обширную систему теоретико-экономических взглядов Чернышевского, начиная с методологических допущений и кончая последними выводами. Но движение вперед есть возвращение к основанию — и чтобы замкнуть круг нашего исследования, мы должны очертить методологическую грань между системой Чернышевского и системой Маркса, пользуясь результатами всего предыдущего изложения.

Диалектический материализм, благодаря которому Маркс открыл закон развития человеческого общества (исторический материализм), проявляется в теоретико-экономической системе марксизма по крайней мере

[1] Это быть может непосредственнее и ярче всего сказалось в том замечательном обстоятельстве, что под редакцией Чернышевского и одновременно с публикованием «Милля» в «Современнике» печатались работы, написанные под прямым влиянием оформлявшейся марксистской мысли и, собственно, излагавшие ее первые научные достижения, и в то же время *прошедшие мимо экономической системы Чернышевского, оставшись без всякого влияния на нее*. См. работу Шелгунова—«Рабочий пролетариат Англии и Франции», в IX, X и XI книгах «Современника» за 1861 год. Или «Обозрение иностранной литературы» в V книге за тот же год, в котором читаем следующее рассуждение: «Капиталы сосредоточиваются в одних руках, потому что большой капитал дает большую силу обороту, и капиталист, или производитель, может довольствоваться меньшим процентом. Вследствие этого предприятия переходят в руки больших капиталистов, а массы рабочих населений в той же степени отдаляются от возможности приобретения капиталов, от самостоятельных предприятий и от достижения самостоятельной собственности. Этим путем современное европейское общество распалось на два класса — на капиталистов и рабочих. Переход из одного в другой есть только дело так называемого счастья и несчастья. Оба класса, сильные каждый в своем роде, стоят враждебно один против другого, и настоящий общественный порядок Западной Европы покоится именно на господстве капитала над рабочей силой без капитала... Образовался особый класс населения — класс фабричных рабочих, самостоятельный член настоящего европейского общества, составляющий замкнутое и сильное целое... Пролетариат и вызванное им сознание необходимости изменить экономические условия настоящего европейского общества не составляют дело случая. Кто не видит во всем этом работы истории, тот не поймет ни смысла явления, ни его значения... Пролетарий есть явление новой истории; только в нынешнем столетии он явился на Западе Европы в виде сознательного, самостоятельного целого. До XIX столетия бедных, нуждавшихся в общей помощи, было может быть больше, чем теперь, но о пролетариате не было речи. Он—плод новой истории».

Сравните это рассуждение, читатель, с соответственными взглядами Чернышевского!

[2] «Литературное наследие Н. Г. Чернышевского», том I, 1928.

в виде четырех основных положений, которые и следует сопоставить с основными экономическими идеями Чернышевского.

Во-первых.—Все экономические категории историчны, ибо историчны, преходящи, ограничены во времени формы экономического устройства человечества — и поэтому историчны, преходящи, ограничены во времени экономические идеологии со всеми своими логизированными атрибутами: «естественным», «разумным», «истинным» и т. д.

У Чернышевского же прекрасное понимание исторической ограниченности и предопределенности хозяйственных форм и идеологий уживалось с системой «естественных», «истинных», «разумных» принципов хозяйственной деятельности. Чернышевский сбросил покрывало бесконечности с капиталистического способа производства, но его глубокая критика современного строя не переросла в систему исторических категорий капиталистической экономики. Против «естественного права индивида» буржуазной экономии XVIII в. он держал знамя «естественного права общества», против индивидуалистического утилитаризма буржуазной экономии XIX в. он поднял знамя своеобразного (но «естественного»!) социального утилитаризма.

Во-вторых.—Экономические категории капитализма представляют своеобразный, исторически обусловленный синтез двух начал: натурально-технического содержания хозяйственного явления и его социальной «определенности формы» (Formbestimmtheit). Формирующим этот синтез является процесс производства материальных благ при капитализме — своеобразный и неповторимый капиталистический способ производства; это означает: приоритет форм производства в экономическом процессе, подчиненность и рефлективность форм распределения и потребления.

Чернышевский же, не понимая даже правомерности исторических категорий, усматривал в законах капиталистической экономики не больше, чем болезненное, искусственное и исторически случайное искажение «естественного хода» экономической жизни, диктуемого разумом и наукой. Одна из пометок Маркса на полях его экземпляра «Милля» Чернышевского гласит: «Tsch. hat keinen Begriff v. d. kapitalistischen Productivität» [1]. Именно так! Чернышевский, столь полно видевший социальную предопределенность и социальную сущность буржуазной политической экономии, был не в силах продвинуться глубже—к экономической предопределенности и экономической сущности буржуазного способа производства. Потому Чернышевский не понимал природы капиталистической производительности, как не понимал природы капиталистического потребления, капиталистического обращения и т. д., как не понимал самостоятельной природы капиталистического способа производства вообще. Потому также Чернышевский, угадывая определяющую роль производства и моментами поднимаясь до ее научного толкования, построил свою теоретическую систему таким образом, что примат производства в экономической жизни оказался нормой «естественного порядка дел», отсутствующей (исчезнувшей) в системе трехчленного распределения (ибо система эта возникла независимо от принципа производства и вопреки ему) и подлежащей восстановлению путем устранения этой системы. Примат во всяком случае бездейственный и внешний, т. е. мнимый.

[1] Сб. «Освобождение труда», № 4, 1926, ст. Гинзбурга.

В-третьих.—Историческая определенность социальных категорий экономики составляет основу и источник их об'ективности. Суб'ективные стороны хозяйственного процесса—лишь формы активного проявления его об'ективной сущности, следовательно, формы реализации (осуществления) об'ективной сущности. Об'ективное самоотчуждается в суб'ективном, *об'ективное поставляет себе коррелат в суб'ективном*, и притом подчиненный: об'ективное как таковое не зависит от целей, оценок и суб'ективной разумности.

Чернышевский делал политическую экономию наукой социальной и антииндивидуалистической — и в этом смысле об'ективной, направленной против психологизма, закоснелого фетишизма, буржуазного волюнтаризма и т. п., одним словом — против суб'ективизма. Но само социальное в экономической науке он расценивал не как социально-историческое, а как социально-нормативное, как внеисторический, следовательно, абстрактный «общественный экономический расчет». На чем же мог Чернышевский базировать такую социальность, лишенную исторической определенности? Лишь на «разуме» (и его вариациях), т. е. на своей собственной хозяйственной психологии. Социальное поэтому формируется у рационалиста-Чернышевского по образу и подобию индивидуального — общественный экономический расчет базируется на антропологическом принципе безраздельной целостности человеческого организма во всех своих функциях. В системе категорий политической экономии это означает: *суб'ективное поставляет себе коррелат в об'ективном*, подчиненный в нормальном хозяйственном строе, но выходящий из подчинения в трехчленной системе распределения, которая потому и подлежит устранению.

В-четвертых.— Движущим противоречием капитализма является внутреннее противоречие вышеуказанного синтеза (единства противоположностей). Нарастание этого противоречия параллельно экстенсивному и интенсивному росту капиталистической системы означает углубление и обострение разноречия между натурально-техническим содержанием (об'емом и материальной структурой производительных сил) и исторически определенной социальной оболочкой системы. Этот процесс проявляется как столкновение двух общественных классов, из которых один, составляя подавляющую массу народа, выражает натурально-техническое содержание хозяйства, а другой — кучка капиталистов — выражает капиталистическую форму. Революция рабочего класса есть адэкватное, следовательно единственно-возможное завершение развития капитализма по пути диалектического самоустранения.

Для Чернышевского же, не понимавшего, что проблема развития есть вопрос об источниках самодвижения, не существовало движущего противоречия капитализма. Не зная единства содержания и формы в капиталистической экономике, как мог он открыть закон разложения этого единства? Он ставил проблему в плоскость отмены, уничтожения капитализма, выставляя в качестве обоснования противоречие нормативного характера — противоречие между трехчленной системой распределения и «требованиями разума», растущее по мере развития хозяйственной жизни. Это положение *о механической иррационализации капитализма* в силу конфликта двух внешних друг другу начал целиком вытекает из дуалистических представлений Чернышевского о природе экономического прогресса. Оно означает просветительство, этизирование, утопизм в конкретных вопросах перехода от капитализма к социализму.

Чернышевский поставил своей задачей превратить социализм из «поэзии в серьезную науку». «Но Чернышевский не сумел, вернее, не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса» (Ленин). И это предопределило судьбу его теоретических исканий. Логический путь Чернышевского оказался мертвым кругом. Могучие порывы мысли были уведены с верного пути болотными огоньками утопической «медицины экономического быта». Болото утопического социализма поглотило столь исторически осознанную попытку, путем критики буржуазной политической экономии и построения социалистической экономической теории, вывести социализм на путь науки.

Политико-экономическая теория Чернышевского сложилась в тесной связи с его экономико-политической и социально-политической литературной деятельностью, чрезвычайно интенсивной, многосторонней и заостренной. Крепостной вопрос и включение до того азиатской страны в круговорот экономической жизни капиталистической Европы—эта двуединая проблема тогдашней российской экономики обсуждалась Чернышевским под углом зрения социалиста, критически знакомого с опытом полувекового развития европейского капитализма — хозяйственного, социального и политического. Было вполне естественно и навязывалось всею обстановкою Чернышевского его отрицательное отношение к тому разрешению коренной российской проблемы, которую обещало начинавшееся политическое развитие страны. Дефетишизация нашего западничества второй трети XIX века, разоблачение восторженного ореола культурности и духовной прогрессивности, которым подымавшаяся буржуазная и буржуазно-дворянская интеллигенция крикливо и туманно окутывала западнические знамена, составляет одну из самых замечательных сторон Чернышевского. В великом споре между феодальной и буржуазной идеологиями о путях развития России Чернышевский занимал позицию вне обоих, над обоими[1]. Свой путь — социалистическое преобразование России

[1] Называя западников «пустыми панегиристами» Европы, Чернышевский писал: «Когда мы подумаем о том, до какой степени у многих из так называемых западников темны еще понятия о том, что хорошо и что дурно в Европе, и как до сих пор очень многим кажется лучшим именно то самое, что есть худшего в Европе, то должны будем признаться, что критика европейского быта, которую славянофилы прямо или через вторые руки заимствуют из лучших современных мыслителей, далеко не бесполезна для очищения наших понятий о Европе» («Заметки о журналах, март 1857 г.», III, 152. Эта оценка западничества кружком Чернышевского еще выразительнее сказалась в статье Елисеева о народонаселении в России в первой книжке «Современника» за 1861 год.— Елисеев называет западников «исследователями-параллелистами», для которых «все есть и должно быть в Европе непременно хорошо»). Но в то же время Чернышевский нападал на «все теоретические заблуждения, все фантастические увлечения славянофилов» («Зам. о журналах, апрель 1857 г.», III, 199), и писал, что «нимало не разделяет и не видит для себя никакой возможности когда-либо разделять те особенные мнения, на основании которых многие западники безусловно осуждают славянофилов, воображая, что в славянофилах нет ничего иного кроме этих дрянных заблуждений», и что «все то, в чем славянофилы противоречат западной науке, им положительно и решительно отвергается, потому что решительно не выдерживает научной критики и противоречит историческим фактам» (Рец. на кн. Шипова о хлопчатобумажной промышленности, III, 243—44). Известно, что Чернышевский издевался над славянофильской idée fixe, над мессиан-

на основе сохранения и развития полуфеодальной крестьянской общины — он предлагал потому, что в последней, как ему представлялось, «заинтересованы мильоны людей» [1], миллионы сидящих на земле людей.

В Чернышевском история попыталась срастить два разнородных корня и вырастить из них одно дерево. Один из корней — западный социализм в той его стадии, когда он начинает сознавать свое пролетарское содержание, но еще не знает своей всемирно-исторической миссии; второй корень — русское крестьянское движение в той его стадии, когда оно доросло до типа народного движения, но еще не нашло своего места в капиталистической системе и потому недифференцированно противопоставляет себя отживающему феодальному и вырастающему буржуазному гнету. Собственно, разные корни росли из разных почв. На одной стороне — еще не близкая, но явственно слышная поступь новой общественной формации, неизбежность прихода которой ощущается в кровоточащих язвах господствующего капиталистического строя; на другой стороне — запоздалое устремление к мукам капитализма, непосредственно бессмысленное и достаточно отвратительное, поскольку лицемерие и корыстный апологетизм набрасывают на капиталистическое развитие покрывало невинности, в то время когда плоды его обманчивости полностью созрели на Западе. В основе Чернышевского лежит вопрос: зачем причинять себе теперь глубочайшие язвы, а потом напрягать все силы и приносить огромные жертвы, чтобы эти язвы залечить? В этом вопросе истинный и большой трагизм — трагизм исторического пути многомиллионного народа и трагизм освободительной идеологии этого народа. И все противоречия, прошедшие перед нами в теоретико-экономической системе Чернышевского, порождены непримиримою двойственностью ее реальных корней.

Система Чернышевского осталась в таком виде, в котором она еще непосредственно, а значит плюралистически, сцеплена с породившей и питающей ее экономической обстановкой; следовательно, в таком виде, в котором она еще не приобрела собственной пластической жизни своих категорий, а все еще живет трепетной жизнью реальной экономики. Но эта черта теоретико-экономических работ Чернышевского была неустранима, ибо отражала невозможность органического сращения двух корней его системы в единое целое. Что это так, свидетельствует вся дальнейшая литературная работа Чернышевского: на протяжении четверти века навязанного досуга он не ощущал нужды систематически разработать свои теоретико-экономические взгляды и (как особенно показывают его сибирские письма) при интенсивности и разнообразии интеллектуальных интересов и огромной силе научного сомнения он исправлял лишь несущественные детали в той форме, какую его экономическая система приобрела в полемическое пятилетие «Современника»...

Страна, начинающая свой капиталистический путь, переживает более или менее долгий период нераздельности демократии и социализма, когда оба они, по выражению Ленина, «смешаны воедино в утопической идеологии». В Чернышевском олицетворялся этот период в истории России, а он проходил здесь совершенно своеобразно: когда внутри страны начиналась идейная мобилизация третьего сословия, в Европе уже заканчивалось идейное оформление пролетарского движения. Утопизм «великого русского социалиста-утописта» потому и имеет такой огромный образовательный интерес, потому и заключает в себе такое богато-поучительное содержание, что обнимает собою гениальное стремление вырваться из его пут с помощью опыта пролетарского социализма Европы,— напряженное стремление, которое должно было остаться бесплодным, в силу полного отсутствия пролетарского движения в России. Трагизм нашего великого революционного демократа и социалиста прекрасно определяется его же фразой о России: «фабричным производством прямо заинтересованы только сотни тысяч, а поземельным владением миллионы» [1]. Как экономист Чернышевский был осужден историей на поиски обоснования невозможного: крестьянской социалистической революции против современного общественного строя. Чернышевский «отразил именно ту сторону крестьянской рево-

---

ской ролью России. «У славянофилов зрение такого особенного устройства, что на какую у нас дрянь ни посмотрят они, всякая наша дрянь оказывается превосходной и чрезвычайно пригодной для оживления умирающей Европы»—пишет наш автор и добавляет: «Европе не нужно учиться (у нас), потому что сама она гораздо лучше нас понимает, какие порядки ей нужны, как их устроить и какими способами вводить. Значит оживлять нам ее ровно уже нечем. Нечего нам и хлопотать об этом: никаких оживлятелей не нужно ей... Рано, слишком рано заговорили вы о дряхлости западных народов: они еще только начинают жить» («О причинах падения Рима», VIII, 173).

[1] «О поземельной собственности», III, 434.—Вопрос о социалистическом развитии крестьянской общины, которым мы в настоящей статье, естественно, не занимаемся, ставился Чернышевским во всяком случае несравнимо сложнее, нежели впоследствии народниками. По крайней мере, семь принципиальных вопросов увязывал здесь Чернышевский: 1) Приверженность к общине вовсе не врожденная национальная черта русских, и принимать нашу общину в качестве зародыша социалистического устройства следует лишь потому, что таковы веления современной, т. е. западной, науки. 2) То, что у других наций превозносится как утопия, у нас существует как факт, но это вовсе не заслуга и не гордость наша, а «остаток первобытной древности», продукт «медленности и вялости нашего исторического развития» (IV, 308). 3) Наука указывает, что во всяком развитии отдельные звенья могут выступать настолько кратковременно и неразвито, что могут считаться лишь логически мыслимыми; это приложимо и к развитию человеческого общества, которое может миновать трехчленную систему и, таким образом, избавить себя от тяжелейшего, противоестественного периода своей истории; поэтому, пока крестьянская община у нас еще не разрушена, необходимо сберечь ее и использовать для движения вперед мимо капитализма. 4) Следует отличать при этом «принцип общины» от конкретных уклонений, которыми он сопровождается в тех или иных условиях, следовательно, и в русских полудиких азиатских условиях; защищая принцип, надо со всей энергией бороться против специфически-русских его форм. 5) Перескочить через капиталистическое развитие мы можем лишь потому, что имеется «опередивший пособник», который проходит и скоро пройдет не только логически, но и реально, путь капитализма; социалистическое преобразование русской крестьянской общины обусловлено, таким образом, социалистическим преобразованием передового Запада. 6) Необходимость создания внутрироссийских условий для действия принципа общины. Непосредственно экономических условий два: принадлежность ренты самим членам общины и незначительность обязательств по сравнению с рентою (IV, 306—307); но требуется еще ряд общих условий, подцензурное название которых у Чернышевского: «хорошая администрация и справедливый суд» («Суеверия и правила логики», IV, 564). Эту важнейшую мысль Чернышевский лучше всего выразил в конце статьи об экономической деятельности и законодательстве в связи с затруднительным вопросом — почему общинное владение не оказывает тех удивительных действий, которые должны происходить из его натуры,—«мы будем рассматривать — пишет Чернышевский — столь же затруднительный вопрос: почему лещ, вытащенный на берег рыболовной сетью, не плавает?» (IV, 463). 7) Постановка вопроса о ступенях социалистического преобразования общины: общинное владение без общинного производства, общинное производство, общинное потребление; идея государственной собственности с общинным владением III, 461, 475).

[1] «О поземельной собственности», III, 417.

люции, которою она смыкается с движением пролетарского социализма»[1],— и это обстоятельство определило судьбу его учения. Будучи переходным этапом в развитии русской революционной идеологии, это учение неминуемо должно было разложиться сообразно составлявшей его антиномии. Его эзотерическая сторона могла развиться лишь растворившись в марксизме, ставившем крестьянское движение под руководство пролетарского, его экзотерическая сторона, естественно, была использована народничеством, отгораживавшим крестьянское движение от пролетарского.

Чернышевский строил политическую экономию «трудящихся», Маркс— политическую экономию пролетариата. Политэкономия пролетариата есть такая критика буржуазной политической экономии, которая совпадает с критикой, даваемой буржуазному способу производства историческим развитием; политэкономия трудящихся находится в критическом отношении к самому историческому процессу, который посредством капиталистического способа производства пресекает и разрушает неразвитое благополучие трудящихся. Политэкономия пролетариата берет свои опорные пункты *внутри* капиталистического способа производства и движется вместе со своим предметом; политэкономия трудящихся становится во *внешнее* отношение к капиталистическому способу производства, но, стремясь подойти к своему предмету с критическим светом будущего, она неизбежно ставит его в тень прошлого. Политэкономия пролетариата есть высшая форма теоретической экономии потому—непосредственно—что она представляет применение материалистической диалектики к изучению капитализма и потому — в основе — что пролетариат составляет предельную форму капиталистического развития. Если экономическая «наука трудящихся», построенная Чернышевским, не составила этапа в развитии теоретической экономии к её высшей форме и оказалась лишь сторонним эпизодом этого развития, запоздалым его зигзагом, то это всецело об'ясняется запоздалостью русской жизни того времени и ее отстраненностью от общеевропейского экономического потока. Мы видели, что внешняя бесплодность теоретико-экономической работы нашего гениального социалиста скрывает исторический урок редкой поучительности, и Маркс имел все основания назвать Чернышевского «единственным оригинальным экономистом» своего времени.

---

[1] *Л. Б. Каменев*, Чернышевский в ходе революционного развития («Правда», 25 ноября 1928 г.).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПИСАРЕВСКОЙ КРИТИКИ

В. Переверзев

1

От правильного понимания взглядов Писарева на эстетику зависит правильное понимание его как критика. Метод его критики определяется его эстетическими воззрениями. Кому неясна логика этих воззрений, тот не скажет ничего путного о Писаревской критике. Метод Писаревской критики обычно называют публицистическим методом, под которым разумеется превращение художественного факта из об'екта исследования в повод для общественной проповеди. Это верно лишь до известной степени и во всяком случае не схватывает самого существенного для методологии Писаревской критики. Делать для Писарева центральным моментом публицистический уклон значит искажать подлинный смысл и действительную методологическую установку его критики.

Сам Писарев называл свою критику реальной, и это название гораздо точнее обозначает существо его метода, чем наименование его публицистическим. Не публицистика, а реализм является принципом Писаревской критики. Разрушивши эстетику, Писарев противопоставил эстетической критике критику реальную. В чем заключалось существенное отличие реальной критики от эстетической? Эстетическая критика подходила к явлениям искусства с метафизическим кодексом красоты и нормального вкуса. В искусстве она видела не продукт реальной жизни, а оформление метафизической красоты. Она рассматривала художественные произведения независимо от жизни, не интересуясь их жизненным содержанием и их житейским смыслом. Ее интересовало лишь, в какой мере оформлена в данном произведении идея прекрасного. Не в об'яснении явления искусства законами жизни видит свою задачу эстетическая критика, а в оценке этих явлений со стороны соответствия их структуры с законами изящного. Вот против этой критики, изолирующей искусство от жизни, против этой схоластической отвлеченности эстетической критики и выступал Писарев со своей реальной критикой. «Современная критика,—писал он,—грешит именно тем, что она задается теориями и изобретает жизнь вместо того, чтобы приглядываться и прислушиваться к звукам окружающей действительности. Нас заели фразы, мы пустились в диалектику, воскресили схоластику и вращаемся в заколдованном кругу слов и отвлеченностей, которые мешают нам видеть настоящее дело. Стремление к серьезности, господство теорий, переходящих порой в рутину, отвлеченность, и вследствие

этого безжизненность содержания и неясность внешней формы составляют неот'емлемое достояние нашей современной критики. Она гордится этими свойствами и держит в запасе несколько казенных фраз, которыми эти слабости и недостатки возводятся в высшие достоинства. Отворачиваться от явлений действительности значит служить вечным интересам мысли; туманные отвлеченности называются философией, даже самый осязательный недостаток — неясность формы — не встретил себе до сих пор определенно выраженного протеста в печати. Словом, средневековая схоластика и египетская символистика живут в нашей периодической литературе несмотря на изобретение Гутенберга, которое, как мы знаем по самым элементарным учебникам, должно было разбить замкнутость ученого сословия и сделать науку достоянием массы. Попытки некоторых критиков построить эстетическую теорию и уяснить вечные законы изящного решительно не удались, и не удались именно потому, что наш век уже не ловится более на теории и не повинуется слепо вымышленным законам. Критика отстала от общества и от изящной словесности, она заговорила об абсолютных законах творчества и не сообразила того, что абсолютной красоты нет и что вообще понятие красоты лежит в личности ценителя, а не в самом предмете. Что на мои глаза прекрасно, то вам может не понравиться; что приходилось по вкусу нашим отцам, то может наводить на нас сон и дремоту».

Пуще всего боялся Писарев забвения живой реальной действительности, ухода от жизни в темные трущобы метафизической схоластики и формализма. Эстетическая критика, рассматривающая произведения искусства вне всякой связи с реальной жизнью, игнорирующая их жизненное содержание, остается абстракцией чистой формы, к наблюдениям над которой, как более или менее удачной реализацией идеи прекрасного, и сводит она весь свой анализ. В этом формализме Писарев видел возрождение средневековой схоластики, называя эстетическую критику «схоластикой 19 века». Терять из виду требования живой действительности, погружаться с головой в созерцание формальных элементов произведения, как делает это эстетическая критика, значит возвращаться к блаженной памяти семинарской риторике и пиитике. Отвлеченности и формализму критиков-эстетов Писарев и противопоставляет реальную критику, которая рассматривает произведения искусства неразрывно от их жизненной основы. «В каждом литературном произведении и в каждой критической статье Белинского и Добролюбова надо видеть только то явление жизни, которым они вызваны, а вдаваться в эстетику, подмечать индивидуальные особенности того или другого таланта, вглядываться в язык и в манеру повествования— это значит терять из виду требования живой действительности и уходить от этих требований в темные трущобы семинарской и гимназической пиитики». Не то, чтобы Писарев считал вовсе ненужным критический разбор формы, стиля художественных произведений. «Разбирать манеру писателя и отделять ее от манеры другого писателя,—говорит он в другом месте,— почти то же самое, что писать стилистическое исследование; это, конечно, важно для характеристики писателя». Но из-за стиля не видеть жизни, ставить произведения искусства вне ее условий, значит ударяться в метафизику, избирать ложный методологический путь, исключающий всякую возможность понять художественное произведение, осмыслить характер его стиля.

В качестве реалиста Писарев держится того взгляда, что искусство коренится в условиях реальной жизни, здесь черпает свое содержание и свой смысл. В самых фантастических картинах нет ничего кроме своеобразной интерпретации реальной действительности. Искусства, чуждого реальной жизни, стоящего где-то выше сферы житейских интересов, не существует. Самодовлеющее искусство, независимое от условий материальной действительности, искусство для искусства, а не для жизни, невозможно. Отсюда вытекает основное методологическое требование реальной критики— рассматривать произведение искусства в связи с той жизнью, среди которой и для которой оно возникло. Это методологическое требование и выставляется Писаревым в качестве краеугольного камня реальной критики. В статье «Разрушение эстетики», посвященной трактату Чернышевского об эстетических отношениях искусства к действительности, он писал: «Эстетические отношения говорят, что искусство ни в коем случае не может создавать свой собственный мир и что оно всегда вынуждено ограничиваться воспроизведениями того мира, который существует в действительности. Это основное положение обязывает критика рассматривать каждое художественное произведение непременно в связи с той жизнью, среди которой и для которой оно возникло». Никакого публицистического подхода к искусству в этом требовании рассматривать художественные произведения в связи с породившей их жизнью не заключается. Здесь требуется только, чтобы критик видел в художественных произведениях причинно обусловленное явление жизни, чтобы он считал своей главной задачей раскрытие этой причинной обусловленности, т. е. научное об'яснение художественных произведений. Существенным для реальной критики является решительная вражда к метафизике, борьба за строго научный подход к искусству, отказ от всяких суждений о нем, если в основе их не лежит научное понимание. Не публицистическую, а научную точку зрения противопоставлял Писарев эстетической, и это нужно твердо усвоить себе всякому, кто подходит к изучению Писаревской критики.

Дать научное об'яснение художественного произведения только и возможно путем анализа тех явлений жизни, которые лежат в его основании. Этот анализ и является существенным актом реальной критики. Дело критики вовсе не в том, чтобы хвалить или порицать, а в том, чтобы давать анализ живых явлений, над которыми работала творческая мысль художника. Приступая к критическому разбору повестей Толстого, Писарев так и определяет методологическую установку своей статьи. «В моей статье читатель не найдет, разумеется, ни похвал, ни порицаний писателю. Он найдет только анализ тех живых явлений, над которыми работала творческая мысль гр. Толстого». Научный анализ явлений жизни, отражением и порождением которых является художественное произведение,—вот подлинная задача критики. Не восхищаться, не умиляться, не негодовать, не проповедывать должен критик, а об'яснять. Критический анализ должен быть научным об'яснением, а не суб'ективной оценкой, не выражением суб'ективных симпатий и вкусов: «Каждый критик, разбирающий какой-либо литературный тип, должен в своей ограниченной сфере деятельности прикладывать к делу те самые приемы, которыми пользуется мыслящий историк, рассматривая мировые события и расставляя по местам великих и сильных людей. Историк не восхищается, не умиляется, не негодует, не фразерствует,—и все эти патологические отправления также

неприличны в критике, как и в историке. Историк разлагает каждое явление на его составные части и изучает каждую часть отдельно и потом, когда известны все составные элементы, тогда и общий результат оказывается понятным и неизбежным; что казалось, раньше анализа, ужасным преступлением или непостижимым подвигом, то оказывается после анализа простым и необходимым следствием данных условий. Точно так же следует поступать критику; вместо того, чтобы плакать над несчастьем героев и героинь, вместо того, чтобы сочувствовать одному, негодовать против другого, восхищаться третьим, лезть на стены по поводу четвертого, критик должен сначала проплакаться и пробесноваться про себя, а потом, вступая в разговор с публикой, должен обстоятельно и рассудительно сообщить ей свои размышления о тех явлениях, которые вызывают в жизни слезы, сочувствие, негодование или восторг. Он должен об'яснять явления, а не воспевать их; он должен анализировать, а не лицедействовать. Это будет более полезно и менее раздирательно». Во всей этой методологической установке не только нет ничего публицистического, но она прямо ей враждебна. Публицистический подход—такой же оценочный подход, как и эстетический: различны только критерии оценки. Между тем формулированные методологические принципы прямо противопоставляют всякой оценке холодный анализ причин и следствий, сведение всего критического разбора к об'яснению явлений искусства. С точки зрения реальной критики оценка и проповедничество представляют собой «патологические отправления», а не критический разбор. Подлинный критический разбор представляет явление искусства как «простое и необходимое следствие данных условий», а отсюда не извлечешь никакой оценки.

Следя за работой Писаревской мысли легко замечаешь, что все его усилия направлены на то, чтобы найти базу для об'ективной, строго научной критики. В поисках обоснования научной критики он справедливо ориентируется на материалистическую теорию искусства, целиком принимая учение об искусстве Чернышевского. К сожалению, в этом учении Писарев не нашел логически завершенной, законченной материалистической теории искусства, без которой естественно оказалась не вполне удачной и Писаревская попытка построить научную критику.

Для построения материалистической теории искусства, как и для построения материалистической эстетики, материализм 60-х годов представлял слабую базу. Без диалектического понимания действительности задача построения материалистической теории искусства была неразрешима. Между тем материалисты 60-х годов не были диалектиками. Говоря о действительности, они понимали ее как чисто об'ективный мир, противостоящий сознанию и механически воздействующий на него. Диалектическая идея, что об'ективный мир не противостоит сознанию, а сам становится сознанием, что развивающаяся об'ективная действительность становится мыслящим суб'ектом, что действительность не только об'ект, но и суб'ект, была чужда материалистам 60-х годов. Связь между сознанием и об'ективным миром они мыслили не диалектически, как возникновение сознания из об'ективного мира, как превращение об'екта в суб'ект, а механически—как воздействие об'екта на суб'ект, об'ективного мира на суб'ективное сознание. Для диалектика сознание есть лишь определенный момент в развитии об'ективной действительности: оно входит органически в систему действительности, возникает, изменяется, исчезает в зависимости от изменения об'екта. Для механиста сознание что-то вроде зеркала, стоящего перед об'ективной действительностью, отражающего об'ективный мир: все изменения этого мира отражаются в нем, но само оно не зависит от изменений об'екта. Даже наоборот, характер отражения резко меняется в зависимости от качества зеркала: хорошо отполированное зеркало дает ясные изображения, плохо отполированное — мутные; прямое зеркало дает верные изображения, кривое — искаженные. Механистический взгляд на действительность исключал всякую возможность быть последовательным материалистом. У механиста сознание стоит рядом, параллельно об'ективной действительности, а не входит органически в систему этой действительности, как у диалектика, — иными словами, у него сознание лежит вне об'ективного мира, вне реальной действительности, оказывается идеальной действительностью, чистым сознанием. Дело нисколько не меняется от того, что материалистически настроенный механист стремится свести роль сознания к скромной роли зеркала, отражающего картины об'ективного мира. Характер отражения определяется не только характером отражаемой действительности, но и свойствами зеркала. И поскольку сознание выключено из системы об'ективной действительности, акт отражения есть акт выключения из реальной действительности отражаемого явления, преображение его в сознание, перенесение его из реального мира в идеальную сферу чистого сознания.

Механический материализм был внутренне противоречивой системой, изначала чреватой идеализмом. Естественно, что и построенная на его основе теория искусства оказывалась сотканной из противоречий, среди которых беспомощно билась мысль материалистов шестидесятников и в частности мысль Писарева. Основное противоречие в том и заключалось, что, выдвигая строго материалистическое положение, что искусство есть воспроизведение действительности, отрицая идеалистический взгляд на искусство, отказываясь видеть в нем плод свободной, независимой от об'ективных условий мысли, тут же говорили об искусстве, рожденном мыслью, и нередко притом мыслью, расходящейся с реальной действительностью. Это противоречие было неизбежно для тех, кто, говоря о воспроизведении действительности, разумел не суб'ектную действительность, с присущим ей сознанием, а противостоящий сознанию чисто об'ективный мир, кто в воспроизводимую искусством действительность не включал свойственного ей сознания. При таких условиях искусство не было плодом единой реальной действительности, а плодом взаимодействия двух сущностей: отражаемой действительности и отражающего сознания, об'ективного мира и суб'ективного мышления, т. е. фактом реального и фактом идеального порядка. Так и выходит у Писарева. С азартом нападая на идеалистическое понимание искусства, неустанно повторяя, что искусство воспроизводит реальную действительность, он тут же, часто на той же самой странице опровергает сам себя, называя искусство выражением мысли, способной отступать от действительности, искажать ее, сочинять небылицы в лицах. Оказывается, что искусство не всегда воспроизводит реальную жизнь, и материалистическая теория искусства, невооруженная диалектикой, приходит к самоотрицанию.

В качестве материалиста и верного ученика Чернышевского Писарев утверждает, что искусство воспроизводит реальную действительность. Однако, как воспроизводит? Буквально, с точностью фотографического аппа-

рата, являясь повторением действительности? Если бы Писарев был диалектиком, он не смутился бы этим вопросом. Он отвечал бы на него утвердительно, оставаясь последовательным материалистом. Да, искусство точно воспроизводит действительность в единстве об'екта и суб'екта ее, оно воспроизводит сознание на его об'ективном основании, которое и называется реальной действительностью. Но то, что легко разрешимо для диалектика, представляет непреодолимые трудности для механиста.

Настаивать безоговорочно, что искусство есть воспроизведение действительности, понимая действительность механически, как чисто об'ективный мир, значило превращать искусство в механическое копирование об'екта, в котором не имеет участия живая мысль, суб'ективное сознание, значило доводить материалистическую формулу искусства до абсурда. Писарев понимал это.

И вот начинаются оговорки, поправки, ограничения, сводящие в конце концов на нет вначале провозглашенную формулу. Справиться сколько-нибудь удовлетворительно с поставленным вопросом Писарев не мог, не будучи диалектиком, и отвечал на него весьма сбивчиво, неясно, путаясь в противоречиях. Начавши решительным утверждением, что «искусство не может создавать свой собственный мир и всегда вынуждено ограничиваться воспроизведением того мира, который существует в действительности», он, однако, оговаривается, что простое воспроизведение об'ективной действительности еще не искусство. «Уменье передавать или виртуозность формы сама по себе не может сильно и обаятельно действовать на читателя,— говорит он:—не угодно ли вам, напр., описать самым ярким и подробным образом лицо вашего героя так, чтобы читатель видел каждую морщинку на его лбу, каждый волосок на его бровях, каждую бородавку на лбу или щеке? На каждой академической выставке есть несколько подобных картин: тут, положим, художник нарисовал палитру, карандаш и куски красок; в другом месте—корзину с цветами или разрезанный арбуз, в третьем—портрет какого-нибудь господина, у которого бобровый воротник и пуговицы на шинели выделены так тщательно, что не знаешь — портрет ли это или вывеска меховщика. Ах, как натурально, скажете вы, но представить себе, чтобы художник, рисуя все эти прелести, что-нибудь думал или чувствовал, вы решительно не будете в состоянии. Вы увидите, что такой-то господин хорошо составляет краски и ловко владеет кистью, но человеческого характера этого господина вы не увидите. Отходя от картины вы будете вправе сказать, что такой-то NN тратит свое замечательное уменье на совершеннейшие пустяки... Во всяком случае этот NN—художник только наполовину». Искусство не в строгой верности натуре, не в чисто об'ективном воспроизведении действительности. «Вполне об'ективная картина — фотография; вполне об'ективный рассказ — показание свидетеля, записанное стенографом; вполне об'ективная музыка — шарманка; добиться этой об'ективности значит уничтожить в поэзии всякий патетический элемент и вместе с тем убить поэзию, убить искусство», пишет Писарев в статье «Писемский, Тургенев и Гончаров». Искусство, конечно, воспроизводит действительность, но действительность, переработанную силою зиждущей мысли. «Где нет этой переработки,— пишет Писарев,— там есть только списывание картинок с природы, списывание, предпринимаемое для препровождения времени, списывание, при котором ни сила мысли, ни сила чувства не подсказывают рисовальщику истинного общего смысла

тех явлений, которые он кладет на полотно». Ранее четкая и решительно материалистическая формула, что искусство не может создавать свой собственный мир и всегда вынуждено ограничиваться воспроизведением того мира, который существует в действительности, здесь принимает лукавый и звучащий далеко не материалистически характер: искусство не ограничивается уже воспроизведением того мира, который существует в действительности, а перерабатывает его силою зиждущей мысли. Зиждущим началом искусства оказывается уже не об'ективная действительность, а суб'ективная мысль, которая, хотя и на основе реальной действительности из элементов реального мира, все же создает свой собственный мир.

Переработанная силою зиждущей мысли действительность, созданный искусством мир может иметь соответствие с реальным миром, походить на него, быть его воспроизведением. Но оказывается, что и это не всегда бывает. Иногда созданный искусством мир не имеет никакого соответствия с реальным, является не его воспроизведением, а чистой идеей, созданием авторской мысли, существующим в голове его творца: «Главные действующие лица созданы головой автора,— писал Писарев о Гончарове,— а не навеяны впечатлениями живой действительности. Задавшись своей идеей, набросав ее в общих чертах, Гончаров потом уже с натуры подрисовывает подробности, и все вместе выходит очень удовлетворительно.., но это только на первый взгляд».

В этом и подобных суждениях от материализма не остается и следа. Ведя отчаянную борьбу с идеалистической метафизикой в теории искусства, выступая крайне решительным сторонником материалистического учения, Писарев сам все время сбивается на метафизику. Писарев оказался не в силах защищать строго реалистическую позицию, что искусство всегда вынуждено ограничиваться воспроизведением того мира, который существует в действительности, и, противореча себе, признает, что искусство, не ограничиваясь воспроизведением реальной действительности, может перерабатывать ее силою зиждущей мысли, может даже быть просто плодом этой зиждущей мысли, выражением чистой идеи. Он не доказывает, что идеального искусства, искусства, отражающего идеальный мир чистой мысли, не существует и не может существовать, стараясь лишь доказать, что может существовать и существует воспроизводящее действительность реальное искусство. Это ни в какой мере не колеблет позиции идеализма и не дает никаких преимуществ реализму. Существует искусство, отвечающее идеалистической формуле, и существует искусство, отвечающее формуле реалистической, стало быть, обе формулы одинаково правомерны.

Чтобы быть до конца реалистом, чтобы окончательно рассчитаться с идеалистической метафизикой, Писарев обязан был доказать, что искусство всегда реально, что кроме реального искусства, воспроизводящего реальную действительность, никакого искусства нет и быть не может. Но для доказательства этого он оказался теоретически недостаточно вооруженным.

Чувствуя теоретическое бессилие доказать, что идеального искусства не существует, Писарев начинает доказывать, что его не должно существовать, что должно существовать лишь реальное искусство, полагая, что это послужит укреплению реалистического понимания искусства. Старая формулировка основной идеи реальной школы, что «искусство ни в коем случае не может создавать свой собственный мир и всегда вынуждено огра-

ничиваться воспроизведением того мира, который существует в действительности», уступила место новой: «Основная тенденция всей критической школы Белинского, продолжающей действовать и развиваться до настоящей минуты, выражается совершенно ясно и отчетливо в тех двух положениях, что искусство не должно быть целью самому себе и что жизнь выше искусства», писал Писарев в статье «Пушкин и Белинский».

Писареву казалось, что вторая формулировка по существу не отличается от первой. Внешне все как будто и звучит по-старому. И здесь, как и там, речь идет о том, что жизнь выше искусства, что цель искусства не в себе самом, а в жизни. Изменилось всего лишь одно слово. В «Разрушении эстетики» основная идея всей критической школы Белинского выражалась формулой, что искусство не может быть выше жизни, не может быть целью самому себе, а здесь она выражена формулой, что искусство не должно быть выше жизни, не должно быть целью самому себе. Большая часть читателей едва ли обращала внимание на этот оттенок мысли, едва ли видела большую разницу между этими двумя формулами. В действительности же разница здесь весьма существенная и разница эта заключается в том именно, что первая формула позитивна, вторая—нормативна.

В «Разрушении эстетики» Писарев называл реальной критикой ту, которая считает произведения искусства плодом реальной действительности и изучает их непременно в связи с жизнью. Суть реальной критики сводится здесь к формулировке принципа исследования, метода изучения, соответствующего природе искусства. Формулировка, данная в «Разрушении эстетики», носит строго позитивный характер: она констатирует факт и делает из него необходимый вывод. Искусство—плод жизни, отсюда для критики необходимость изучать его непременно в связи с жизнью, необходимость быть реальной критикой. Этого требует природа изучаемого об'екта. Перед нами не норма, не предписание, обращенное в качестве повелительного наклонения к критику, а логический вывод, простое и необходимое следствие из данного факта, строго научная формула.

В статье «Пушкин и Белинский» реальной критикой оказывается та, которая предписывает искусству исходить от реальной действительности, требует от искусства связи с жизнью. Суть реальной критики сводится здесь к формулировке нормы, которой должно удовлетворять искусство: формула реальной критики, данная в статье «Пушкин и Белинский» носит явно нормативный характер. Здесь связь искусства с жизнью не факт, делающий для критика обязательным реальный метод исследования, а предписание, требование, которое критик об'являет обязательным для искусства.

Эта нормативная формула не только не является по смыслу близкой к позитивной, но является прямым ее отрицанием. В устах человека, убежденного, что искусство коренится в жизни и потому не может быть само себе целью, формула, что оно не *должно* быть само себе целью, звучит нелепостью. Такая формула имеет смысл лишь в устах того, кто допускает возможность существования несвязанного с жизнью, самодовлеющего искусства. Но тот, кто это допускает, уже не реалист, уже становится на тропу метафизики и подрывает самые основы реальной критики. При отрицании самой возможности существования независимого от жизни самодовлеющего искусства, совершенно бесспорным и естественным является требование, чтобы критика оперировала реальным методом, т. е. рассматривала художественные произведения непременно в связи с жизнью. Но

когда такое самодовлеющее искусство предполагается существующим, требование, чтобы критика была непременно реальной, становится странным и необоснованным. Раз существует самодовлеющее искусство — необходима и соответствующая его метафизической природе критика.

Чтобы избежать этого пагубного для его реалистической позиции вывода, чтобы сохранить незыблемым положение, что ни в какой другой критике, кроме реальной, нет нужды, Писарев просто отрицает необходимость изучения самодовлеющего искусства. Не должно быть такого искусства, незачем его и изучать, ненужен и соответствующий его природе метод критики. Бессилие этой аргументации совершенно очевидно. Из того, что самодовлеющего искусства не должно существовать, никак не следует, что оно не подлежит изучению, раз оно существует. Да и то, что такое искусство не должно существовать, является совершенно суб'ективной нормой, далеко не бесспорной. Это суждение носит явно оценочный характер, а мы знаем, что об'ективного критерия оценки у Писарева не было[1]. Замена позитивного положения, что «искусство ни в каком случае не может создавать свой собственный мир и всегда вынуждено ограничиваться воспроизведением того мира, который существует в действительности», нормативным положением, что «искусство не должно быть целью самому себе и жизнь выше искусства», являлось заменой эмпирического, каузального подхода к искусству подходом метафизическим, оценочным, сбивало реальную критику с дороги научного об'ективизма на путь суб'ективной публицистики.

Писарев не замечал, что, давая нормативное выражение позитивной формуле, он подрывал логику реальной критики, высказывая одновременно два взаимно друг друга исключающих положения об отношении искусства к действительности, из которых одно прочно обосновывало реальную критику, а другое столь же основательно ее разрушало. Свою норму, гласившую, что искусство должно быть изображением жизни, Писарев считал выводом из реалистической формулы, что искусство есть изображение жизни. Он жестоко ошибался. Норма стояла в логическом противоречии с реалистической формулой, на которой ее строили. Реалистическая формула, казавшаяся надежным фундаментом этой нормы, в действительности решительно отрицала всякую нормативность, взрывала эту норму. Писарев и сам это чувствовал и пытался подпереть ее с другого конца, выводя ее уже не из положений реализма, а из уже знакомого нам принципа утилитаризма.

Пред'являя к искусству требование, чтобы оно было изображением жизни, он ссылался на казавшийся ему универсальным принцип полезности. Искусство должно удовлетворять этому требованию, потому что оно должно быть полезно. Но и этот принцип не выводил Писарева из порочного круга все тех же противоречий, потому что он сам, как было показано нами в статье «Эстетич. взгляды Писарева», стоял в резком противоречии с основными посылками реализма. Из того реалистического взгляда, что искусство есть слуга жизни, неизбежно следует, что искусство полезно, что бесполезного искусства, говоря вообще, не существует в природе. Какой же смысл требовать полезности от полезного? Если вода жидкость, а воздух прозрачен, то зачем требовать, чтобы вода была жидкой, а воздух прозрачным? В устах Писарева требование, чтобы искусство было полез-

[1] См. нашу статью «Эстетич. взгляды Писарева». «Печ. и Рев.» VII, 1926 г.

ным, точно так же как и требование, чтобы оно изображало жизнь, звучит нелепостью, потому что с его же точки зрения, поскольку он рассуждал реалистически, искусство всегда изображает жизнь, всегда для кого-нибудь полезно. От внимания Писарева ускользало, что формулированные им нормы могли бы иметь какой-нибудь смысл лишь при условии хотя бы частичной справедливости метафизического понимания искусства. В концепции критика-реалиста они просто лишены какого бы то ни было логического смысла.

Не о том, что искусство должно быть изображением жизни, мог говорить реалист Писарев, а о том, каким должно быть это изображение. Все художники изображают жизнь, но изображают ее по-разному. Как же ее должно изображать? Не о том мог говорить Писарев, что искусство должно приносить пользу. Искусство всегда кому-нибудь полезно. Кому же оно должно быть полезно? В конце концов все нормативные формулы Писарева и были путаным и весьма неудачным ответом на эти вопросы, на которые реальная критика, бывшая научной критикой без научного решения проблемы оценки, была не в силах дать теоретически удовлетворительного ответа. Все эти отвлеченные нормативные формулы нужны были Писареву только для того, чтобы обосновать конкретные требования реальной критики, предписывавшие искусству служить интересам «голодных и раздетых», ярко изображать все неудобства экономического хаоса современной общественной жизни и проводить идеи разумной социальной экономической организации общества [1].

«Роль поэзии должна в наше время состоять, с одной стороны, в ярком изображении невыносимых неудобств существующего экономического хаоса, а с другой стороны — в таком же ярком рисовании того блестящего будущего, которое приведет за собой найденная разумная организация. Остальные отрасли искусства, продолжающие развлекать общество пустыми забавами, подлежат самому строгому осуждению». Вот положение, которое выдвигал Писарев в качестве руководящего принципа всех оценочных суждений реальной критики, в качестве конкретной нормы, которой обязательно должно удовлетворять искусство с точки зрения критика-реалиста. Когда он требует от искусства изображения жизни, он в сущности требует изображения «неудобств экономического хаоса», а поскольку художественные произведения проходят мимо этого хаоса, они в его глазах проходят мимо жизни, не отражая ее подлинного лица. Конкретный смысл этого требования сводится к тому, что художник обязан концентрировать внимание на «главном вопросе» о голодных и раздетых, что мысль об этом вопросе должна пропитывать собой художественные произведения, чтобы они могли иметь какую-нибудь цену в глазах реальной критики. «Если умные и честные поэты своими трудами сосредоточивают внимание общества на главном вопросе (о голодных и раздетых), то, разумеется, таких поэтов надо встречать с распростертыми об'ятиями, как драгоценных и полезнейших союзников. Но читателям своим подобные поэты не доставят ничего, кроме неотразимо-мучительных ощущений, которые окажутся очень плодотворными, но которые не совсем справедливо называть эстетическими наслаждениями. Неужели мы действительно наслаждаемся, когда чувствуем у себя на лбу капли холодного пота, когда у нас на щеках горит яркий румянец стыда или когда мы с бессильным скрежетом зубов оплакиваем кровавыми слезами нашу собственную дрянность, глупость и бесхарактерность». Только таких поэтов и принимает реальная критика, только их искусство и считает за подлинное изображение жизни. Поэт, не замечающий экономического хаоса, это «козявка, копающаяся в цветочной пыли», а произведения его лишены связи с жизнью, совершенно бесполезны, являются тем чистым искусством, с которым и ведет беспощадную борьбу реальная критика». Взятые в таком конкретном значении нормативные требования реальной критики получают определенный логический смысл. По крайней мере они не стоят в непримиримом противоречии с реалистическим пониманием искусства. Тот факт, что искусство всегда является изображением жизни, нисколько не мешает реалистам требовать, чтобы оно было таким изображением жизни, которое сосредоточивало бы внимание общества на главном вопросе о голодных и раздетых.

[1] См. об этом в нашей статье «Нигилизм Писарева в социологическом освещении», «Красная новь», VI, 1926.

Но заключая в себе определенный и по существу глубокий смысл, практически являяясь весьма плодотворными, эти требования реалистически не были обоснованы. Основным принципом реализма является научная об'ективность всех его построений. Между тем об'ективность и общеобязательность данной нормы далеко не очевидна. С точки зрения голодных и раздетых искусство должно изображать «неудобства существующего экономического хаоса». Но должно ли оно это изображать с точки зрения сытых и одетых, для которых существующий экономический хаос очень даже удобен? Почему первая точка зрения обязательна для вторых? Где об'ективные основания такой обязательности? Что дает право реальной критике считать ничтожными художественные произведения, проходящие мимо того вопроса о голодных и раздетых, который она считает главным? Как реальная критика, претендующая быть только научной и об'ективной, аргументирует свои требования к искусству? Бессильный научно ответить на все эти вопросы Писарев и создал всю свою путаницу с превращением позитивных формул реальной критики в нормативные. Было очень заманчиво представить свои нормы, как прямой и непосредственный вывод из реальной теории искусства, как заключительное звено силлогизма: Искусство не может быть выше жизни, значит оно должно изображать жизнь; жизнь в наше время представляет собой экономический хаос, значит искусство должно быть изображением этого хаоса.—Последнее требование начинает звучать как научно аргументированное и для всех обязательное до тех пор, пока не опровергнуто положение реализма, что искусство не может быть выше жизни. Соблазн придать своему требованию вид научно-об'ективной формулы был так велик, что сделал Писарева слепым к логической нелепости сооруженного им силлогизма. Научно обоснованными от такого силлогизма его нормы не сделались, а логика реальной критики оказалась разрушенной. К системе научного об'яснения искусства, какой стремилась быть реальная критика, прицепилась логически ей враждебная, лишенная всякой научности система суб'ективных оценочных норм; реальная критика с дороги научного об'ективизма сбивалась на дорогу суб'ективной публицистики, превращаясь в утилитарную критику.

Этот суб'ективно публицистический уклон в утилитаризм и был теоретически слабым местом реальной критики, на который обычно и напирали всевозможные противники писаревщины, сознательно или бессознательно

игнорируя ее крепкий научно-позитивный стержень. Сверх того нужно добавить, что теоретически неувязанная и научно необоснованная нормативная часть реальной критики была практически верным и наиболее плодотворным из всех современных ей нормативных построений, к тому же ничуть не более научных. Выдвигая в качестве нормы оценки роль искусства в борьбе против существующего «экономического хаоса» за разумную организацию экономической жизни, Писарев эмпирически поднимался до наиболее правильного критерия ценности, хотя и обнаруживал бессилие в его теоретическом обосновании. Теоретическая закономерность критерия была неясна, но практическое его применение давало блестящие результаты, и Писарев крепко держался за него, закрывая глаза на то, что защита этого критерия заводила реальную критику в лабиринт логических противоречий.

В этой слепоте была своя мудрость. Самое худшее, что мог сделать Писарев — это отказаться от критерия оценки, делавшего реальную критику исключительно справедливым судьей над явлениями искусства. Логика от этого, может быть, и выиграла бы, зато критика много бы потеряла. Конечно, было бы лучше, если бы критерий оценки был теоретически увязан с системой реализма, а не стоял в логическом с ней противоречии. Но это было бы возможно только при переводе реализма на диалектические рельсы, о чем в ту пору и думать было нечего. А при таких условиях наиболее мудрым было остаться с логическими противоречиями, чем потерять эмпирически плодотворный критерий оценки художественных произведений. Писарев так и поступил. И практика его критической деятельности, сделавшая из него крупнейшего критика 60-х годов, доказывает, что он не ошибся, что при всех своих противоречиях он стоял на более твердой почве, чем его противники.

О БИОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ПСИХОПАТИЙ[1]

М. Гуревич

Учение о психопатиях представляет наиболее запутанную и отсталую область психиатрии, излагаемую по-разному различными авторами. Произвольность группировки психопатий зависит от того обстоятельства, что эти уклонения до последнего времени не могли быть связаны с определенным анатомо-физиологическим субстратом, не поддавались нозологическому определению и биологическому изучению. Правда, французские психиатры (Morel, Magnan и др.) еще во второй половине прошлого века сделали попытку биологической концепции психопатий, связав их с учением о дегенерации и указав на зависимость между психическими и физическими признаками вырождения. Установление такой генетической и соматической обусловленности психопатий несомненно представляло большой и принципиально важный шаг вперед; однако недостаточная разработанность в то время учения о наследственности, расплывчатость самого термина дегенерации, неопределенность дегенеративных признаков, иногда отсутствующих у заведомых психопатов и нередко обнаруживаемых и у здоровых людей,— все эти обстоятельства повели к ограничению учения о дегенерации и к сужению ее значения в применении к изучению психопатий. В конечном счете исследование дегенеративных стигм не дало основ для биологической группировки психопатий, и лишь накопление признаков вырождения у одного и того же индивидуума может указывать на его биологическую неполноценность как на основу психических аномалий. Таким образом учение о дегенерации не оправдало возлагавшихся на него надежд, хотя в нем и заключалась совершенно правильная мысль о зависимости психопатий от соматических resp. наследственно-биологических факторов. В результате мы имеем до последнего времени многочисленные чисто психологические группировки психопатий, почти совершенно не обоснованные с биологической точки зрения. Даже Крепелину не удалось поставить главу о психопатиях в уровень с остальными биологически проработанными областями психиатрии. Однако, Крепелин и в этой области сделал много принципиально важных указаний. Прежде всего он установил границу не только между психопатиями и психогениями (патологическими реакциями на внешние травматизирующие моменты), но и между психопатиями в узком смысле и врожденными болезнен-

[1] Термин «психопатии» мы употребляем в узком смысле. Это—патологические характеры при интеллекте в пределах нормы, с дисгармоническим складом личности и не адэкватными реакциями на окружающее, чем определяются особенности поведения. Психопатии относятся к пограничным состояниям между психическим здоровьем и болезнью.

ными состояниями или невропатиями, как они могут быть названы благодаря обилию соматически вегетативных компонентов (Neurosität, психастения, перверсии). Психопаты по Крепелину—это аномальные личности с врожденными характерологическими особенностями, но без болезненных черт, свойственных невропатиям. Важность этого ограничения понятия о психопатиях, введенного Крепелином, не всеми оценена в достаточной мере. Многие авторы до последнего времени продолжают смешивать психопатии с невропатиями и даже психогениями, отчасти основываясь на том обстоятельстве, что действительно очень часто именно психопаты дают патологические реакции и что невропатические стигмы нередко наслаиваются на характерологические уклонения психопатических личностей. Таким образом получил право гражданства термин «психоневроз», давший к сожалению возможность сваливать в одну кучу различные формы и усложнивший путаницу в этой и без того трудной области.

Чтобы покончить с вопросом об ограничении понятий о психопатиях, нужно еще иметь ввиду, что аналогичные состояния могут развиваться в связи с экзогенными факторами (инфекции, травмы и пр.); сюда в особенности относятся патологические изменения характера в связи с эпидемическим энцефалитом, а также с сифилисом. Эти экзогенные психопатоподобные состояния, не относясь конечно к области психопатий в собственном смысле, дают в то же время много опорных пунктов, которые имеют значение для уяснения структуры истинных психопатий.

Далее у Крепелина мы находим чрезвычайно важное указание (встречающееся впрочем отчасти и у других авторов) на связь между отдельными формами психопатий и основными эндогенными психозами (маниакально депрессивным, шизофренией, эпилепсией, паранойей и истерией). Установив достаточно подробно эту связь («Руководство психиатрии», том IV, 1915 г.), Крепелин однако не положил ее в основу классификации психопатий—нужно думать потому, что в то время еще не было других данных для обоснования этой новой группировки. Во всяком случае для нас важен самый факт сближения симптоматических проявлений психопатий с соответствующими психозами. Это соотношение мы называем первой биологической корреляцией психопатий. Второй корреляцией, подкрепляющей первую, следует считать генетическую связь между психозами и психопатиями: определенные формы психопатий и соответствующие им психозы наблюдаются у различных членов одних и тех же патологически отягощенных семей. Особенно важное значение для дальнейшего развития учения о психопатиях получили работы Кречмера, которому удалось установить соотношения между типами телосложения и характером. При этом оказалось весьма важным то обстоятельство, что и психозы, и родственные им формы психопатий, как правило, связаны с одними и теми же определенными типами телосложения (наша 3-я биологическая корреляция). Наконец, нами установлена 4-я корреляция между моторикой с одной стороны и телосложением и характером—с другой [1]. При этом и здесь оказалось, что особенности моторики связаны как с психозами, так и с соответствующими им формами психопатий. Наши наблюдения показали, что между моторикой и характером существует более полное и постоянное соответствие, чем между телосложением и характером.

[1] См. нашу работу «Motorik, Körperbau und Charakter», «Archiv für Psychiatrie», 76, 1926.

Таким образом, накопилось значительное количество данных [1], дающих материал для биологической концепции психопатий, соответствующей современному состоянию наших знаний. Конечно, в этом отношении сделано еще слишком мало, т. к. соответствующие исследования начаты лишь за последние годы, предстоит еще очень большая работа в методологическом отношении, необходимо накопление и разработка соответствующего материала. В особенности мы считаем необходимым остановиться на вопросах методики исследования психопатий, которая разрабатывается почти-что наново в соответствии с новыми данными и которую предстоит усовершенствовать в дальнейшем. В области исследования телосложения (Кречмер), изучения наследственности (Rüdin, Hoffmann и др.) сделаны огромные успехи, столь важные, в частности, для изучения психопатий. Изучение характера и моторики с конституциональной стороны потребовало также нового подхода, новых методов; в этом отношении огромные трудности далеко еще не преодолены. Вследствие чрезвычайной важности соответствующей методологии мы здесь остановимся в самых кратких чертах на некоторых данных, имеющих значение в этом отношении.

Характер. При анализе характера, т. е. структуры психики, которою определяется способ реагирования суб'екта на внешние раздражения resp. поведение, Кречмер и вслед за ним Эвальд выделяют следующие компоненты: 1) впечатлительность (Eindrucksfähigkeit—E), с которой связана аффективность, 2) ретенция (R), 3) интрапсихическая активность (IA), 4) проводимость — способность пропускать через себя ток внешних впечатлений и на них реагировать (Leitungsfähigkeit—L). Далее, характер находится в определенной зависимости от влечений (Tr), которыми определяются гипобулические механизмы, и от темперамента (T). Темперамент различными авторами понимается неодинаково. По Эвальду темпераментом определяется биотонус — темп психических процессов; если характер — понятие качества структуры, то темперамент — понятие количества, быстроты течения нервно-психических процессов. Такое определение темперамента эвристически наиболее целесообразно, но нам представляется более правильным не противополагать темперамент характеру, а считать первый одним из компонентов последнего. Таким образом, прибавляя влечения и темперамент к упомянутым в начале 4 компонентам, мы имеем 6 компонентов, из которых складывается характер. Все эти слагаемые соответствуют действительным этапам психических переживаний, начиная от восприятия внешних раздражений до реакции на них, обнимают собою все те способности, которыми определяется реагирование суб'екта на окружающее; при этом E соответствует центростремительной части психорефлекса, R и IA—центральной (интрапсихической), L и Tr—центробежной, функции же темперамента (T) (биотонус) проявляются во всех отрезках психорефлекторной дуги.

Характер и его компоненты дают функциональные колебания по принципу полярности. Одним из физиологических оснований этого принципа являются колебания между возбуждением и торможением, клинически же полярность проявляется в антиномиях, противоречиях, об'единяемых общим субстратом, причем функциональные колебания соответствующих механизмов

[1] Сюда относятся и некоторые данные, касающиеся эндокринно-вегетативной системы, в частности вазомоториума; однако соответствующие наблюдения еще не приведены в достаточную связь с другими особенностями отдельных форм психопатий.

дают внешне различные, но внутренне родственные изменения и расстройства. Такие полярности особенно резко проявляются в маниакально-депрессивном психозе, самое название которого является антиномией; несмотря на различие клинических проявлений маниакально-депрессивные фазы об'единяются общностью расстройства биотонуса, дающего резкие колебания. На принцип полярности обратил особое внимание Кречмер, который об'единяет полярные колебания в определенные пропорции; он говорит о диатетической и психэстетической пропорциях, свойственных циклоидным и шизоидным характерам. Число пропорций может быть по нашему мнению пополнено эпилептоидною (колебания между жестокой импульсивностью и ханжеской приниженностью) и истероидною (колебания между внушаемостью и гипобулическим упорством) и, вероятно, рядом других. Противоречия характера основаны не только на полярных колебаниях в пределах данной пропорции, но и на наличии в одном и том же характере противоречивых пропорций, ведущих к так наз. контрастному напряжению (Гофман). Особенности компонентов характера и его общей структуры зависят 1) от наследственного предрасположения, т. е. от идиотипических свойств организма и 2) от паратипических наслоений, связанных с внешними факторами; последние действуют формирующе на характер путем развития и выявления его компонентов, создания новых комбинаций между ними и подчеркивания антиномий; таким образом получается динамическое развертывание характера, создающее данный фенотип.

Анализ генетического происхождения данной индивидуальной структуры указывает на передачу по наследству определенных свойств от различных предков; часто при этом у потомков выявляются признаки, бывшие у предков в латентном состоянии. Наследственно-биологическая сложность структуры характера отчасти дает об'яснение некоторых особенностей его динамического развертывания при различных внешних ситуациях. Один и тот же суб'ект проявляет при разных обстоятельствах различные стороны своего характера — часто противоречивые (например такие нередко сосуществующие антиномии, как жестокость и сантиментальность). Иногда можно отметить целые периоды жизни данного суб'екта, во время которых он проявляет столь разные стороны характера, что говорят о смещении его, о перемене свойств личности; здесь все дело в том, что суб'ект показывает разное лицо, выявляет разные тенденции и различные полюсы своего характера, как будто разноречивые, но единые в своих противоречиях (Гофман). Если например жестокие деспоты предаются покаянию и мистицизму, то здесь проявляются лишь разные полюсы эпилептоидной пропорции (биполярность); если суб'ект с чувством недостаточности, робкий и нерешительный, становится наружно сильным и стойким, то здесь следует видеть результат компенсации, возможной потому, что у данного лица имеются оба полюса интрапсихической и внешней активности, пропорции которых подлежат колебанию. При известной стойкости конституционального стержня характер с возрастом значительно изменяется в своих компонентах. Так, в детском характере недоразвита ретенция и интрапсихическая активность, вследствие чего получается возможность коротких замыканий между впечатлением и реакцией. В пубертатном возрасте особенно часто нарушаются соотношения компонентов, подчеркиваются противоречивые полюсы, усиливается контрастное напряжение свойственных данному типу антиномий, особенно в связи с усилением влечений. При этом у подростков подчеркивается не только (как это обычно считают) психэстетическая пропорция, свойственная шизоидным характерам, но и истероидная, и эпилептоидная, и диатетическая, если они вообще имеются у данной личности. Значительные смещения представляет характер и в старческом возрасте, в частности в связи с понижением впечатлительности и влечений.

Далее изменения характера происходят в связи с экзогенными факторами, с влиянием среды, с социальными условиями. В частности постоянная длительная невозможность удовлетворения основных влечений (например недоедание), удары по механизмам, защищающим безопасность и целость организма (инстинкты самосохранения и самоутверждения) в связи с нарушением условий его биологического благосостояния влекут за собою нарушение формулы характера, обострение антиномий и, в результате, извращение механизмов, которыми регулируются отношения суб'екта к внешнему миру. Наличный фонд характера остается тот же, но динамические взаимоотношения его компонентов и пропорций претерпевают глубокие изменения, закрепляемые все прочнее при неблагоприятных условиях [1]. Обратно, при благоприятных условиях затушевываются антиномии характера, получается его стабилизация с установкой на более ценных в социальном смысле реакциях.

Моторика. Как было уже упомянуто, исследования наши и наших сотрудников (Озерецкого, Сухаревой и др.) показали, что двигательные особенности находятся в определенной корреляции с типами телосложения и с характером. Почти полное отсутствие методики исследования моторной сферы заставило нас прежде всего обратить внимание на эту сторону дела. Необходимо было выделить отдельные компоненты моторики, связанные с определенными анатомо-физиологическими механизмами. Эти выделенные нами компоненты служат такими же опорными пунктами для исследования моторики, как определенные соматометрические измерения для антрополога. Моторные компоненты локализуются в определенных системах пока еще довольно условно и провизорно, тем более, что правильное выполнение любой функции зависит от целости всего двигательного аппарата и каждый компонент зависит от функции нескольких систем, хотя и связан преимущественно с определенным механизмом. Наша группировка компонентов следующая:

1. Экстрапирамидные компоненты: тонус, регуляция иннервации и денервации, темп, ритм, автоматические движения (выразительные и защитные), сопутствующие движения.

2. Пирамидные компоненты: сила и энергия движения, точность отдельных двигательных элементов, вторичные автоматизмы.

3. Фронтальные компоненты: быстрота установки (психомоторная активность), способность к одновременным движениям, способность к выработке двигательных формул.

4. Кортикоцеребеллярные компоненты: соразмерность движений в пространстве (направление), координация.

Для изучения этих компонентов частью выработаны, частью вырабатываются соответствующие методы исследования (Озерецкий). В общем

[1] В результате создаются предпосылки для антисоциального поведения. О смещениях характера у правонарушителей см. работу Е. К. Краснушкина в Сборнике «Преступник и преступность», Москва 1928.

при исследовании двигательной сферы приходится пользоваться и *мотоскопическим* и *мотометрическим* методами.

Структура двигательной сферы, связанная с особенностями ее компонентов, отливается для каждого индивидуума в определенный моторный облик, основанный на конституциональных свойствах. Отдельные моторные функции носят на себе, таким образом, типовой штамп, их выявления имеют определенную характеристику. Если, таким образом, анализ двигательного акта приводит к выделению моторных компонентов, то с другой стороны естественный синтез их складывается в определенный моторный «характер», в котором и проявляется способ двигательного реагирования суб'екта на внешние раздражения. Моторным характерам, как и психическим характерам свойственны колебания, которые складываются в пропорции [1] с определенными полюсами. Так, циклоидной моторной пропорции (с преобладанием экстрапирамидных компонентов) свойственны колебания между заторможением и повышенным стремлением к деятельности; шизоидной пропорции (с преобладанием пирамидных компонентов) — колебания между импульсивным возбуждением и задержкой, эпилептоидной пропорции—колебания между медленностью и эксплозивностью двигательных проявлений, истероидной — колебания между инфантильной подвижностью и паретической слабостью. При смешанных предрасположениях возможны сосуществования нескольких пропорций у одного и того же суб'екта. Указанные выше конституциональные особенности моторики, связанные со свойствами компонентов и с теми пропорциями, в которые складываются эти свойства, изменяются в связи с биологическими (в частности возрастными) и социальными (в частности профессиональными) факторами. Если отдельным типам нормального сложения соответствуют различные типы нормальной моторики, то диспластическое сложение несомненно связано с различными формами двигательной недостаточности [2]. Конституциональные моторные особенности, являясь основным фондом суб'екта, обладают пластичностью, способностью к изменению от внешних условий. Конечно, при этом остаются основные черты данного моторного облика, но отдельные компоненты больше или меньше выпячиваются и их синтез дает общие изменения, подчеркивая те или иные полюсы в соответствующих пропорциях. Несомненно пределы двигательной изменяемос и требуют дальнейшего изучения, что имеет большое не только теоретическое, но и практическое значение.

Мы видим, что как в отношении моторики, так и в отношении характера понятия о полярности и пропорциях дают возможность раскрытия динамической структуры личности и ее изменяемости в зависимости от биологических и социальных факторов.

При всестороннем изучении личности и сопоставлении ее наследственно-биологической структуры, телосложения, моторики и психических свойств получается возможность уже в настоящее время дать хотя бы про-

[1] Моторные пропорции впервые установлены нами в работе: «Ueber Einteilung der Psychopathien», «Zeitschr. f. d. ges. Neurol.». 108, 1927.

[2] См. нашу работу: «Ueber die Formen der motorischen Unzulänglichkeit», «Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Phych.», 98, 1925. Мы различаем: 1) моторную дебильность (Dupré), 2) моторный инфантилизм (Homburger), 3) экстрапирамидную недостаточность (Homburger, Гуревич), 4) фронтальную недостаточность (Гуревич), 5) церебеллярную недостаточность (Wallon).

визорную группировку психопатий, основанную на биологических данных. Эта группировка представляется приблизительно в следующем виде:

I. *Шизоидная психопатия* характеризуется клиническим и генетическим родством с шизофренией. Этой форме свойственны следующие признаки: 1) астеническое или диспластическое (иногда евнухоидное) телосложение, 2) слабость экстрапирамидной моторики (бедность мимики и выразительных движений, монотонная речь, неловкость и угловатость крупных движений, особенно локомоторных) при достаточно развитой пирамидной и фронтальной моторике (хорошая ручная умелость и пр.). Моторная пропорция колеблется между задержкой и импульсивным порывистым возбуждением, 3) со стороны психики: психэстетическая пропорция (между холодностью, равнодушием и сензитивностью), наклонность к абстрактному мышлению, неровности и странности в поведении, связанные с интравертированной установкой личности и пр.

Лица с диспластическим телосложением более отягощены в смысле дегенерации, отличаются более резкой моторной неполноценностью (иногда не только экстрапирамидная, но и фронтальная недостаточность) и более резкими интеллектуальными уклонениями. Случаи с астеническим телосложением отличаются преобладанием аффективных противоречий (сензитивные с повышенной впечатлительностью (E) и ослабленной внешней активностью и проводимостью (L), фанатики с ослабленной впечатлительностью и повышенной активностью).

II. *Циклоидная психопатия* характеризуется клиническим и генетическим родством с маниакально-депрессивным психозом. Этой форме свойственны: 1) пикническое телосложение, 2) преобладание экстрапирамидной моторики (выразительная мимика, ловкие плавные движения и пр.) при умеренно развитых остальных видах моторики, моторная пропорция колеблется между заторможением и повышенным стремлением к деятельности, 3) со стороны психики диатетическая пропорция (колебания биотонуса, темперамента), наклонность к конкретному мышлению, часто повышенные влечения.

III. *Эпилептоидная психопатия* характеризуется клиническим и генетическим родством с эпилепсией. Этой форме свойственны: 1) атлетическое или диспластическое телосложение, 2) слабость фронтальной моторики (неспособность к одновременным движениям, медленность установки и пр.) и отчасти экстрапирамидной моторики (вялость выразительных движений, аритмичность), моторная пропорция между медленностью и эксплозивностью, 3) наклонность к резким колебаниям вегетативного тонуса resp. вазомоториума, 4) со стороны психики отмечается эпилептоидная пропорция (жестокость — приниженность), эксплозивность и напряженность аффектов, порывистость в поведении (спазматические колебания E и L), повышенные влечения, часто ослабленная интрапсихическая активность, невысокий тяжеловесный интеллект и пр.

Можно отметить две разновидности эпилептоидных психопатий: 1) с атлетическим телосложением — эксплозивно-аффективная форма, 2) с диспластическим телосложением (event. стигмами дегенерации) — форма, отличающаяся особой выраженностью эпилептоидной пропорции и подчеркнутой двигательной недостаточностью.

IV. *Истероидная психопатия* характеризуется клиническим и генетическим родством с истерией. Этой форме свойственны: 1) инфантильно-

грацильное, иногда пикническое телосложение, 2) инфантильная моторика со слабостью пирамидных и особенно фронтальных компонентов и преобладанием экстрапирамидных компонентов (большая подвижность, богатство выразительных движений, ритмичность и в то же время недостаточная точность движений, неспособность к выработке двигательных формул и к одновременным движениям и пр. Моторная пропорция—между инфантильной подвижностью и паретической слабостью (неспособность к длительным напряжениям), 3) большая подвижность вегетаториума (resp. вазомоториума), 4) со стороны психики эмоциональная лябильность, наклонность к коротким замыканиям (при повышенных E и L слабость R и IA), неспособность к абстрактному мышлению, истероидная пропорция между внушаемостью и гипобулическим упорством.

Указанные формы психопатий конечно не всегда проявляются в чистом и неосложненном виде, нужно иметь в виду возможность смешанных форм (при соответствующих сложных наследственных влияниях), осложнения невропатическими чертами и особенно возможность психогенных реакций, столь свойственных психопатам. Под влиянием экзогенных моментов получаются, как уже отмечалось, уклонения в динамическом развертывании личности, смещения формулы характера, проявления скрытых сторон предрасположения суб'екта, вследствие чего могут затемняться основные особенности данной психопатии. Во всяком случае мы считаем, что представленная нами схематическая группировка психопатий, основанная на биологических предпосылках, вносит известную ясность в эту запутанную область психиатрии. Эта схема приобретает особенное значение, если принять во внимание, что ею не только устанавливается родство психопатий с соответствующими психозами, но и дается путь для биологической группировки нормальных личностей, т. к. психопатии являются лишь крайними, уклоняющимися вариантами нормы. Шизотимические, синтонные, эпитимические и лабильные личности обладают в смягченном виде теми же корреляциями, теми же особенностями характера, моторики, телосложения, теми же наследственно-биологическими связями, что и соответствующие им психопатии.

ТВОРЧЕСКАЯ КРИТИКА ИЛИ ТВОРЧЕСТВО КРИТИКИ

Б. Казанский

«Желая заниматься научными вопросами, необходимо прежде всего научиться читать сочинения, которыми хочешь воспользоваться, так, как их написал автор, и прежде всего не вычитывать из них того, чего в них нет».

Энгельс — Предисловие к III тому «Капитала» (стр. XXIV).

I. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДМЕТА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

Кто хоть сколько-нибудь добросовестно читал первую главу «Курса политической экономии» тов. Кона, не мог не видеть: 1) что тов. Кон все время определяет *предмет* политэкономии; 2) что тов. Кон отграничивает политэкономию как *общественную* науку от технических наук; 3) что общественные отношения в основе своей являются у тов. Кона отношениями *производственными*; 4) что об'ектом изучения политэкономии тов. Кон считает *капиталистическое* хозяйство; 5) что тов. Кон вводит представление о необходимости изучать «*стихийные законы* капитализма» путем включения в определение характеристики «теоретическая наука»; 6) что *цель* политэкономии тов. Кон видит во вскрытии *основных тенденций* капитализма, с тем, чтобы облегчить его переустройство; 7) что тов. Кон вполне *сознательно не дает в начале «Курса» развитого определения* политэкономии, имея в виду определенный круг читателей.

Определение, данное тов. Коном, подверглось жестокому обстрелу в статьях тт. Абезгауза, Ноткина и Дукора (см. «ВКА», №№ 25 (1) и 27 (3). Критиков совершенно не удовлетворяет ни первая глава курса, ни дополнительные раз'яснения, данные тов. Коном в его ответе на рецензию критиков (см. «ВКА», № 25 (1).

Остановимся подробнее на замечаниях критиков.

В первой статье они пишут: «Тов. Кон вполне правильно ограничивает об'ект политэкономии экономической структурой капиталистического общества. Но все же мы не можем признать данное им *определение* политэкономии вполне удачным. Определение *предмета* политэкономии — дело большой важности. Оно должно указать то своеобразное место, которое занимает наша наука в системе научного знания. Это — *во-первых*. *Во-вторых*, предмет определяет метод, при помощи которого он может быть научно познан». Как мы видим, критики в первой статье своей говорят об определении *предмета* политэкономии, данном тов. Коном (см. также вывод критиков: «необходимо уточнение определения *предмета* политэкономии»), и далее они дают свое, как им кажется, более верное определение и подчеркивают, что «только такое определение *предмета* политэкономии дает понятие о капитализме»... и т. д. (курсив мой.—*Б. К.*). В своей ответной статье тов. Кон, комментируя приведенные критиками высказывания Маркса, Ленина

и Р. Люксембург, показывает, что «с нашими критиками случился небольшой курьез. Дело в том, что во всех приведенных (ими.—*Б. К.*) определениях речь идет не *о предмете* политэкономии, а о ее *содержании и задачах*. Это, конечно, не одно и то же». Сам же тов. Кон стремился дать определение *предмета* политэкономии.

Однако критики, попав в курьезное положение, пытаются сохранить веселое лицо победителей, несмотря на явно «плохую игру». В своей второй статье они вдруг заявляют, что «тов. Кон пытается *подменить* спор об определении *науки* в целом — спором об узком определении *предмета* науки, взятого в *ограниченном*, *застывшем* смысле, оторванно от ее метода».

Нам кажется, что всякому читателю должно быть совершенно ясно, что «подменой» занимаются критики, а не тов. Кон, что тов. Кон во введении к «Курсу» *хотел дать* и *давал* (и при принятом им порядке изложения и *должен был дать*) определение *предмета* политэкономии. Требование говорить о предмете «в неограниченном смысле» да еще на первых страницах, где все сводится к *отграничению* «об'екта политической экономии», действительно, по меньшей мере, курьезно.

Рассмотрим основные требования критиков, пред'являемые ими к определению предмета политэкономии,—требования, о которых следует, по их мнению, напомнить тов. Кону.

Первая серия требований

Критики считают, что, вследствие «банкротства» «австрийской школы» и распространения среди буржуазных экономистов «социального направления», необходимо особенное внимание обратить на отмежевание марксизма от этого направления. «Тов. Кон,— пишут они,— *недостаточно* выявил своеобразие методологического подхода Маркса к изучению экономических явлений..., ввел в определение политэкономии как раз те моменты марксовой теории, защитным цветом которых прикрываются *идеалистические* интерпретаторы Маркса» («ВКА», № 27). «В самом деле, что дает—по сравнению с идеалистическими интерпретациями Маркса — его (тов. Кона) определение политэкономии?»—задают вопрос критики и отвечают, что под определением политэкономии Кона охотно подписался бы Франц Петри и проф. Амонн, ибо у тов. Кона «задача теоретика-экономиста сводится к разгадыванию тех «таинственных иероглифов», которые представляют вещные категории» («ВКА», № 25). При этом сами критики под отмежеванием понимают «указание различия путем *выставления положительного тезиса*», а не «*раз'яснение* различия» («ВКА», № 27; курсив трех критиков].—*Б. К.*).

Критики изображают дело так, что тов. Кон задачу теоретика-экономиста «*сводит* к разгадыванию иероглифов». Однако, тов. Кон задачу экономиста видит в том, чтобы «обнажать основные тенденции современного общества», и совсем не *сводит* ее «к разгадыванию иероглифов» самому по себе; тов. Кон и термин иной употребляет: он говорит, что при исполнении своей основной задачи политэкономии «*приходится* изучать вещественные категории... *приходится* разгадывать иероглифы», ибо таков единственный путь исследования сложных форм проявления общественных отношений при капитализме. «Политическая экономия изучает производственные отношения капитализма не непосредственно, но *путем* расшифровки тех вещественных категорий, в которых находят себе выражение эти общественные отношения» («Курс», стр. 11). Отождествлять задачу с путем, которым эта задача разрешается, никакой, даже самый «придирчивый», критик не имеет права; это— первое.

Второе— верен ли *сам по себе* довод критиков: если кто-либо из буржуазных экономистов подпишется под тем или иным пунктом определения предмета политэкономии, значит, это определение — неверно. Мы знаем, что когда наши враги с нами соглашаются, это— очень *опасный признак*; когда же они нас ругают, то это — *положительный признак*; так говорил еще Бебель, так часто писал и Ленин. Но можно ли так отульно, *плоско* применять этот принцип *ко всякому и каждому* случаю согласия и расхождения с нами наших врагов? На самом деле, сделали ли шаг вперед буржуазные экономисты, переняв у Маркса «социологический подход»? Или *в этом отношении* более правы «австрийцы» с их суб'ективизмом? Разве в том ошибка и порочность «социологической» школы буржуазной политэкономии, что она приняла социологический метод?—Нет, ошибка конечно не в этом, а в том, что она осталась буржуазной и идеалистической, что она непоследовательно применила правильный сам по себе социологический метод. Таким образом, довод критиков, что некоторые буржуазные экономисты могли бы подписаться под тем или иным моментом определения предмета политэкономии, *сам по себе* еще не опорочивает определения, данного тов. Коном.

Однако, верно ли утверждение критиков, что под *всем* этим определением охотно подпишутся идеалисты проф. Амонн и Ф. Петри? Мы помним указание тов. Кона, что политэкономия изучает *производственные* отношения капиталистического общества. Казалось бы, идеалисты не были бы идеалистами, если бы они видели в основе общественных отношений материальное производство, а отношения людей рассматривали бы как общественную форму материального процесса производства. Привлечем и послушаем самих А. Амонна и Ф. Петри, на которых ссылаются критики. «Мы стоим перед запутанной дилеммой: являются ли цены, зарплата, процент, рента и т. д. предметом рассмотрения политэкономии только в той их *особенной* форме явлений, в которой они выступают, когда речь идет о производстве материальных благ и об обмене ими, или наоборот,— не интересует ли политэкономию в первую голову их *общий социальный* вид, а *форма материального производства и обмена значения здесь не имеет*?»—спрашивает Амонн, и отвечает: «Проблемы политэкономии составляют теоретическое единство не вследствие своего *хозяйственного характера*, каким бы способом его ни определять, но ввиду своей общей существенной для них *социальной природы*. Последнюю нельзя устранить, не уничтожая самой проблемы, тогда как от первого свойства (внешней *связи с производством и обменом материальных благ* или с хозяйственным принципом) мы можем спокойно отвлечься, не боясь уничтожить тем самым самые проблемы. Вовсе *не особенности их эмпирической формы явлений, возникающих при производстве и обмене материальных благ, интересуют политэкономию в первую голову, но их социальные формы в совершенно общем и независящем от них виде*» (А. Амонн; см. сборник «Предмет и метод», сост. проф. С. И. Солнцевым, стр. 232—234). Проф. Амонн об'ектом изучения политэкономии считает «общий социальный вид», а не «форму материального производства и обмена», от которой «социальный вид... не зависит» и которая «значения здесь не имеет».

Можно ли после этого говорить, что проф. Амонн подписался бы под определением тов. Кона,— определением, в основе которого лежат производственные отношения людей, рассматриваемые тов. Коном как общественная форма материального производства?! Подобное утверждение может быть основано либо на незнании *самими критиками* того, что писал проф. Амонн, либо на предположении критиков, что *читатель* не знаком с точкой зрения Амонна.

Приведем далее определение производственных отношений Ф. Петри — «отношения между людьми, которые относятся друг к другу не как об'екты, а как свободные, целеполагающие суб'екты. Это — *не реально-каузальные* отношения между вещами или людьми как предметами внешнего мира, а *идеальное* отношение между людьми как *суб'ектами*, известное взаимное ограничение и соотношение их свободных сфер деятельности» (см. у И. И. Рубина—«Совр. экономисты на Западе», стр. 221). Или—«Социальное заключается в своеобразии направленной цели познания, *не в особенностях об'екта*, а в формальной методологической исходной точке зрения, характеризуемой

суб'ективным способом исследования» (там же, стр. 227). Ф. Петри, как мы видим, производственными отношениями называет «идеальные отношения между людьми как суб'ектами», а не действительные отношения людей по производству, не реальные отношения зависимостей; и хотя социальный организм и является об'ектом политэкономии, однако «социальное» состоит совсем «не в особенностях об'екта», а проистекает только от «суб'ективного способа исследования». Совершенно очевидно, что Ф. Петри, употребляя термины «производственные» и «социальные» отношения, употребляет их в совершенно ином смысле, чем употребляют их марксисты (и тов. Кон в том числе). Вряд ли Ф. Петри, если бы он мог прочитать первую главу «Курса» тов. Кона, согласился бы дать свою подпись под определением предмета политэкономии, определением, каждое слово которого введено тов. Коном в формулировку после специального раз'яснения смысла и значения данного слова и причины включения его в формулировку.

В этом последнем примере видно также значение способа, которым читателю сообщается то или иное понятие. «Выставление положительного тезиса», как бы он по существу правилен ни был, не гарантирует правильного и полного понимания содержания (сущности) положения. Для правильного понимания, для верного представления совершенно необходимо «раз'яснение сущности», против чего протестуют критики. Отчасти и поэтому Энгельс предостерегал против перенесения центра внимания на определения, ибо «понятия тоже подвержены изменению и преобразованию, их не втискивают в окостенелое определение, а *рассматривают в их историческом или логическом процессе образования*» (Предисловие к II Іт. «Капитала», стр. XVI, курсив мой.— *Б. К.*). Ленин тоже часто указывал, что «теоретики марксизма... напирают... на об'яснение, понимание...», что, напр., Маркс «вообще дефинициями (определениями) не занимался» (см. т. I, 3-е изд., стр. 257 и 321). Указание критиков, что нельзя «различие отождествлять с полным разграничением путем точных определений», относится, как мы видим, в полной мере к критикам. Особенно недопустимы догматические «положения» в учебнике, цель которого помочь учащемуся *понять* сущность явлений, помочь ему в них *разобраться*. Задачу — заставить учащегося *заучить нераз'ясненные определения* педагог-*марксист* ставить себе не может.

И, наконец, последнее замечание по этому же пункту. Следует ли в определении предмета политэкономии говорить об «общественных отношениях в их вещной форме»? Критики тов. Кона полагают, видимо, что об этом говорить не следует; они бросают упрек тов. Кону, что он «ввел в определение политэкономии как раз те моменты марксовой теории, защитным цветом которых прикрываются идеалистические интерпретаторы Маркса».

В. И. Ленин, говоря о политэкономии, указывал несколько раз на производственные отношения как на предмет политэкономии. «Ее предмет вовсе не «производство материальных ценностей» (как часто говорят, это — предмет технологии), а общественные отношения людей по производству» (т. II, стр. 220, см. также т. III, стр. 235). Маркс всегда внимательно рассматривает «видимость явлений», подробно останавливается на фетишизме представлений агентов буржуазного производства и вскрывает причину возникновения и существования таких представлений. Первая задача, которая стоит перед политэкономией, состоит в том, чтобы показать, что наша наука изучает не вещи и не отношения людей к вещам, а изучает определенные общественные отношения, что изучает эти отношения не как столкновения «свободных воль», а как естественно вырастающие, обусловленные определенным состоянием производительных сил, как определенные производственные отношения, выразившиеся в определенной вещной форме. Сами критики считают, что «одна из величайших заслуг Маркса в области политической экономии состояла в том, что он вскрыл за отношениями вещей отношения людей» («ВКА», № 25).

В чем же дело? Следует ли аннулировать эту заслугу, считать этот момент неважным и неактуальным только из-за того, что некоторые буржуазные экономисты признали его правильность? Мы считаем, что *недостаточно* вообще, а в учебнике в особенности трактовать марксову политэкономию, ее принципы и методы *только «относительно»* в противопоставлении буржуазным авторам, да еще тем из них, кто стоит сегодня в первых рядах буржуазной науки; в частности, марксов метод имеет, так сказать, *«абсолютное»* значение и затушевывать его никогда нельзя. Такое требование критиков, считающих себя диалектиками и назойливо об этом напоминающих, приводит их в противоречие с об'ективной диалектикой. Попутное же отграничение от «главных врагов марксизма — «австрийской» школы» — в определении тов. Кона можно только приветствовать.

Доводы критиков в этом пункте являются совершенно неубедительными, их упреки тов. Кону несерьезными или необоснованными, а их предложение в угоду самоновейшей современности *затушевывать основные черты марксовой политэкономии* — неприемлемым.

Вторая серия требований

В первой серии требований критики упрекали тов. Кона за то, что он напрасно ввел в определение политэкономии «те моменты, защитным цветом которых прикрываются идеалистические интерпретаторы Маркса» *(введено лишнее)*; кроме того, они ставят ему в вину пропуск ряда существеннейших черт *(пропущено нужное)*. По их мнению, необходимо показать, «является ли задачей экономической теории открытие законов движения капиталистической производственной системы».

«Определение тов. Кона,— заявляют три критика,— не схватывает основного в марксовой системе — ее динамичности, ее диалектичности. Ведь это определение ничего не говорит о внутренней связи и соподчинении производственных отношений капиталистического хозяйства, об их движении и законе, лежащем в основе этого движения... Определение должно подчеркнуть... связь между движением производственных отношений и развитием производительных сил. Оно должно фиксировать внимание на том, что *политическая экономия призвана вскрыть посредством анализа движения противоречий между производственными отношениями и производительными силами товарного хозяйства закон возникновения, развития и гибели капитализма, как исторически обусловленной общественно-экономической формации*» («ВКА», № 25). Тов. Кон, по мнению критиков, «*плоско*... понимает закон движения капитализма», ибо критики «старались подчеркнуть не только динамичность об'екта, но и внутреннюю закономерность динамики»; общее заключение критиков: определение тов. Кона «односторонне, а следовательно,—неправильно»; по мнению критиков, «читатель «Курса» будет дезориентирован определением политэкономии (данным тов. Коном), в котором отсутствует указание на существеннейшие диалектико-*материалистические* элементы марксовой политэкономии» («ВКА», № 27).

Читатель помнит способ построения I главы «Курса», где тов. Кон каждое слово своего определения предмета политэкономии предварительно раз'яснял и обосновывал и лишь потом вводил его в формулировку. Поэтому у читателя «Курса» каждый термин определения будет иметь определенное содержание, изложенное в предшествующих данному термину строках. (Сами критики указывают на неправильность рассмотрения «*изолированных* определений» Маркса и Бухарина; тем более они должны признать недоказательность рассмотрения изолированных определений при таком, как у тов. Кона, способе построения определения.)

Требования критиков можно свести к следующим положениям.

Во-первых, задачей политэкономии является открытие законов движения капиталистической системы.

Говорит ли об этом тов. Кон? Мы помним, что, когда тов. Кон пишет о *задачах* политэкономии (а об этом сейчас говорят критики), он пишет: «Политэкономия нужна пролетариату лишь постольку, поскольку она *вскрывает механизм* современного общества, *обнажает его основные тенденции*» («Курс», стр. 8). Сами критики признают, что «в одном месте» тов. Кон говорит о «стихийных законах»; но эти законы, по их мнению, «не увязаны ни с одним из данных тов. Коном определений политэкономии» («ВКА», № 25). Однако, это «одно место» занимает у тов. Кона больше $^1/_3$ первой главы; однако, в определение политэкономии тов. Кон ввел характеристику политэкономии как *теоретической* науки, и ввел эту характеристику именно потому, что науке, изучающей производственные отношения товарно-капиталистического хозяйства, приходится вскрывать стихийные законы. Таким образом, выставляя это требование, критики просто ломятся в и без того широко открытую дверь.

Второе требование — необходимо говорить о «внутренней связи и соподчинении производственных отношений капиталистического хозяйства». Или, другими словами, необходимо говорить о производственных отношениях как о *единой системе*.

Третье требование — необходимо говорить о «движении» производственных отношений, или, иначе говоря, об их *изменчивости*.

Четвертое требование — необходимо говорить о «законе, лежащем в основе этого движения», говорить о «*внутренней закономерности* динамики».

Пятое требование — необходимо говорить о «*связи* между движением производственных отношений и развитием производительных сил».

Открываем страницу 6 «Курса» и читаем: «Общественные производственные отношения не представляют собой отношений раз навсегда данных, застывших; *под влиянием роста производительных* сил общества... *меняются* как отдельные производственные отношения, так и вся их совокупность, вся их *система* — экономическая структура общества» (курсив мой.—*Б. К.)*; оказывается, и у тов. Кона производственные отношения *меняются*; оказывается, и у тов. Кона они представляют собой *систему* (см. также стр. 5 «Курса»); оказывается, и у тов. Кона их изменение совсем не «плоско», а *закономерно*, *необходимо связано* с развитием производительных сил; оказывается, об этих «моментах» говорил сам тов. Кон на самых первых страницах введения в свой «Курс». И, следовательно, оказывается, что критики, бросая такие упреки, просто ошиблись адресом.

Наконец, шестое — у тов. Кона «отсутствует» (так прямо сказано! *Б.К.)* указание на существеннейшие диалектико-материалистические элементы марксовой политэкономии. «Мы видим,— пишут критики во второй статье,— материализм метода Маркса в политэкономии в том, что развитие производственных отношений рассматривается как форма развития материальных производительных сил, а потому, в противоположность тов. Кону, включаем в наше определение соответствующее указание» («ВКА», № 27). Но, позвольте! Разве тов. Кон не говорил о причине изменения производственных отношений, или выставлял какую-то иную причину, но не развитие производительных сил?! Снова мы встречаем смешное своей голословностью, полной необоснованностью, обвинение, необходимое разве только для того, чтобы «сохранить лицо».

Необходимо остановиться также на том, как изворачиваются в доказательство своей правоты критики, стараясь парировать контр-аргументы тов. Кона.

Тов. Кон указывает, что «Маркс в определении предмета своего исследования не указывает на динамичность об'екта изучения политэкономии. «Предметом моего исследования,—пишет Маркс в предисловии к 1-му изданию «Капитала»,—является капиталистический способ производства и соответствующие ему отношения производства

и обмена»... Определение Н. И. Бухарина гласит: «теоретическая политэкономия есть наука о социальном хозяйстве, основанном на производстве товаров, т. е. наука о неорганизованном социальном хозяйстве». Отсутствие указания на динамичность в самом определении политэкономии для такого подозрения *(недооценка динамичности.—Б. К.)* никаких оснований не дает. В противном случае пришлось бы заподозрить в недооценке динамичности производственных отношений не только Бухарина, но даже самого Маркса».

«Посмотрим, *против кого* эти определения направлены,—отвечают критики,— достаточно сравнить это определение предмета науки с определениями науки у нас и у тов. Кона, чтобы убедиться: 1) что и у Маркса и у Бухарина речь идет о хозяйстве, о *способе производства*, т. е. об *единстве* производственных отношений и производительных сил; 2) что Маркс изучает производственные отношения лишь как форму *целого*, способа производства, т. е. указывает на зависимость их от движения производительных сил; 3) что Бухарин говорит о меновом хозяйстве вообще как об *единой формации*, изучаемой политической экономией; 4) что мы как материалисты учитываем высказывание Маркса, предлагая тов. Кону включить в его определение нашей науки указание на противоречие между производительными силами и производственными отношениями; 5) что мы учитываем и высказывание Бухарина, говоря о противоречии производительных сил и производственных отношений *товарного* хозяйства, и критикуем тов. Кона за обособление товарного хозяйства от капитализма; 6) что тов. Кон *не учел* сказанного выше в своем определении, *разойдясь*, таким образом, с им же цитируемыми Марксом и Бухариным» («ВКА», № 27).

Доказали ли критики — даже при *такой* интерпретации высказываний Маркса и Бухарина — свой *основной* тезис об *обязательности включения в определение* предмета политэкономии указаний на «*движение* производственных отношений капиталистического хозяйства» и на движение противоречий между производительными силами и производственными отношениями? *Разве эти моменты включены* в данные определения политэкономии Маркса и Бухарина?! Этот тезис *не доказан* даже такой «широкой» интерпретацией, а, следовательно, эти определения бьют доводы самих горе-критиков. Эти вопросы в определениях, данных Марксом и Бухариным, не ставятся (хотя конечно и не отвергаются ни ими, ни тов. Коном).

Таким образом критики *не доказали* порочность определений тов. Кона даже *подобным* способом.

Однако критики не унывают. Во второй статье они гордо заявляют: «тов. Кон, несомненно, отступил. Он признает, что можно внести в определение политэкономии «указание на динамичность ее об'екта». Это отступление, но отступление недостаточное».

Отступил ли, действительно, тов. Кон? Или, просто, первое выступление тов. Кона было *не понято* критиками, а, когда им была показана эта неправильность понимания и толкования и они убедились, что *принципиальных* расхождений в этом вопросе нет (и не может быть среди марксистов), — они признали за благо не открыто признать слабость и необоснованность своих обвинений, а возгласить как свою великую победу над тов. Коном то, что они открыли истину, и до них всем известную?

В чем же критики видят отступление? Что такое сказано тов. Коном, что привело критиков в восторг от собственной догадливости? В ответной статье тов. Кон пишет: «Подозревать меня (в том, что) я отрицал или недооценивал динамичность... нет решительно никаких оснований». Можно было бы «обсуждать вопрос о целесообразности или нецелесообразности включения в определение политэкономии указания на динамичность ее об'екта с точки зрения *методической*... С этой *методической* точки зрения, поправку моих критиков... можно принять. С моей точки зрения, поправка эта не является принципиальной. Другой вопрос, обязательно ли ее нужно принять. Существенно лишь,

чтобы фактически производственные отношения представлялись как беспрерывно меняющиеся» («ВКА», № 25). Это существенно важное представление о производственных отношениях тов. Коном и *было дано*; утверждение же, что невозможно или принципиально неправильно включать в определение политэкономии указание на движение—тов. Коном *нигде и никогда* не делалось. Таким образом, заявлять, что тов. Кон сначала выставлял какое-то положение, а потом от него *отступил*, нет никакого резона, и критики это делают совсем напрасно. Конструируя свое определение, тов. Кон говорил об изменчивости отношений, и это для внимательного читателя, конечно, не должно пройти бесследно.

К сожалению, критики прямо не поставили вопроса — о плане расположения материала в учебнике политэкономии. Правилен ли метод построения «Курса», принятый тов. Коном (в «Курсе» предполагается уделить самостоятельную часть методологии п. эк.—не в начале «Курса», а в его конце), или же «Курс» следует начинать с методологии п. эк.? Если бы тов. Кон пошел по второму пути, то к определениям, явившимся следствием этой первой части, можно было пред'являть больше требований, чем к определениям предварительным, данным тов. Коном во «Введении», т. е. облегчающим дальнейшую работу раз'яснением некоторых положений. Предварительные определения могут быть *неполными* (но от того не делаются неверными), и в этом случае нельзя говорить, как это делают критики, об «односторонности, а следовательно неверности» («ВКА», № 27; курсив мой.—*Б. К.*) этих определений. Бросить упрек тов. Кону в том, что он не говорил о моменте противоречий, нельзя при построении «Курса» по плану, принятому тов. Коном [1].

Мотивировка критиков сводится к двум доводам. Довод первый: «если стать на эту точку зрения, то вообще нельзя давать никакого определения политической экономии». Но тов. Кон и не давал определения политической экономии, а дал лишь определение *предмета* политической экономии; всякое определение, повторим, может быть понятно читателю, лишь если оно естественно вытекает из предыдущего изложения; если же не ввести в начале курса главы о методологии, о диалектическом и историческом материализме и их основных чертах,— нельзя говорить о «движении противоречий» как основе всякого движения, в том числе и движения производственных отношений капиталистического хозяйства; наконец, одно дело — дать *полное* определение «адэкватное понятию». чего требуют критики и чего не предполагал, не обещал и не мог в данном контексте дать тов. Кон, другое дело — дать *предварительное* определение — хотя и не полное, но дающее возможность дальнейшего развития.

Следующий довод: «Во-вторых, когда тов. Кон писал свое *предисловие* (введение), то он должен был помнить, что «всякое *предисловие*, как говорят некоторые неглупые люди, есть послесловие, т. е. некоторый чистый итог того труда, к которому *предисловие* пишется» (Бухарин), что определение политической экономии должно резюмировать всю работу в целом» («ВКА», № 27; курсив мой.—*Б. К.*). Но задача резюмирования тов. Коном не ставилась и не могла быть поставлена в определении предмета политэкономии; но — и здесь мы просим читателя полюбоваться методом полемики — у тов. Кона определение предмета дано *не в предисловии*, а *во введении* (так озаглавлена и такой смысл имеет первая глава «Курса»). Разница между «введением» и «предисловием» ясна всякому грамотному человеку; «введение» выясняет основные понятия, которыми

[1] Неправы также критики, приписывая тов. Кону мнение, что можно дать определение политэкономии, «игнорируя ее метод», или что для тов. Кона «несущественно», «непринципиально» указание на закон движения; дело идет не о существенности указания на закон движения, не об игнорировании метода, а только о том — *где, в каком месте «Курса»* для лучшего усвоения читателя следует говорить подробно детально) об этом.

в дальнейшем будет оперировать автор; это выяснение не входит само по себе в круг задач данного исследования; данные понятия являются предпосылкой для развития той системы, которая определяется темой работы, и их выяснение потому сосредоточивается во «введении». Наоборот, «предисловие» может характеризовать и все произведение в целом, и может знакомить со всем его содержанием и выводами. И не сомнительной ли полемической манерой является *проделка* критиков (переименование «введения» в «предисловие»)? Эта *переделка* понадобилась тт. Абезгаузу, Дукору и Ноткину, чтобы доказать хотя бы таким способом правоту своей критики, в частности, доказать неправильно рисуемое ими положение, что дело идет о *резюмирующем полном* определении политэкономии, а не о *предварительном* определении ее *предмета*.

Творчество критиков: определение адэкватное понятию политической экономии

Остановимся на творчестве самих критиков,—на определении ими политической экономии, определении, которое рекламируется как «определение, *адэкватное ее понятию*»: «Политическая экономия призвана вскрыть посредством анализа движения противоречий между производственными отношениями и производительными силами товарного хозяйства закон возникновения, развития и гибели капитализма, как исторически обусловленной общественно-экономической формации» («В.К.А.», № 25).

Тт. А., Д. и Н. думают, что такое определение в противоположность определению «Курса» т. Кона[1] — полно, т. е. является определением, в котором указаны все существенные черты марксистской политической экономии, которое, иначе говоря, *исчерпывает* понятие политической экономии. Однако, думают ли они, что одним, например, указанным ими противоречием исчерпывается и достаточно характеризуется *экономический* анализ движения и гибели капитализма? Разве не обязательно указание на те специфические формы, в которые выливается это противоречие в данный период существования человеческого общества, в первую очередь, на решающее противоречие между общественным характером труда и частным характером присвоения, на противоречие между тенденцией безграничного расширения производства и ограниченным потреблением пролетарских масс, на существование определенных классов, их сожительство и борьбу?

Читатель не забывал, что критики считают невозможным «определять науку вне ее содержания, задач, цели, методов». Читатель также знает, что марксисты всегда подчеркивают классовую основную цель политической экономии и ее классовое содержание. Например, В. И. Ленин, характеризуя марксистскую политическую экономию, пишет: «Политическая экономия, переработанная Марксом, показала нам то, к чему должно притти человеческое общество, указало переход к классовой борьбе, к началу пролетарской революции» (том XVII, стр. 317); или: «Учение о классовой борьбе — центр тяжести всей системы его (Маркса) воззрений... Упущение из вида классовой борьбы свидетельствует о грубейшем непонимании марксизма» (т. I, изд. 3-е, стр. 258). Не наших ли мудрецов, упускающих из виду классовую борьбу, бьют эти замечания Ленина?

Является ли определение, данное критиками, адэкватным понятию именно политической экономии? Нам кажется, что это определение вполне может быть применено и к другим наукам, например,— к истории капитализма. Марксистская история капита-

[1] Такое же, как у т. Кона, определение дано в «Программах по общественным наукам», утвержденных Научно-политической секцией Государственного ученого совета (ГИЗ, 1927, стр. 47).

лизма, конечно, не будет говорить только о формах общежития или только об исторических фактах, хронологии, но будет их анализировать, а не только описывать; она, конечно, произведет этот анализ, рассматривая движение противоречий между производственными отношениями и производительными силами; конечно, будет рассматривать капитализм как исторически обусловленную общественную формацию; конечно, будет стремиться вскрыть основные тенденции и закономерность развития капитализма; конечно, ее целью будет показать неизбежность гибели капитализма, и т. д. Тт. А., Д. и Н. говорят о движении противоречий между производительными силами и производственными отношениям, что далеко *не исчерпывает* полностью *основных* противоречий капиталистического хозяйства, а, являясь их общей базой, является основой *не только для экономического анализа*, а для всех вообще общественных наук, и для движения *не только товарнокапиталистического хозяйства*, а и всякой антагонистической формы общественного хозяйства. Таким образом, определение критиков не является, вопреки их заявлению, «адэкватным» понятию политической экономии; критики не сумели даже отграничить политическую экономию от других наук [1].

Однако, как отграничились критики от немарксистской буржуазной политической экономии? Способ отграничения очень прост — они *включили* в определение политической экономии *характеристику исторического материализма*, марксова метода изучения общественных явлений. Если только так можно отграничиться от буржуазной политической экономии, то проще было бы дать этой науке более краткое определение; такое определение дано одним из студентов первого курса Института народного хозяйства им. Плеханова (пусть укажут критики, «какая из школ буржуазной политической экономии может подписаться под этим определением»): «Политическая экономия это марксистская наука, которая должна показать пролетариату, почему и как погибнет капитализм». Вряд ли читатель будет ориентирован, если ограничиться только таким определением и выдавать его за адэкватное, если, конечно, он не был предварительно знаком с существом марксизма и марксистской методологией; точно также читатель, не будучи знаком с законами исторического материализма (например, с вопросом о противоречиях), не будет ориентирован, если увидит перед собой определение тт. А., Д. и Н.,—определение, преподнесенное «путем выставления положительного тезиса», без предварительной главы о методологии, без предварительного разъяснения еще не вполне понятных слов и терминов и их взаимной связи [2].

---

[1] Отсутствие некоторых указанных нами моментов в отдельных определениях Маркса, Бухарина и других марксистских авторов ничуть не противоречит нашей мотивировке; в полном (адэкватным понятию) определении на эти вопросы указать совершенно необходимо. Дело в том, что ни Маркс, ни Бухарин не стремились дать исчерпывающее определение, а критики на это претендуют.

[2] Мы совсем не желаем обращать против критиков их обвинение, с сомнительным успехом адресованное ими т. Кону; мы совсем не желаем пускаться в поиски авторов, которые, будучи заведомо несогласны с Марксом, тем не менее употребляют формально схожие словосочетания для определения предмета политической экономии. Однако, попутно следует отметить что тт. Абезгаузу, Дукору и Ноткину тоже можно было бы предъявить подобные обвинения.

Эти товарищи считают необходимым в определении «подчеркнуть *связь* между движением производственных отношений и развитием производительных сил... фиксировать внимание на том, что политическая экономия призвана вскрыть посредством анализа *движения противоречий* между производственными отношениями и производительными силами... и т. д.»(курсив мой.—*Б. К.*). Но, как правильно вскрыл т. Разумовский то же самое говорит в своем «Материалистическом понимании истории» и К. Каутский. Однако, вряд ли т.т. А., Д. и Н. признают, что их взгляды в этом вопросе совпадают с взглядами Каутского.

«Материалистичность» тт. Абезгауза, Дукора и Ноткина

Три мудрых критика сами умудрились дать такое «адэкватное» понятию и содержанию политической экономии определение, которое оказалось не имеющим сердцевины марксовой концепции. Но этого мало, они «основным» у Маркса считают совсем иное:

«Определение тов. Кона,—пишут они,—не схватывает *основного* в марксовой концепции—ее *динамичности*, ее диалектичности» («ВКА», № 25; первый курсив мой.—*Б. К.*). Итак, *основное*—это динамичность, диалектичность. Но, как говорил еще Б. Спиноза: «Всякое определение есть отрицание» (Determinatio est negatio); следовательно, классовый характер марксистской концепции не является *основным* для нее; следовательно, *материализм* марксового метода не является *основным* для него. Мы не думаем упрекать критиков в том, что они *отрицают* значение материалистического характера марксова метода, однако, они слишком *сужают*, подчиняют, *затушевывают* материализм, выпячивая на первый план диалектику. Как-будто одной диалектикой, диалектикой «самой по себе» *достаточно* характеризуется марксов метод.

Маркс писал в свое время о том, что «Гегелевское «противоречие»—источник *всякой* диалектики» (курсив мой. — *Б. К.*). Диалектика есть наука о законах движения—и только. Но для материализма характерно не движение само по себе, а движение *материи* («Основу всех явлений природы составляет движение материи»—*Плеханов*, Предисловие к Л. Фейербаху). «Отражение» диалектики в марксизме состоит в том, что «диалектика одна представляет *аналог*, и, *значит*, метод об'яснения происходящих в природе процессов развития» (см. Архив, кн. II, стр. 125—127; курсив мой.—*Б. К.*). Эту мысль неизменно подчеркивает ряд марксистских авторов;—см., напр., *Плеханов*, Осн. вопр. марксизма — «Права диалектического мышления подтверждаются у него (Маркса.—*Б. К.*) диалектическими свойствами бытия. Бытие и здесь обусловливает мышление»; см. также: *Бухарин*, Теория историч. материализма: «У Маркса диалектика есть *прежде всего* (курсив мой. — *Б. К.*) закон «бытия», закон движения материи, закон движения в природе и обществе... Диалектический метод, диалектический способ мышления потому и необходим, что он может ухватить диалектику природы»). Маркс, как известно, говорил, что он поставил диалектику Гегеля «на ноги», т. е. на *материалистический фундамент*, — раз'ясняет Плеханов,—движение духа у Маркса заменяется движением материи.

Но, говорите вы, читатель: зачем повторять эти для марксиста известные истины? Увы, приходится, ибо, сделав ошибку, изолировав диалектику от материализма, считая *основной* для Марксовой концепции *только* диалектику, рецензируемые нами критики на этой ошибке, по существу, настаивают; в своей второй статье они попрежнему *затушевывают* значение материалистического основания в марксовой диалектике. Доказывая совершенно очевидное положение, что «для марксиста-ленинца не заозрно *подчеркивание* (курсив критиков. — *Б. К.*) диалектичности нашего метода», в приведенной тут же цитате из предисловия Плеханова к «Людвигу Фейербаху» они снова производят это подчеркивание *в ущерб* материализму, забывая о недостаточности указания на одну диалектику для характеристики марксова метода. Приведя высказывание Плеханова—«*Без диалектики* неполна, односторонняя,—скажем больше: *невозможна материалистическая теория познания*», тт. А., Д. и Н. не приводят *полностью* данное высказывание, *опускают* фразу Плеханова, начинающую это положение, и фразу его заключающую. А Плеханов писал перед приведенными словами: «*В основе нашей диалектики лежит материалистическое понимание природы*. Она на нем держится; она пала бы, если бы суждено было пасть материализму. И наоборот... (далее следует приведенная выше фраза. — *Б. К.*)... У нас *диалектика* опирается на *учение о природе*». Не зазорно

подчеркивание диалектичности марксова метода, но зазорно *подчеркивание* его диалектичности *в ущерб* его материалистичности. Зазорно также, прибавим в скобках, подобное обращение с цитируемым текстом.

Посмотрим дальнейшую формулировку тт. А., Д. и Н.: «мы критикуем, — пишут они,—с точки зрения *диалектического* материализма, с точки зрения *диалектического* метода Маркса—метода, который включает в себя, как свой составной элемент, *материализм*». Тт. критиков предупредили, что не вполне ясной является их позиция по отношению к роли и значению материализма в марксовой концепции, является ли *основным* для марксиста материалистическое миропонимание, или материалистичность метода не является особо характерным, особо важным, *основным* его признаком («наряду», так сказать, с диалектичностью). И *после этого* критики снова *выпускают* из двустороннего, двуединого положения Плеханова одну «сторону» и дают скользкую формулировку, из которой трудно понять: является ли материализм основной, коренной особенностью марксизма, или он является только «одним из его составных элементов» (сколь значительным, неизвестно); в этой формулировке материализм *затушевывается* характеристикой метода Маркса *только* как диалектического.

Таким образом, замечание тов. Кона, что «подчеркивание диалектичности нашего метода и *оставление в тени* материалистичности чрезвычайно характерно для того течения в марксистской политэкономии, представителями которого являются тт. А., Д. и Н.», совершенно обоснованно и по существу верно[1]. Тт. А., Д. и Н. действительно дают достаточно поводов к обвинению «в выпячивании» диалектичности метода на первый план, *в ущерб (затушевывая, оставляя в тени)* материалистичности марксовой концепции как основному ее признаку «наряду», в органическом единстве с диалектикой. И этот методологический «грех», несомненно, сближает незадачливых критиков с И. И. Рубиным, как бы настойчиво ни отмежевывались они от него в частностях.

II. О «ПРОСТОМ ТОВАРНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»

Потерпев неудачу в своих советах по поводу определения предмета политической экономии, три критика решили искать прямые ошибки в «Курсе» тов. Кона. У тов. Кона, оказывается, «неправильная линия в трактовке «простого товарного хозяйства»; концепция тов. Кона, оказывается, страдает «непоследовательностью», «эклектичностью»,

[1] Совершенно ложно утверждение критиков, что тов. Кон «в своих «Лекциях по методологии» рассматривает диалектику независимо от материализма и материализм *независимо* от диалектики» (курсив мой.—*Б. К.*). Если мы посмотрим в «Лекции», то увидим, что основой марксистской политэкономии является у тов. Кона «исторический материализм: по линии этого метода пролегает действительная грань между пролетарской и буржуазной политэкономией». Предполагая, что этот метод «должен быть уже известен читателю», тов. Кон напоминает только, что «основными китами этого метода являются материализм и диалектика»; при этом материализм и диалектика «сочетаются в *единый* метод научного познания» (стр. 41); тов. Кон говорит, что для марксизма диалектика и материализм есть *единый* метод познания; так. обр., упрекать тов. Кона в отрыве диалектики от материализма, писать, что он считает диалектику независимой от материализма и наоборот,—нет никакого основания. Тов. Коном в «Лекциях по методологии» не рассматриваются диалектика и материализм сами по себе, а рассматривается политэкономия, причем рассмотрение ведется с разных сторон, под различными углами зрения; при этом критики не могут указать, чтобы в главе «Политэкономия как наука диалектическая» тов. Кон допускал отрицание материализма, а в главе «Материализм в политэкономии» тов. Кон отрицал или не дооценивал, или даже упускал из вида диалектичность политэкономии. Диференцированно рассматривать вопрос—не значит разрывать вопрос на части.

ибо «с одной стороны, он защищает положение, что простое товарное хозяйство есть *особый исторический тип хозяйства*, а с другой стороны, признает, что товарное хозяйство *логически* есть просто абстракция капитализма».

«Формация» и «тип»

«Ответ тов. Кона,—пишут они,—полностью подтверждает *правильность* нашей критики. Одно из двух: *или* исторически существовавшее хозяйство было особым типом, особой структурой, проще говоря,—особой формацией общества, тогда оно не только *исторически*, но и *логически* своеобразно и не только допускает, но и требует специальной науки для своего понимания; *или* простое товарное хозяйство *логически* несамостоятельно, а есть лишь абстракция капитализма; тогда оно *исторически* выступит перед нами не как особый тип хозяйства, а как *начальный этап* развития капиталистического *типа* хозяйства. Это не значит, что простое товарное хозяйство *есть уже капитализм*, но это предполагает, что капиталистический тип хозяйства является лишь развертыванием богатого содержанием многообразия форм, потенциально скрытого в производственных отношениях независимых товаропроизводителей. Это *капиталистический* тип хозяйства *в нераскрытом состоянии*... тов. Кон непозволительно смешивает *различие этапов* развития хозяйственного типа *с различием хозяйственных типов*» («ВКА», № 27).

Тов. Кон вносит в эти ламентации фактическую поправку, что «простое товарное хозяйство является особой экономической формацией, я не говорил, и критики зря это мне приписывают». Критики отводят эту поправку со следующей мотивировкой: «напрасно наш антикритик пытается спастись *мнимым* (курсив мой.—*Б.К.*)*различием* между *типом* и *формацией*. Формация всегда типична, а тип всегда обусловлен *структурно*, т. е. характеризуется структурой, строением; своеобразие формации немыслимо вне различия *формы*, своеобразие типа — вне особого *содержания*» («ВКА», № 27).

Выражение—«тип всегда обусловлен структурно» следует расшифровать так, как это делают сами критики в конце приведенного отрывка: можно говорить о своеобразии типа, когда налицо своеобразный характер общественных отношений, и только. Но всегда ли «формация типична» в этом смысле слова? Своеобразие формации — это своеобразие (различие) форм. Но за схожей формой могут скрываться различные общественные отношения (различное содержание). Не даром Маркс во «Введении» писал, что «одни и те же категории могут занимать различное место на различных ступенях общественного развития» (пример—форма цены; за ней могут лежать отношения независимых товаропроизводителей—тогда она соответствует простому товарному хозяйству; она может выражать отношения капиталистического хозяйства; за ней, наконец, может лежать сложный комплекс отношений переходного периода; содержание—общественные отношения—везде *разное* и различие отношений чрезвычайно велико, а на поверхности—всюду форма цены); отношения людей могут отличаться принципиально, но выражаться в схожих внешних формах. А потому нельзя говорить о том, что «формация всегда типична», если подразумеваем под «типичностью» особое классовое содержание, а не желаем просто играть словами, употребляя термин «типичный» вместо и наравне с термином «своеобразный». Одна и та же определенная формация, т. обр., хотя она и имеет свой собственный образ, по сравнению с иными формациями, сама может охватывать различные типы общественных отношений, различные типы общественной структуры; следовательно, неправы А., Д. и Н., когда они говорят, что между «формацией» и «типом» «различие мнимое», следовательно, неправы они и тогда, когда истолковывают положение тов. Кона о том, что простое товарное хозяйство и капитализм есть различные типы меновых обществ, как отрицание т. Коном принадлеж-

ности этих двух типов общественной структуры к одной социально-экономической формации—«хозяйству, основанному на обмене» или «неорганизованному социальному хозяйству».

Можно ли назвать простое товарное хозяйство отличным от капитализма типом хозяйства

Имеются ли различия между простым товарным хозяйством и капитализмом по существу? Или они являются, как утверждают тт. А., Д. и Н., только «двумя разновидностями единого хозяйственного типа»? Стоит так поставить вопрос, как сделается *очевидным* вся ложность столь малого «несущественного» разграничения этих «разновидностей» «социально-экономической структуры общества».

Основоположники марксизма—Маркс, Энгельс и Ленин—усматривали основной признак определения социально-экономической структуры в области межклассовых отношений. Во II томе «Капитала» Маркс пишет: «*особый характер и способ*, которым осуществляется *соединение* (рабочих и средств производства.—*Б. К.*), *различает* отдельные экономические *эпохи* социальной структуры» (стр. 12—13, курсив мой.—*Б. К.*). Ту же мысль подчеркивает Маркс в т. III: «*Та специфическая экономическая форма, в которой неоплаченный прибавочный труд высасывается из непосредственных производителей*, определяет отношения господства и подчинения... А *на этом основана вся структура экономического общества*, вырастающего из самых отношений производства, а вместе с тем его специфическая экономическая структура. *Непосредственное отношение собственников условий производства к непосредственным производителям... вот в чем мы всегда раскрываем* самую глубокую тайну, *сокровенную основу* всего общественного строя» (Маркс, «Кап.», т. III, ч. 2, стр. 327, курсив мой.—*Б. К.*). При разграничении типов экономических структур Маркс придавал отношениям эксплоатации *решающее* значение, а «последователи» Маркса, тт. А., Д. и Н., при разграничении этих типов решаются игнорировать междуклассовые отношения. Положительно, игнорирование классовой борьбы входит у тт. А., Д. и Н. в привычку!

Отправляясь от тех же, что и Маркс, положений, Энгельс проводил решительное различие между капитализмом и простым товарным хозяйством. В брошюре «Развитие социализма от утопии к науке» Ф. Энгельс пишет: «При переходе от простого товарного хозяйства к капитализму новая форма производства подчинилась старой форме присвоения, несмотря на то, что она *совершенно разрушила ее основы... Само собой понятно*, что хотя *форма* присвоения и осталась прежней, но *характер* его изменился вследствие вышеописанного процесса столь же *радикально*, как и характер самого производства. Большая разница, присваиваю ли я продукт своего собственного или продукт чужого труда» (стр. 61—62, курсив мой.—*Б. К.*).

Обратимся к Ленину.

В одной из своих работ В. И. Ленин (см. IX т., 1-е изд., стр. 186) пишет: «Буржуазная политическая экономия затушевывает противоречия капитализма, социалистическая *должна выяснить различие типов хозяйства* и уровня жизни у процветающих *капиталистических* и нуждающихся *мелких хозяев*» (курсив мой. Как известно, мелкое хозяйство относится к типу простого товарного хозяйства.—*Б. К.*). В. И. Ленин считает необходимейшей обязанностью пролетарской политической экономии *выяснить* различие капиталистического и простого товарного хозяйства, а тт. А., Д. и Н. *затушевывают* это различие; В. И. Ленин прямо и буквально называет эти хозяйства различными *типами* хозяйств, а тт. А., Д. и Н. в двух статьях всеми силами борются против того, что тов. Кон рассматривает «так называемое «простое товарное хозяйство» как особый, *отличный от капиталистического тип* хозяйства». Данное утверждение критиков, как мы видим, находится в явном противоречии с прямыми высказываниями Маркса, Энгельса и Ленина.

Тт. А., Д. и Н. утверждают, что тов. Кон «пытается приписать нам *отрицание* качественного различия между *мелким товарным* хозяйством и капиталистическим производством», и требуют доказать эту «приписываемую нам *ошибку*».

Начнем с формального доказательства ошибки. В первой статье критики *ни разу* не говорили о качественном различии, а все время подчеркивают, что простое товарное хозяйство есть лишь «одностороннее рассмотрение» капитализма, «капитализм in statu nascendi». Если прямо применить их толкование терминологии, то получится еще более четкая картина; возьмем хотя бы следующее их положение: «Меновое общество «вообще»... не есть особая от капитализма формация, а лишь зародыш, первая ступень капитализма, вкрапленная в докапиталистические формации». Но мы слышали от них же, что различие между типом и формацией «мнимое», что формация всегда типична, а тип всегда обусловлен структурой, характеризуется структурой, строением, что своеобразие типа есть своеобразие его содержания. Подставляя это толкование в вышеприведенную фразу, мы увидим, что простое товарное хозяйство у тт. А., Д. и Н. не есть особый от капитализма тип, т. е. не имеет иного, чем капитализм, содержания, иной, чем капитализм, структуры, строения. Содержание же определенной экономической формы—это определенные общественные отношения; таким образом, мы приходим к выводу, что у тт. А., Д. и Н. и простое товарное и капиталистическое хозяйство *выражают одинаковые* общественные отношения, следовательно, *качественного* различия между ними не имеется, оно «*мнимое*».

Если это «единый тип», то где же разница качественная?!

Во второй статье тт. А., Д. и Н. об'ясняют, что качественная модификация обмена является следствием «количественного развития обмена», а различие в том, что иначе действует закон стоимости—не на поверхности, а в глубине, не частично, а полно... и все! Но где же классовые отношения? Где интерес наших «марксистов» к способам присвоения прибавочного продукта? Разве *количественное* развитие обмена *само по себе* изменяет содержание его, характер общественных отношений? Качественная модификация общественной структуры произошла вследствие того, что в обмен вступил особый товар—рабочая сила; какое бы количество других предметов ни превратилось в товары, как бы широко ни развился обмен территориально, до тех пор, пока им не охвачен именно данный товар—рабочая сила,—до тех пор нет качественного изменения структуры. Этим мы совсем не думаем отрицать того, что развитие обмена приводит к такому положению, что рабочая сила становится товаром; но этот «геологический» социальный сдвиг воспринимается нашими героями только с точки зрения модификации закона стоимости. Огромная *принципиальная* разница, происходит ли обмен между равными товаропроизводителями или равенство товаропроизводителей сменяется «равенством» капиталиста и пролетария. Трудовой тип хозяйства (хотя и хозяйства собственников) и тип «эксплоататорский» (хотя бы в форме добровольного соглашения—продажи рабочей силы), несмотря на сходство формы (обмен, неорганизованность), выражает разное качество отношений. В этом переходе не просто «количественное развитие» обмена, не эволюция, а диалектический «скачок». Преображение стоимости в цену производства лишь внешне выражает это качественное различие, а не является его причиной (не оно «*создает* это различие», вопреки утверждениям тт. А., Д. и Н.). Различие между простым товарным хозяйством и капитализмом у тт. А., Д. и Н. оказывается совершенно аналогичным, *точно* таким же, как различие между промышленным капитализмом и империализмом—«*точно так же* промышленный капитализм и империализм суть разные ступени капитализма, качественно отличные, и в то же время империализм не есть особый от капитализма тип хозяйства» («ВКА», № 27),—восклицают они.

Но в том-то и дело, что различие промышленного капитализма и империализма есть различие в пределах одного *типа* экономической структуры общества, а различие простого товарного хозяйства и капитализма есть различие типов структур, *коренное качественное* различие, а совершенно *не* точно такое же различие, как в первом случае.

При анализе явлений капиталистического хозяйства *необходимо абстрагироваться от их сложности*—предварительно рассмотреть схему простого товарного хозяйства—это несомненно; а отсюда следует, что «политическая экономия, изучая экономическую систему капитализма, попутно выясняет природу меновых отношений вообще» (Кон, «Курс», стр. 10), или, иными словами, *незачем* строить особую специальную теоретическую науку, изучающую простое товарное хозяйство, если мы изучаем капитализм; анализ капитализма включает в себя анализ простого товарного хозяйства,—так говорит тов. Кон и приписывать ему в этом вопросе иную точку зрения оснований нет никаких.

Тт. Абезгауз, Дукор и Ноткин как диалектики

Тов. Кон в специальном параграфе, посвященном простому товарному хозяйству, писал, что для анализа капитализма «мы возьмем простое товарное хозяйство не в той конкретной форме, в какой оно исторически существовало (товарное хозяйство средневековых городов), а в его абстрактной схеме» («Курс», стр. 18); критики резко обрушиваются на это положение. Спор, по заявлению критиков, идет о том: «существовали ли средневековые города изолированно или были в тесной внутренней связи со всей системой тогдашнего хозяйства, а также, были ли средневековые города чистым типом меновых хозяйств»; но т. Кон нигде не говорил о средневековых городах как о чистом товарном хозяйстве, а, наоборот (см. вышеприведенную фразу), прямо противопоставляет их. Любопытна позиция в данном вопросе самих критиков. Колеблясь в признании правомерности отнесения хозяйства средневековых городов к простому товарному хозяйству, критики приводят, например, такой аргумент: «действие (закона стоимости—*Б. К.*) всегда стеснено рамками натурального хозяйства—закон стоимости не может свободно осуществиться». В этой мотивировке отчетливо обнаруживается недиалектичность постановки вопроса: *или* свободно осуществляется, *или* совсем его нет (*либо* существует свободно, *либо*—совсем его нет, не существует); одно дело *стесненность*, неполнота действия закона стоимости из-за неразвитости хозяйства (т. е. как, в каких формах, какой мере действует закон стоимости), другое дело—*факт существования* и действия закона (существует ли, действует ли закон стоимости).

Однако, вернемся к поистине классической постановке вопроса о простом товарном хозяйстве нашими «диалектиками». По их мнению, простое товарное хозяйство является *или* историческим этапом развития, *или* абстрактной схемой капитализма. Если выше мы убедились, что тт. А., Д. и Н. являются сомнительными материалистами, то теперь до конца разоблачается и их «диалектика». Ведь, подобная постановка вопроса неопровержимо свидетельствует о том, что авторы ее имеют очень смутное представление даже об *элементарных* положениях метода материалистической диалектики. Маркс неоднократно раз'яснял, что «законы абстрактного мышления, восходящего от простого к сложному, соответствуют действительному историческому процессу» (Введение, стр. 26). Поэтому—познавательные категории, добытые на этом пути, *одновременно* являются *и* упрощающей абстракцией по отношению к сложному конкретному явлению, подлежащему об'яснению, *и* отражают определенный исторический этап развития этого сложного конкретного явления. Это «совпадение», могущее показаться «необ'яснимым» тт. А., Д. и Н. и всем впервые приступающим к изучению марксистской диалектики, находит себе об'яснение в том факте, что не только мысль исследователя движется по пути восхождения от простого к сложному, но и реальный процесс развития. Подобно тому, как, например, простая форма стоимости является одновременно *и* историческим предшественником денежной формы, *и* теоретической абстракцией последней, так точно простое товарное хозяйство представляет собой одновременно *и* исторический *и* теоретический prius капитализма.

Критики пишут, что т. Кон «непозволительно смешивает *различие этапов* развития хозяйственного типа с *различием хозяйственных типов*». Но, на самом деле, различие типов не отрицает того, что они являются одновременно и различными этапами развития человеческого общества (*и* разные типы, *и* разные этапы). Корень этой ошибки лежит, видимо, в недиалектичности построений—таково замечательное: *или—или* («*или* особый тип—*или* начальный этап»), отрицающее постановку т. Кона: *и—и* (по мнению критиков, нельзя говорить, что «историческое существование... было особым типом общества. Тогда оно не только исторически, но и логически своеобразно»; на самом же деле оно, будто бы: «исторически выступает... не как особый тип хозяйства, а как начальный этап развития капиталистического хозяйства» «ВКА», № 27). В своих утверждениях критики, таким образом, забывают обязательность для марксиста-диалектика рассматривать теоретическое, как отражение действительного (исторического) процесса развития; они ставят соотношение на голову, признавая изначальным логическое, теоретическое, что вряд ли может свидетельствовать о достаточном владении научным методом Маркса. И в этой «методологии» критиков видна их близость к И. И. Рубину, фактически отрицающему то, что аналитический и генетический методы суть элементы единого метода материалистической диалектики.

Теория и практика

Не понимая особой важности «эксплоатационного» момента, критики лишают себя ключа к пониманию возможности перехода от простого товарного хозяйства к социализму—некапиталистического пути развития мелкого товарного хозяйства.

Тов. Кон уже указал, что Ленин рассматривал элементы простого товарного хозяйства и капитализма, как элементы различных общественно-экономических укладов, а не как элементы одного и того же уклада, что Ленин доказал колоссальную теоретическую и политическую важность такого различения; критики, отвечая на это «это нам было известно и без него» (т. е. без т. Кона—*Б. К.*), продолжают: «Если простое товарное хозяйство является только первой ступенью капитализма, то следует ли отсюда, что *при определенных условиях* мелкое товарное производство не может стать исходным пунктом развития принципиально новой социально-экономической формации, минуя капиталистический путь? Отнюдь нет! Это только значит, что мелкотоварное производство в условиях свободной конкуренции, предоставленное имманентным законам своего развития, будет ежедневно, ежечасно выделять из своей среды капитализм». И далее критики указывают, каковы эти условия: «В нашей стране эти условия созданы в результате Октябрьской революции в виде: диктатуры пролетариата, социалистической индустрии... (следует перечисление, причем почему-то пропущена национализация земли, хотя дальше речь идет о крестьянстве.—*Б. К.*). Опираясь на эти основные рычаги нашей экономики, пролетарское государство направляет развитие хозяйства простых товаропроизводителей—крестьян—через кооперирование, колхозное строительство и т. д. на социалистический путь» («ВКА», № 27).

Однако здесь позволительно задать вопрос—почему простое товарное хозяйство может стать исходным пунктом развития принципиально новой социально-экономической формации, а капитализм не может? Применим ли, например, метод кооперации, при каких бы то ни было условиях к капитализму, а, если нет, то почему? Существуют ли

какие-нибудь условия, при которых, например, кулак мог бы врасти в социализм? А, ведь, такая постановка прямо вытекает из отрицания различия по типу простого товарного хозяйства и капиталистического. И не является ли игнорирование качественного различия между этими укладами прямым переходом на позиции механистов?— Снова вопрос «классового характера» явился для тт. А., Д. и Н. камнем преткновения, ибо они заменили решающий признак в определении типа хозяйства (классовые отношения) признаком формы, концентрируя подобно И. И. Рубину все внимание на форме обмена.

О ТЕОРИИ СТОИМОСТИ

Путь об'яснения и изложения теории стоимости

Вся критика тт. А., Д. и Н. в первой статье исходит из одного положения—методологической неправильности принятого тов. Коном пути об'яснения теории стоимости; если этот исходный пункт, на котором базируются все возражения, по тем или иным обстоятельствам окажется неверным, то рушится вся сила возражений. Тт. А., Д. и Н. пишут: «было бы *неправильно исходить* при обосновании теории стоимости *из представления о товарном обществе как организованном целом*» («ВКА», № 25, стр. 220; курсив мой.—*Б. К.*). «*Правильный путь изложения*... состоял бы в том, чтобы, доказав *непосредственную неприменимость* определения общества, как системы пропорционально-распределенного труда... перейти к анализу... противоречия между частным и общественным трудом... К сожалению, тов. Кон пошел другим путем» (стр. 224—225, курсив мой.—*Б. К.*). «Тов. Кон непосредственно применяет понятие системы распределенного, т. е. *общественного* труда к совокупности *частных* работ... Маркс выводит обмен по стоимостям и меновые отношения вообще из «овеществления труда» (там же, стр. 227). Итак, основной довод критиков заключается в том, что тов. Кон взял методологически неверное исходное положение, и это обусловило, по мнению критиков, порочность всех «построений» тов. Кона, всего изложения им теории стоимости.

Тов. Кон показал, что сам *Маркс* рекомендовал *в заключении главы о методе* «Введения» именно такое «расположение предмета», какое осуществил в «Курсе» тов. Кон[1]. Это—первое. Еще пример: в своем замечательном письме к Кугельману (от 11 июля 1868 г.) Маркс прямо *исходит* из «необходимости разделения общественного труда в определенных пропорциях» и говорит, что «измениться может лишь форма ее проявления» и т. д. Тов. Кон ничуть не пошел против Маркса, положив в основу стоимости «закон трудовых затрат»; нельзя забывать, что труд товаропроизводителей хотя по внешности и является трудом частным, но одновременно скрыто (латентно) он тем не менее является трудом общественным.

Взяв за исходный пункт письмо Маркса к Кугельману, тов. Кон не забывал подчеркивать в «Курсе» (неоднократно) и неорганизованность менового хозяйства, «самостоятельность» (по форме) отдельных производителей и овеществление общественных отношений и т. д.; он писал об этом и во «Введении» (см. стр. 6—8), говорил об этом и в первых параграфах главы «Теория стоимости Маркса» (см. даже по названиям: § 1. «Общество, как производственный коллектив», § 2. «Общественный

[1] «Расположение предмета, очевидно, должно быть таково: сначала нужно развить общие абстрактные определения, которые именно поэтому более или менее относятся ко всем общественным формам... Во-вторых, категории, которые образуют внутреннюю организацию буржуазного общества...: Капитал, наемный труд» и т. д. *Маркс*, Введение, изд. 1923 г., стр. 31).

характер менового производства»[1], § 3. «Техническое и общественное разделение труда»[2] и т. д.)—это—второе.

И, наконец, третье: Ленин, комментируя указанное выше письмо Маркса к Кугельману, пишет: «Маркс показывает здесь, каким путем он шел и *каким путем надо итти* к об'яснению закона стоимости» (Маркс, «Письма к Кугельману», изд. 1920 г., стр. IV, курсив мой.—*Б. К.*). Ленин, таким обр., считает *совершенно правильным и необходимым* итти *от* понятия общества, как системы распределенного труда, *от* «закона трудовых затрат» к буржуазной форме проявления этого закона («стоимости»). Тов. Дукор еще в своем выступлении в РАНИОН'е в 1927 г. («Абстрактный труд и стоимость в системе Маркса», изд. РАНИОН'ом в 1928 г.) категорически заявлял: «Расположение материала во всякой науке не является чем-то произвольным... Изменяя расположение материала в главе «Капитал», мы... изменяем методу Маркса... в частности же, его расположение в I главе строго соответствует диалектическому методу Маркса» (см. стр. 44. Тов. Дукор говорил об «изложении» определенных положений при развитии системы науки.—*Б. К.*). Однако, в своей первой статье тт. А., Д. и Н. считают неправильным исходить «при об'яснении теории стоимости из представления о товарном хозяйстве как организованном целом»!

Не эти ли высказывания Маркса и Ленина и раз'яснения тов. Кона заставили тт. А., Д. и Н. *во второй* статье *отказаться* от прежней своей точки зрения и *подменить* прежние требования другими? Если мы посмотрим вторую статью тт. А., Д. и Н., то мы найдем там следующую фразу (запрятанную в примечании на стр. 79): «Мы считаем, однако, *допустимым* развить общие понятия общества и общественного труда перед теорией стоимости *для облегчения* усвоения слушателями этой последней... Но *другие* вопиющие отступления от изложения Маркса, какие допустил тов. Кон (развивая, например, общественно-необходимый труд до абстрактного труда, распределение и равновесие труда в меновом обществе—до стоимости), мы признавали и признаем недопустимыми» (курсив мой. *Б. К.*).

Это отступление, но отступление явно недостаточное. Ленин говорил, что Маркс «*шел таким путем*» и что «таким путем *надо итти* к об'яснению закона стоимости», Ленин говорил тут же, что в этом письме Маркс «учит... своему *методу*» (курсив Ленина.—*Б. К.*); Ленин, следовательно, считал, что тут мы имеем важнейшую *методологическую* особенность Маркса; а тт. А., Д. и Н. этот путь только «*допускают... для облегчения* усвоения», т. е. считают, что здесь из-за *методических* соображений возможно допустить *методологическое отступление*. Так или иначе, основной и главный методологический аргумент, на котором *базировались все доказательства*, вся критика,—*снят* самими тт. А., Д. и Н.; тем самым *падает вся* система их доказательств.

Следовательно, по этому вопросу можно больше не говорить, памятуя, что «лежачего не бьют»[3].

[1] См., например, первый абзац § 2: «На первый взгляд кажется, что меновые общества вообще (а капиталистические, в частности) не знают общественного производства. Здесь производство разорвано на тысячи клочков, на тысячи самостоятельных индивидуальных производств» (стр. 14), и фразу заключающую: «Несмотря на раздробленность капиталистического производства, несмотря на его распыление на тысячи индивидуальных производств, оно все же не теряет, как мы видим, своего общественного характера» (стр. 15).

[2] См., напр.: «потоки товаров, пробегающие из одного предприятия в другое, являются здесь теми связующими нитями, которые об'единяют *разрозненные* индивидуальные предприятия в единый общественный производственный аппарат. Товары здесь являются *орудием* производственной связи между людьми (стр. 17)».

[3] К таким же точно результатам привело бы и рассмотрение правильности введенной тт. А., Д. и Н. новеллы—выдвинутого ими в первой статье (а перед тем на диспуте в РАНИОН'е—см. «Абстрактный труд и стоимость», изд. РАНИОН 1928 г.)

Об умении тт. А., Д. и Н. читать чужие сочинения так, как их писал автор

Начнем с первой статьи критиков. Они утверждают, что у тов. Кона «труд то отождествляется со стоимостью, то предпосылается ей как основа». Тт. А., Д. и Н. придают огромное значение этой найденной будто бы ими ошибке, все выводы тов. Кона проистекают, по их мнению, именно из отождествления труда со стоимостью. *Отсюда*—тов. Кон не может справиться с об'яснением общественно-необходимого труда (стр. 230); *отсюда*—тов. Кону не удалось показать, что труд, создающий стоимость, и сама стоимость суть категории исторические (стр. 235—36); *отсюда*—у тов. Кона происходит отождествление внутренней имманентной формы стоимости и формы проявления стоимости (стр. 229); *отсюда* проистекает пожертвование теорией товарного фетишизма (стр. 229); *по этой же причине* снимается вопрос о двойственном характере труда (стр. 230), *отсюда* пропадает возможность понимания соотношения сложного и простого труда (стр. 231—32); *такое* отождествление уводит тов. Кона в сторону от правильного изложения теории стоимости Маркса (стр. 230), *оно же* служит выражением того, что тов. Кон подвигается в сторону суб'ективной теории стоимости (стр. 229), *оно же* ставит тов. Кона в очень прискорбное положение в полемике с И. И. Рубиным (стр. 236—37), так что, чувствуя свое бессилие, тов. Кон прибегает к подлогу, цитируя заведомо неверный перевод Маркса и вставляя в этот перевод, вопреки смыслу, слова, подтверждающие его (тов. Кона.—*Б. К.)* точку зрения (стр. 239). Поистине «от нее *все* качества»,—вплоть до подлога! Ну, а что же окажется, если обвинение, из которого исходят критики, зиждется на их неполном понимании, или, вернее, на полном непонимании, игнорировании того, что писал сам тов. Кон? Снова рушится *вся* система их доводов по *всем* вопросам, выдвигаемым ими как спорным.

Мы не будем говорить уже о том, что сами критики приводят ряд таких выдержек из «Курса» тов. Кона, которые явно не поддаются вольному толкованию. Мы прямо возьмем те инкриминируемые критиками тов. Кону выдержки из «Курса», которые приведены ими *самими* как *неотразимые* улики (стр. 225). Вот эти выдержки: 1) «труд, затраченный на производство товаров, называется стоимостью товаров. Он является основой меновой стоимости и образует ее субстанцию» (стр. 37); 2) «основой стоимости, ее субстанцией является труд абстрактный и общественно-необходимый» (стр. 55); 3) «Мы называем стоимостью такие трудовые затраты, которые служат основою стихийного регулирования производства» (стр. 39).

Тт. А., Д. и Н. не отрицают положений Маркса: «стоимость не что иное, как *овеществленный* труд»; «стоимость товаров, т. е. *количество труда*, об'ективированного в них»; «все эти вещи представляют теперь лишь выражение того факта, что в их производстве *затрачена* рабочая сила... Как *кристаллы* этой общей им всем общественной *субстанции* они являются стоимостями—товарными стоимостями» и т. д.

Но теперь «позволительно» задать вопрос—«труд, *затраченный* на производство товаров» (даже не «затрачиваемый»!), не является ли синонимом труда овеществленного? (То же «*трудовые затраты*» или «*затраты рабочей силы*»). Но ведь «труд овеществленный», «количество труда, об'ективированного в товарах» «затрата рабочей силы» суть не что иное, как разные способы наименования стоимости!

Так где же здесь у тов. Кона противоречие? Где здесь у тов. Кона незаконное отождествление труда со стоимостью?! Если тт. А., Д. и Н. думают запретить отождествление труда «овеществленного», «затраченного на производство товаров», со стоимостью, они попадают в противоречие и с самими собой и с Марксом; если же они стремятся изобразить, что у тов. Кона *живой* абстрактный труд есть стоимость, то они это не дсказывают даже тщательно подобранными цитатами (во второй из этих ими же избранных цитат говорится о труде живом, как о субстанции стоимости, а не как о стоимости) и доказать не смогут. Могут ли тт. А., Д. и Н. спорить с положениями, единственно вытекающими из данных цитат: а) субстанцией стоимости является труд абстрактный и общественно-необходимый, труд живой; б) стоимостью называется труд «затраченный», «овеществленный» (затраты рабочей силы, трудовые затраты); в) стоимость (или «затраченный труд») является основой меновой стоимости? И вряд ли по существу, кто-либо из беспристрастных читателей мог бы найти противоречие между этими краткими определениями и полной формулировкой, данной тов. Коном в своей ответной статье: «субстанция стоимости—общественный (и общественно-необходимый) абстрактный простой труд в его специфически меновой форме». «Стоимость... Маркс определяет как предметную форму затраченного на его (товара.—*Б. К.)* производство общественного труда» («ВКА», № 25, стр. 264).

Однако критики и здесь не унимаются; они все же заявляют, что тов. Кон «поворачивает молча», «пугает и сваливает вину за свою путаницу на... Маркса», «зачеркивает одним росчерком пера все написанное им в «Курсе» об отношении труда к стоимости и стоимости к меновой стоимости» («ВКА», № 27, стр. 75) [1].

Перейдем теперь к «новым ошибкам» тов. Кона по этому же вопросу. Тт. А., Д. и Н. пишут: «Его (тов. Кона.—*Б. К.)* новая точка зрения по существу, к сожалению, неправильна», и в статье тов. Кона—заявляют они,—«субстанцией стоимости является то труд овеществленный, то труд живой, причем *преобладает* труд овеществленный» (стр. 77).

В целях доказательства *такого* «понимания», противоречащего точке зрения тов. Кона, они принуждены заняться сложной системой словесной эквилибристики. «Что разумеет тов. Кон, вводя в характеристику труда как субстанции стоимости определение—«труд в его специфической меновой форме»? Каков смысл в этом дополнительном определении абстрактного труда? Очевидно, оно необходимо для того, чтобы отличить абстрактный труд, создающий стоимость, от абстрактного труда, не создающего стоимость, экономическую категорию—«субстанцию стоимости»—от логической, не исторической категории живого абстрактного труда». Затем они выписывают половину страницы (270-й) из ответа тов. Кона, разрывая ее на части и не указывая, что в первом приведенном ими *не полностью* (без существенной заключающей фразы) абзаце тов. Кон говорит специально о *живом* абстрактном труде, а во втором абзаце—

положения о том, что «форма стоимости (есть.—*Б. К.) нечто отличное* от меновой стоимости» (см. «ВКА», № 25, стр. 229; курсив мой.—*Б. К.)*. Не говоря уже о том, что в этом вопросе у тт. А., Д. и Н. очень много путаницы, что между разными высказываниями этих товарищей на эту тему имеется ряд противоречий,—в последней их статье («ВКА», № 27) мы снова находим прямой отказ от данного положения.

На стр. 87 мы читаем (в резюме соответствующего раздела статьи): «как мы видим, хотя форма стоимости и меновая стоимость *не разные вещи* (курсив мой.—*Б. К.)*, но это в изложении Маркса все же два этапа по пути от труда к цене, из которых последний есть готовый продукт—законченная внешность первого».

Отказ этот тоже несколько «завуалирован»: *вместо* прежнего различия, подобного различию Гегеля—Плеханова между «*формой*» и «*видом*», различия между «формой, имманентной содержанию, и формой проявления» («ВКА», № 25, стр. 236)—мы находим *теперь* только «*этапы*», но все же мы видим признание, что это «*не разные вещи*».

[1] Не буду утомлять читателя подробным рассмотрением открытой тт. А., Д. и Н. «путаницы» тов. Кона об отношении стоимости к меновой стоимости. Эта «путаница» столь же мнимая, как и только-что разобранная, и это достаточно выяснено самим тов. Коном в его статье.

специально об *овеществленном* абстрактном труде. Мы принуждены повторить (хотя бы в сокращенном виде) эти выписки и толкование (понимание) их тт. А., Д. и Н.

Тов. Кон в первом абзаце пишет: «Понятие живого абстрактного труда может быть получено только в результате мысленного абстрагирования и представляет собой лишь логическую, а не экономическую категорию. Это категория не историческая. Почему же, однако, абстрактный труд, не создающий стоимости в других общественных формациях, создает их в меновом обществе? Потому, что труд менового общества является не только простым абстрактным трудом, но и трудом специфически-общественным и общественно-необходимым». «Чем же отличается последний от живого абстрактного труда?»—спрашивают критики.

Но читатель видит, что вся приведенная *выписка* относится именно к *живому* абстрактному труду, но только в начале к нему как к «логической категории», а в конце *к нему же* как «создающему стоимость». Об этом говорит тов. Кон совершенно ясно в конце абзаца (не приведенном критиками): «сначала определение абстрактного труда, свойственное *всем* общественным формам, затем *дополнительно* определения *этого* труда, вытекающие из структуры буржуазного общества (специфически-общественный, общественно-необходимый), *превращающие* просто абстрактный труд в труд, образующий стоимость». Самый вопрос критиков показывает их «непонимание» совершенно ясного текста тов. Кона. Если бы они задумались над «найденным» противоречием,— то они бы вспомнили, что на стр. 264 тов. Кон указывал следующее: «Чрезвычайно важно подчеркнуть, что труд, создающий стоимость, есть не просто труд, но труд общественный, и притом не просто общественный труд, но общественный труд в условиях менового общества». «Для того, чтобы проявилось общественное существо труда, необходимо, чтобы продукты различных видов труда было приравнены друг к другу в процессе обмена» (то же тов. Кон повторяет снова и подробно, прямо указывая, что он говорит «о живом труде, т. е. процессе» в конце стр. 266—начале 267). Таким образом, если бы критики пожелали, они должны были бы «понять», чем отличается труд, создающий стоимость, от труда абстрактного как логической категории, «как понимать утверждение, что «живой» абстрактный труд не есть экономическая категория» (вопросы критиков на стр. 79). Ответим на этот вопрос цитатой из их же статьи с заменой неверных терминов правильными. «Мы вправе считать понятие абстрактного труда трудом, создающим стоимость, *лишь в определенной связи, лишь в определенных исторических условиях*, когда это *мыслимое* понятие становится той *экономической категорией*, о которой идет речь у Маркса» (стр. 80). «Может быть хоть таким путем мы заставим тт. А., Д. и Н. понять, как нелепо их предположение», будто бы у тов. Кона труд, образующий стоимость, отличается от живого абстрактного труда «тем, что он выступает как овеществленный труд». Как видел читатель, у тов. Кона речь идет о специфической *организации труда* в меновом хозяйстве, о структуре этого хозяйства, но не о форме *проявления* этого труда; форма проявления, так по крайней мере всегда учил Маркс, есть нечто выпскающее из содержания; сосредоточивать же все внимание на внешней форме, как это делает И. И. Рубин и делают здесь тт. А., Д. и Н., Маркс никогда не рекомендовал, а наоборот, очень часто и весело над такой манерой «вульгарных экономистов» потешался.

Поскольку однако тт. А., Д. и Н., несмотря на специальные раз'яснения тов. Кона, в этом вопросе не вполне поняли Маркса, постараемся дать еще раз достаточно популярное раз'яснение. Маркс часто говорит, что абстрактный труд образует стоимость, всегда подразумевая при этом, что он анализирует товарный способ производства, производство в его буржуазной форме. В этот исторический период, при этой форме организации труда появляются товар, стоимость, и абстрактный труд выступает как труд, создающий стоимость товара. Стоимость как сложная категория включает в себя разнородные определения, расчленяемые при анализе, воссоединяемые диалектически на общем базисе материалистического понимания общественных отношений и сил и форм общественного развития; стоимость—выражение количества труда—один элемент определения; стоимость—выражение общественных отношений (специфического общественного труда)—другой элемент определения.

Выражение «труд общественный» дает картину того, что люди работают друг на друга; выражение «труд абстрактный» показывает качественную однородность труда, на какую бы конкретную работу труд ни был направлен («одинаковый или абстрактно человеческий труд», как «затрата человеческой рабочей силы в физиологическом смысле слова». М. К. 1 стр., 13). Таким образом абстрактный труд не является подвидом общественного труда, как то думает И. И. Рубин, а лишь той «стороной» человеческого труда, в которой выражается общественный характер труда в товарном производстве.

Маркс неоднократно четко расчленяет два эти момента, например, употребляя выражение: «абстрактно-всеобщий и в этой форме общественный труд» (см. Т. II, ч. 1, стр. 13). Характерно следующее место, показывающее правильность нашего изложения точки зрения Маркса: «В обмене они (товары.—*Б. К.*) показывают себя всеобщим общественным трудом, но в какой мере они могут показать себя *всеобщим* (т. е. абстрактным». — *Б. К.*) трудом... зависит от того, в какой мере могут они показать себя общественным трудом, стало быть... от размеров обмена, торговли» (М. Т. I, стр. 202). Этим самым Маркс подчеркивает, что понятие «абстрактный (всеобщий) труд» есть не что *иное*, чем понятие «общественный труд», хотя в товаре они выражаются совокупно; общественные свойства труда в товарном производстве сращиваются с абстрактным трудом и, наоборот, абстрактно-всеобщий труд делается единственным *носителем* общественных свойств труда. Иначе говоря, абстрактно-всеобщий труд «существует» независимо от того, принял ли абстрактный труд форму непосредственно общественного труда, сделался ли он выразителем и носителем общественного характера труда, «*показывают*» ли себя продукты труда как результат абстрактного труда.

Своеобразие сочетания *однородности материального труда как фактора производства* [1] и особых общественных условий, при которых протекает производство, создает специфическое свойство продукта, наличие у него стоимости, его обмениваемость в определенной пропорции.

Труд, образующий стоимость, есть труд абстрактный—это верно; но сказать: абстрактный труд образует стоимость,—это еще не значит *исчерпывающе* определить труд, создающий стоимость; для этого последнего надо добавить, что абстрактный труд становится трудом, создающим стоимость, лишь принимая форму специфически общественного труда менового общества. В этом специфическом сочетании (труд общественен только как труд абстрактный) заключается своеобразие труда, образующего стоимость [2]. В товарном производстве труд становится общественным только как труд абстрактный; конкретный труд товаропроизводителя здесь является частным; частный конкретный труд противопоставляется общественному—абстрактному. Маркс совершенно ясно указывает на то, что «одни и те же категории могут занимать

---

[1] «Равенство, в машинном труде уже давно осуществленное», «Нищета философии», изд. «Просвещение», стр. 30.

[2] См., напр., критику Марксом Франклина: «Франклин... полагает, что ценность сапог, руды... и т. д. определяется абстрактным трудом... Но так как он не развивает понятия труда, заключенного в меновой ценности, как абстрактно всеобщего и *общественного*, возникающего из процесса всестороннего отчуждения индивидуального труда, то он неизбежно упускает»... (К критике, стр. 68 — 69, курсив мой.—*БК*).

различное место на различных ступенях общественного развития» (Введение, стр. 31). В своеобразном сочетании двух характеристик труда лежит специфичность формы его проявления в товарном хозяйстве как стоимости («меновая стоимость есть лишь определенный способ выражать труд, потраченный на производство вещей». М. К. I, стр. 50). Эти понятия характеризуют труд с разных сторон. Эти характеристики труда могут соединяться (соединение их в товарном хозяйстве *проявляется* в форме стоимости товаров, при чем сам общественный труд имеет здесь особую, определенную форму), но могут выступать и раздельно и в других сочетаниях. Вот почему «в пределах этого товарного мира общечеловеческий характер труда есть его специфически общественный характер» (Маркс). «А в этом—как говорят сами тт. А., Д. и Н.—гвоздь теории стоимости Маркса» (стр. 85).

Однако возвратимся к непосредственному рассмотрению дальнейших заключений (или злоключений?) тт. А., Д. и Н. по поводу статьи тов. Кона. «Наш вывод,—пишут они,—что субстанцией стоимости и ее образователем является по логике мысли тов. Кона *овеществленный* труд, а не живой труд в своем качестве абстрактно-человеческого труда, подтверждается его последующим изложением» (стр. 78). Дальше они берут начало того абзаца статьи тов. Кона, где он говорит об *овеществленном* труде:—«Сведение конкретного труда к абстрактному овеществленному труду совершается не только в голове исследователя, но и об'ективно, в процессе приравнивания продуктов различных конкретных видов труда... Совершается только в меновом обществе. Такой абстрактный труд есть действительно специфическая меновая категория» (стр. 270).

После этого тт. А., Д. и Н. снова делают перерыв в цитате и восклицают: «Итак, «абстрактный труд в специфической его меновой форме» есть просто овеществленный труд, а овеществленный труд, как признал тов. Кон, есть не что иное, как стоимость. Таким образом, логика тов. Кона неизбежно приводит к утверждению, что субстанцией стоимости является овеществленный труд, овеществленный труд есть стоимость; следовательно, субстанция стоимости есть стоимость» [1]. «Следующая за сим фраза (в которой об'является во всеуслышание, что субстанцей стоимости, т. е. труда овеществленного, является «живой труд») показывает, что тут не описка, а незаметное для автора вращение в логическом кругу» (стр. 78). Итак, когда тов. Кон говорит, что *овеществленный* абстрактный труд (стоимость) есть специфически-меновая категория, то тт. А., Д. и Н. отсюда делают вывод, что *живой* абстрактный труд есть специфически-меновая категория, в то время, как у тов. Кона, что мы показали выше, живой абстрактный труд не есть специфически меновая категория; для менового общества характерно, что живой абстрактный труд является *одновременно* общественным, специфически общественным; в *этом виде* живой труд действительно *является* специфическим трудом менового общества и эта специфичность *проявляется* в овеществлении этого труда в стоимости, ибо одно дело—каков сам труд менового общества, как он организован, какова *форма его организации*, другое дело—как *проявляется*, в чем проявляется своеобразие этого труда, какова *форма его проявления* [2].

А отсюда ответ на дальнейший вопрос критиков—«как совместить прежние утверждения, что субстанция стоимости есть «абстрактный труд в его специфической меновой форме», с новоявленной истиной, что эта «меновая» форма есть овеществление

[1] Читатель замечает, что тт. А., Д. и Н. делают здесь подмену понятия «труд в общественной форме» (или «общественная форма труда») понятием «форма проявления труда» (вещная форма, овеществление труда).

[2] Сравни замечание самих критиков: «Одно дело—специфически общественная форма буржуазного труда, другое дело—его действительное превращение в общественный труд» (стр. 83).

труда» (стр. 79). Ответ прежний—нельзя путать форму *организации* труда (о ней говорит тов. Кон, употребляя выражение «абстрактный труд в его специфически меновой форме», т. е. живой труд, организованный в условиях менового общества) с формой *проявления* труда (в этом виде труд выступает как овеществленный, как «*меновая категория*»); именно так формулировал тов. Кон в данной выдержке *овеществленный* абстрактный труд,—форму *проявления* живого труда. Тт. А., Д. и Н. эти понятия путают, их различия и значения этого различия не понимают, как то не понимает вся школа И. И. Рубина (и это несмотря на то, что тов. Кон в своей статье—см. стр. 267—предупреждал критиков о чрезвычайной важности этого обстоятельства и о непонимании его всеми рубинцами).

Толкование тт. А., Д. и Н. категории «абстрактный труд»

Тт. А., Д. и Н. неоднократно говорят, что «центральным пунктом, от которого зависит понимание политической экономии, «осью нашей науки» является вопрос об абстрактном труде» (см. «Абстрактный труд и стоимость в системе Маркса», изд. РАНИОН, 1928 г., стр. 63, см. тоже «ВКА», № 25, стр. 218).

Посмотрим, какой ответ дают тт. А., Д. и Н. на этот решающий вопрос.

В своем выступлении в РАНИОН'е т. Дукор пишет, что «субстанция стоимости—это и есть абстрактный труд» (стр. 44), и заявляет, что «все ортодоксальные марксисты и Ленин среди них *буквально* понимали определение абстрактного труда, данное Марксом в начале «Капитала» (стр. 45).

Вспомним и мы это *решающее* определение Маркса: «Всякий труд есть, с одной стороны, *затрата человеческой рабочей силы* в физиологическом смысле слова,—и, в качестве такого *одинакового или абстрактно человеческого*, труд образует стоимость товаров».

Сопоставим выступление т. Абезгауза с точкой зрения Маркса. Тов. Азебгауз вначале констатирует, что действительно доказано то, что «И. И. Рубин сбивался в «Очерках», а отчасти и в докладе, на *идеалистические формулировки*» («Абстрактный и стоимость», стр. 63, курсив Абезгауза.—*Б. К.*). Для него это—только оплошность И. И. Рубина; ошибки состоят именно в *формулировках*, в *буквах*,— *и только в буквах*, и это последнее огорчает тов. Абезгауза.

В понимании абстрактного труда *«все дело* в том, что труд может получить *об'ективное выражение, как абстрактный труд только в форме стоимости»* (стр. 64), говорит тов. Абезгауз [1].

Если нет «овеществления»—нет и абстрактного труда (то же говорил в свое время и И. И. Рубин: «если нет стоимости, нет и абстрактного труда»). «Общечеловеческий труд не есть еще абстрактный труд» (стр. 65; здесь тов. Абезгауз вступает в противоречие с тов. Дукором, который считал, что «абстрактный труд Маркс недвусмысленно определяет как «затрату человеческой рабочей силы вообще», стр. 45).

Нас интересует вопрос,—что же тов. Абезгауз делает с «затратами человеческой рабочей силы в физиологическом смысле слова»? Тов. Абезгауз говорит: хотя и «нельзя *абсолютно противопоставлять* естественно-историческое рассмотрение

[1] Тов. Дукор в этом вопросе поступал гораздо правильнее, считая основной *«самой характерной особенностью* товарного хозяйства то, что ...общечеловеческий характер труда, а не конкретный, является общественной формой труда» (см. стр. 46, 49, 51); иначе говоря, тов. Дукор самый главной внутренней особенностью структуры товарного хозяйства и труда менового хозяйства считал организацию общественного труда, а не вещественную форму его проявления—последнее является внешним признаком, целиком вытекающим и обусловленным внутренней его структурой.

общественному, социальному, но нельзя и подменять последнего первым» (стр. 64), надо всегда помнить, что «Маркс исходил и *должен был* исходить (видимо, для того, чтобы не вступить в противоречие с И. И. Рубиным, тов. Абезгаузом и К°.—*Б. К.*) из *социологического понятия*» (там же); «*со всей силой надо отрицать*, что... энергетическое [1] понимание труда (а таковым тов. Абезгауз, вслед за И. И. Рубиным, считает физиологически равный труд.—*Б. К.*) легло в основу его (Маркса.—*Б. К.*) теории стоимости... это понятие (т. е. физиологически равный труд.—*Б. К.*) *лежит вне области социальных наук*» (64).

Тов. Абезгауз договаривается даже до заявления:—«утверждения, что труд как затрата физиологической энергии одинаков, у Маркса *нет*» (стр. 64).

У Маркса, восклицает тов. Абезгауз, «ударение стоит не на энергетической однородности труда, а на однородности рабочих сил общества, действующих совместно и тем самым придающих труду общечеловеческий однородный характер» (стр. 64; эту тайну Маркс, видимо, лично открыл тов. Абезгаузу, ибо кроме него она никому неизвестна; кстати также, если Маркс совсем не говорил об «энергетической» однородности, то как же он мог, даже если бы и пожелал доставить тов. Абезгаузу эту неприятность, ставить на ней ударение?). Все же тов. Абезгауз согласен признать, что «в понятии общечеловеческого труда об'единяется физиологическая однородность рабочей силы и социальное уравнивание их деятельности, труда, *возможное лишь на этой основе*» (стр. 65). Следовательно, физиологическая однородность (откуда она?—ведь у Маркса, как рассказывал тов. Абезгауз, такого утверждения совсем нет) есть только условие, предпосылка, основа, базис, создающий только *возможность*, на основании которой происходит социальное уравнивание...—факт, *основанный* на физиологической однородности человеческой рабочей силы» (стр. 65); иначе говоря, марксова «затрата в физиологическом смысле слова» включена в понятие общечеловеческого (еще не абстрактного) труда в том же качестве, как и у И. И. Рубина, т. е. *только как* обусловливающая *предпосылка*, которая, как мы видели выше, «лежит вне области социальных наук».

Тов. Абезгауз, однако, упрекает И. И. Рубина: «не следует проводить,—говорит тов. Абезгауз,—подразделения на физиологически-равный и социально-уравненный труд, достаточно и необходимо отправляться... от общечеловеческого характера труда» (стр. 65).

И в этом тов. Абезгауз был, конечно, прав, если принять во внимание его цель—устранение «идеалистических *формулировок*», не меняя идеалистической *сущности* воззрений.

Действительно, *необходимо* и совершенно достаточно в *этих целях* говорить об общечеловеческом труде: иначе говоря, тов. Абезгауз выступает здесь, прикрывая только наиболее крайние, наиболее резкие, наиболее цинично обнаженные *формулировки* И. И. Рубина, где зияет, оголяется и буквально выступает «вопиющее противоречие» И. И. Рубина с Марксом; тов. Абезгауз только прикрывает эту оголенность фиговыми листочками иной терминологии, устраняющей буквальное противоречие и *аннулирующей* противоречие по существу, тов. Абезгауз, таким образом, по существу выступает здесь, как истинный, хотя и стыдливый, рубинец. Впрочем тов. Абезгауз не принадлежит к числу особо «стыдливых» интерпретаторов Маркса, ведь говорит же он, вопреки всякой очевидности, что «если мы будем труд понимать не как трату человеческой рабочей силы, а как затрату физиологической энергии, то это будет не мысль Маркса, и этого нет в его труде» (стр. 64). Тов. Абезгауз до сих пор не понимает, что, принимая ту или иную социальную форму, труд не теряет, конечно, своих свойств физиологического труда. И. И. Рубин не утерпел, дал определение абстрактного труда, произвел разграничение—в этом, и только в этом его ошибка.

[1] Между прочим, можно указать не только в I т. «Капитала», но и в IV т. («Теориях»), употребление Марксом термина «энергия»; см., напр.: «потребительная стоимость этого специфического товара (рабсилы. *Б. К.*) представляет собой *энергию*, создающую меновую стоимость» (Т. I, 5-е немец. изд. 1923 г., стр. 152; русск. изд., стр. 107).

Все изменяется, все течет—нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Посмотрим же, как при новой попытке войти в ту же реку рассуждений о природе стоимости, о сущности труда, образующего стоимость, о понятии абстрактного труда «превратились», повинуясь общему закону бытия, тт. А., Д. и Н., какие их взгляды оказались преходящими, какие из них одряхлели и от дряхлости зачахли и исчезли и какие, наоборот, «возросли» и вышли из мрака.

Берем первую статью тт. А., Д. и Н. («ВКА» № 25).

Что же оказывается? «Невероятно, но факт!»—Зачеркнуто начисто то, что говорилось прежде, выставлена новая точка зрения, но сколь разительная разница со сказанным прежде!

Чем об'яснить это?—не беремся;—может быть тем, что между выступлениями прошел почти год учебы.

Если прежде товарищи утверждали, что Маркс никогда не говорил о физиологической однородности человеческого труда, то теперь они прямо пишут: «Что общего между различными видами труда? Что делает любой из них трудом, т. е. чем-то одинаковым? То, что они есть труд, т. е. затрата одной и той же человеческой рабочей силы, однородной (!) *в физиологическом смысле слова* (!!), *т. е. деятельности человеческого организма* (!!!)» (стр. 223). А раньше — однородность выступала не на «энергетической основе, не на этом стояло (будто бы) у Маркса ударение. Раньше мы слышали, что Маркс «должен был исходить из социологического понятия, что если мы будем понимать труд как затрату физиологической энергии, то... это не будет мысль Маркса, и этого нет в его труде» и т. д. и т. п.

Теперь тт. А., Д. и Н. вводят в определения абстрактного труда как раз тот момент, против которого они так энергично прежде протестовали. Вот их определение: «Под абстрактным трудом следует понимать затрату человеческой рабочей силы, физиологически всегда однородной (у Маркса все же сказано более четко «в физиологическом смысле слова».—*Б. К.*), в определенных социально-исторических условиях, в которых этот «всеобщий характер обособленного труда» выступает «как его общественный характер» (стр. 224).

Итак, тт. А., Д. и Н. изменяют радикально часть своих формулировок, к сожалению, только не оговорив этого ни одним звуком.

Но все же это определение отличается от определения Маркса включением в него упоминания об «определенных социально-исторических условиях» и характеристики этих условий.

Аргументация тт. А., Д. и Н. очень несложна (между прочим, она в значительной части повторяет аргументацию, данную ими в выступлении в РАНИОНе—см. стр. 49, 69—70). «Это понятие должно выражать... *фактическое существование такого труда или сторону действительности*. Он (Маркс) не упускал из виду определенности этой абстракции и того строя, для которого она становится *практически истинной*» («ВКА» № 27, стр. 82), а «практика есть критерий теорий» и т. д.» (стр. 80). «Абстрактный труд обозначает *формально-логически*... просто затрату человеческой рабсилы в отвлеченном виде, т. е. нечто приложимое ко всем обществам, ко всякому явлению труда, но *диалектически* он берется лишь в определенном соотношении, в противоречии с конкретным трудом, т. е. как категория «современнейшего общества». Только в этом соотношении эта затрата образует *стоимость* продуктов труда, овеществляется

в *товаре*. Только абстрактный труд, а не труд вообще, есть субстанция стоимости товаров и образует эту стоимость как свойство товара» («ВКА», № 25, стр. 223—4).

А отсюда—мы встречаем здесь *новую* формулировку (новую только по форме). «Абстрактный труд, т.-е. труд *товаропроизводителя*, рассматриваемый под углом зрения его общественной формы, общественной определенности труда, труд частный, заключающий в себе *определенную* возможность *определенным* образом стать действительно общественным трудом» («ВКА» № 27, стр. 83).

Прервем пока выписки, к ним мы вернемся несколько ниже. А пока спросим себя—убеждены ли мы этой мотивировкой?

Понять двоякий характер труда можно только на почве анализа двойственной природы товара («двух факторов»); однако—не все «об'ективно существующее» познается человеком сразу; разделение труда на «абстрактный» и «конкретный» труд ярко проявляется, становится «практически истинным» только на определенной ступени развития человеческого общества, именно—в товарном хозяйстве; только в данный период (и не сразу) «раскрывается» перед человеком и «раскрывается» человеком двоякий характер труда [1].

Однако, одно дело—быть познанным, понятым, раскрытым, расшифрованным, а другое дело—быть об'ективно существующим. Признавать же об'ективно существующим только «познанное»—это значит, в конечном итоге, сводить весь реальный мир к формам нашего познания, что для материалиста, очевидно, неприемлемо. Отождествлять наличие специфической стоимостной формы проявления равнозначности всех видов труда, поскольку они являются тратой человеческой энергии, с самым фактом таковой равнозначности мы не имеем никакого права.

Эту мысль Маркс подчеркивает неоднократно. Так, в уже цитированном письме к Кугельману он пишет: «Необходимость разделения общественного труда в определенных пропорциях никоим образом не может быть уничтожена *определенной формой* общественного производства; измениться может лишь *форма ее проявления*. Законы природы вообще не могут быть уничтожены. Измениться в зависимости от различных исторических условий может лишь *форма*, в которой эти законы проявляются. А форма, в которой проявляется это пропорциональное распределение труда при таком общественном устройстве, когда связь общественного труда существует в виде *частного обмена* индивидуальных продуктов труда,—эта форма и есть меновая стоимость этих продуктов [2]» («Письма к Кугельману», стр. 62—3).

Напомним еще также достаточно известное высказывание Маркса на страницах «Введения»: «Этот пример труда показывает, как даже самые абстрактные категории, несмотря на то, что именно благодаря своей отвлеченности они *применимы ко всем эпохам*, в самой *определенности* этой абстракции являются в такой же мере продуктом исторических отношений и обладают *полной обязательностью (значимостью.—Б. К.)* только в этих отношениях и внутри их».

Но тут мы уже фактически перешли ко второй части мотивировки тт. А., Д. и Н. Она заключается в их убеждении, что абстрактный труд выступает в качестве практической истины только в товарном хозяйстве. В качестве подкрепления, они

[1] «Равенство и равнозначность всех видов труда, поскольку они являются человеческим трудом вообще,—эта тайна выражения стоимости может быть *расшифрована* лишь тогда, когда понятие человеческого равенства уже приобрело прочность народного предрассудка» (*М.* К. I, стр. 27; курсив мой.—*Б. К.*).

[2] Тов. Абезгауз пишет: «Содержание живет и воодушевляется только формой («Абстр. труд», стр. 66), т. е. без данной формы нет и содержания. Может быть, у тт. А., Д. и Н. вместе с меновой стоимостью исчезнет также необходимость пропорционального распределения труда?

выдвигают положения Маркса на той же 28 странице «Введения»: «Простейшая абстракция, которую современная экономия ставит во главу угла и которая *выражает древнейшее для всех общественных формаций действующее отношение*, становится в этой абстракции практически истинным только как категория современнейшего общества»; и перед этой фразой—«здесь, таким обр. абстрактная категория «труда», «труда вообще», труда sans phrase—этот исходный пункт современной экономической науки *впервые* становится практической истиной» (курсив мой.—*Б. К.*).

Как мы видим, Маркс считал абстрактный труд—труд вообще—абстракцией, выражающей «для *всех* общественных формаций *действующее* отношение», которое, однако, «*впервые* становится практической истиной» в товарно-капиталистическом хозяйстве. Впервые, но—последний ли раз? Считают ли тт. А., Д. и Н. абстрактный труд практически истинным *только* для товарного хозяйства? На это три автора отвечают совершенно недвусмысленно: «Затрата человеческой рабочей силы не есть еще абстракный труд, ибо как таковая, как безразличный труд, *она не находит себе выражения в неменовых обществах*» («ВКА» № 27, стр. 80).

Действительно ли в социалистическом обществе понятие человеческий «труд вообще» не будет «практически истинным»? Или, говоря несколько иначе,—нужно ли будет тогда представление о «труде вообще», вне зависимости от его конкретной формы, от направления работы в данный момент каждого отдельного индивида? «Какой» труд будет носить в социалистическом обществе общественный характер—конкретный? Абстрактный? Один из них, или оба вместе?

Здесь, конечно, невозможно осветить данный вопрос с надлежащей полнотой; однако, скажем хоть несколько слов на эту тему. Характеристика социализма (первой ступени), конечно, читателю известна. Выделим вопрос о плановой организации и регулировании производства (т. е. труда) на базе высокой культуры (в том числе и технической) граждан; выделим еще вопрос о распределении продукта («за равное количество труда—равное количество продуктов»—Ленин).

По «какому» труду будет происходить распределение? Как соизмерить и измерить различные виды разнообразных направлений человеческой деятельности? Можно ли их соизмерять и измерять в их непосредственной конкретности? Или, быть может,—через продукты труда, через их потребительные стоимости, через их полезности? Всякая человеческая рабочая сила будет нужна, и только как полезная работа («доля общественно-необходимой работы»—Ленин) она включается в систему общественного производства и распределения продукта, и включается в своей конкретной форме, но от того соизмерение (хотя и не на рынке, не путем механизма товарных отношений, не путем «овеществления», но путем планового сознательного учета, «общественной бухгалтерии») и измерение конкретных видов труда в их конкретности, или потребительных стоимостей в их полезности *не сделается возможным; необходима* будет общая мера труда, представление о нем как о единстве в многообразии, как о «труде вообще»; хотя конкретный труд и не будет «обособлен», а будет выступать как непосредственно общественный труд, но от того необходимость выступления и практическая истинность общечеловеческого характера труда, «труда вообще» или абстрактного труда—совсем не отменяется. Эту мысль мы встречаем у Маркса: «И по уничтожении капиталистического способа производства, но при сохранении общественного производства определение стоимости попрежнему продолжает господствовать в том смысле, что регулирование рабочего времени и распределение общественного труда между различными отраслями производства, наконец, охватывающая все это бухгалтерия—становятся важнее, чем когда бы то ни было» (*М.*, К., III, ч. 2, стр. 389). Вряд ли тт. А., Д. и Н. согласятся подписаться под фразой Маркса «определение стоимости продолжает господствовать по уничтожении капиталистиче-

ского способа производства». А эта фраза вполне понятна, если мы только не ограничим себя шорами рубинского понимания категорий Маркса, если под абстрактным трудом мы будем понимать труд не только товаропроизводителя, а человеческий труд вообще, как количество труда [1].

Маркс, рассматривая общественное производство после уничтожения капитализма, т. е. то время, когда конкретный труд перестанет быть трудом «обособленным», частным, совершенно недвусмысленно говорит об «определении стоимости»—*о безличном рабочем времени* и об огромной *практической важности* его количественного учета, а тт. А., Д. и Н. в противоположность Марксу считают возможным говорить о «труде вообще» и применять термин «абстрактный труд» *только к труду товаропроизводителя*.

Такой учет и регулирование облегчаются тем, что, несмотря на еще неполное овладение силами природы, несмотря на то, что труд еще целиком не превратился в «нормальную жизнедеятельность» (исключительно в «удовольствие») все же—высокая подготовка граждан дает возможность сравнительно легкого перелива рабочей силы из одной отрасли производства в другую, от одного вида конкретного труда к другому, а это, в свою очередь, еще более реальным сделает представление о человеческом труде, как о «труде вообще»; «конкретный труд» характеризует в первую очередь наличие различных видов производительной деятельности, или разделение труда, но «разделение труда, расшатанное уже в настоящее время машиной и превращающее одного в крестьянина, другого в сапожника, третьего в фабричного рабочего, четвертого в биржевого спекулянта—исчезнет совершенно» (*Энгельс*, Принципы коммунизма, 20-й вопрос). Это положение не означает, конечно, что не будет разделения труда в каждый данный момент, но означает лишь (а это как раз и важно) совершенно свободный перелив рабсилы из одной отрасли производства в другую, т. е. «обезличивание» труда.

Маркс в т. I «Капитала» пишет о социализме: «Предположим, что для каждого производителя средства существования определяются его рабочим временем. При этом условии рабочее время играло бы *двоякую роль*. Его общественно-планомерное распределение устанавливает надлежащее отношение между *различными трудовыми функциями* и различными потребностями (иначе говоря, речь здесь идет о конкретном направлении труда, о конкретном труде.—*Б. К.*), с другой стороны, рабочее время служит вместе с тем *мерой* индивидуального участия производителей в *совокупном* труде (иначе говоря, речь здесь идет о всеобщечеловеческом труде, труде вообще, абстрактном труде—ведь нельзя же измерить труд в его непосредственной конкретности.—*Б. К.*), а следовательно, и в индивидуально потребляемой части всего продукта» (*М. К.*, I, стр. 46, курсив мой.—*Б. К.*). В этом отрывке Маркс совершенно определенно говорит о выступлении человеческого труда в социалистическом обществе в «двух ролях».

Таким образом, мы считаем недоказанным основное утверждение тт. А., Д. и Н. о том, что всеобщечеловеческий труд, труд вообще (абстрактный труд) является практически истинным *только* в товарном хозяйстве, а, следовательно, характеристику абстрактного труда как *труда только товаропроизводителя* (см. «ВКА.» № 27, стр. 83, приведено выше), и неверным игнорирование тт. А., Д. и Н. «*общих всем эпохам производства признаков*, общих определений» (Маркс).

[1] Маркс взял здесь, конечно, «определение стоимости» в узком смысле слова, именно как выражение количества труда, и только; приписывать нам мнение, что стоимость есть категория внеисторическая, столь же неверно, как приписывать это Марксу.

Почему же, однако, тт. А., Д. и Н. считают невозможным определять абстрактный труд так, как определяет его Маркс, т. е. «как затрату человеческой рабочей силы» и только?

Возражая тов. Кону, тт. А., Д. и Н. пишут: «Возможны два пути: *или* признание того, что как абстрактный труд, так и стоимость являются «вечными» категориями, *или* же такое определение абстрактного труда, которое учитывало бы его социально-историческую определенность... Сказать, что стоимость создается «не только абстрактным, но и общественным трудом»—это еще не значит подчеркнуть исторический характер стоимости. Ибо в этом определении оба понятия не заключают... момента социальной определенности...» («ВКА» № 25, стр. 235). С тт. А., Д. и Н. опять случился грех недиалектической постановки—*или—или* (который раз!). На самом деле—если оба понятия (т. е. абстрактный труд, общественный труд) не заключают в себе *порознь* момента социальной определенности, то *вместе*—они его как раз заключают. «В обществе товаропроизводителей общечеловеческий характер труда, всеобщность труда является общественной формой труда», говорят сами тт. А., Д. и Н. («ВКА», № 25, стр. 224. Мы бы только добавили—«только» общечеловеческий... «только» всеобщность.—*Б. К.*). Следовательно, сказать: стоимость создается «не только абстрактным, но и общественным трудом»—это значит как раз построить модель товарного хозяйства, как раз включить момент социальной определенности.

Здесь, кстати, можно предложить тт. А., Д. и Н. об'яснить с *их* точки зрения обычно употребляющееся Марксом выражение «всеобщий (или абстрактный.—*Б. К.*) общественный труд» (см. напр., «К критике», стр. 58, или Т. I, стр. 105, 164, 202 и т. д.). Ведь если понятие абстрактного труда включает в себя понятие «общественный труд», то почему же Маркс ставит *момент* определения наряду с *самим* определением? (тт. А., Д. и Н., хотя и некстати, но выразили правильную мысль, что «нельзя *момент* определения ставить *наряду с самим* определением»—«ВКА» № 25, стр. 226). Основной порок, почему тт. А., Д. и Н. пришли к такому неверному выводу, заключается в том, что для них критерием практической истинности абстрактного труда явились не материально-производственные основания и не необходимость пропорционального распределения труда, как у Маркса. Тт. А., Д. и Н. задают вопрос: «чем отличается этот последний (т. е. действительный труд менового о-ва.—*Б. К.*) от живого абстрактного труда?»—«*Только* тем,—отвечают они,—что он *выступает* как *овеществленный* труд» («ВКА» № 27, стр. 78, курсив мой.—*Б. К.*). «Живой труд, рассматриваемый *под углом зрения стоимости*, т. е. буржуазной формы продукта, является абстрактным трудом или субстанцией стоимости» (стр. 79, курсив авторов.—*Б. К.*). Это как-раз и характерно для тт. А., Д. и Н. Абстрактный труд они определяют как «труд товаропроизводителя», как» труд, рассматриваемый под углом зрения стоимости», под углом зрения выступления («*только тем* и отличается он от труда вообще»); иначе говоря, главнейший основной признак, определяющий абстрактный труд,—это «овеществление» его. Короче можно было бы сформулировать: *абстрактный труд—это овеществляющийся труд*. Категория «современнейшего общества,—мы слышали и выше—*не* труд вообще, *а* затрата, овеществляющаяся в товаре» («ВКА» № 25, стр. 224. Тт. А., Д. и Н. говорили это несколько раз—вспомним, например, их положение: «теория стоимости Маркса *исходит* из того, что товары обладают стоимостью, что абстрактный труд *вещно* представлен в товаре. Следовательно Маркс *выводит* обмен по стоимостям и меновое отношение из «*овеществления «труда»*—«ВКА» № 25, стр. 227—курсив мой.—*Б. К.*). Тт. А., Д. и Н. (а не Маркс) все выводят из овеществления труда. *Исходя из* этого *овеществленного труда*, они конструируют понятие овеществляющегося труда, как источника *овеществленного* труда, и *называют*

это понятие абстрактным трудом. Но по Марксу—абстрактный труд есть «простейшая абстракция», «исходный пункт» (Маркс ставит знак тождества между абстрактным трудом и трудом вообще) и именно живой абстрактный труд, а не овеществленный.

Здесь у тт. А., Д. и Н. получается самоочевидный порочный логический круг: абстрактный труд—это труд товаропроизводителя, труд, *рассматриваемый под углом зрения стоимости*, *овеществляющийся* труд; а стоимость—это *овеществленный* абстрактный труд. Может быть, дальше этот круг разрывается? Но нет—«общественный характер труда неотделим от процесса обмена веществ между его продуктами»,—пишут они. В обмене реальна меновая стоимость, еще реальнее цена, но тт. А., Д. и Н. пишут: «вне понимания абстрактного труда и формы стоимости нельзя дать понятие цены» (там же, стр. 230); значит и здесь порочный логический круг не может разорваться. Дальше—деньги,—конечный этап и завершение превращений — только с превращением денег в мировые деньги абстрактный труд находит свое полное законченное выражение; но деньги—только выражение (наиболее полное) абстрактного труда, «самостоятельная форма бытия абстрактного труда» (стр. 240); и здесь нет выхода—порочный круг замкнут очень прочно! Если у тт. А., Д. и Н. абстрактный труд на словах перестал быть абстрагированием от труда, то, во всяком случае, исходный пункт у них оказался... не исходным, а «простейшая абстракция»—сложным «не расчлененным хаотическим представлением о подлежащем об'яснению целом», как совершенно верно и удачно характеризовал ее тов. Кон.

Неизвестно только, зачем тт. А., Д. и Н. включили в формулировку абстрактного труда физиологические затраты (если не говорить о мимикрии под Маркса); если исходный пункт—«овеществление труда», то можно ограничиться одной формой труда, ибо это свойство труда—овеществляться—является следствием общественной формы труда.

Физиологический труд—материальный труд в этом случае следует отнести к предпосылке, вынести за пределы экономических наук, как это делал фактически прежде тов. Абезгауз, как это делал и И. И. Рубин. Физиологические затраты в определение абстрактного труда притянуты за волосы, в них нет никакой необходимости, если взять за исходный пункт овеществление труда. И. И. Рубин во всяком случае в этом вопросе выступает гораздо последовательнее—сказав «а», говорит и «б».

Включив в абстрактный труд форму организации труда, смешав овеществленный труд с живым трудом (на это правильно указывал тов. Кон)., взяв за основу форму выступления—овеществление, обмен, а не материальное производство, тт. А., Д. и Н. прочно попали в порочный логический круг, из которого нет выхода. Его можно разорвать, только разорвав с И. И. Рубиным, с его недиалектическим методом, с концентрированием внимания только на форме, на обмене и выведением содержания из формы.

Тт. А., Д. и Н. жалуются читателю на тов. Кона, который вскрыл близость их точки зрения к идеалистическому толкованию теории стоимости. «Мы считаем не случайным обстоятельством,—пишут они,—что в марксистской литературе... до вступления в эту область тов. Кона никогда не проводилось различия между абстрактным трудом и трудом, создающим стоимость» («ВКА» № 27, стр. 84), и тут же они ссылаются на высказывание крупнейшего марксистского авторитета, в работе которого действительно незаметно различения между абстрактным трудом и трудом, создающим стоимость. Этот авторитет оказывается... Т. Григоровичи!

Но с чьего выступления и с каких пор в марксистской литературе проводится различие между абстрактным трудом и человеческим «трудом вообще»? спросим мы,—и как совместить неоднократно повторяемое положение тт. А., Д. и Н. («только абстрактный труд, а не труд вообще есть субстанция стоимости и образует эту стоимость как свойство товаров»—«ВКА» № 25, стр. 224) с высказыванием такого действительно авторитетнейшего представителя марксизма, как В. И. Ленин—«тем общим, что есть во всех товарах, является не конкретный труд определенной отрасли производства, не труд одного вида, а *абстрактный* человеческий труд, человеческий труд вообще» (см. статью в энциклопедическом словаре «Гранат» с изложением учения Маркса)? Маркс тоже часто говорит о труде, создающем стоимость, как об абстрактном труде (в смысле «труд вообще»). Пример: «...это совершается благодаря *труду* не постольку, поскольку он *производит стоимость*, *т. е. является трудом вообще*, а поскольку он функционирует в качестве определенного производительного труда» (*М.*, К., III, ч. 2, стр. 373, курсив мой.—*Б. К.*). Маркс и Ленин ставят знак тождества между абстрактным трудом и человеческим трудом вообще, а тт. А., Д. и Н. находят и подчеркивают различие этих понятий. Не удалось все же тт. А., Д. и Н., несмотря на ряд крупнейших нововведений в свою формулировку абстрактного труда, избежать буквального противоречия с классиками марксизма!

Напрасно тт. Абезгауз, Дукор и Ноткин построили новое определение, ввели неприемлемые для своего единомышленника И. И. Рубина формулировки, отказались от него, чтобы избежать буквального противоречия с Марксом. Гони природу в дверь, она войдет в окно. Дело не в одной букве—дело в исходной точке зрения, дело в близости с идеалистическим толкованием теории стоимости, дело в том, что тт. А., Д. и Н. гораздо более бойко владеют пером и языком, чем диалектическим методом [1].

[1] Редакция считает дискуссию незаконченной.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ТЕОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА И ТОЛКОВАНИИ ИХ т. РАЗУМОВСКИМ

В. Лебедев

Диалектический материализм за последние годы выдержал бой с очередным уклоном в материализме. В борьбе с механистами он развернул многие стороны богатейшего содержания материалистической диалектики и доказал, что ближайшей задачей науки является овладение диалектическим методом, в целях приложения его в каждой отдельной области знания и действия.

Задачи эти велики, и выполнение их, конечно, связано с беспрестанной борьбой революционной идеологии против рутины и застоя в науке. В своем движении на этом пути диалектический материализм еще более углубит свое содержание и формы применения в практической жизни.

В ряду других задач перед диалектическим материализмом стоит уточнение диалектического метода в *теории исторического материализма*,—в одной из основных органических своих частей. Те методологические положения, которые диалектический материализм теперь выявил с особой яркостью, нужно практически ввести в трактовку исторического материализма, где, наряду с этим, имеется еще непочатый край работы [1]. Научная разработка теории исторического материализма у нас вообще значительно отстала по сравнению с разработкой общеметодологических вопросов диалектического материализма и носит еще «кустарный» характер. Нужно развить работу. Время как-будто настало. Пора бросить силы на этот «фронт».

Тов. Разумовский третьим изданием выпустил свой «Курс теории исторического материализма». Видимо, книга находит распространение.

Она излагает философские предпосылки марксизма, его методологию, исторический материализм и историю развития теории. Бо́льшая часть книги отведена теории исторического материализма (диалектике истории).

---

[1] Даже основные проблемы исторического материализма разработаны у нас далеко не полно. В самом деле, если взять эти проблемы, то картина, при беглом обзоре, будет такая: проблема производительных сил за последние годы дискуссируется на страницах «ВКА», но дискуссия развертывается медленно, ход этой дискуссии показывает, как мало мы еще сделали в разработке истмата; понятие производственных отношений у нас совершенно не разработано, и, кроме общих определений в классической литературе, у нас по этому вопросу почти ничего нет; проблема экономических структур в таком же положении; общее учение о базисе и надстройках также не разработано; дело хорошо обстоит лишь с такими проблемами, как государство, право и т. п.; в проблеме классов и классовой борьбы хорошо разработаны отдельные вопросы, актуально выдвинутые ходом нашей революции, и т. д.

Нам кажется, что в этой последней части неправильно трактуется ряд *основных* положений теории исторического материализма, что, в свою очередь, происходит из-за неверного применения диалектики к вопросам методологии истории.

В целях освещения ошибок т. Разумовского, мы (отбросив мелкие вопросы и замечания) возьмем две основных проблемы исторического материализма: 1) производительные силы и производственные отношения и 2) общее учение о базисе и надстройках, и, изложив их здесь в самом общем виде, покажем, как представляет их т. Разумовский в своей книге.

I

В процессе воспроизводства своей жизни человек воздействует на природу при посредстве орудий, сочетая при этом свои общественные усилия. Рабочая сила человека находит свое целесообразное применение в природе, будучи вооружена теми или иными средствами труда. Характер приложения рабочей силы *обусловливается* характером *средств труда*. Между ними существует постоянное взаимодействие, процесс которого на протяжении исторического развития человечества может быть отображен в теории исторического материализма как диалектика развития материальных производительных сил. Разумеется, к материальным производительным силам всегда можно подойти и с точки зрения движения их количества (как, напр., делает Маркс в «Нищете философии», иллюстрируя рост производительных сил при буржуазном способе производства с 1770 по 1840 гг. [1]) и с точки зрения изменения их качества. Например, капиталистические производительные силы мануфактурного периода безусловно *качественно* отличны от капиталистических производительных сил современного общества. Там мы имеем средства труда мизерные, по сравнению с современными машинами крупной промышленности, а вместе с тем наблюдаем и кардинальную разницу в целесообразных действиях рабочего в трудовом процессе [2].

Но характер средств производства и их взаимодействие с рабочей силой необходимо предопределяет и третий момент процесса производства—общественность. Человек трудится, сочетая свои усилия с другими людьми. Характер этого сочетания зависит от характера средств производства. И наоборот, средства производства могут действовать лишь благодаря наличию общественной организации, им соответствующей. Вследствие этого взаимодействие внутри производительных сил всегда протекает в зависимости от характера общественной связи между людьми. Общественная связь отражает на себе, всякий раз с той или иной степенью точности, характер взаимодействия внутри производительных сил, в частности роль живой рабочей силы в процессе производства.

Таким образом, между всеми тремя элементами (рабочей силой, средствами производства и общественностью) существует тесное взаимодействие, которое, однако, не лишает каждый из них реального отличия от других. Это отличие настолько рельефно, что в процессе теоретической работы можно выявить своеобразие развития каждого из элементов в отдельности, учесть его количественный рост и качественные изменения. Но вместе с тем это можно делать, как мы уже видели, и отдельно в отношении средств производства и рабочей силы (производительных сил), с одной стороны, и общественных отношений—с другой. Конечно, выявленное выше взаимодействие всех элементов заставляет при анализе одного из них учитывать роль другого, но в самом процессе «отщепленного» анализа нет ничего противоречащего марксистской научной методологии. Свое исследование при этом вдоволь можно снабдить иллюстрациями как «количественного»,

---

[1] См. «Нищета философии», 1920, стр. 85—86.

[2] Без изменения его общественного положения—наемной рабочей силы.

так и «качественного» изменения и средств производства, и рабочей силы, и общественных отношений.

Но в теории исторического материализма, помимо всего, нам важен подход к общественному производству (и воспроизводству) в целом. Нам важно знать характер изменения людских отношений в процессе исторического движения общества. И совершенно очевидно, что для этого нам приходится брать взаимодействие всех перечисленных элементов в целом и на законах этого взаимодействия делать выводы о закономерностях общественного движения. Тут мы уже можем сказать, что *форма* общественных связей людей зависит от состояния производительных сил, которые поэтому могут считаться общественным *содержанием*.

Тов. Разумовский, конечно, имеет в виду все только-что изложенное о связи материального производства с общественными отношениями. В общих чертах он говорит об этом в своей работе [1]. Но вместе с тем он представляет *свою* схему разбираемого взаимодействия: «Производительные силы,—говорит он,—это содержание; экономически они характеризуют *количественный* уровень производительности, представляют собою материальное, вещественно человеческое мерило для определения ступени развития общественного труда. Производственные же отношения, формируемые состоянием производительных сил, — это *качественная* сторона, это—«форма их развития» [2]. К чему потребовался этот «экономический» угол зрения при изучении вопроса в социологическом аспекте? [3]. Нам кажется, только для того, чтобы «подчеркнуть» наличие в общественном движении «единства противоположностей»—«количества» и «качества», «содержания» и «формы», так как в данном конкретном примере, кроме сказанного, ничего не достигается [4]. Впрочем, нашему автору это нужно и для другого. И вот для чего именно.

Известно, что в процессе общественного развития производительные силы перерастают производственные отношения. Происходит революция,—момент весьма важный в методологии исторического материализма. Революция—это скачок от одной общественной формы к другой. А ведь «скачок» проще всего об'яснить, указав на переход «количества» в «качество». Для этого производительные силы должны стать и стали у т. Разумовского «количеством», а производственные отношения—«качеством». И все кажется об'ясненным!

[1] См. стр. 266.

[2] Стр. 260, курсив автора.

[3] А путать тот и другой подход, по-нашему, нельзя. Среди статей, появившихся в «ВКА» в порядке дискуссии о производительных силах, некоторые развивают «количественную» точку зрения на производительные силы, исходя как раз из *производительности*, т. е. того суммарного экономического результата, который имеет общество при тех или иных производительных силах. От производительности—говорят авторы этой точки зрения—зависит строение и изменяемость общества (см. статью т. Ефимова, «ВКА», кн. 22). Другая точка зрения (представленная т. Бернштейном, «ВКА», кн. 21) останавливается на производительных силах как на *качестве*. Причем здесь дело доходит до того, что рабочая сила выбрасывается из состава производительных сил, а последними становятся только рабочие части орудия (рабочая часть сложной машины и т. п.). Обе точки зрения—крайние, показывающие, как не нужно подходить к проблеме производительных сил как категории *социологической*, разрешающей вопрос о *строении* общества. В этом смысле мы и говорим о «социологическом аспекте», в отличие от «экономического».

[4] Мы заключили в кавычки слова «единство противоположностей», «количество и качество», «содержание» и «форма» потому, что т. Разумовский очень часто заменяет уточнение вопроса, его конкретную постановку общей ссылкой на диалектичность взаимодействия «содержания» и «формы». Это мы показываем ниже. Но в ряде случаев этот прием автора превращается в свою противоположность: из основанного на диалектическом методе он становится формальной основой, схемой, примеры неудачного употребления которой (искажающего теорию исторического материализма) мы показываем ниже.

Но дело обстоит не так просто, как представляет его т. Разумовский. Взаимодействие здесь гораздо более сложно, и его об'яснение возможно лишь путем изучения частных взаимодействий трояко рода: во-первых, взаимодействия внутри производительных сил, во-вторых, взаимодействия внутри производственных отношений и, наконец, в-третьих, взаимодействия между производительными силами и производственными отношениями. Для опровержения «количественно-качественного» схематизма т. Разумовского в вопросе о перерастании производительными силами производственных отношений достаточно примера о пролетарской революции и социалистическом строительстве в отсталой России наряду с существованием капитализма в гораздо более развитых странах Западной Европы и Америки. В подобное «количество» и «качество» тут никак не уложишься. К этому вопросу мы еще подойдем.

Поскольку у нас речь идет о смене одних производственных отношений другими, небезынтересно выяснить, как трактует наш автор самое понятие *производственных отношений*.

Ортодоксальная точка зрения, выраженная В. И. Лениным, освещает этот вопрос так. Отношения людей в производстве в каждый данный момент отражают в себе особую историческую ступень в развитии общественного хозяйства, совпадающую с понятием способа производства, т. е. характера соединения рабочей силы со средствами производства в процессе производства. Группировка людей внутри данного исторического способа производства определяется отношением к средствам производства, к *владению* этими средствами. На основе имущественного отношения к средствам производства складывается *роль* той или иной группы людей в *организации производства*, положение ее в технической организации труда в этом производстве. И, наконец, отношение собственности на средства производства определяет и *долю в распределении произведенных продуктов*. Таким образом, для любителей схем анализ производственных отношений можно представить в такой последовательности:

Исторически определенная общественная система

(СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА)

↓

Положение в производстве (отношение к средствам производства)

↓ ↓

Роль в организации производства ⟷ Доля в распределении продуктов пр-ва [1].

Все эти моменты в целом (в своем единстве) образуют *понятие отношений в производстве*. Оказывается, эта общественная *форма* имеет свое богатейшее *содержание* помимо того содержания, под которым имеются в виду производительные силы. В самом деле: в процессе исторического развития *формы* производственных отношений в целом, в процессе движения данного способа производства, *изменяют свои взаимные отношения все перечисленные ее элементы*, причем это изменение в реальной жизни и образует диалектику движения данного общественного *содержания*. *Форма* (способ производства) всякий раз изменяется, как только изменится соотношение между основными элементами *содержания* экономической структуры, развивающимися, как мы сейчас увидим, в противоречиях и путем противоречий. *Качество* общественного строя (способа производства) вся-

[1] См. Ленин, т. XVI, стр. 249, определение классов.

кий раз изменяется (взрывается), как только количественно вырастают основные элементы, его образующие (имущественные отношения между классами, их роль в организации производства и доля каждого в распределении). Для примера возьмем капитализм. В его движении мы наблюдаем: во-первых, положение класса буржуазии в отношении *владения средствами производства* изменяется в том направлении, что все большая и большая масса средств производства, за счет которых живет общество, переходит во владение класса буржуазии, относительная численность которого в отношении ко всему обществу не увеличивается, а уменьшается; во-вторых, роль буржуазии как класса, в *технической организации производства*, с развитием производства и ростом буржуазного богатства, сводится на-нет; современное буржуазное производство движется без непосредственного участия класса буржуазии в его управлении и организации; и, в-третьих, *доля буржуазии в распределении* произведенных продуктов неимоверно возрастает вместе с ростом буржуазного производства, относительным уменьшением числа членов класса буржуазии, несмотря на сведение к нулю его роли в технической организации производства. *В развитии перечисленных противоположностей и проходит движение того содержания, общая форма которого об'единяется понятием производственных отношений.*

Вернемся к т. Разумовскому. У него мы можем узнать, что «для каждой экономической структуры характерны некоторые свои типические отношения производства, которые окрашивают в свой тон всю данную экономическую структуру. Общий характер этих производственных отношений отражается на каждой более частной группе общественных отношений или на выражающих ее экономических категориях. Поэтому описать каждый такой внешне самостоятельный момент общественного производства—значит на данном частном случае охарактеризовать всю совокупность общественных отношений. Так, например, по словам Маркса,—пишет т. Разумовский,—«машины так же мало составляют экономическую категорию, как и быки, которые тащат плуг. Это—производительные силы, не более. Современная же фабрика, основанная на употреблении машин, есть общественное отношение производства, экономическая категория». Точно так же «деньги не вещь, а общественное отношение». «Собственностью называется определенная совокупность общественных отношений». Наконец, «капитал тоже является общественным отношением производства. Он есть буржуазное отношение производства, отношение производства буржуазного общества». Именно «*совокупность этих производственных отношений*,—подчеркивает т. Разумовский,—образует экономическую структуру общества». «Не просто отношения распределения и обмена,—раз'ясняет он,—как полагали буржуазные экономисты, видевшие в распределении и обмене нечто самостоятельное, не связанное с производством,—но производственные отношения в *форме распределительных и меновых отношений*, они являются экономическими отношениями, составляют экономическое содержание общественной жизни—исходный пункт общественной науки» [1].

Приведенное место имеет назначением раскрыть понятие производственных отношений. Помимо «слов Маркса», весьма неудачно вырванных из текста, мы узнаем от автора «Курса», что «... производственные отношения в *форме распределительных и меновых* отношений, ... являются экономическими отношениями, *составляют* экономическое содержание общественной жизни—*исходный пункт общественной науки*».

Таким образом, автор, очевидно, сторонник «*распределительной*» теории, правда, не в том смысле, «как это полагали буржуазные экономисты», а в совершенно другом, надо думать, «марксистском», наподобие уже многих своих предшественников «от марксизма», теоретическая несостоятельность которых давным-давно доказана и было бы

[1] *Разумовский*, Курс, стр. 258—259.

скучно повторять эту историю сначала. Попытаемся полнее установить точку зрения т. Разумовского, дабы не заслужить возможного упрека в фальсификации, как часто бывает в таких случаях.

До сих пор мы были убеждены в том, что для общей характеристики производственных отношений следует брать самый главный их признак, определяющий все остальные, это—положение людей в *производстве* (отношение к средствам производства). Но из «Курса» мы узнаем другое: «Производственные отношения *с их распределительной* стороны,—пишет т. Разумовский,—представляют особенно важное значение для марксистской теории. Они предопределяют положение различных общественных групп, их взаимоотношения—противоположность их интересов, их борьбу—и, стало быть, и то противоречие, которое «ведет вперед»,—они являются междуклассовыми отношениями [1]. Совершенно четкая «распределительная» позиция.

Сделаем еще ряд выписок. «Сущность распределительных отношений,—говорит автор,—те же производственные отношения, та же общественная организация труда. Но эта их сущность находит себе в отношениях распределения наиболее отчетливую форму проявления, в особенности—в условиях классового общества: способ распределения предопределяет различные «общественные функции» участников производственного процесса, определяет «специфически общественное качество» данной формы организации труда» [2]. «Переворот в экономическом базисе, ведущий к замене одной общественной формации другой, начинается задолго до всяких политических переворотов, под влиянием технических изобретений, перераспределения средств производства в пределах самих господствующих классов, реорганизации способа производства. Но он не может завершиться без изменения *в отношениях распределения*, которое приводит к экономическому господству новые классы...» [3].

После этих выдержек т. Разумовский может обвинить нас в подтасовке цитат из его работы. При этом он, конечно, укажет на стр. 256 своего «Курса» и предложит прочитать следующее, им написанное:

«... Действительно,—говорит там т. Разумовский,—распределение только при поверхностном рассмотрении представляется нам одним лишь распределением продуктов—чем-то самостоятельным по отношению к производству. На самом же деле в основе всякого распределения лежит: 1) распределение орудий производства и 2) ... распределение членов общества по различным родам производства; а это распределение «включено в самый процесс производства и обусловливает организацию последнего». Это распределение поэтому представляет собой, иными словами, «подведение индивидов под определенные производственные отношения» [4].

Мы оказались как-будто перед иной точкой зрения. Но это, к сожалению, не так. Тов. Разумовский отличается «странной» особенностью. Обильно пересыпая свою работу выписками из сочинений Маркса, Энгельса, Ленина и др., он выражает их мысли более или менее верно лишь в пространстве, ограниченном кавычками, а то, что пишет самостоятельно и даже то, что он пишет между чужими фразами, далеко не совпадает с позицией авторов, которых он трактует [5].

---

[1] Стр. 258, курсив мой.—*В. Л.*
[2] Стр. 256—57.
[3] Стр. 322, курсив автора.
[4] «Курс», стр. 256.
[5] Для примера приводим следующий отрывок: «Производственные отношения с их распределительной стороны представляют особенно важное значение для марксистской теории. Они предопределяют положение различных общественных групп, их взаимоотношения—противоположность их интересов, их борьбу—и, стало быть, и то общественное противоречие, которое «ведет вперед»,—они являются междуклассовыми

Представим об'яснения. Сначала из «самостоятельно» написанного т. Разумовским. На стр. 284—285 «Курса» по разбираемому вопросу о производственных отношениях, очевидно, в «раз'яснение» позиции Маркса, он пишет: *Распределение продуктов труда*, «общественного совокупного дохода»... можно подразделить: на распределение средств дальнейшего производства и распределение средств непосредственного потребления. Несомненно, что все производимые продукты потребляются, но одни служат орудиями труда и сырым материалом для производства новых продуктов, другие—для непроизводительного потребления... *Основным в распределении* является то или иное *распределение средств дальнейшего производства* между участвующими в производственном процессе группами. *Способ этого распределения* составляет необходимое условие дальнейшего производства, *предопределяет его организацию и общественные функции деятелей данной общественной организации* труда, и в то же время этот способ распределения сам каждый раз предопределяется предшествующей общественной организацией производственного процесса» [1]. Каков смысл приведенного положения? Да тот, что способ распределения продуктов труда *определяет* общественные отношения. Ведь, по существу, в данном случае неважно *что* распределяется. Пуговичный фабрикант и владелец машиностроительного завода одинаково интересуются размерами прибавочной стоимости и связанной с этим прибыли,—*долей* в распределении, а не тем, чтобы побольше оставить себе пуговиц или машин. И эта *доля* в распределении, размер ее и характер присвоения определен их собственностью на средства производства, их положением в производстве. Тов. Разумовский, очевидно, думает, что нет вреда, если мы говорим: «солнце заходит», в то время как наука давно выяснила, что не солнце заходит, а движется земля. Отношения распределения *отражают* отношения в производстве—значит, мол, нет вреда, если говорить о первых, разумея при этом их зависимость от вторых, тем более, что отношениям в производстве предшествует *распределение средств производства*. Но это заблуждение, и «канонизировать» его нельзя.

Теперь, попутно с разбираемым вопросом о производственных отношениях, мы можем показать, как т. Разумовский придает *свой* смысл тому, что он помещает в кавычках, как взятое у других авторов. На стр. 284 он помещает все в тех же целях утверждения своей «распределительной» точки зрения «цитату» из 51 главы III тома «Капитала» и говорит так: «... у Маркса мы читаем вполне определенно: «Формы распределения... являются *базисом особых общественных функций*, выпадающих в пределах самого производственного отношения на долю *определенных его деятелей, в противоположность* непосредственным производителям» [2]. Что же, значит, Маркс «*вполне определенно*» утверждал распределительную точку зрения? Ничего подобного. Приведенная цитата из «Капитала» вырвана из такого контекста: «*Можно, конечно, сказать*, что самое существование капитала... уже предполагает известные формы распределения: экспроприацию у рабочих условий его труда, концентрацию этих условий в руках меньшинства членов общества... *Но это распределение совершенно отлично от того, что разумеют под распределительными отношениями*, когда приписывают этим последним исторический характер в противоположность производственным отношениям... Напротив, те формы распределения, *о которых мы только-что говорили*, являются базисом особых общественных функций...» и т. д., как выписал тов. Разумовский [1]. Маркс все время производственные отношения называет производственными, а не распределительными. Здесь он *условно* (см. приведенную цитату из «Капитала») употребил иной термин, а т. Разумовский возвел этот термин в общеупотребительный и провел его на протяжении всего своего «Курса».

Но это такая беда, о которой не стоило бы много говорить,—достаточно было бы простого указания на недопустимость таких «вольностей» в учебном пособии. Но дело в том, что *форма* отражает у т. Разумовского его *содержание*. А это последнее едва ли отвечает той ортодоксальной концепции в понятии производственных отношений, которую мы выше изложили.

Рассмотрим, в чем дело.

Мы уже знаем по *собственному* изложению т. Разумовского его понимание роли распределения *продуктов* труда. Приведенная нами по этому поводу цитата с 285 стр. его «Курса» закончена у нас такой фразой, принадлежащей т. Разумовскому: «... в то же время этот способ распределения сам каждый раз предопределяется предшествующей общественной организацией производственного процесса» [2]. Тут, конечно, мы должны были предположить, что под «предшествующей общественной организацией производственного процесса» т. Разумовский имеет в виду то же, что Маркс имел в виду под капиталом в приводившемся выше месте из «Капитала». Маркс, напомним, говорил там: «Можно, конечно, сказать, что самое существование капитала... уже предполагает известные формы распределения...» Если бы т. Разумовский имел в виду именно это... наш с ним разговор был бы закончен самым мирным образом. Но т. Разумовский утверждает другое. Он пишет вслед за приведенным местом его работы: «Организационное положение производителей в предшествующем процессе производства, *их организационно-трудовые отношения* обусловливают и в дальнейшем такое же распределение между ними средств производства, как и ранее, и, следовательно, воспроизводство той же организации труда, вновь тех же самых организационно-трудовых отношений» [3]. Затем он также определенно говорит, что дальнейший производственный процесс «... приводит к неравномерному сосредоточению... производимых средств дальнейшего производства в руках «руководителей» и «исполнителей».

Мы оказались перед новым положением в позиции автора по вопросу о понятии производственных отношений. На сцену выдвинута определяющая роль «организационно-трудовых» отношений.

На этом вопросе мы долго задерживаться не будем.

Место организационно-трудовой роли людей во взаимодействии всех элементов, образующих понятие производственных отношений, мы осветили выше. Оно, во всяком случае, *не* определяет производственных отношений, а само *определяется* чем-то более решающим,—именно отношениями собственности на средства производства.

Тов. Разумовский знает это. Он выступает против «организационных» положений А. А. Богданова, но в то же самое время у себя пишет: «*Имущественное неравенство*, неравномерность в распределении всех продуктов *является*, таким образом, уже *результатом* ранее имеющегося *организационно-трудового неравенства*, обусловливается спо-

---

отношениями. «Материалистическое понимание истории,—писал Энгельс,—основано на том положении, что производство, а вместе с производством и обмен продуктов составляют базис всякого общественного строя и что во всяком обществе *распределение* продуктов *а, вместе с ним и расчленение общества на классы* и сословия совершаются соответственно способам производства продуктов и сообразно способам обмена их». Различные общественные функции, обусловленные различными формами распределения—распределения как средств дальнейшего производства, так и средств личного потребления,—именно они определяют *роль и взаимоотношения различных общественных классов* и в общественном процессе производства и в тесно связанной с этим последним политической организации» (стр. 258, *курсив т. Разумовского*). Путанные «распределительные» разговоры и... Энгельс!

[1] Стр. 284—85, курсив мой.—*В. Л.*

[2] Курсив т. Разумовского.

[1] «Капитал», т. III, ч. 2, стр. 417—18, курсив мой.—*В. Л.*

[2] См. выше эту цитату.

[3] Стр. 285, курсив мой.—*В. Л.*

собом производства» [1]. Или в другом месте: «... организационно-трудовая сторона производственных отношений выявляется в форме распределительных отношений и меновых отношений» [2]. Если перевести с языка автора на общеупотребительный марксистский язык, это будет значить, что организационно-трудовая роль *определяет* положение людей в производстве [3].

II

До сих пор, говоря об отправных моментах человеческого развития, мы оперировали с элементами, обусловливающими процесс материального производства человека. Мы называли: рабочую силу самого человека, материальные предметы природы, над которыми и при посредстве которых трудится человек, и общественную связь между людьми, обусловленную характером соединения средств производства с рабочей силой, и, в свою очередь, определящую это соединение. Теперь мы должны расширить вопрос, ввести в поле нашего зрения новые его стороны.

Труд человека—процесс активного воздействия человека на природу при посредстве орудий. Но к тому же это процесс *цельсообразного* воздействия на нее. В процессе труда человек *сознательно* оперирует орудиями труда и средствами производства вообще. *Сознание* и является одним из тех новых элементов, который мы теперь должны ввести в круг наших вопросов.

Овладевая способностью делания и употребления орудий, животный предок человека *инстинктивно* подходил к этому процессу, толкаемый условиями своего существования—природной средой и своей природной, физиологической организацией. Первые проблески сознания появились у него вместе с первым изготовленным им орудием, внесшим вместе с тем первое изменение и в форму той общественной среды, в которой он жил. Процесс делания орудий, при таких условиях, мог развиться лишь как процесс взаимодействия всех моментов, нами охваченных, в том числе и развивающегося сознания. Совершенно очевидно, что сознание, следуя за материальным процессом производства, отражало всякий раз этот процесс. Отражая этот процесс, оно, конечно, являлось и одним из условий для его повторения на достигнутой основе.

Вместе с тем сознание с первых же моментов своего проявления развивалось параллельно с речью, при посредстве речи, благодаря развитию речи. Оно очень тесно взаимодействовало (и взаимодействует) с ней. А речь—специфический продукт общественности. Человеческая речь возникла вместе с человеческой общественностью, вместе с трудовой деятельностью человека. *Сознание*, таким образом, *является одним из ближайших продуктов общественных отношений людей*. Завися от этих отношений, оно, в свою очередь, влияет на них, а вместе с тем и на производственный процесс в целом, который в своем кругообращении вновь и вновь воспроизводит определенные формы общественного сознания на основе, повышающейся вместе с повышением самого производства и развитием его основных факторов.

С развитием производительной деятельности, с расширением и укреплением общественной связи людей, развивалось общественное разделение труда между ними. Формы этого разделения с естественной закономерностью выдвигались ходом развития самого производства. Унаследованные от природы формы разделения труда между полами стали дополняться формами, обусловленными процессом производства. Появилась и стала развиваться специализация труда, профессионализация его, ограниченная, конечно, теми общественно-материальными условиями, при которых она появлялась. Отдельные функции производственного процесса в целом стали выполняться отдельными людьми или отдельными группами людей. Так, наряду с основной массой людей, занятых в определяющей сфере производства,—если это земледельческая община—в земледелии,—появляются люди, трудовая деятельность которых посвящается отправлению одной какой-либо функции совокупного общественного труда. Эти лица выполняют в своей особой отрасли весь тот труд по данной специальности, который должен бы быть затрачен *всей* общиной—и каждым членом ее в определенной его части в отдельности,—если бы разделения труда не существовало [1]. Так появляются: кузнецы, плотники, горшечники, цирюльники, прачечники, серебряных дел мастера, астрологи, брамины, школьные учителя, поэты, общественные чиновники, бухгалтеры и, наконец, главные организаторы—«главы» общины (*Маркс*, Капитал, т. I, гл. XII, пример с индийской общиной). Все эти отрасли труда и люди, в них занятые, как уже замечено, *не входят в основную* сферу материального производства—в данном примере—земледелие. Одни из них, как кузнецы, плотники и др., заняты обслуживанием данного способа производства тем, что выполняют вспомогательные функции в процессе действия материальных производительных сил этого общества, другие же выполняют труд по обслуживанию *общественных* нужд основных производителей: брамины, учителя и поэты—потребности идеологического порядка, а чиновники и «главы» общины—организаторские нужды. Чем определяется положение и деятельность всех людей, занятых в этих отраслях труда?—Состоянием и нуждами материального производства, *общественной связью людей*, занятых в *этом* производстве, т. е. в данном примере—в земледелии. Труд же первых является трудом отдиференцированным от основного труда в данном обществе, в ходе развития этого общества. При этом очевидно, что одна часть этого отдиференцированного труда обслуживает непосредственные нужды *материального производства*—кузнецы, плотники и т. п.,—и поэтому сливается с *основным* трудом данного общества, а другая—обслуживает развившиеся формы *общественных связей* людей, почему и может быть об'единена понятием труда производного, «надстроечного».

На изложенных соображениях и основывается в марксизме учение о «базисе и надстройках».

Из хода наших мыслей кажется ясным тот факт, что «надстроечный» труд людей имеет своим *непосредственным* основанием *общественные отношения* людей, существующие в материальном производстве. Именно они в своей совокупности образуют *базис*, экономическое основание общества, его структуру. Включать в этот «базис» еще *производительные силы* нет никакой нужды. Наоборот, расширение понятия базиса (или экономической структуры) за счет производительных сил, включение этих последних в понятие базиса влечет за собой ряд теоретических неувязок и даже грубых ошибок, примеры которых мы надеемся представить ниже из «Курса теории исторического материализма» т. Разумовского.

Как мы знаем, т. Разумовский усиленно подчеркивает, что производительные силы—«содержание», а производственные отношения—«форма». Мы также знаем из приведенной выше цитаты, что производительные силы у нашего автора—«количество», а производственные отношения—«качество». Теперь еще раз вернемся к этим вопросам и дополним их новыми соображениями нашего автора.

На стр. 260 своего «Курса» т. Разумовский пишет: «Под *экономическим базисом* общества нужно понимать *совокупность его производительных сил в форме возникающих*

[1] Стр. 285, курсив мой.—*В. Л.*
[2] Стр. 261.
[3] На стр. 300 автор замечает еще: «Классовая эксплоатация отчасти обусловливается автоматизмом самого производственного процесса, поскольку за представителями эксплоатирующего класса сохраняется роль *руководителей* в производстве».

[1] Что, вообще говоря, немыслимо, так как при таком положении и само «общество» было бы другим, так же, как и его производство и потребности.

на их основе, формируемых ими *производственных отношений*. С этой точки зрения, понятия «производительные силы» и «производственные отношения» суть соотносительные понятия: они взаимно дополняют друг друга, как содержание и форма, раскрывая смысл одного понятия через посредство другого и совместно раскрывая характер экономической основы общества» [1]. Витиеватая *форма* этой тирады скрывает шаткость ее *содержания*. Посмотрим, для чего потребовалось т. Разумовскому такое усложнение вопроса,—почему ему мало производственных отношений для формулировки понятия базиса, почему у него базисом являются производительные силы в *форме* производственных отношений.

Что такое надстройки? Надстройки—тоже производственные, общественные отношения, отличающиеся от производственных отношений материального производства тем, что они складываются в процессе воспроизводства *общественных связей* людей и захватывают собою не только *отношения людей* в «духовных» и «общественно-политических» производствах, но и сами по себе «духовные» и «общественно-политические» «производства».

Как мы уже говорили, люди воспроизводят свои *основные* общественные отношения в процессе материального производства; усложнившееся материальное производство усложнило общественные связи, создав специальные отрасли труда, *обслуживающие эти связи*. Разделению труда в материальном производстве стало соответствовать и разделение труда в особом «общественном» производстве, которое, в конечном счете, обслуживая материальное производство и завися от него, внешне от него отделено и имеет видимость самостоятельности или даже господства над ним. Таким образом, надстроечные «производства» и надстроечные производственные отношения обусловлены развитием *общественности* человека, в свою очередь, зависимой от хода материального производства (и взаимодействующей с ним). Продукты «надстроечного труда» имеют назначением обслуживание исключительно *общественных связей* людей (а через них и самого материального производства), высота развития которых соответствует высоте материального производства и определяет ту широкую специализацию «духовных производств», которую мы видим среди «надстроек».

Устанавливающиеся между людьми в их трудовом процессе производственные отношения возникают и развиваются *помимо сознания* этих людей [2]. Люди *не сознают*, что в процессе обеспечения своей жизни, *в процессе труда*, вместе с производством пищи, одежды и др. материальных благ, они производят и отношения друг к другу. Это положение касается, прежде всего, отношений, устанавливающихся между участниками материального производства, отношений, которые образуют экономический базис данного общества.

Но это же положение одинаково распространяется и на отношения, устанавливающиеся между людьми, занятыми «надстроечным» трудом. Отношения, складывающиеся между этими людьми, *также возникают совершенно бессознательно* для этих людей.

Наконец, возникновение и развитие «надстроечных» производств и отношений в них зависит от отношений, существующих в материальном производстве, и сама эта зависимость также бессознательного порядка, совершающаяся по законам, скрытым от сознательного воздействия людей.

Но при всем этом труд людей в материальном производстве—*сознательный*, целесообразный процесс. Таковым же является труд людей, занятых в «надстроечных производствах». Их сознательная деятельность ограничена определенной сферой, так же,

[1] Стр. 260, курсив мой.—*В. Л.*

[2] Это положение очень хорошо выражено Н. Бухариным в статье «К постановке проблем теории исторического материализма», см. «Вестник Соц. академии», кн. 3, сборник «Атака», или последн. изд. его «Теории истор. материализма».

как и деятельность людей в материальном производстве. Они активно и сознательно стремятся к развитию своих производств. Если сознательность людей, участвующих в материальном производстве, ограничена *об'ективными материальными* условиями, то сознательная деятельность в «духовных» производствах ограничена *об'ективными общественными* условиями. Труд людей всегда протекает как сознательный процесс. но отношения, возникающие между людьми в процессе труда, всегда устанавливаются бессознательно и являются результатом *общественной* сущности как материального производства, так и самого человека.

Что же говорит на этот счет т. Разумовский?

«Экономическое содержание общественной жизни—пишет он в своем «Курсе»—получает свое историческое развитие не только в непосредственно-экономических формах—в производственных отношениях. Но и сами *производственные отношения конкретно осуществляются и проявляются в форме целого ряда других производных общественных отношений*, которые внешне не связаны с общественным процессом производства, но без которых этот процесс общественного производства—*поскольку в нем участвуют одаренные сознанием люди*—не может осуществиться» [1].

Здесь мы отметим два интересных момента: Первый—производственные отношения *осуществляются и проявляются в «форме»* целого ряда других производных общественных отношений. Каких именно отношений—мы узнаем на той же странице. «...Конкретная общественная действительность,—пишет т. Разумовский,—складывается из множества разнообразных действий и общественных отношений людей, нередко менее всего общего имеющих с процессом непосредственного производства,—из отношений *правовых*, *политических*, *художественных*, *половых*, *религиозных* и т. д.» [2]. Таким образом, у т. Разумовского материальные производственные отношения «проявляются и осуществляются» в *форме* правовых, политических, художественных, религиозных и др. отношений и являются, надо думать, *содержанием* их [3]. Бессознательно возникающее *содержание*, по мысли т. Разумовского, проявляется в сознательной *форме*. Значит, можно сказать, что в религии рабочие *осознают* свое производственное положение, так как религия есть конкретная *форма* их «абстрактного» производственного положения.

Второй интересный момент, который мы видим в приведенной выше цитате из «Курса» т. Разумовского, заключается в том, что процесс материального производства может совершаться постольку, «поскольку в нем участвуют *одаренные сознанием* люди». На той же странице автор расширяет это положение, говоря: «*производственные отношения* с определенной стороны отношения материальные. Но ведь они *в то же время* и «духовные» отношения, *протекают между одаренными сознанием людьми*, которые могут связываться между собой только при помощи своего сознания» [4]. До сих пор мы склонны были думать, что материальное производство существует «постольку, поскольку» в нем уча-

[1] Стр. 261, курсив мой.—*В. Л.*

[2] Курсив мой.—*В. Л.*

[3] «Материальные общественные отношения и идеологические общественные отношения,—читаем мы еще у тов. Разумовского,—общественное бытие и общественное сознание—это две разных стороны целостного единства, одной и той же общественной жизни: *идеологические общественные отношения—это те же материальные связи людей, но рассматриваемые в той форме, в какой они проявляются, существуют для сознания* членов общества. *Материальные отношения* хотя и осуществляются сами по себе, независимо от нашего сознания, но *для нас*, участников их, *они иначе не существуют как в форме* тех или иных *идеологических* отношений—правовых, религиозных и т. д. Материальные отношения поэтому и отличны от идеологических и в то же время *тождественны* с ними, сохраняются в них как их основа» (стр. 341, курсив мной.—*В. Л.*). Автор договаривается до *тождественности материальных и идеологических отношений!*

[4] Курсив мой.—*В. Л.*

ствуют общественно-связанные живые производители, а общественная связь существует между ними постольку, поскольку она основана на материальном производстве. О сознании же и прочих «высоких материях» мы склонны были полагать, что это *продукты* общественности людей, определяемые и обусловливаемые этой общественностью, *существующие «постольку, поскольку» существует общественность*, а не наоборот, как в том хочет уверить нас т. Разумовский.

Выше мы говорили, что вместе с развитием общественного производства в целом происходит общественное разделение труда в нем. В частности, труд умственный отделяется от труда материального, тот и другой выпадают на долю разных людей. В классовом обществе это разделение принимает свои специфические формы. Класс, господствующий в обществе, господствует не только в материальном производстве, но и в «производствах» духовном и общественно-политическом. Господствующие идеи—это идеи господства того или иного господствующего класса. Господствующий класс командует и производством и распределением идей своего времени. Поэтому люди, участвующие в материальном производстве, занятые исключительно «порождением материальной жизни» [1], «потребляют» идеи, выработанные не ими, а людьми, занятыми в других («надстроечных») производствах. Они вступают в соответствующие «надстроечные» отношения, не производя их в своем производстве, а благодаря обмену трудом с другими людьми, труд которых поставляет «продукты», выражающие идейные стремления господствующего класса, обусловливающие сохранение и укрепление этого господства.

Правда, это положение не остается неизменным по отношению к классовому обществу на всем протяжении его существования во времени. По мере того, как внутри данного антагонистического способа производства созревают материальные силы, образующие предпосылки нового способа производства,—в идейной жизни общества наступает перелом. Выделяются группы людей, продукты духовного труда которых начинают выражать идеи, направленные к взрыву существующих отношений господства и подчинения, имущественных, классовых отношений. Этими идеями овладевает угнетенный класс материального производства, который, таким образом, еще до взрыва старых отношений обогащается и материальными и духовными предпосылками для создания нового общества.

Снова возвратимся к тов. Разумовскому.

Мы его оставили вместе с «сознанием», «обусловливающим» общественную жизнь. Он согласен признать (так как на этот счет существуют прямые указания в ортодоксальной литературе, которой он пользуется), что общественные отношения *материального* производства складываются *бессознательно*. «Производственные отношения,—говорит он,—*как известно*, складываются «за спиной»... осуществляющего их сознания: они складываются через посредство человеческой деятельности, но, *по большей части*, независимо от сознания этой деятельности, от общественных форм, сознательной деятельности человека» [2]. Но вместе с тем он «открывает» и нечто новое: «...формы общественного сознания,—говорит т. Разумовский,—могут оказывать свое воздействие,—хотя и «второстепенное», «не решающее», в определенных пределах—и на развитие самого экономического основания: форма может «переходить» в содержание. И здесь необходимо принять во внимание, что *сознание*, интеллектуальная затрата, *входит* как необходимая составная часть живой производительной силы и *в состав экономического базиса общества*: «регулирование и контролирование» сознанием процесса труда *является совершенно необходимым для того, чтобы могли сложиться общественные отношения производства*» [1]. Гони природу в дверь,—она войдет в окно! Правда, мы должны заметить, что приведенное выше место о том, что производственные отношения «складываются «за спиной» осуществляющего их сознания», в тексте автора помещено *после* только-что приведенной выписки. Но это роли не играет, так как еще раньше мы имеем ту же мысль в такой редакции: «Среда, с которой взаимодействует в процессе материального производства общественный человек, это прежде всего те силы природы, которым он сам противостоит как особая «сила природы»: труд его, рассматриваемый с этой его стороны, физиологическая затрата, направленная на вещество природы,—технический, «естественный» процесс. *Сознание общественного человека является необходимой составной частью человеческой рабочей силы, производительной силы самого человека*, таким же элементом природы, таким же необходимым элементом материального производства, как и его физиологические трудовые затраты. Рассматриваемое с этой своей стороны постольку, *сознание общественного человека входит в экономический базис и вовсе не является надстройкой*» [2]. Сознание перестало быть «надстройкой» и стало «базисом»!

Однако разберемся в построениях нашего автора. Только что приведенное место он «развивает» в своем «Курсе» так: «Сознание рабочего, поскольку он регулирует и контролирует движение машины; сознание технического руководителя, поскольку оно связывает в единстве производственного процесса разрозненные сознания многих рабочих, сознание изобретателя, поскольку он ищет новых путей и возможностей для этого материального производства,—без всего этого немыслимо самое материальное производство: сознание здесь только выражает для нас течение технического трудового процесса. *Но эти моменты сознания не существуют изолированно от всего остального содержания сознания общественного человека*: они входят в него неотъемлемой от других частей составной частью и *этим путем оказывают воздействие на сознание в целом*» [3].

Два интересных момента нам нужно отметить здесь.

В первом наш автор «сам себя высек». Он выделил «сознание», которое «руководит» рабочей силой в процессе производства, возвел его в степень «базиса» а потом признал, что это сознание не существует изолированно от *всего остального общественного сознания*. При этом, обосновывая свою мысль, он ссылается на изобретателя, ищущего «новых путей и возможностей для... материального производства», и без колебаний причисляет его... к рабочей силе материального производства, а следовательно включает в производительные силы общества и в общественный базис. При таком положении *наука* целиком должна войти в производительные силы общества и его базис. Но на деле это не так. Об этом мы говорили в другом месте [4].

Второй интересный момент заключается в том, что общественное сознание—по тов. Разумовскому—вырабатывается под влиянием сознания людей, занятых в материальном производстве. Следовательно, люди, занятые в материальном производстве, вырабатывают не только материальные продукты, не только создают определенные материальные общественные отношения, но еще оформляют общественное сознание в целом. Автор забывает о роли господствующего класса и вообще о внутреннем механизме общественной жизни антагонистического общества, о чем мы говорили выше, в связи с «производством идей» под командой господствующего класса.

---

[1] «Немецк. идеология», Архив, кн. I, стр. 249.

[2] Стр. 420, курсив мой.—*В. Л.* После этого места автор говорит: «Об'ективные интеллектуальные затраты... могут предстать только в тех или иных своих общественных формах... Ведь самый опыт, уменье «регулировать и контролировать» предполагает с нашей стороны *доверие к* тем общественным формам, в которых он осуществляется, и основывается на них» (курсив мой.—*В. Л.*). Скучно останавливаться на подобных ляпсусах.

[1] Стр. 420, курсив мой.—*В. Л.*

[2] Стр. 331, курсив мой.—*В. Л.*

[3] Стр. 331—32, курсив мой.—*В. Л.*

[4] См. *В. Лебедев*, Диалектика производительных сил у Маркса и Энгельса, «Вестн. Комм. академии», кн. 28.

Почему же все-таки у т. Разумовского так легко нанизывается одна путаница на другую? Сознание рабочего у него является *базисом* и в силу этого влияет на общественное сознание в целом, но другая часть сознания того же рабочего—*надстройка*—и является лишь «формой» к первой части его же сознания; еще раньше сознание «является совершенно необходимым для того, чтобы могли сложиться общественные отношения производства», образующиеся в то же время бессознательно и т. д. и т. д.

Основная ошибка т. Разумовского заключается в том, что он ввел в понятие *базиса* материальные производительные силы, что, в свою очередь, произошло из-за неверного применения в теории исторического материализма диалектических категорий «формы» и «содержания».

Своим включением в базис общественной жизни материальных производительных сил т. Разумовский показал, что он не уловил в теории исторического материализма момента взаимодействия между производительными силами и производственными отношениями, «реального различия» между ними. Он не понял, что вся широта общественной жизни, охватываемой так называемыми «надстройками», развертывается из *общественного* характера материального производства человека и представляет необычайно развившуюся, благодаря разделению труда в обществе, форму этой общественности. «Реальное различие» производительных сил и производственных отношений потому и необходимо, что на основе последних развертывается такая общественная диференциация, которая делает их в конце концов способными так необычайно развивать материальные производительные силы. Он подошел к вопросу с точки зрения экономической, а не социологической. Так, на стр. 263 своего «Курса» он дает следующее «раз'яснение»: «В дальнейшем мы убедимся, что *«базис»* очень часто *расширяется за счет «надстроек»*. «Это, в его понимании, означает: если надстройка *экономически* влияет на базис, содействует росту *производительных сил*—она может быть причислена к базису «как дополнительная его сила» и, в то же время, остается и надстройкой. Почему возможно такое заключение? Потому что у автора «экономический» (с точки зрения эффективности, производительности) подход. Он вводит в общественную структуру *производительные силы* из-за того, что он неверно понимает их роль в марксизме, из-за того, что он своеобразно фетишизирует их.

Вот еще иллюстрация «экономического» подхода автора: «...Помимо духовенства,—пишет т. Разумовский,—религия в своей обрядовой стороне опирается на всю сложную религиозную организацию, на «аппарат» религиозного воздействия—церковь. Эта сложная организация включает в себе целый ряд вещественных, людских и чувственно-идейных элементов: храмы и монастыри, с их алтарями, жертвенниками, идолами, иконами и т. д., церковные суммы и церковное имущество, часто и земельное; религиозные ордена, духовные и светские; целую совокупность обрядов, амулетов и т. п., наконец, всю массу верующих в их отношениях к церкви. *Церковь может поэтому в различные периоды быть и весьма мощной экономической организацией, включаться как дополнительная сила в экономический базис общества*, играя также и видную политическую роль...» [1].

Мы думаем, что комментарии к подобным «изречениям» не требуются. Автор игнорирует понятие способа производства (как категорию социальную, а не только техническую) и его значение для исторического материализма.

В дополнение ко всему вышесказанному, мы затронем здесь еще один вопрос. Речь идет о государстве и о новшествах, которые вводит по этому вопросу т. Разумовский в теорию исторического материализма.

До т. Разумовского все мы знали, что государство есть орган экономически господствующего класса, орган насилия над классом угнетенным, эксплоатируемым.

[1] Стр. 386—87, курсив мой.—*В. Л.*

«Возникая внутри классовых противоречий,—писал В. И. Ленин,—государство становится государством сильнейшего, экономически господствующего класса, который при его помощи делается и политически господствующим классом и *таким путем приобретает новые средства для подчинения и эксплоатации угнетенного класса*». А т. Разумовский повествует о государстве: «Если экономические функции предполагают руководство процессом производства, т. е. руководство людьми в процессе их приспособления к средствам производства, к вещам, то обособившаяся от них политическая власть имеет в виду главным образом управление людьми, взятыми независимо от их производственного процесса» [1].

Государство, также знали и знаем мы, есть надстройка над экономической структурой общества. Оно возникает на известной ступени развития общественных отношений, живет и развивается вплоть до пролетарской революции, когда победивший угнетенный класс, сломав государственную машину угнетателей, создаст свою лишь в целях защиты от попыток реставрации старых отношений. Государство после пролетарской революции—государство отмирающее, отпадающее по мере экономического укрепления нового способа производства и наступления социалистических отношений в производстве. Из всего сказанного вытекает и то, что государство всякий раз зависит от существующего способа производства, всякий раз обслуживает тот или иной способ производства и, таким образом, определяется им как зависимая общественная форма, как надстройка.

Но т. Разумовский говорит здесь нечто свое. «Представляя собою «надстройку»,—пишет он,—«производное» от экономического базиса, *государственная власть*, поскольку она уже возникла, дополнительно может включаться в этот экономический базис (заметьте—в экономический *базис.—В. Л.*); в этом смысле она также является, хотя и второстепенной, «экономической силой». Особенно характерно такое сращение экономических и политических функций для пролетарского, советского государства» [2].

Это последний «перл» «теоретической работы автора» за предыдущие годы, на котором мы прерываем свой обзор поставленных проблем. Вопросов, нами рассмотренных, вполне достаточно, чтобы иметь представление и о всей книге т. Разумовского. Между прочим, автор ее обещает в следующих изданиях (?!) книги познакомить читателей с его достижениями «за самые последние годы» [3]. Интересно, что это за «достижения» и скоро ли их увидит свет? Надеемся, что они по своему «качеству» не из тех, о которых нам пришлось говорить в этой статье.

[1] Стр. 305—06.
[2] Стр. 312, курсив мой.—*В. Л.*
[3] См. предисловие автора к 3-му изд. «Курса».

В ДЕБРЯХ МЕХАНИСТИЧЕСКОЙ КРИТИКИ

И. Разумовский

Диалектический материализм за последние годы выдержал бой с очередным уклоном в материализме—в борьбе с *механистами*... Его методологические положения нужно практически ввести в трактовку исторического материализма, где, *наряду с этим*, имеется еще непочатый край работы.

Из статьи т. *Лебедева*.

Признаться, не без трепета душевного принялся я за чтение статьи тов. Лебедева. Голова кружилась от одних громопобедных обещаний нашего автора «*уточнить* диалектический метод в теории исторического материализма» и «осветить» мои ошибки в трактовке ее «*основных* положений»... Правда, с самого начала казалось несколько странным такое «уточнение» диалектики истории, при котором, «*наряду*» с необходимостью применения диалектики в методологии истории, по словам т. Лебедева, *помимо того*, «имеется еще непочатый край работы». Было непонятно и другое: как это мои ошибки «в основных положениях» могли остаться незамеченными целым рядом достаточно компетентных рецензентов, и каким образом соответствующие главы моей книги могли получить апробацию чуть ли не в официальных марксистских программах?!

Однако одолев дальнейшие критические коловращения мысли т. Лебедева—к тому же обильно уснащенные его собственными размышлениями на тему об историческом материализме—я облегченно вздохнул. Гром оказался не из тучи: гора бумаги, исписанной т. Лебедевым, родила мышь... Зато из нее торчали уши того самого механического материализма, с празднования победы над которым начал наш грозный критик.

Нет, до полной победы над механистами—по крайней мере, в области исторического материализма—нам очевидно еще далеко! На разборе недоумений т. Лебедева я попытаюсь показать, в чем тут основные подводные камни. И если попутно нам придется доставить несколько неприятных минут нашему автору, то вина здесь не наша: подобно известному мольеровскому персонажу, он сам пожелал быть наказанным!

* * *

Характерной особенностью механического подхода к социальной теории является *абстрактный социологизм*—отрыв от *конкретного* исторического процесса.

Этот отрыв сказывается, прежде всего, в непонимании того огромного значения какое имеют для исторического материализма категории политической *экономии*—в различении, проводимом нашим критиком между *социологическим* и *экономическим* «аспек

тами». До сих пор мы полагали, вместе с Лениным, что «политическая экономия занимается вовсе не производством (в узко-технологическом смысле.—*И.Р.*), а общественными отношениями людей по производству, *общественным строем* производства. Раз эти общественные отношения выяснены и проанализированы до конца, *тем самым* определено и место в производстве каждого класса» [1]. Тов. же Лебедев полагает, что «вопрос о строении общества» не относится к политической экономии. Последняя, по его мнению, рассматривает общественную жизнь лишь «с точки зрения *эффективности*, производительности»... Проводя эту типично *буржуазную* точку зрения на предмет политической экономий, т. Лебедев так и не понял, что все экономические категории представляют собой лишь дальнейшую *конкретизацию* основных положений исторического материализма, что без тщательного изучения этих экономических категорий исторический материализм превращается в пустую «социологическую» схему...

Не менее характерно для механического «социологизма» отсутствие отчетливого представления о *реальной связи*, существующей между отдельными категориями исторического материализма. Это особенно ярко проявляется на том «отщепленном анализе» (?!), который проводит т. Лебедев и в котором, по его мнению, нет «ничего противоречащего марксистской научной методологии» (стр. 89). Тов. Лебедев забывает об одном «маленьком» обязательном условии: логическое исследование, абстрагирование и т. д. должно всегда в марксизме вытекать из *исторического* развития самого изучаемого материала. О «реальном отличии одной исторической категории от другой, несомненно, нужно говорить, но нужно говорить об этом именно тогда, когда это реальное отличие выступает *об'ективно-исторически*. Подчеркивая же только реальное «отличие» одних взаимодействующих элементов от других, очень легко можно не заметить их *взаимного перехода*, *взаимного проникновения*, их *отождествления*, того *единства противоположностей*, на котором строится вся диалектика истории.

Так именно случилось и с т. Лебедевым. Производительные силы, производственные отношения, базис, надстройка, рабочая сила, «общественность»—все эти понятия живут у него каждое своей обособленной жизнью, и совершенно непонятно, как это *реально* осуществляется их «взаимодействие». И что это, далее, за «взаимодействие», если оно не покоится на законе тождества противоположностей?! Крайне характерно, например, что у т. Лебедева—в отличие от Маркса—мы, кроме средств производства и рабочей силы, находим еще такой *третий* элемент процесса производства, как «общественность». До сих пор мы думали, что характер и способ соединения рабочей силы со средствами производства и составляют различие экономических эпох по *социальной* структуре («Капитал», т. II). Ан нет: оказывается здесь есть тоже какое-то «реальное отличие»: одно дело—взаимодействие между производительными силами, а иное дело—взаимодействие между «общественностью» и этим первым «взаимодействием»!

Чтобы не копаться во всех тех случаях, в которых т. Лебедев «уточняет» диалектический материализм, остановимся только на некоторых основных вопросах,—на тех самых, в которых он, путем якобы «освещения» моих «ошибок», по существу дает бой марксистской диалектике.

Прежде всего: взаимоотношение между производительными силами и производственными отношениями. Тов. Лебедев вынужден был согласиться—слишком много уже указаний имеется в классической литературе!—что «*форма* общественных связей людей зависит от состояния производительных сил, которые поэтому могут считаться общественным *содержанием*» (стр. 90). Но ведь такое согласие обязывает и к дальнейшему: назвался грибом—полезай в кузов! Ведь отношение-то между *содержанием* и *формой* есть единство противоположностей, единство *тождества* и *различия*. Диалек-

[1] *Ленин*, Развитие капитализма в России, стр. 36. Курсив наш.

тическое рассмотрение производительных сил и производственных отношений, разумеется, не должно упускать из виду их различия, которые особенно ярко проявляются в момент обострения их конфликта. Но диалектик не должен забывать и о другом: о том, как и почему становятся тождественными эти противоположности (Ленин),—о постоянном *переходе* производительных сил в производственные отношения и производственных отношений в производительные силы.

Что же оказывается у т. Лебедева? «Оказывается, эта общественная *форма* имеет свое богатейшее *содержание*, *помимо того содержания*, под которым имеются в виду производительные силы» (стр. 91). В это «иное» содержание производственных отношений, по словам т. Лебедева, входят владение средствами производства, роль в технической организации производства и доля в распределении продуктов. Почему же, спрашивается, в производственных отношениях у т. Лебедева оказалось целых *два* содержания? Да потому, что производительные силы мыслятся им *обособленно* от производственных отношений, и в то же время техническая организация труда *включается* в производственные отношения! Тов. Лебедев не понял того основного положения марксизма, что как раз в способе совместной организации труда и совершается *переход* производительных сил в производственные отношения, и обратно—способ этот сам оказывается каждый раз *новой* производительной силой.

Из недооценки значения производительных сил как *пограничной* между техникой и экономикой категории,—категории переходной, имеющей, наряду с технологической стороной, и свою *социальную* сторону, проистекают и все недоразумения т. Лебедева с понятиями количества-качества и—как мы увидим далее—и с понятием экономического базиса.

Наш критик наивно полагает, что о «количественном уровне производительности» при рассмотрении производительных сил я заговорил лишь потому, что для обоснования революции мне понадобился переход количества в качество. Сам т. Лебедев обещает со своей стороны «подойти к этому вопросу», но так и продолжает топтаться вокруг да около; мы узнаем от него только, что «взаимодействие здесь гораздо более сложно». В «сложности» исторического процесса никто никогда и не думал сомневаться, и совершенно напрасно т. Лебедеву заблагорассудилось приписать мне какой-то «количественно-качественный схематизм». Нигде в своей книге—для изображения конфликта между производительными силами и производственными отношениями—я не оперирую производительными силами как исключительно количественной категорией, и наоборот говорю о количественно-качественных изменениях и в производительных силах, и в производственных отношениях («Курс», стр. 265—269). Именно вследствие сложности исторического процесса, категории «бытия»—количество и качество—сами по себе, как описывающие одни внешние переходы, оказываются недостаточными и дополняются «сущностными» категориями содержания и формы, дающими представление о внутренних стимулах общественного развития. Пример с пролетарской революцией поэтому приплетен т. Лебедевым явно ни к селу ни к городу.

Однако, все это еще не означает, что категория количества не имеет существенного значения для понимания производительных сил. Если бы т. Лебедев соблаговолил спуститься с высот своего «социологического аспекта» к скромным экономическим категориям, рассматриваемым в «Капитале» и в «Теориях прибавочной ценности», он убедился бы, что Марксом уделяется ей достаточно большое внимание при анализе труда, создающего стоимость, общественной производительной силы труда и т. д. Или, быть может, т. Лебедев полагает, что понятия «производительного труда», «производительной способности», общественной производительной силы труда не имеют никакого отношения к историческому материализму? В таком случае он никогда не поймет, что когда мы подходим к производительным силам как к *социальной* категории, как целостной *совокупности* общественных производительных сил, мы оставляем тогда в стороне качественные изменения внутри *отдельных* элементов производительных сил. В этом случае *качественным* их определением будет техническая *организация труда* (или производственные отношения организационно-трудового типа), количественным же выражением окажется уровень производительности.

Принцип *единства* противоположностей лежит в основе диалектического понимания взаимоотношений между производительными силами и производственными отношениями. Тот же принцип единства противоположностей должен быть привлечен для правильного представления о самих *производственных отношениях*.

С производственными отношениями у т. Лебедева получилась явная путаница. Он пытается формулировать «ортодоксальную точку зрения» на производственные отношения, исходя из ленинского определения *классов*. Между тем, самый характер определения Ленина естественно таков, что из него может быть выведен лишь тот тип производственных отношений, который, напр., т. Бухарин обозначает как *классовые* производственные отношения. Из этого определения выпадает, стало быть, второй тип производственных отношений, который обозначается обычно как отношения технические, трудовые, отношения технической *организации труда*. Почему важно подчеркнуть *оба* эти элемента производственных отношений—показывает сам т. Лебедев, когда он говорит о развитии *противоречий внутри* производственных отношений. Различие между взглядом т. Лебедева и, скажем, Энгельса—лишь то, что Лебедев—исходя из своего определения—видит только внутренне-противоречивое положение одного господствующего класса—буржуазии; Энгельс же и, напр., Плеханов отмечают противоречия между *организацией производства* на отдельном предприятии и *формами общественного присвоения*, т. е. распределения средств производства [1].

Тов. Лебедев видит только *одну сторону* дела: положение классов в производстве он понимает как отношение к средствам производства, как собственность на средства производства. Но он забывает о другой стороне производственных отношений—об *организации труда*, которая, будучи обусловлена в конечном счете распределением средств производства, может однако не совпадать непосредственно с формами классового присвоения и даже *противоречить* им.

Неудивительно, что он отыскивает у меня сразу *две прямо-противоположных «ошибки»*: я, оказывается, одновременно стою и на *буржуазно-распределительной* точке зрения и на *организационно-трудовой* позиции Богданова! Я подчеркиваю, что производственные отношения, а не их распределительная форма составляют исходный пункт экономической науки; т. Лебедев почему-то замечает только «форму». Я говорю о производственных отношениях со стороны *распределения*, *приводящего к господству новые классы*—т. Лебедев видит здесь четкую распределительную теорию. Между тем, если бы т. Лебедев более внимательно отнесся к соответствующим страницам «Капитала», то увидел бы, что даже о «распределительных отношениях» в широком смысле Маркс говорит как о «производственных отношениях sub alia specie», и не один раз, и не «условно», а *постоянно*, рассматривая эти отношения распределения как *существенно тождественные* с отношениями производства, как *иную сторону* производственных отношений. Еще в большей степени это относится к отношениям распределения средств производства. Если бы т. Лебедев не мыслил механистически, то он понял бы, кроме того, что отношение между распределением средств производства и организацией труда *не может быть односторонним;* организационно-трудовые отношения, возникая на *базе* отношений распределения средств производства, в свою очередь *активно* воздействуют на дальнейшее распределение средств производства. Вне этого непрерывного

[1] *Энгельс*, Анти-Дюринг, III; *Плеханов*: Статьи против Струве.

взаимодействия нельзя мыслить *единства* распределения средств производства и организации труда. Вот почему наш разговор с т. Лебедевым и не был «закончен самым мирным образом»...

Самое интересное в этом вопросе, однако, другое: то, что и в данном случае т. Лебедеву совершенно чуждым осталось то *об'ективное единство* содержания и формы, которое всюду проводит Маркс, говоря, напр., о производственных отношениях sub specie распределительных и меновых отношений. Между тем, понимание этого единства имеет кардинальное значение для разрешения целого ряда проблем, выдвинувшихся в последнее время в марксистской теории политической экономии—в частности проблемы материального производства и его социальной формы.

И здесь мы вплотную подходим к вопросу об *экономическом базисе*,—тому самому вопросу, в неправильном разрешении которого т. Лебедев видит основной корень всех моих «теоретических неувязок и даже грубых ошибок». По мнению т. Лебедева включать в этот базис производительные силы «нет никакой нужды». Не поверив т. Лебедеву и включив в базис производительные силы, я докатился-де до новых грехопадений, сознание перестало быть у меня надстройкой и превратилось в составную часть базиса... А отсюда получилось то, что учение о надстройках у меня «также не обработано»... под схему т. Лебедева...

Попробуем разобраться во всех этих «неувязках»—моих с т. Лебедевым. Почему т. Лебедев не включает производительные силы в свой экономический базис? Да потому, что производительные силы существуют у него совершенно *обособленно* от производственных отношений. Включаем ли мы в понятие базиса производительные силы? Нет, тоже не включаем, потому что нам и *включать-то их незачем*, потому что мы *заранее* исходим из реального *единства* производительных сил и производственных отношений, потому что экономическая структура общества у нас заранее предполагает не только отношения людей *друг к другу*, но тем самым и отношения их к *природе*.

Мы могли бы привести целый букет цитат из Маркса, Энгельса, Ленина в подтверждение нашей мысли [1]. Но важнее всяких цитат методологическая острота проблемы. Ведь выхолостив материальное содержание нашей социальной формы, не видя постоянного *перехода* «материально-технического» в «социальное», мы тем самым абстрагируемся и от *материализма*, мы приходим к «социальным формам» в духе Штольцмана и Петри. Мы будем иметь тогда не гегелевское единство формы и содержания, но кантианский «колпачок» социальной формы над материальным содержанием. Впрочем, какое дело до всего этого т. Лебедеву—с его безмятежным «социологическим аспектом»!

Вы послушайте только, что он нам «вещает» о надстройках. Надстройки, оказывается, «тоже производственные общественные отношения, отличающиеся (??!—*И. Р.*) от производственных отношений материального производства тем, что они складываются

[1] К великому огорчению т. Лебедева, вот несколько, взятых наудачу: «Сумма *производительных сил*, капиталов и форм *социальных отношений*... есть *реальная основа*... сущности человека»... В противоположность этому прежнее понимание истории «игнорировало эту реальную основу истории», исключало из истории «отношение людей к природе» («Нем. идеология», Арх. М. и Эн., I, стр. 227—228). По мере развития классической экономии, в ней «максимальное развитие *производительных сил труда* рассматривается *как экономическая* основа общества» («Теории прибав. ценности», т. III). «Определенной формой материального производства обусловливается, во-первых, *расчленение общества*, во-вторых, определенное отношение *человека к природе*. *Так и другим* определяется его государственный строй и его миросозерцание, а следовательно, и характер его *духовного* производства» («Теории прибав. ценности», т. I)... «Совокупность этих отношений, в которых носители этого производства находятся *к природе и друг к другу*... как раз и есть общество, рассматриваемое с точки зрения его *экономической структуры*» («Капитал», ч. III).

в процессе воспроизводства *общественных связей* (!—*И. Р.*) людей и захватывают собою не только (?!—*И. Р.*) *отношения людей* в «духовных» и «общественно-политических» производствах, но и сами по себе (sic!—*И. Р.*) «духовные» и «общественно-политические» «производства»... Разделение труда в материальном производстве стало соответствовать и разделению труда в особом «общественном» (??!) производстве... Надстроечные производственные отношения обусловлены развитием *общественности* человека, в свою очередь зависимой от хода материального производства (и взаимодействующей с ним)»...

Вдумайтесь только в эту галиматью, которая преподносится «с ученым видом знатока». В надстройках, оказывается, воспроизводятся общественные связи, *в отличие* от материального производства; а что же собою представляют отношения материального производства, как не общественные связи?! Надстроечные связи охватывают, оказывается, не только (?) отношения людей, но и самое духовное производство: как будто эти вещи можно противопоставлять одна другой и духовное производство можно мыслить как-то вне отношений людей. Наряду с *материальным* производством создается еще некое *общественное* производство (?!). Нет, дальше итти с кантианским «колпаком» социальной формы некуда! Наш критик поистине превзошел всех Штольцманов и Петри!

Все это многодумное предисловие понадобилось т. Лебедеву, чтобы «доказать», что не только «производственные отношения возникают и развиваются *помимо сознания* людей», не только «надстроечные отношения, складывающиеся между этими людьми, также возникают совершенно бессознательно для этих людей», но и сама зависимость надстроек от материального производства «также бессознательного порядка». Самый труд людей протекает сознательно, а отношения, возникающие в процессе труда, всегда устанавливаются бессознательно. «Если сознательность людей, участвующих в материальном производстве, ограничена об'ективными материальными условиями, то сознательная деятельность в духовных производствах ограничена об'ективными общественными (?—*И. Р.*) условиями». В силу всего вышеизложенного автору настоящих строк инкриминируются следующие пункты обвинения: 1) бессознательно возникающее содержание, по моим словам, «проявляется в сознательной форме», 2) процесс материального производства, согласно моей ереси, не может осуществляться без «одаренных сознанием людей»; стало быть «сознание», с моей точки зрения, *обусловливает* общественную жизнь... Явный идеализм!

Мы, однако, имели уже так много случаев разочароваться в доброкачественности приговоров, выносимых т. Лебедевым, что вынуждены лишний раз отказаться от удовольствия поверить ему на слово. Позвольте: да где собственно у меня сказано, что сознание *обусловливает* общественную жизнь? Ведь у меня сказано *совсем другое*: сказано, что «процесс общественного производства не может осуществиться... *без целого ряда производных общественных отношений*—поскольку в нем (в процессе.—*И. Р.*) участвуют *одаренные сознанием* люди». Сказано помимо того, что производственные отношения «*проявляются в форме* производных общественных отношений».

Начнем с последнего момента, показавшегося «интересным» т. Лебедеву. Как, недоумевает т. Лебедев, неужто у т. Разумовского материальные производственные отношения оказываются *содержанием* правовых, политических и т. д. *форм* и в этих формах *проявляются*? Представьте себе, т. Лебедев, точно так. И чему тут собственно удивляться? Разве мы не находим тысячи мест у Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина, говорящих *буквально то же;* начиная хотя бы со знаменитых идеологических *форм* Марксова предисловия, в которых люди получают сознание материального конфликта и исчерпывают его своей борьбой. Тов. Лебедев полагает, что если материальное отношение возникает *бессознательно*, то значит—оно никак уже не должно дать о себе знать в сознании.

Разумеется, никогда *форма проявления* не покрывает *целиком*, не охватывает всей *сущности* материального процесса, но совершенно нелепо было бы превращать эту сущность в непознаваемую «вещь в себе», которая ни в какой мере не достигает человеческого сознания. Как можно было бы тогда об'яснить всю домарксистскую подготовку социально-экономической теории? «Значит в религии рабочие сознают свое производственное положение?», саркастически вопрошает т. Лебедев. А разве т. Лебедеву неведомо, что религия долгое время была той идеологией, в формы которой облекались все крестьянские войны и рабочие бунты? А разве Ленин не об'яснял сохранение религии в современном обществе придавленностью масс слепыми силами капитализма? По т. Лебедеву—альтернатива: или *вовсе* не сознают, или сознают *полностью*. А между тем еще Плеханов раз'яснял Струве, что идеологические формы и «надстроечные» отношения никогда не покрывают полностью материальных отношений...

Диалектическое отношение между материальной *сущностью* и формой *проявления* осталось за семью печатями для т. Лебедева. Вслед за Лениным («Что такое друзья народа»), я делю все общественные отношения на *материальные* и *идеологические* отношения и рассматриваю последние как форму проявления первых: «материальные отношения поэтому и *отличны* от идеологических, в то же время *тождественны* с ними, сохраняются в них как их *основа*». Тов. Лебедев восклицает в испуге: «Автор договаривается до тождественности материальных и идеологических отношений»! Но ведь я одновременно говорю и об их *различии;* а разве единство сущности и формы проявления не есть *единство тождества и различия*?

Перейдем к другому пункту обвинения. «Общественный процесс производства,—пишу я,—не может осуществляться без целого ряда производных общественных форм, поскольку в нем участвуют одаренные *сознанием* люди». Что же, по мнению т. Лебедева, этот исторический процесс осуществляется *автоматическим* путем? А ведь мы читаем по этому поводу у Маркса и Энгельса, что «люди делают свою историю», хотя их воля и не достигает желанного результата. И разве то обстоятельство, что материальный процесс находит свое *опосредствование* в различных формах сознания, превращает оттого сознание в причину, в определяющее условие общественной жизни?!

Не знаю, как у других читателей, но у меня создалось впечатление, что т. Лебедев явно *недооценивает роли сознания* в общественно-историческом процессе. Сознание у него имеет только *пассивный* характер: оно только *продукт*, оно не является силой, оказывающей обратное воздействие на ход общественной жизни, на изменение формы общественных отношений. Правда, он говорит что-то об *идейном переломе*, по мере того как созревают новые материальные силы, но совершенно непонятно, как может произойти этот перелом, если материальные силы никак не проявляются и не осознаются! Поэтому может быть с такой энергией воспротивился т. Лебедев моему стремлению ввести сознание в состав человеческой *производительной силы*. А ведь это—только простая перефразировка того, что можно найти в «Капитале» и в «Теориях прибавочной ценности» по поводу *интеллектуальных* затрат рабочей силы.

Впрочем, вокруг вопроса о сознании, «базисе» и «надстройке» т. Лебедев поднял такую очередную свистопляску, что на нем приходится остановиться подробнее. Сознание, по словам т. Лебедева, является надстройкой и не может поэтому входить в состав производительных сил. Но совершенно очевидно, что таким путем т. Лебедев лишает рабочую силу и весьма существенного момента—*психических свойств;* он производит *разрыв* между физиологическим и психическим моментами, находящимися в живой производительной силе в тесном единстве. Производственный процесс осуществляется вовсе не механическим путем, и в нем участвуют вовсе не автоматы. С другой стороны, говоря о надстройках, мы имеем в виду не сознание вообще, но определенные *формы общественного сознания*. Разумеется, в действительности все эти элементы сознания

связаны между собой. Но все дело именно в том, что одни моменты сознания воздействуют на производственный процесс *непосредственно*—искусство рабочего, сознание технического руководства и контроля; с другой стороны, сознание, возникшее под влиянием надстроечных отношений и тесно связанное с этими последними, воздействует на тот же материальный процесс *только косвенно*—через посредство надстроек. И с этой точки зрения мы вполне вправе отличать моменты юридической и религиозной идеологии, находящиеся в сознании рабочего, от его чисто-технического опыта и искусства. И точно так же нужно отличать науку как *систему*, целиком не входящую, конечно, в состав производительных сил, и отдельные элементы научного мышления, *непосредственно* фиксирующиеся в производственном процессе.

Я ставил же, помимо того, другую проблему, в которой т. Лебедев совсем не разобрался. Я искал подтверждения той мысли Маркса, что и *техника*, а не только экономика,—оказывает свое воздействие на строй *духовных* представлений; я пытался выяснить, какую *передаточную роль* могут сыграть при этом элементы технически-трудового сознания, непосредственно связанного с материальным процессом.

Но спрашивается: кто же «сам себя высек»? Чтобы судить об этом, заглянем в ту статью т. Лебедева о производительных силах, которая была напечатана в « ВКА.» и которую т. Лебедев усиленно рекомендует нашему вниманию. А там, черным по белому, сам сверхматериалистический т. Лебедев должен был сделать «следующее заключение о рабочей силе как *элементе, входящем в состав производительных сил: помимо своего значения орудия, одаренного сознанием*, вносящего в производственный процесс *момент целесообразности* этого процесса, рабочая сила является элементом, движущим весь процесс...»[1] Так как же, спрашиваю я: входит или не входит сознание в состав производительных сил? Или, быть может, сами производительные силы относятся к надстройкам?

Но едва ли мы дождемся от т. Лебедева членораздельного ответа. Надстройки, равно как и базис, живут у него настолько самостоятельной жизнью, что он даже не представляет себе, как это можно кощунственно переступить разделяющую их метафизическую черту. Он не понимает, что в процессе диалектического взаимодействия *надстройки непрерывно включаются в базис* как дополнительные «экономические потенции», т. е. силы, обусловливающие дальнейший характер самого производственного процесса. В этом именно смысле Маркс говорит о государстве как об экономической потенции. То же на определенном историческом этапе относится и к церковной организации. Страхи же т. Лебедева, что этим стирается грань между способом производства, определяющим социальную структуру данной общественной формации, совершенно беспочвенны: ведь мы говорим именно о *дополнительных* силах. В погоне за «структурной» четкостью т. Лебедев лишний раз изменил диалектике.

По отношению к государству, впрочем, т. Лебедев допустил целых две ошибки, и опять только потому, что не подошел к государству *исторически*, с точки зрения процесса развития государства. Государство, вне всякого сомнения—и об этом говорится немало в моем курсе—представляет собой надстройку, имеющую целью «поддержание *внешних* условий производства и для насильственного угнетения и сдерживания эксплоатируемых классов в условиях данного способа производства» (Энгельс). Но процесс образования государства есть вместе с тем и процесс обособления *функций управления людьми* от *функций управления вещами*, производственным процессом. На примере буржуазного государства—с его laissez faire, laissez passer—это особенно очевидно. Вот почему и отмирание государства рисуется Энгельсу так, что «вместо *управления личностями* организуется *управление вещами* и процессом производства. В наш переходный период начинается уже это «отмирание»: начинает исчезать обособленность

[1] «ВКА», кн. 28, стр. 188.

политических функций от функций *экономических*. Советское государство, аппарат, управляющий промышленностью, есть надстройка, но вместе с тем—разве тот же советский аппарат не должен рассматриваться и как важный момент самой экономической основы, без которого понятие экономической основы нашего социалистического строительства будет явно недостаточным? Здесь происходит именно то историческое сближение между базисом и надстройкой, которое т. Лебедеву с его «социологическим» credo осталось совершенно непонятным.

Итак, в конечном счете, у кого «путаница», у кого теоретические «перлы», кто сам себя публично «высек»?

* * *

Выводы как будто очевидны.

Статья т. Лебедева очень полезна тем, что обнаружила в несколько, быть может, преувеличенном виде ряд ошибок, характерных для огромного большинства наших абстрактных «социологов». Все дело в том, что у всех у них обнаруживается «непочатый край работы», *наряду* с применением диалектики к истории. Отрыв от реального историко-экономического процесса, метафизическое обособление различных категорий исторического материализма, непонимание диалектического принципа единства противоположностей, механический взгляд, недооценивающий роль сознания в историческом процессе, метафизика в понимании взаимоотношений базиса и надстроек—таковы в результате характерные проявления *механического материализма в социальной теории*.

Что моя книга нуждается в целом ряде исправлений и улучшений и что мне очень большую помощь может оказать серьезная и деловая товарищеская критика—в этом для меня нет никаких сомнений. Но чтобы иметь право на такую критику, нужны, прежде всего, правильные общие методологические предпосылки...

Я охотно хочу верить, что у т. Лебедева были самые благие намерения: он пылал несомненно самым искренним желанием «уточнить» диалектический материализм. Однако одного доброго желания здесь явно недостаточно... В результате и вышло точь-в-точь как в песенке:

Суждены нам благие порывы,
Но свершить их нам не дано...

СТЕНОГРАММЫ ДОКЛАДОВ, ЧИТАЕМЫХ В КОММ. АКАДЕМИИ

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕСПУБЛИКАХ

Доклад т. С. Диманштейна[1]

Товарищи, настоящий доклад является продолжением моего доклада, состоявшегося здесь же в конце прошлого года. Я остановлюсь на общей проблеме национальной культуры и тенденций ее развития, на общих задачах культурного строительства и культурной революции и, в связи с этим, и на частном вопросе о школьном строительстве в национальных республиках.

Ставя вопрос о национальной культуре и культурной революции, мы с самого начала должны точнее определить об'ект нашего исследования—что мы имеем в виду, говоря о культуре,—культуру материальную или же так называемую культуру «духовную». На культуре материальной я здесь не буду особо останавливаться. Я об этом говорил в прошлом докладе, где указал, что в области поднятия материальной культуры в национальных республиках у нас имеются довольно значительные достижения, превосходящие те достижения, которые мы имеем в области общей культуры (хотя нельзя отрицать наличие больших достижений и в этой последней области). Я хочу остановиться главным образом на той культуре, которая связана с бытом, обычаями, навыками, с идеями, на той культуре, которая формируется в народах всем ходом их развития. И если мы с этой точки зрения подойдем к национальным, и в особенности восточным, республикам, мы обнаружим стоящие перед нами в этой области громадные трудности.

Мы привыкли во всех наших подсчетах исходить из известных процентных исчислений к довоенному уровню. Когда мы подходим с этим критерием к большинству наших национальных республик, то сравнение оказывается очень трудным, ибо мы наталкиваемся там на почти полное отсутствие культуры в том смысле, в каком мы понимаем ее сейчас. Если где и была культура, то это была культура «духовная», в смысле культуры духовенства, культуры религиозной. Культура советская была в самом зачаточном состоянии. Возьмем, скажем, Среднюю Азию. Во всей Средней Азии было в довоенное время 30 школ для коренного населения на целый край. Этого нельзя считать чем-нибудь серьезным в смысле показателя культуры. Кроме того, если мы имели там в некотором смысле культуру светскую, то она была в сильной степени окрашена колонизаторским оттенком; имелись некоторые учительские семинарии, где готовились люди, изучавшие русский язык и светские предметы, но эти семинарии имели своим назначением готовить не вообще культурных людей, а людей, которые были бы в состоянии проводить, навязывать населению чуждую ему культуру, которая была ему неизвестна и ни в каком отношении не соответствовала его потребностям.

[1] Зачитан в Комиссии по узучению Национального вопроса Комм. Академии в январе 1929 г.

Поэтому я раньше всего и больше всего остановлюсь на нашем социалистическом периоде развития. Тут надо предварительно оговориться, что отнюдь не следует брать все нации бывшей царской России как нечто однородное, всех их относя к категории отсталых. Некоторые народы, как грузины, армяне и др., имели довольно высокую и старую культуру, которая даже имела отчасти и революционные традиции, хотя больше всего была окрашена в националистические цвета. Учитывая сравнительную малочисленность каждого из этих народов и долгий национальный гнет, можно их культуру отнести к числу передовых. Кроме того, и среди отсталых народов имелось много разных ступеней отсталости, отчасти обусловленных различиями в историческом прошлом, а отчасти различиями в степени их угнетения царским режимом.

Предварительно, однако, надо остановиться на определении термина *национальной культуры*, термина, хотя и получившего право гражданства в нашей практике, но, как вы знаете, не свободного от спорных моментов. Известно резкое выступление Ваганяна против того содержания, которое партия придает национальной культуре, развивающейся в рамках советской власти. Взгляды Ваганяна повторялись в общей платформе троцкистской оппозиции: их теперь усвоило целое антипартийное течение. Ваганян формулировал отношение к национальной культуре коротко: «Национальная культура—ядовитая штука, она болезнь дурная» (Ваганян—«О национальной культуре», стр. 154). Он считает, что вопрос о национальной культуре—это вопрос о национализме, даже о прикрытии зоологического лица национализма; защите этой мысли посвящена вся его довольно об'емистая книга, но в ней отсутствует марксистский анализ развития культуры в переходный период при диктатуре пролетариата и тех действительных процессов, которые наблюдаются в развитии культуры национальных республик; он ограничивается приведением одних только отрицательных сторон в процессах роста этой культуры. Основное утверждение Ваганяна сводится к тому, что пролетариат не имеет своей классовой культуры. Культура, создаваемая пролетариатом, есть культура класса, но не классовая культура. Разница состоит в том, что классовую культуру создает мелкобуржуазная интеллигенция в лице специалистов как по линии материальной культуры, так и по линии культуры духовной, а культуру пролетариата создает класс в целом в процессе своей борьбы, без разделения труда между идеологами и массой. Основная же разница состоит в том, что буржуазная культура стремится к увековечению господства своего класса, а пролетарская, наоборот, ведет к уничтожению классов. Исходя из этого постулата, Ваганян утверждает, что при всех условиях национальная культура имеет все признаки буржуазной культуры, но не культуры пролетарского класса.

Не вдаваясь пока в полный анализ общего утверждения Ваганяна,—о чем мы поговорим, разбирая отдельные составные части развивающейся у нас национальной культуры,—укажем, что Ваганян в основном развивает мысли Троцкого, утверждавшего, что пролетарской культуры нет, так как пролетариат ее еще не создал, а пока создаст—он исчезнет как класс, перейдя в социалистическое бесклассовое общество. Замечу—в скобках—что эта теория связана известным образом с неверием в возможность строительства социализма в одной стране, так как она предполагает, что переходный период диктатуры пролетариата должен быть очень кратким, в течение которого последний ничего серьезного в культурном строительстве не успеет создать.

Нет ничего легче, как взять вопрос о национальной культуре в постановке австро-марксистской школы в национальном вопросе и приписать ее теперь нам, сбрасывая при этом с чашки весов все значение совершившейся смены классов у власти, по сути дела меняющей в корне все соотношения сил и их действия в классовом обществе,—как это делает Ваганян, умудряющийся также совершенно игнорировать особое историческое и географическое положение национальностей в СССР по сравнению со старой Австрией. По мнению Бауэра, «крестьянин был лишен участия во всем, что об'единяло нацию... нация держится лишь общностью культуры, каковая ограничивается господствующим классом, широкие народные массы исключены из нее... широкие народные массы не принадлежат к нации, которая только и может быть понимаема, как общность культуры; они не более как фундамент, на котором покоится нация...». Ваганян цитирует эти утверждения Бауэра, относящиеся к культуре эпохи феодализма, в подкрепление своих нападок на нас. По моему, достаточно было бы ограничиться приведением хотя бы нескольких выдержек из Ленина, резко бичующих «национальную культуру», чтобы вопрос о значении национальной культуры при власти буржуазии стал бы ясен для всякого большевика. Прочту хоть некоторые из них: «Буржуазия всех наций, и в Австрии, и в России, под лозунгом «национальной культуры» проводит на деле раздробление рабочих, обессиление демократии, торгашеские сделки с крепостниками о продаже народных прав и народной свободы. Лозунг рабочей демократии не «национальная культура», а интернациональная культура демократизма и всемирного рабочего движения» (Ленин, т. XIX, стр. 50). Или еще более разительная выдержка из тезисов Ленина в 1913 г. по национальному вопросу, которая опубликована только после его смерти в дополнительном XX томе (стр. 417), где сказано: «С точки зрения социал-демократии недопустимо ни прямо, ни косвенно бросать лозунг национальной культуры. Этот лозунг неверен, ибо вся хозяйственная, политическая и духовная жизнь человечества все более интернационализируется уже при капитализме. Социализм целиком интернационализирует ее. Интернациональная культура, уже теперь создаваемая систематически пролетариатом всех стран, воспринимает в себя не «национальную культуру» (какого бы то ни было национального коллектива) в целом, а берет из каждой национальной культуры *исключительно* ее последовательно-демократические и социалистические элементы». Тут довольно определенно высказывается взгляд Ленина на национальную культуру. И все-таки, именно благодаря раз'яснениям Ленина, мы приходим к убеждению, что теперешняя линия партии в отношении развития национальной культуры в национальных советских республиках, где мы утверждаем, что «лозунг национальной культуры стал лозунгом пролетарским»,—абсолютно ленинская, вытекающая из особенностей советской власти, и т. Сталин в этом отношении был совершенно прав в своем известном выступлении в КУТВ'е.

Товарищи, надо разобраться в этом вопросе на основании писаний Ленина, помня, что ленинизм не догма, а метод для действия. Предварительно договоримся на минимальном, а именно на том, что в наших национальных республиках существует при советской власти по крайней мере последовательная демократия (полагаю, что даже сам Ваганян, если бы он был здесь, не стал бы оспаривать этот минимум, так как на самом деле у нас там есть нечто большее, а именно *пролетарская* диктатура и связанная с ней *пролетарская* демократия). В приведенных цитатах Ленина мы уже встречаем национальную культуру как составную часть интернациональной культуры, вбирающей в себя прогрессивные элементы национальных культур. Ленин писал, что «в каждой национальной культуре есть хотя бы не развитые элементы демократической и социалистической культуры... но в каждой нации есть также культура буржуазная (а в большинстве еще черносотенная и клерикальная), притом не в виде только «элементов», а в виде господствующей культуры. Поэтому «национальная культура» вообще есть культура помещиков, попов, буржуазии»; при применении этих утверждений к нашим условиям—как это неправильно делает Ваганян—надо помнить основы диалектики Маркса, согласно которой «господствующие мысли представляют не что иное, как идеальное выражение в виде мыслей господствующих материальных отношений, представляют выраженные в виде мыслей господствующие материальные отношения, т. е. отношения, которые и делают один какой-нибудь класс господствующим, т. е. представляют мысли его господства. Индивиды, представляющие господствующий класс, среди прочих вещей, обладают и сознанием и, следовательно, мыслят; само собой

разумеется поэтому, что, поскольку они господствуют в качестве класса и определяют все содержание какой-нибудь исторической эпохи, они это делают всем существом, т. е. господствуют между прочим в качестве мыслящих существ, в качестве производителей мыслей, регулируя производство и распределение мыслей своего времени, и, значит, их мысли являются господствующими мыслями эпохи» («Архив Маркса и Энгельса», I, стр. 230).

Когда Ленин писал о национальной культуре как помещичьей и буржуазной, эти классы были господствующими и их мысли определяли содержание культуры эпохи; никто не посмеет сказать, что в СССР при диктатуре пролетариата может быть место для такой или хотя бы близкой в основном национальной культуры. Мы имеем пролетарские кадры, ведущие за собой национальные республики, в них самих имеются заметные слои пролетариата, которые и там являются руководящим классом, а где рабочих мало, мы имеем, по крайней мере, последовательную бедняцко-батрацкую демократию, которая, как уже сказано, является, по Ленину, приемлемой частью национальной культуры. Под национальной культурой советских республик мы теперь именно понимаем тот основной об'ем и содержание культуры, которые создаются у национальностей под руководством компартии, т. е. совершенно других «господствующих индивидов», которые определяют господствующие мысли нашей эпохи в СССР.

В виде иллюстрации того, насколько нам необходимо применять диалектический метод при разрешении национального вопроса, не считаясь с абстрактными, хотя и принципиальными решениями, сошлюсь на одну выдержку из статьи Сталина, кажется, мало кому известной, написанной в 1920 г. по вопросу о праве наций на отделение в самостоятельное государство. Вот что мы там читаем: «Может показаться странным, что моя статья решительно отвергает требование об отделении окраин от России, как контрреволюционную затею. Но по существу в этом нет ничего странного. Мы *за* отделение Индии, Аравии, Египта, Марокко и прочих колоний от Антанты, ибо отделение в этом случае означает освобождение этих угнетенных стран от империализма, ослабление позиции империализма, усиление позиций революции. Мы *против* отделения окраин от России, ибо отделение в этом случае означает империалистическую кабалу для окраин, ослабление революционной мощи России, усиление позиций империализма... Очевидно, вопрос об отделении решается в зависимости от конкретных международных условий, в зависимости от интересов революции» («Сборник статей», стр. 7). Таким образом, лозунг права на отделение, бывший революционным в России до революции, после нее практически отвергается, как контрреволюционная затея. Подобное же диалектическое развитие, но в *обратном* направлении, проделало и понятие национальной культуры.

Вернемся опять к выяснению конкретных этапов развития национальной культуры в наших советских условиях и рассмотрим ту эволюцию, которую мы проделали после революции в понимании национальной культуры в ее разных оттенках. Само собой разумеется, что в настоящее время понятие национальной культуры у нас приобрело совершенно новый смысл. Старый смысл термина «национальная культура» сохранил свое значение только вне пределов нашего Союза; мы же, принимая этот термин, заполняем его совершенно иным содержанием. Мы уже привели несколько цитат из Ленина, где он высказывается довольно резко против национальной культуры в старом смысле, и ее развития. Надо отметить один момент, бросающий особый свет на смысл национальной культуры в наших условиях и в дореволюционную эпоху. Тогда среди самих угнетенных национальностей культура низших демократических классов была очень отсталой. Культура шла из кругов более состоятельных, связанных с буржуазией. Демократической культуры почти не было или она была очень слаба. Далее, та культура, которая прививалась более отсталым национальностям, заимствовалась у соседних, более свободных или, вернее, более развитых народов; она была проникнута буржуазной идеологией, а иногда и была резко националистической. Вот почему Ленин говорил о вредности лозунга национальной культуры также и по отношению к культурам угнетенных национальностей. И в их среде идеологическое руководство культурной жизнью масс принадлежало господствующим элементам, проникнутым национальной и классовой идеологией буржуазии.

В отношении той национальной культуры, которую мы развиваем в настоящее время, надо прежде всего поставить вопрос: для каких слоев она предназначена. Когда мы ставим вопрос о культурном развитии национальностей при новых условиях, то мы имеем в виду прежде всего широкие массы населения. Мы сейчас идем развернутым культурным фронтом не столько вглубь, сколько вширь. Мы всячески стараемся все более и более широкие массы охватить культурой. Кроме того, культуру, которую мы развиваем сейчас, мы заимствуем из другого источника по сравнению с прошлым; она имеет другие исходные точки, нежели культура дореволюционного периода. В дореволюционный период культура, преподносившаяся массам, состояла из элементов, соответствовавших интересам эксплоататоров данной национальности или вообще господствующих классов. Культура заключалась обычно в ряде формальных знаний, знаний, необходимых для поднятия производительности труда эксплоатируемых, в ряде художественных произведений, обычно классово-чуждых низшим классам, идеализирующих господ и их жизнь, в литературе филантропического характера и т. п. Массам прививались религиозные бредни и националистические идеи. Школа была массам классово-чуждой. Та же культура, которую *мы* даем массам, имеет совершенно другой характер. Чему мы учим массы? Мы учим тому, чтобы эти массы понимали политические и экономические взаимоотношения, существующие в классовом обществе. Мы даем не только естественно-научные и математические знания,—массы должны проникнуть достаточно глубоко и в понимание общественных отношений, должны также изучать вопросы, связанные с производством, с под'емом своего и общего хозяйства. Наша культура и школа стремятся к тому, чтобы воздействовать на широкие массы в направлении повышения их сознания и производительности труда,—к тому, чтобы немедленно претворяться в практику. Культура, которая идет в национальные массы автономных областей и республик, является национальной культурой именно потому, что она приспособляется к тем специфическим бытовым, географическим, климатическим и т. п. условиям, в которых живут массы данной национальности.

Важно отметить следующее: мы потому по существу и называем эту культуру национальной, что она, благодаря нашей советской системе, приспособляется к тем специфическим нуждам, которые создались в данном национальном районе, вследствие целого ряда условий, в том числе и бытовых, и национальных. Эта культура не потому является «национальной», что она содержит в себе националистические элементы или моменты, а потому, что она основана на полном учете всех национальных и других особенностей данного народа и местности и реализуется на языке данной национальности. Между прочим атрибут языка, я полагаю, не является непременным условием для того, чтобы культура считалась национальной; не в этом состоит «национальный по форме» характер культуры. Если, скажем, ЦК КП Азербейджана издает свой центральный орган «Бакинский Рабочий» на русском языке или если в Ташкенте выходит «Правда Востока» на русском языке то эти газеты трактующие главным образом вопросы относящиеся к жизни масс на Востоке, скорее являются элементами национальной культуры живущих там народов, чем русской культуры. (Я вижу несогласных,—можно будет об этом поспорить). Ибо эта культура, хотя в данном случае и создаваемая не на национальном языке большинства, отражает не только русскую культуру так называемых культуртрегеров, которые могут вербоваться из некоренных национальностей, что, вообще говоря, мы отвергаем, но и культуру и идеологию многочисленных националов, владею-

щих, кроме родного, еще и русским языком. Эта культура является, таким образом, одновременно национальной и интернациональной. У нас национальная культура является национальной потому, что она приспособляется в широком масштабе к толщам масс, составляющих национальное население данной республики, данного района. В силу этого, я считаю для нас термин «национальная культура» вполне подходящим и не только для восточных народов СССР, но для *всех*, не исключая и русского.

Если Ваганян видит особенность буржуазной культуры в том, что она создается верхушечной интеллигентской кастой, специалистами по созданию классовых иллюзий в интересах определенного слоя людей, подводя под эту рубрику обычную национальную культуру, то при советских условиях, когда у нас идет процесс демократизации и пролетаризации культуры,—в значительной степени отпадают те специфические черты, которые имелись раньше у национальных культур. Ибо, кроме вопроса о том, для кого предназначена культура, еще большее значение имеет вопрос, кто является творцом и носителем новой культуры. Тут совершенно отпадает ваганяновская версия об исключительной интеллигентской касте, создающей национальную культуру *во всяких условиях*. Мы уже имеем известные успехи и в деле коллективного творчества культуры, мы привлекаем к этому творчеству и самые низы. Быстро растущая сеть и деятельность рабселькоров может послужить для этого утверждения хорошей иллюстрацией. Вся система советской работы и строительства построена на массах, и она является большим культурным фактором, воспитывающим массы лучше иной книжки. Все это осуществляется и в форме *национального* культурного строительства, наперекор Ваганяну, утверждающему, что национальная культура—ядовитая штука и дурная болезнь.

Мне хотелось бы развить перед вами некоторую аналогию между формами строительства национальной культуры республик и областей—в смысле разграничения между определенными частями этой культуры: национальной и интернациональной — и формами союзной (и федеративной) системы нашего советского государства. Прежде всего, напомню ту цитату из Ленина, которую я перед вами огласил, в которой указывается, что достижения культуры все больше интернационализируются, что особенно относится к материальной культуре, а также то, что писал Каутский в споре с Бауэром по вопросу о национальной культуре, а именно, что «современная культура является не национальной, а европейской, так как Европа служит исходной точкой, из которой культура излучается по всем странам света. Это относится не только к материальной, но и к духовной культуре. Ни одно великое изобретение не может быть сделано нацией, ни одна великая мысль не может быть выражена на каком-либо языке и удостоиться внимания без того, чтобы тотчас же это не было сообщено всем нациям культурного мира. Только дела, не имеющие общего интереса или мало выдающиеся, ограничиваются областью той нации и языка, в которых они возникли. Только их можно было бы рассматривать как «национальную» культуру. Они во всяком случае образуют менее важную часть современной культуры» (см. Каутский, Национальные проблемы, стр. 158). При анализе всего об'ёма национальной культуры у нас можно также признать, что значительная часть этой культуры имеет общесоюзное значение и как-то в большей мере интернационализирована в союзном масштабе: напр., более углубленная подготовка работников националов в центральных вузах и комвузах, значительные культурные приобретения националов в централизованной Красной армии, в партии и т. п. Большое культурное воздействие оказывает на массы центральная периодическая пресса и общие культурные достижения, имеющиеся в литературе на русском или другом неродном языке. Большое культурное значение имеет также промышленное и хозяйственное строительство в нацреспубликах, которое является составной частью всего народного хозяйства Союза в целом. Тут скрещиваются элементы национальной и общесоюзной культуры.

Художественные элементы национальной культуры—*театр*, *кино*, *радио*—очень сильно интернационализируются благодаря значительному, так сказать, импорту этих культурных ценностей из одних республик в другие и вообще более легкой возможности передвижения. Художественная *литература* обычно отличается большей самобытностью (хотя и она не избегает в своем развитии сильного влияния более культурных соседей), она в большей мере ограничивается отражением внутренней специфической жизни нации. В ней мы находим довольно много националистических элементов; но это явление переходное. При помощи активного партийного руководства можно многое исправить, хотя проблема попутчиков останется у национальностей столь же острой, как и в центре. Новый советский быт еще не настолько окреп и оформился, чтобы молодые национальные писатели могли бы уже воспроизвести его с достаточной художественной убедительностью; поэтому они часто берутся за более ими изученное и более знакомое массам из прошлого или из настоящего, без достаточного учета элементов нового быта. Но уже теперь имеется не мало национальных писателей, рисующих нашу современность с умением и любовью; их число будет возрастать и качество работы улучшаться. Я не могу здесь остановиться подробнее на теме о национальной литературе, требующей отдельного обсуждения, но все же совершенно ясно, что элементы национальной культуры и в этой области также достаточно быстро советизируются. Идеи господствующего пролетариата завоюют себе и эту область, но на этом пути встретится много трудностей, вытекающих из различия хозяйственного уклада национальных районов, сохраняющего еще много отсталых элементов, преодоление которых потребует сравнительно более длительного периода.

Я должен сказать, что если прежде, говоря о культуре, говорили о происходящем слиянии разных национальных культур, о процессах интернационализации и т. д., то обычно эти утверждения базировались на таких явлениях, как например интернациональный характер естественных и математических наук, техники, т. е. главным образом культуры в ее более высоких формах, о чем мы уже отчасти говорили. В настоящее время в условиях развития национальных культур у нас наблюдаются некоторые противоречия. В вопросе о слиянии культур это противоречие состоит в том, что с одной стороны, мы сами ведем очень большую интернациональную воспитательную работу в направлении сближения между национальностями, укрепления их братства, но в то же самое время мы ведем также в некотором смысле большую национальную работу, волей-неволей отдаляющую в известном отношении нации друг от друга, отделяющую культуру одной нации от культуры другой. Что это значит? Дело в том, что культура в ее высших звеньях отражает интернациональные, а отчасти и космополитические элементы, имеющиеся в крупной индустрии, давно перешагнувшей всякие национальные рамки и вполне созревшей для превращения в достояние международного социалистического общества. Только империализм господствующих классов отдельных наций, заинтересованный в экспансии за счет других национальностей и чужих территорий, всячески подрывает интернациональное сближение культур разных национальностей, вопреки естественным экономическим тенденциям. Верхушечные части населения городов часто помимо родного говорят также на языке или языках соседнего сильного народа или народов. Двуязычие становится довольно распространенным явлением. Между прочим, А. А. Потебня считал, что совмещение двух языков—уродство, что оно препятствует развитию творческих талантов, так как «душа» одного языка мешает «душе» другого; он указывал на пример Тютчева, у которого второй «родной» язык, французский, ослаблял творчество на русском языке. Но это указание опровергалось в свою очередь указанием на *Пушкина*, для которого французский язык был родным не менее русского, Тургенева, который также имел два «родных» языка, что не помешало их художественному творчеству (см. «Психология национальности» Овсянникова, стр. 29). Но на вопросе о двуязычии я остановился только между прочим

и не буду больше о нем распространяться. Как бы то ни было, в высшей культуре мы имели много моментов, сближающих народы. Легкость сообщения и сношений между народами будет еще больше содействовать этому. Немалую роль будут в этом деле играть радио-сношения или разговоры по телефону на расстоянии в много тысяч километров, ускорение сухопутного и водного сообщения, воздушное сообщение, а также все растущая практика новых интернациональных научных, технических и других терминов. Можно еще остановиться на значении и влиянии международной пролетарской солидарности в смысле сближения и интернационализации национальных культур, но этот фактор еще пока больше относится к будущему,—пока еще силен II Интернационал, раз'-единяющий рабочих разных стран.

Вернемся к нашим советским условиям в национальных республиках, где национальная культура развивается в условиях наличия зачаточных форм передовой материальной культуры, где мы имеем дело с культурой масс, почти-что неподвижных, живущих в течение многих веков на одном месте, при отсутствии заметных сдвигов в экономике, мало изменившейся от прадедовских времен до последнего времени; благодаря этим факторам сильно сохранились и религия и косность, а борьба с ними еще далеко не достигла широкого размаха и пока одержала лишь частичные успехи. Когда мы к этому добавим, что в наших советских условиях творцами культуры национальностей являются не столько отдельные лица (которые при всяких условиях могут отличаться подвижностью), а широкие низовые массы города и деревни, то станет ясным, что на этой культуре не может не лежать известный отпечаток национальной замкнутости. В пользу этого говорят и основные положения марксизма.

Все это говорит также за то, что эта национальная культура должна располагать значительно большим временем для того, чтобы стать интернациональной по своему содержанию. Я думаю, что в вопросе о национальной и интернациональной культуре нам надо различать те основные моменты, которые я здесь подчеркивал. С одной стороны, большая культура, которая быстро интернационализируется, а с другой стороны—мы на этом пути встречаем большие затруднения. Я хочу предупредить, чтобы вы меня не поняли так, будто я ставлю вопрос о борьбе культур и считаю культуру одного народа выше культуры другого народа,—будто культура одного народа имеет все преимущества перед культурой другого и будет ее вытеснять. Эта мысль совершенно отпадает в условиях, когда сами массы начинают творить свою культуру, которую они могут творить лишь по своему образу и подобию. Если происходит соревнование между разными странами, скажем, между Францией и Англией или Францией и Германией, то это экономическое соревнование дополняется соревнованием между культурами, и каждая нация старается обосновать права своей культуры на господство, как более высокой или более рациональной, а культуру других наций старается всячески опорочить; это общее соревнование в конечном итоге приводит к вооруженным конфликтам, к войнам. У нас элементов соревнования такого характера нет. У нас не может быть такого соревнования, поскольку у нас нет сейчас национальной розни и нет места конкуренции между нациями. У нас сейчас осуществляется сотрудничество наций, идет общее строительство социализма в нашей стране. У нас все нации делают одну и ту же работу, стремятся к одной и той же цели, при чем нация, ушедшая вперед, помогает поднять культуру отставшим нациям. Поэтому, товарищи, в этом отношении культуры наших национальностей все в большей и большей мере становятся интернациональными по духу, в смысле сближения между народами. Однако, они еще долго и долго будут сохранять свои специфические черты, отличающие их одна от другой. В течение еще довольно длительного периода времени наши национальные культуры будут итти разными путями, будут приобретать различные оттенки, соответствующие особенностям отдельных национальностей. Мы переживаем сейчас такой период, когда национально-культурный вопрос еще не получил окончательного разрешения в виде полного выявления лица культуры отдельных народов. Конечно, у нас национальный вопрос в основном разрешен. Но все же осталось еще очень много доделать. В особенности еще очень многое осталось сделать в культурном смысле. В нашем Союзе имеются нации, у которых только 2—3% грамотных или 5—10% грамотных, остальное же население поголовно неграмотно. Есть, правда, такие национальности, где процент грамотности равняется 20, но ведь и там процент неграмотных составляет 80. Можете себе представить, товарищи, что произойдет, когда такая громадная лавина, как 80% каждой нации добавочно приобщится к национальной культуре, будет в ней участвовать; естественно, что в этой культуре эти 80% будут выявлять себя и будут строить культуру по образу и подобию своей нации, естественно, что эта культура приобретет еще более специфические национальные, свойственные именно этой нации, черты, в этой культуре найдет свое отражение историческое прошлое данной нации, ее экономический уклад и т. д., и т. д. Все эти моменты найдут свое отражение в той национальной культуре, в которой будут принимать участие эти массы. Вполне ясно, что национальная культура узбеков, или национальная культура армян, или национальная культура осетин будут в дальнейшем процессе развития все больше отличаться друг от друга. Но поскольку эти нации будут развиваться на здоровой почве (которая у них имеется), ничего угрожающего в этом пока нет.

Но одновременно с этим процессом, в связи с индустриализацией окраин, у нас будет происходить и второй процесс в образовании национальной культуры—процесс сближения. Правда, он будет проходить не так быстро, а может быть и очень медленно. Темп прохождения этого процесса будет зависеть от условий материальных, экономических, определяющих в значительной части и моменты культурные.

Приведу хотя бы одну иллюстрацию, показывающую значение материальной культуры в деле интернационализации наших национальных культур. Вы знаете, что наша страна страдает бездорожьем: у нас очень плохие пути сообщения, и народы в значительной мере оторваны друг от друга. Можно высказать парадокс, что народы Дагестана оторваны друг от друга в большей степени, чем народы Франции и Англии. Из Парижа в Лондон можно проехать в шесть часов, а на аэроплане—и в два часа. А пробраться в Дагестане из плоскостной страны в горную несколько месяцев в году вообще невозможно, в остальное же время если и можно, то лишь верхом на лошади, так как нет колесных путей. В этой стране сохранилось 30 различных наречий и 6 основных языков в значительной степени именно вследствие отсутствия путей сообщения, а также и отсутствия письменности в течение веков. Я взял более кричащий пример. Понятно, что не в любой республике у нас 36 наречий, но пример Дагестана наиболее показателен. Я должен сказать, что пока у нас не будет достаточно хорошо устроенного железнодорожного сообщения и может быть воздушного, речного и т. д., между народами, пока они друг друга не увидят воочию, не встретятся массами (я не говорю о делегатах, которые приезжают на большие с'езды, партийные, комсомольские, может быть, на пленум Института советского строительства, где мы теперь находимся, я говорю о широких массах населения, о тех низах, которые сейчас приступают к новой жизни и начинают творить новую культуру), пока они не смогут войти между собой в соприкосновение,—тем самым в значительной степени будет задерживаться сближение между нациями в смысле культурном, сближение, которое могло бы послужить предпосылкой возможности ассимиляции между национальностями в физическом и культурном отношении.

Одним из важнейших элементов национальной культуры является язык данной нации, степень его развития и распространенности, графика и т. д. Мы, понятно, не считаем, что язык—это основной определяющий фактор нации, как склонны утверждать некоторые хотя бы по отношению к так называемым «неисторическим нациям» (по опре-

делению Бауэра). Но если язык и не все определяет и предопределяет, то все же весьма многое; поэтому мой доклад о национальной культуре был бы неполным, если бы я не остановился на сложной проблеме о языках в национальных районах. Разобрать этот вопрос исчерпывающим образом было бы возможно лишь в специальном докладе на эту тему, но важнейшие моменты этого вопроса мы затронем и здесь, а также основные тенденции развития языка. У нас идут два процесса в отношении языков: процесс сближения языков и процесс их временного взаимного отдаления. Надо определить, какие процессы преобладают. Очень трудно было бы найти одно общее определение для сотни языков разных национальностей, находящихся на разных ступенях развития, но основные вехи можно наметить. Возьмем, например, украинский язык и русский язык. Возьмем дореволюционный украинский язык на Украине, скажем, язык Шевченки, и теперешний украинский язык, с одной стороны, и русский язык—с другой. Шевченко почти каждый из вас поймет. А если возьмете какого-либо современного украинского писателя—Тычину, Досвитского или другого из новых,—я не знаю, кто из вас, незнающих украинского или хотя бы польского языка, поймет этот язык на основе русского. По отношению к русскому языку мы видим здесь значительное увеличение расхождения. То же самое надо сказать о белорусском языке, столь же близком к русскому языку. Почему это происходит? Я считаю, что тут не злая воля националистов, которые хотят во что бы то ни стало отделиться или удалиться (иногда и это бывает, но это не основной фактор), а вполне естественный процесс. Если люди хотят иметь свой язык, они, естественно, ставят вопрос о *чистоте* языка. Начинаются поиски в глубинах истории или местных диалектов, старинных памятников и т. д., начинают искать самобытность—и находят; «ищите и обрящете».

Как мы уже говорили, большой отпечаток на национальную культуру кладут массы, участвующие в ее создании; их участие отражается также и на языке национальностей. Языки национальностей в большей своей части вступили в период революции в мало развитом, если не в эмбриональном, состоянии. Многие народы были совершенно или почти бесписьменными. Отсутствие же письменности влияет на состояние языка в смысле сохранения множества диалектов, отсутствия единого литературного языка, который был бы в состоянии использовать основные корни национальной речи для образования новых, нехватающих слов, для обозначения новых или более общих явлений в жизни замкнутых отдельных народов. Язык не является чем-то данным или унаследованным в застывшем виде. Каждое поколение преобразует свой язык, а в революционную эпоху совершаются кардинальные языковые сдвиги и изменения. Это явление об'ясняется, конечно, не декретами, революционизирующими развитие языка, а скорее тем, что носители языка—массы—начинают жить более интенсивно и более подвижно, что отражается и на развитии языка.

Опыт развития языков национальностей показывает нам одновременно и правильные естественные тенденции и уклонения в сторону «излишней филологии» за счет здравого смысла и демократизма. В своем прошлом докладе я отметил ту борьбу, которая ведется нами в некоторых восточных республиках против нелепой арабизации многих терминов, употребления слов, имеющихся только в интеллигентском обиходе игнорирования, в поисках новых слов и терминов, живой речи современности, в особенности речи массового рабочего и крестьянина. В установлении новой терминологии следует стремиться прежде всего к понятности этих терминов для масс. Трудно дать какие-либо окончательные рецепты в этом вопросе, но я бы сказал, что не следует ни бояться, ни гнаться за руссицизмами, арабизмами, иранизмами и проч., а внимательно следить за разговорной речью масс и ее изменениями, прислушиваться к тому, как они творят свой новый родной язык, и следовать за ними. Надо полагать, что влияние ближайших соседей, иногда более культурных, заметно отра

жается на менее развитых языках; сказывается также и урбанизация: у нас, если мы не хотим впасть в национализм, нет никаких серьезных поводов для борьбы против влияния подобных факторов.

Многие национальности по существу только в настоящий период и начинают формироваться и сознавать себя как национальности, начинают проделывать известный положительный этап по пути от аморфного бытия племен или народностей к оформленному национальному состоянию. Процессы кристаллизации и консолидации национальности, понятно, не могут не отразиться на языке. У нас происходит процесс кристаллизации языка, неизбежно ведущий и к отдалению некоторых языков друг от друга при сближении наречий в пределах каждого из данных языков. Такое положение справедливо не только в вопросе об отношении западных частей СССР к русскому языку, как я сказал, но и в отношении восточных языков. Раньше, например, языки туркменский и тюркский в Азербейджане были более близки друг к другу, чем сейчас, когда эти национальности начинают кристаллизоваться, отграничиваться от других, так как каждый язык развивается под влиянием особых условий, в особом окружении и черпает материал из своего особого прошлого.

Таким образом оформляются разные языки, в настоящее время более далекие друг от друга, нежели в их прежнем бесформенном, дореволюционном состоянии. С одной стороны язык обновляется, черпает новые материалы из глубины масс или забытого прошлого, а иногда, с другой стороны, все-таки становится часто непонятным массам, потому что массы больше знакомы с тем, я бы сказал, старым обиходным жаргоном, с той языковой смесью, которая у них была раньше в употреблении, чем с чистым языком, будто бы возвращающимся к национальному первоисточнику и очищенному от всех наслоившихся в нем примесей. Языки культивируются и, следовательно, неизбежно отдаляются друг от друга. Я взял только некоторые примеры. Я уверен, что аналогичное положение можно развить с некоторыми вариантами и по отношению к Северному Кавказу, Башкирии и др. Я не могу подробнее остановиться на проблеме языка—это завело бы слишком далеко. Наша проблема заключается в рассмотрении того, как идет процесс национального культурного творчества и сближения между языками и народами.

До сих пор мы больше говорили о процессе расхождения между языками, остановимся теперь также на сближающих моментах, которые—в несколько более отдаленной перспективе—несомненно сыграют большую роль. Для народов Востока таким существенным сближающим моментом является новый тюркский алфавит, который в унифицированном виде становится приемлемым для всех народов арабского алфавита Советского Востока. Другой момент заключается в следующем: языки наших народов в их прошлом, отсталом состоянии были очень далеки от настоящего, современного языка. У них отсутствовала терминология, не было слов для многих понятий, которые тогда для них не существовали. Теперь создают целый ряд новых понятий, вводят иностранные слова—как ни пытаются их кое-где исковеркать в смысле коренизации, как ни изощряются кое-где в духе национализма в терминологии (*С места:* национализировать); есть здоровая коренизация и есть национализм в терминологии—это разные вещи. В вопросах терминологии у нас есть и то и другое, в зависимости от того, где и кто этим делом занимается.

Указанные моменты ведут к сближению между национальностями. Встает вопрос—какой из этих процессов окажется сильнее. Я считаю, что у нас в течение продолжительного периода несомненно будет иметь место первый процесс—процесс диференциации языков и сближения наречий в пределах каждого языка. Этот процесс еще не закончен, так же, как еще не завершен полностью процесс образования национальностей в СССР. Этот процесс у нас происходит в большом масштабе

в отношении к десяткам миллионов людей самых различных категорий, принадлежащих к разным социальным прослойкам, влияющих всей своей массой и через посредство языка на создание своей национальной культуры. Особенности национального быта будут долго сказываться на образовании языка и культуры; никакое искусственное эсперанто тут не поможет.

Исходя из данных общих положений, постараемся ответить на вопрос: какие задачи стоят перед нами в этой области? Я считаю, что перед нами, в первую очередь, встает задача усиления партийного и советского руководства. Я должен сказать, что пора нам, партии, советской власти, более активно вмешаться в это дело. Мы как коммунисты, как марксисты, изучаем ход и тенденции этих процессов, констатируем разные положения, но ведь наша цель не в том, чтобы только об'яснить мир, а в том, чтобы его перестроить. Следовательно, нам нужно в это дело вмешаться и вовсе не нужно представлять себе положение вещей в духе Штаммлеровского квиэтизма, призывающего терпеливо ждать, пока неизбежные процессы концентрации капиталов сами собой породят социализм. Аналогичные теории развивались и развиваются и теперь буржуазными социологами. Понятно, что мы не можем таким же образом стоять и пассивно ждать плодов развития национальной культуры. Мы должны трезво относиться, как я уже сказал, к об'ективным условиям, однако мы знаем, что суб'ективное в известных условиях превращается, в конечном итоге, в об'ективное, что если мы даем известную директиву, направление, лозунги, то они могут претвориться в жизнь, привиться массам и превратиться тем самым в об'ективные факторы. Но в каких формах возможно и необходимо наше вмешательство в процессы развития национальной культуры? По-моему, наше сознательное вмешательство должно прежде всего свестись к одному моменту, а именно—к борьбе с правым уклоном в национальной политике. Мы еще до сих пор продолжаем руководствоваться в национальном вопросе такими мерами, принципами и представлениями, которые соответствовали положению дел в национальных районах полдесятка лет тому назад, когда делались только первые шаги в советском строительстве национальных республик. За последние годы, когда мы уже вступили в период реконструкции нашего хозяйства и в национальных районах, когда благополучно возникает и растет электрификация, железнодорожное строительство, промышленное строительство, появляется местный индустриальный пролетариат, растет партия и комсомол, раскрепощение женщины медленно, но неуклонно движется вперед, классовое расслоение в деревне на основании конфискации имущества баев, земреформы и других мероприятий внедряется все глубже, зарегистрировано немало случаев закрытия мечетей самим неверующим населением,—у нас уже не может быть оправдания практике правого уклона в национальной политике; мы не можем переносить на настоящий период то, что было правильно для другого периода. Это, понятно, не значит, что исчезли всякие национальные особенности; но их удельный вес заметно уменьшился. Создавшаяся обстановка дает возможность и право более серьезного вмешательства в стихийный ход развития культурной жизни национальностей. Это вызывается еще тем, что в связи с успехами социалистических элементов в национальных районах усиливается также активность байских и нэпманских элементов и духовенства, старающихся использовать остаток своего влияния на массы, чтобы удержаться на своих последних позициях.

В деле развития национальной культуры надо быть бдительным, в особенности теперь, в пору ее молодости, когда приходится определять направление роста этой культуры. То обстоятельство, что, как я уже указал, национальные культуры отражают собой влияние широчайших масс населения, при всем своем значении еще не дает гарантии правильности линии развития. Мы, как говорят, не признаем ничего священного. Культура может отражать влияние низов, но по одному этому культура еще не становится марксистской, ленинской, революционной; она будет только демократической. Если даже по отношению к «его величеству» пролетариату можно говорить о том, что приходится иногда вносить элементы идеологической выдержанности и революционности, так сказать, со стороны (в этом духе высказывался, как всем известно, Ленин в «Что делать»), то в вопросах национальной политики и национальной культуры, в вопросах, где у нас определяющим фактором являются широкие массы, которые еще в течение долгого периода времени будут представлять собой в своем громадном большинстве крестьянские мелкобуржуазные элементы, с нашей стороны требуется действительное вмешательство в стихийный процесс развития культуры.

В каких же формах это вмешательство может оказаться действительным? Как здесь вести борьбу с правым уклоном и что использовать в этой борьбе? В нашей национальной культуре имеются недостатки и преимущества. Сначала несколько слов относительно преимуществ. Большое преимущество в наших условиях состоит в том, что самые отсталые наши национальности имели счастье избежать очень многого идеологически вредного. Мы, старое поколение, воспитывались на буржуазной литературе, проникнутой мистикой и т. п., мы обучались по хрестоматиям и учебникам, проникнутым монархическим и черносотенным или буржуазным содержанием. Мы получили нашу книжную культуру на буржуазной основе. Понятно, что нашему отрицательному отношению к буржуазной культуре немало способствовал сам господствовавший строй, который достаточно убедительно показывал свою несостоятельность на практике. Итак, если мы, старое поколение, получили в городе культуру, построенную на буржуазной основе, если деревенские массы получали свое воспитание на лубочной литературе,—а вы хорошо знаете, что представлял собой этот лубок, который в таком колоссальном количестве распространялся в деревне, в смысле монархической, националистической и религиозной пропаганды,—то наши широкие отсталые национальные массы получают с самого начала культурное крещение чуть ли не на Ленине и ленинизме. Наши национальности, у которых сейчас 5—10% грамотных (а есть более «счастливые», у которых только 2% грамотных), лишь начинающие свое культурное развитие,—с чего они начинают? (*С места:* Более счастливы, потому что начинают с азов). Нет худа без добра. Так вот, с чего же начинают наши нации в своем культурном развитии? Они получают книгу для чтения или хрестоматию, составленную наполовину из Ленина, частью из Сталина, из Маркса, Энгельса и т. п. «святых». Так дело начинается почти с букваря. Вот какое культурное воспитание получают наши отсталые национальности. Если вы возьмете наши издания на национальных языках, то несомненно найдете там и много плохого. Но если вы возьмете в процентном отношении все, что издает любое национальное издательство, то вы увидите, что преобладающей является литература политическая, литература революционная, воспитывающая массы в нашем духе. Таким образом, когда наши национальности приобщаются к новой, создающейся у них культуре, они имеют счастье получить сразу здоровую, марксистскую, революционную пищу, не испытывая в то же время влияния чуждых и вредных идеологических течений (не считая религии). Для наших отсталых народностей это представляет большое преимущество. То обстоятельство, что мы поднимаем культурный уровень национальных масс на идеологически здоровой основе, я считаю одним из громаднейших наших плюсов.

Мы даем национальным массам классовое воспитание. Нас воспитывали в уважении к старшим, сильным, к духовенству, к царю и т. п. Сейчас идет другое классовое воспитание и тоже по отношению к старшим. Но сейчас старшим является

пролетариат. Сейчас воспитываются рабочие и крестьянские массы в духе революции и пролетарской солидарности. Одновременно с этим у нас в республиках появляется и развивается пролетариат из коренного населения, идет развитие промышленности и т. д. Появляется выдержанное руководство культурой нации в городе, влияющее также и на деревню. Мы воспитываем известный пиэтет, уважение к пролетариату, к рабочему классу, ко всему тому, что революционно.

Тем самым я вплотную подошел к изложению отрицательных факторов, осложняющих развитие национальных культур не в нашу пользу. Существующий институт частной собственности будет еще долго давать себя чувствовать. Это особенно относится к национальной деревне, составляющей около 90% в среднем национального населения. Городское население бывает часто сильно представлено некоренной национальностью, и это ослабляет его идеологическое влияние на деревню. Мы приходим к противоречивому положению, состоящему в том, что экономика крестьянина, его индивидуальное мелкое хозяйство говорит одно, между тем как мы хотим влиять в совершенно другом направлении. Мы больше основываемся на тенденциях, которые мы навязываем хозяйству национальной деревни и которые привьются лишь в будущем, чем на ее действительности в настоящее время, с ее чуть ли не первобытной техникой. Мы должны отдать себе отчет в том, что при других исторических и политических условиях многие окраинные республики при таком же уровне хозяйства, но не будучи связанными с революционным пролетариатом центров, не могли бы сразу поставить перед собой такие социалистические задачи, которые они ставят себе теперь; так что во многих отношениях приходится рассчитывать на внешний фактор, на внесение правильной идеологии извне, без вполне достаточных для этого элементов внутри самого хозяйства этих национальных республик. Ведь некапиталистический путь развития отсталых стран стал возможен тоже только благодаря победе пролетарской революции на одной шестой части земного шара, под руководством пролетариата рабочих центров. Подобная обстановка требует исключительной осторожности для того, чтобы не сбиться с пути. Отметим одно обстоятельство, значительно затрудняющее наше воздействие на национальную деревню со стороны городской рабочей культуры, имеющее в известном смысле место и в наших общих условиях. Как я уже говорил, когда нас воспитывали в школе и на литературе буржуазной и реакционной, то основное противоречие заключалось в том, что фактически массы были буржуазией эксплоатируемы, обездолены, и это гнало их к недовольству. Мы видели, как элементарными социальными фактами отрицается то, чему нас учили в школе, в литературе, чему нас учило старшее поколение. Если нам говорили, что надо уважать богачей, то мы видели на своем опыте, на фабрике, на заводе, что богач нас эксплоатирует и угнетает и т. д. Если этому учили крестьянина, то он видел на опыте, что помещик его грабит, давит, что он, крестьянин, живет почти в крепостнических условиях и т. д. Существовало противоречие между тем воспитанием, которое давала национальная культура, и тем воспитанием, которое давала не эта наносная культура, а сама жизнь, собственный опыт, собственный быт. В нашем положении дело обстоит следующим образом. Когда мы берем мелкого крестьянина, живущего почти в нищете своим небольшим, мелким хозяйством, в отношении к городу, к пролетариату, мы вынуждены в силу неизбежности допустить существование известного экономического неравенства между ними, и несомненно, не в пользу крестьянина. Не в такой мере, как это было раньше, но все же крестьянин живет в худших условиях хотя бы в силу естественных преимуществ городской жизни. Раньше ему говорили о том, что о нем заботятся, что капиталист копит капитал для того, чтобы у рабочего было чем жить, а в деревне—помещик для того, чтобы крестьяне могли заработать. Это был обман, но его недурно маскировали. Теперь

говорят: пролетариат имеет власть в руках, чтобы вам помогать, вместе с вами строить социализм; при этом забитый в прошлом крестьянин и вспоминает прошлое. Аналогия получается неприятная, но она имеется; по существу неверная, но это не легко понять отсталому националу, в особенности, когда данное положение связано еще с далеким центром, который он раньше недолюбливал. Верно, сейчас оказывается значительно большая помощь со стороны пролетариата отсталому населению. Но надо учесть то обстоятельство, что растут потребности вместе с ростом средств к их удовлетворению. Чем больше получают эти крестьяне, тем больше им нужно. Требования значительно выросли. Мы сами так много апеллируем к революционному духу, так много кричим против всяких привилегий, что это не может не отразиться на крестьянских низах. Они гораздо легче усваивают факт существующего неравенства, чем те пути, которыми мы идем к его преодолению. В этом—крупный отрицательный момент, который не может не отразиться на доверии национального крестьянства к пролетарскому городу. Отражается ли он на культуре? Да, отражается. Что мы видим сейчас? Мы видим в значительной степени, наряду с ростом социалистических элементов культуры, рост шовинизма, рост национализма в национальной культуре. Националистическая интеллигенция проявляет себя повсюду довольно активно. Мы не скрываем этого факта. Мы видим большее, мы видим, что некоторые товарищи националы-коммунисты, которые кажутся вначале выдержанными в партийном отношении, в процессе развития национальной культуры подпадают под давление националистической стихии. Я уверен, что тут действует не только субъективное настроение, но и объективные факторы, отражающиеся на нашем культурном строительстве. Для того, чтобы отбить атаки, которые делаются со стороны экономически отсталых элементов на элементы социалистические в национальных республиках, нужно заострить вопрос об идеологическом руководстве, используя максимально все то положительное, что у нас там уже есть. У нас, по моему, сейчас появляется новый политический элемент, который в смысле идеологическом может сослужить нам большую службу в смысле увязки в культурном отношении городского, в частности национального, пролетариата с национальным крестьянством. Если, вообще говоря, между городом и деревней существует колоссальная разница (ее отмечал еще Энгельс, говоря, что она является одним из факторов, тормозящих победу социализма), то она особенно велика в национальных республиках. В то время как город усваивает новую высокую технику, строит заводы по последнему слову техники с заграничным оборудованием и т. д., крестьянин все еще обрабатывает свою землю деревянной мотыгой. Но там появляется и новый посредствующий слой, который может быть использован для установления смычки и в смысле культурном. Мы имеем в виду ту часть крестьянства, которая переходит на колхозное строительство, которая концентрируется в совхозах. Она еще не очень многочисленна, но ее значение как авангарда, ведущего работу под руководством партии, очень велико. В смысле идеологическом эти элементы должны сыграть очень большую роль, и на них мы должны больше опираться в дальнейшей работе. Я не хочу здесь особо вдаваться в спорный вопрос о классовой сущности крестьянства, в частности, коллективизированного. Этот вопрос не входит в нашу тему. Я хочу только указать на новый социальный слой, занимающий промежуточное положение, присоединяющийся к батрачеству, сельскохозяйственным рабочим, а также партийному и комсомольскому элементу, оперирующий в национальной деревне и усиливающий наши пролетарские позиции. Следует отметить также то существенное обстоятельство, что тенденции роста экономически организованного дехканина, увязанные со всей системой индустриализации СССР, несомненно будут действовать довольно успешно и охватывать все более широкие слои населения киплака и аула, преодолевая отсталые формы хозяйства и даже кочевнический быт. Эти промежуточные

элементы будут увязывать городскую пролетарскую культуру с национальной деревенской и будут существенным образом модифицировать характер национальной деревенской культуры.

Я считаю, что у нас в большинстве наших национальных республик благодаря колхозному и кооперативному строительству создается благоприятная почва для подобного рода увязки культур, поскольку в наших национальных республиках имеются весьма благоприятные условия для широкого развития колхозного строительства, вследствие возможностей развития интенсивных технических культур, и на этой основе—хлопководческих, виноградарских, табаководческих и т. п. об'единений. Самый характер этих технических культур создает благоприятные условия для коллективизации, особенно поскольку последняя авансируется и финансируется государством, увязывается с центральными органами и т. д. В этих хозяйствах появляется исподволь некоторый слой крестьянства, который по своему производству больше увязан с городом, чем с деревней, больше зависит от промышленности, чем от сельского хозяйства. Повторяю, этот слой крестьянства, к которому нам легче всего будет подойти, должен стать об'ектом нашего воздействия в направлении культурной революции. Я должен сказать, что перенесение культурной революции из города в деревню является очень трудным моментом. В деревне в этом отношении мы встречаемся с гораздо большими трудностями, чем в городе. Но я думаю, что то крестьянство, которое об'единено в коллективные хозяйства, то крестьянство, которое увязано с кооперацией, которое получает прямую помощь со стороны пролетариата и советского государства, которое видит, что оно само уже является важной, а иногда и решающей частью нашего социалистического строительства, которое начинает убеждаться в том, что вместе с пролетариатом строит социализм,—что именно этот элемент крестьянства является сейчас наиболее подходящим фактором для внедрения влияния пролетариата в те слои крестьянства, у которых в силу целого ряда причин сохраняется только индивидуальное хозяйство и к которым в настоящее время труднее и в то же время необходимо подойти. Одновременно идет рост промышленности, происходит рост пролетариата за счет местного коренного населения. Этот пролетариат создается из крестьянского материала. Конечно, многие крестьяне не останутся в городе надолго, будут уходить и приходить, но и эта миграция будет способствовать правильной культурной увязке города с деревней.

Разбирая основные моменты строительства национальной культуры в советских республиках, необходимо остановиться на таком громадном рычаге, как школа, которая должна быть вполне приспособлена ко вновь создавшимся общественным формам. Помнится, как Маркс писал, что «грубая форма разделения труда у индусов и египтян вызывает кастовый строй у этих народов в их государстве и в их религии» (Архив Маркса и Энгельса, I, стр. 228). Таково же положение и в восточных нацреспубликах, где сдвиги и изменения в укладах хозяйства отражаются на культурном строительстве, берущем свое начало в массовой школе. Поэтому нам придется остановиться на состоянии и перспективах последней, хотя бы на ближайшее десятилетие.

Перед нами сейчас стоит задача введения в национальных районах всеобщего обучения. Мы устанавливаем известные сроки для того, чтобы перейти к всеобщему обучению города и деревни. Мы устанавливаем для этого средние сроки, начиная от 32-го до 38—39 года. Мы полагаем, что именно к этому сроку все или почти все наши национальности перейдут на всеобщее обучение. Мы берем максимальный срок—10 лет, и думаем, что в течение этого десятилетнего срока все наши отсталые национальности смогут перейти на всеобщее обучение. 10 лет, кажется, срок небольшой, но при нашем напряженном международном положении каждый год имеет большое значение, и чем раньше мы создадим эту основную предпосылку для культурной революции национальностей в виде грамотности, тем мы будем крепче. Нам необходимо заострить наше внимание именно на эту сторону нашей культурной работы.

Я приведу некоторые иллюстрации того, что у нас имеется в этой области в некоторых республиках. В течение последнего месяца мы в АПШО ЦК партии заслушали ряд докладов национальных республик о состоянии там школьного дела. У нас были доклады Узбекистана, Азербейджана, Татарии, Белоруссии, Грузии, Украины и т. д. Разумеется, что в каждой из национальных республик в этом отношении имеются очень существенные особенности в смысле постановки у них школьного дела; одни республики более отстали, другие—наоборот, продвинулись значительно вперед. Но я сейчас буду говорить главным образом о наиболее отсталых национальных республиках. Здесь можно было бы даже ставить вопрос таким образом: есть ли у них вообще школы, и если школы имеются, то являются ли они советскими школами в полном смысле этого слова.

Я должен привести здесь такого рода пример (правда, этот пример не характерен, но он достаточно показателен). Оказывается, что у нас в республиках имеются и такие учителя, которые умеют считать только до 200, а из четырех действий арифметики могут производить только сложение и вычитание. Другие умеют считать до 1000, но все же умеют производить только сложение и вычитание (*с места:* Где это?). В Хорезме и в других районах Узбекистана (*с места:* Анекдот!). К сожалению, не анекдот, это взято из материалов этой республики, устаревших, быть может, года на два, но не больше. Что касается политической грамотности этих учителей, то об этом уже говорить не приходится. Кроме того нужно указать еще на то, что у нас в некоторых местах 50% учителей имеют только низшее образование, многие из них окончили только школу I ступени, и то только 4 года обучения, а часть—только ликпункты и полугодовые или годовые курсы. Таким образом, они немногим стоят выше своих учеников. Я спрашиваю вас, товарищи, можно ли назвать школьным учителем такого учителя, который сам еле-еле грамотен? Это нам показывает, насколько серьезно мы отстали.

Если мы обратимся к политической установке национальной школы, то, в силу низкой политической грамотности учительства, самые элементарные вопросы не могут быть разрешены так, как это необходимо. Возьмем например вопрос об интернациональном воспитании в школе. Надо сказать, что здесь дело обстоит очень печально. Кроме того, в самых передовых республиках очень плохо обстоит дело с антирелигиозным воспитанием в школе. Оказывается, что почти нигде нет анти-религиозного воспитания, а в лучшем случае имеется безрелигиозное воспитание, которое обозначает нейтралитет в вопросах религии. Это мне очень напоминает установку бундовского теоретика в национальном вопросе, Медема, писавшего: «Мы нейтральны по отношению к тем вопросам, которые в области национальной политики характерны для буржуазии. В этой форме мы отрицаем национальный вопрос, в этом виде мы снимаем его с очереди» («Соц. Дем. и нац. вопрос», 16 стр.),—между тем как на деле Бунд рьяно проводил мелкобуржуазную национальную политику, отнюдь не соблюдая нейтралитета. Так, религиозный нейтралитет в школе приводит к тому, что в школе празднуются все религиозные праздники, ученики, а иногда и учителя, исполняют религиозные обряды. Кроме того надо указать, что на школу оказывают сильное влияние и родители, которые сами религиозны, некультурны и неграмотны. Все это вместе взятое говорит о том, как плохо—хотя и не везде одинаково плохо—обстоит дело с этим громадным фактором, который должен действовать на развитие национальной культуры. Что касается охвата школой населения, то надо сказать, что в некоторых районах этот охват достигает всего только 18%, следовательно, свыше 80% остаются неохваченными школьной сетью. В лучшем случае школа востока

охватывает 50% детского населения, при чем последнее имеет место уже в более передовых республиках, как Татария. Главная беда наша в том, что у нас нет в национальных республиках школьных зданий и что требуются громадные средства для школьного строительства. Далее, в населении сохранились еще предрассудки в вопросе об обучении девочек, вследствие чего громадное большинство девочек остается неграмотным. Ясно, что колоссальное количество непривлеченных в школу женщин увеличивает и без того громадный процент неграмотных.

Таковы, товарищи, приблизительно, в общих мазках, явления, характерные для отсталой национальной школы. К этому надо прибавить, в отношении политическом, что процент коммунистов-партийцев среди учителей ничтожен—5—6—7% (к этому проценту можно кое-где добавить приблизительно такой же процент комсомольцев). Охват учеников в школах пионерским движением ничтожен. Внешкольная работа с учениками почти не ведется.

Далее, в нашей национальной школе имеется еще существенный недостаток, в значительной степени подрывающий работу этой школы и состоящий в том, что громадное количество учеников не добирается до третьей группы в школе, что они даже четырехлетней школы не выдерживают, а в большинстве—только двухлетнюю. К этому надо добавить, что те, которые идут дальше в школе, сталкиваются с тем, что наша национальная школа дает меньше знаний, чем обычная школа, по той причине, что ученикам приходится тратить много времени на изучение языков. Это тоже своего рода наказание за отсталость. Есть такие школы,—если взять несколько более кричащий момент,—где приходится изучать три и даже четыре языка в школе первой ступени. Так например таджик в Узбекистане должен изучить свой родной таджикский язык, изучить язык узбекский, необходимо ему изучить русский язык; а если в Таджикистане живет например еврей, он должен изучить еще свой, еврейский; четыре языка человеку, который и без того достаточно отстал... У нас есть и на западе, напр. в Молдавии, такие примеры. Немец, живущий в Молдавии, изучает свой немецкий язык, молдавский, украинский язык и русский язык, и все как будто на законном основании: ему необходим и родной язык, и язык Молдавской республики, в которой он живет, и язык той союзной республики, в которой он живет—Украины, и наконец, так называемый язык Октябрьской революции, русский язык, абсолютно необходимый. Получается невероятная сверх-нагрузка,—налог на национальность, налог на нацмен в особенности (*с места:* Налог на отсталость). Это ненормально. Более передовые народы тоже изучают несколько языков, но в другой форме, в других условиях. Изучить несколько языков очень полезно, но уже на 7-м, 8-м году обучения, в университете и т. д. У нас три языка для нацмен—обычное явление, не говоря уже о 2-х языках. Для того, чтобы изучить язык более или менее сносно, надо минимум год обучения в смысле учебных часов. Значит, из тех нескольких лет, которые национал проводит в школе, надо отнять год обучения (*с места:* Никогда за год не научится). Вы меня не поняли. Он учится в школе четыре года и из этих четырех лет он должен год потратить на то, чтобы изучить добавочный язык. Русский ученик за это время изучит и арифметику, и политграмоту, и географию, а национал должен потратить это время на изучение добавочного языка, который иногда сам по себе не представляет очень большой культурной ценности, что для отсталых еще больше затрудняет доступ к культуре.

Из этого мы делаем вывод, что в национальной школе надо было бы увеличить срок обучения на год: вместо четырех лет, скажем, 5 лет. Но это далеко не так просто и так легко, как кажется. Опыт показывает, что большинство учеников не добирается до последнего года, до четвертого, а учатся 2—3 года; конечно, еще меньшее количество доберется до 5-го года (*с места:* Это общий закон). И вот что у нас получается. Мы ставим ставку в школе на выдержанный классовый элемент, нам необходимо привлечь в школу главным образом детей середняков, бедняков и батраков. Но они-то не в состоянии содержать в школе детей в течение такого долгого срока, как пять лет. С другой стороны, для многих не секрет, что бюджет наших национальных республик не так мощен, а один год массового обучения чего-нибудь да стоит. Этот момент сильно осложняет вопрос. Но, товарищи, я думаю, что для нас не может быть вообще таких зол, из которых нельзя было бы выбрать меньшее зло. Когда ставится вопрос—что представляет для нас меньшее зло в смысле политическом, то я считаю, что надо сочетать два момента: момент классовый и момент воспитательный. Дети бедноты ни в коем случае не должны отставать от детей более зажиточных элементов. Я считаю, что единственно возможный, хотя, быть может, и не вполне подходящий выход сейчас заключается в так называемых опорных школах. Опорные школы—это не повсеместные, а находящиеся в волостных центрах, более крупных, где школы могут вынести добавочный год. Надо добиться, чтобы в этих школах дети могли получить интернат, чтобы там могли воспитываться, получить свое образование за счет государства или стипендии и чтобы туда, в эти опорные школы, не могли попасть дети более зажиточных элементов (*с места:* Для всех интернаты не устроишь). Не для всех.

Я думаю, что надо отпускать на это дело отчасти и из общесоюзных средств, с тем, чтобы поддержать классовую линию в просвещении. Союз в целом должен прийти на помощь более отсталым республикам в смысле культурном и бюджетном, для того, чтобы они могли поставить свои школы так, чтобы срок обучения там в течение ближайшего промежутка времени был пятилетний, чтобы там могли учиться главным образом дети бедноты, с перспективой на создание в дальнейшем 9-летки, техникумов и вузов. Это фундамент национальной культуры.

Одним из важнейших моментов нашего воздействия на развитие национальной культуры является классовая установка этой культуры. Она по своему содержанию должна быть интернациональной и пролетарской, несмотря на то, что она будет отражать одновременно с крепнувшими социалистическими, также имеющиеся в нашей жизни мелкобуржуазные элементы. Школа должна превратиться в мощное орудие классовой борьбы пролетариата. Это обеспечит здоровое, социалистическое развитие национальной культуры. Нам надо во что бы то ни стало добиться того, чтобы школа стала фактически орудием классового государства, государства пролетариата. Именно такую классовую пролетарскую школу нужно создать в деревне. Эта школа явится одним из факторов воздействия пролетариата на массы населения. Мы должны поставить вопрос о том, чтобы там имелись учителя коммунисты, марксисты, нужно улучшить их материальное обеспечение, нужно также обеспечить старших детей, устроить пионер-отряды, нужно составить идеологически выдержанные учебники, которые будут и вполне приспособлены к этим школам, с тем, чтобы они отражали также все специфически необходимое отдельным национальным областям. Это будет способствовать тому, что ученик, который будет обучаться в такой школе, будет лучше подготовлен к жизни, сможет лучше вести свое хозяйство и строить новую культуру. Всеми этими мероприятиями мы создадим тягу населения к школе.

Сейчас мы вовсе не наблюдаем в части отсталых республик недовольства родителей по поводу того, что дети их не ходят в школу. По-моему, не было ни одного внушительного выступления со стороны населения в этом вопросе. Я лично не видел ни одной делегации, которая бы пришла из национальных республик сюда, в центр, и обратилась бы к Калинину по этому вопросу (*с места:* Калинин далеко). Делегаций к Калинину попадает очень много. Однако такой делегации, которая бы пришла сюда и сказала: у нас нет школы, надо принять все меры к созданию таковой,—такой

делегации не было (*с места:* Как будто об этом мало говорили). Да, товарищи, об этом говорили очень много, но в передовых районах, а не в отсталых. Я вам сейчас процитирую один факт: вот что пишут: Приехала школьная учительница в деревню, пришла к председателю совета и говорит: я приехала сбучать ваших подрастающих ребят. А председатель ей ответил: обучай своих русских. Учительница спрашивает: почему?.. Он отвечает: вот Алеша Козлов учился, учился, а чем он стал—жуликом; Вася учился, бросил родителей и удрал, никто не знает, где он находится; учился Ваня, и что же—хозяйством он не занимается, на охоту не ходит и т. д. и т. д. (см. «Север. Сборник», стр. 312). Вот, товарищи, какие отзывы со стороны населения по отношению к нашим школам. Я, конечно, взял крайний пример (*с места:* Но этот пример показывает, что школы никуда не годятся). Я то же самое говорю. Родители не добиваются улучшения школ. Нам необходимо добиться того, чтобы Ванька или Ахмед пришли в нашу школу и чтобы они там научились и белку промышлять, и свое хозяйство поднять, и добиться того, чтобы, примерно, овца два раза в год ягнят приносила и т. п. Нам необходимо добиться того, чтобы школа стала более близкой к населению. Когда мы этого добьемся, мы получим тягу населения к школе. Вот как у нас стоит вопрос о том, чтобы построить эту школу в национальных республиках и областях. Я думаю, что если эти школы мы идеологически поставим хорошо, то мы сможем их поставить хорошо и практически, ибо идеология и практика друг с другом связаны. В таком случае эти школы будут одним из лучших средств воздействия на массы: кроме этой низовой школы имеется ведь еще целая сеть школ политграмоты, совпартшкол, имеются всякие техникумы, вплоть до вузов и комвузов. Я думаю, что посредством этой сети народного образования мы сможем воздействовать на национальные массы, находящиеся в деревне. Если мы сознательно и умело будем управлять всеми теми рычагами воздействия на национальную культуру, которые имеются в руках пролетариата и советской власти, обеспечивая ее правильную установку, мы можем быть уверены в том, что, несмотря на то, что у нас имеется и целый ряд отрицательных факторов, эти об'ективные отрицательные факторы смогут быть преодолены рядом положительных факторов, на которые я также указывал. Старая националистическая интеллигенция заменяется постепенно новыми кадрами, прошедшими советское воспитание, рост социалистической культуры идет неуклонно вперед, удельный вес отрицательных элементов в национальной культуре падает, и она, при нашем бдительном руководстве, превращается в «культуру демократизма и всемирного рабочего движения». Мы идем по верному ленинскому пути, нужно только, чтобы партия реагировала своевременно на всякие уклонения от правильной постановки дела развития национальной культуры. Надо помнить, что классовый враг всячески использовывает и трудности строительства, осложняющиеся национальным моментом. Многим из вас это известно из практики ваших республик, где, борясь против правой опасности, вы вплотную сталкиваетесь с откровенным национализмом, в виде например выступлений украинского академика Ефремова, говорившего по поводу советской власти: «Наши «полные брани» времена станут одним только маленьким и малозаметным эпизодом. и надо общими силами принять все меры, чтобы эпизод занял поскорее свое настоящее место». С недвусмысленными словами националиста, классового врага сопоставим выступление украинского коммуниста Солодуба, писавшего: «Недаром Украина имеет самую романтическую историю в борьбе за независимость в течение ряда столетий, но независимости этой она не имела и получила лишь в дни великого Октября из рук пролетариата, борющегося за свои политические, экономические и национальные интересы...» И дальше: «Украинская организация коммунистической партии выступает здесь как национально-политическая партия... Быть национальной партией и создать национальное государство—в этом обязанность коммунистической партии» (см. Хвиля—

«Нац. вопрос на Украине», стр. 85). Такого рода тенденции очень опасны: они подрывают основные интернациональные узы в рядах пролетариата СССР. Это большое предупреждение партии. В то же время не следует упускать из виду то, что бывшие угнетенные народы очень многое получили от пролетарской революции, что для многих народов почти вся культура и основные культурные силы являются детищем великого Октября. Такая национальная культура будет и по содержанию Октябрьской, если ее только умело пестовать.

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ Т. ДИМАНШТЕЙНА [1]

Тов. Шульман. Из большого количества вопросов, затронутых в докладе Диманштейна, следует особо остановиться на вопросе о процессах взаимного сближения и диференциации национальных культур. Процесс развития национальной культуры вовсе не связан обязательно с процессом их взаимного отчуждения. Можно строить национальную культуру так, чтобы она приводила именно к взаимному сближению народов, но для этого надо было бы отказаться от идеологии чрезмерной «самобытности», существующей на местах, заключающейся в том, что вместо того чтобы заимствовать достижения более развитой и более передовой культуры, считают необходимым создать «свое». Мы не отрицаем своеобразных условий в отдельных республиках, но нельзя же эту самобытность возводить в фетиш, жертвуя для нее элементами интернациональной пролетарской культуры. Мы отвергаем политику ассимиляции, практиковавшуюся царизмом, именно потому, что она способствовала не сближению, а взаимному отчуждению национальностей; поэтому мы признаем и способствуем развитию главного элемента национальной культуры—национального языка. Однако мы должны бороться с таким положением, когда те, кто является носителями культурного строительства, т. е. интеллигенция, использует национальное строительство именно для того, чтобы построить елико возможно высокую стену между культурами народов Союза, отгородить их друг от друга. Это не стихийный процесс, а сознательная тактика определенной группы, с определенной идеологией, держащей курс на взаимное отчуждение, в частности—в отношении русской культуры. Это выражается, напр., в выработке терминологии: термин, употребляемый на русском языке,—даже если он интернациональный (напр., математические термины) или даже если бы он получил полные права гражданства в разговорном языке масс (как, напр., термин «совет», «исполком» «совнарком» и т. п.), уже по одному тому, что он принят в русском языке, считается неприемлемым. Приведем курьез: в Белоруссии для обозначения «перпендикуляра»—придумали новый термин—«простоставник». Аналогичное явление мы наблюдаем также, напр., и в области театра. В Белоруссии имелось влиятельное течение, возражавшее во имя «самобытности» против постановки на белорусской сцене русских революционных пьес, как «Любовь Яровая», «Рельсы гудят», «Бронепоезд», «Разлом» и др. Вместо этого практиковалась «самобытность», сопровождавшаяся одновременно определенной ориентацией на Запад. Все это говорит за то, что имеется определенная тенденция к отмежеванию от русской культуры и ее пролетарских элементов. Носителем этой тенденции является часть национальной интеллигенции—выходцы из верхушечной части деревни, с ней тесно связанные. Неудивительно, что именно теперь, в связи с обострением классовой борьбы, когда усиливается сопротивление враждебных классов и кулака наступлению социализма и советской власти, эта борьба находит свое отражение и по линии идеологической, чем и об'ясняется наблюдающееся обострение национализма. Этим тенденциям мы должны противопоставить наше национальное

[1] Выступления оппонентов даем в схематическом изложении.

строительство, основанное на развитии культуры в национальных формах, но с пролетарским содержанием.

Тов. Гаджи-Заде. Тов. Диманштейн недостаточно развил свой тезис по вопросу о взаимном отдалении и сближении наций—между тем этот вопрос является одним из актуальнейших вопросов нашей национальной политики.

Утверждение тов. Диманштейна о происходящем процессе взаимного отчуждения наций справедливо не в отношении масс, а только в отношении верхушечного слоя интеллигенции той или иной национальности, которая до революции подвергалась руссификации, а после революции переходит на свой национальный язык. В этом смысле можно даже говорить об отчуждении и взаимном непонимании дооктябрьской национальной интеллигенции, воспитанной по-русски, с одной стороны, и послеоктябрьской, воспитанной на национальном языке с другой. Что касается *масс* отдельных национальностей, то они до революции находились в состоянии полного взаимного отчуждения, которое ныне преодолевается благодаря единству того *содержания* культуры, того научного мировоззрения, к которому они приобщаются—каждая на своем языке.

Необходимо теоретически подойти к вопросу о роли языка в процессе сближения: это актуальный вопрос, в частности, для тюркских народов. Некоторые из этих народов оформились как национальности после Октября: они находятся еще в таком состоянии, когда есть возможность реально воздействовать на процессы национального и языкового оформления. В тюркских племенах уже резко очерчиваются границы одной группы племени, группы говорящих фактически на каком-то одном языке и имеющих общий литературный язык, к этой группе относятся азербейджанские тюрки, туркмены, крымские татары—южнобережцы, персидские тюрки и анатолийские турки. Отвлекаясь от вопроса о государственных границах, имеющего временное и преходящее значение, надо было бы поставить вопрос о целесообразности поощрения развития отдельных местных диалектов и создания на каждом языке особой литературы, школьной системы или, наоборот, поощрения развития мощного культурного языка, который мог бы служить крупным фактором культурного и социалистического строительства. Этот вопрос должен быть нами поставлен и подвергнут всестороннему обсуждению, а если понадобится и дискуссии.

Тов. Гасилов. Тов. Диманштейн затронул в своем докладе ряд чрезвычайно сложных проблем, каждая из которых требует по существу самостоятельной углубленной проработки. Прежде всего был поставлен вопрос о *размежевании* национальных культур. Как правильно указал один из выступавших оппонентов, процессы размежевания фактически сводятся к тем практическим мероприятиям в области национального культурного строительства, которые проводятся на местах. При подходе к национальной культуре мы должны брать ее в том состоянии, в каком мы ее застаем, и аналитически выявить положительные и отрицательные, прогрессивные и реакционные стороны в ней; ибо мы должны исходить из того, что интернациональная культура может быть построена только на основе синтеза национальных культур.

Далее следуют вопросы *языка*. В практической работе в этой области мы прежде всего наталкиваемся на основной вопрос: до каких пределов целесообразно вести дело и строить систему народного образования на родном языке? Это вопрос, требующий принципиального теоретического рассмотрения. В вопросе о терминологии мы должны отвергнуть упрощенную точку зрения, будто весь вопрос сводится к условному обозначению. Это несостоятельно и с научно-лингвистической точки зрения, и с точки зрения практики национально-культурного строительства. Нельзя перегибать палки ни в одну, ни в другую сторону.

Другие вопросы, поднятые в докладе—о школьном строительстве, системе народного образования тоже требуют самого тщательного теоретического и научного рассмотрения. То кустарничество в разрешении этих вопросов, которое практиковалось до сих пор, уже не может удовлетворить назревшим практическим потребностям.

Тов. Сахат-Муратов. Тов. Диманштейн правильно указал, что выразителем интересов наций, главными факторами строительства национальной культуры являются широкие массы, в данном случае крестьянские массы, поскольку национальная пролетарская прослойка еще очень мала. Это утверждение должно быть заострено прежде всего против точки зрения т. Гаджи-Заде. Ибо ясно, что говорить об едином языке для ряда тюркских народов можно лишь имея в виду интеллигенцию, мулл, получивших образование на турецком или джагатайском языке; широкие же массы нас не поймут, когда мы им преподнесем нашу идеологию на этом едином тюркском языке. Мало вероятно, чтобы массовый анатолийский турок и крымский татарин, или казак и узбек поняли друг друга. Постановка вопроса об едином южно-тюркском языке следует признать поэтому ошибочной; мы не можем руководствоваться в данном случае соображениями мнимой экономии.

В вопросе о сближении языков и в связанном с ним вопросе терминологии мы должны стоять на марксистской точке зрения. Не надо искать слов в прошлом или создавать новые слова из старых корней, а нужно заимствовать их от того народа, с которым мы связаны культурно и экономически. Таким народом является для нас русский народ, ибо развитие наших восточных республик зависит от судеб русского пролетариата. Поэтому мы отвергаем как новые заимствования из турецкого, арабского, персидского и т. д. языков, так и замену внедрившихся уже в обиход масс чужих слов своими «самобытными», чему можно привести немало примеров. При этом однако не следует искусственно форсировать сближение народностей, что может привести к обратным результатам.

Что касается школьного вопроса, то надо присоединиться к словам т. Диманштейна, что этот сектор работы у нас отстает. Наши планы ликвидации неграмотности мало реальны. У нас не только недостаточное количество школ, но и существующие школы во многих районах наполовину пусты (пример—Керкинский район ТССР). Подготовка учителей низка, вовлечение женщин ничтожно. Поднятый т. Диманштейном вопрос о создании опорных районных школ с интернатами следует признать вполне назревшим, так как при почти полном отсутствии городского населения среди масс коренной национальности (таково положение, напр., в Туркмении) это является единственным способом вовлечения детей бедняков и середняков националов в орбиту нашего культурного влияния, при чем надо учесть необходимость создания отдельной школы для девочек, иначе нам угрожает поголовная неграмотность женской части населения.

Тов. Стальной. Наблюдающееся стремление к национальной самобытности приводит нередко к печальным результатам не только в области терминологии, но и в других областях, в частности в архитектуре. Так в Туркмении строят красные уголки, больницы и т. п. в «туркменском» стиле, которого собственно говоря и не существует, так как сохранившиеся архитектурные памятники (например в Анау) представляют собою лишь смесь разных стилей. Все это приводит не только к удорожанию строительства, но и к постройке зданий явно неприспособленных к местным климатическим условиям. Примером может служить созданный круглый дом, стоящий как образец дехканского строительства во дворе Ашхабадского дома дехканина. Круглая форма, напоминающая юрту, должна, мол, отображать национальный туркменский дух.

Тов. Оширов. В основном вопросе, поставленном тов. Диманштейном, а именно в вопросе о национальной и интернациональной культуре, об отдалении и сближении национальных культур, имеются некоторые неясности и неточности в докладе. Вопрос надо взять по линии *формы* и *содержания*. Отдаление культур по форме сопровождается их взаимным сближением по содержанию, которое становится в основном пролетарским; а так как форма культуры неотделима от содержания и зависит от него, то подобный процесс приводит не к отдалению культур, а к их более тесному сближению.

Высказанный тов. Диманштейном парадокс о том, что чем менее культурен народ, чем меньше у него грамотных, тем легче широким массам воспринять пролетарскую идеологию, является не совсем убедительным. Если эти народы и не развращены утонченными элементами буржуазной культуры, то зато они находятся в плену у консервативных традиций, связанных с религией. Так богатейший бурятский народный эпос, очень совершенный по форме, весь насыщен реакционными традициями, в частности, шаманскими. Эти традиции у нас так же трудно преодолеть, как напр. идеологию толстовства, Достоевского в русском народе.

В вопросе о языке следует отметить очень существенный момент: вопрос о консолидации местных диалектов. Этот вопрос стоит и в Бурятии и в других национальных республиках. Но в этом отношении следует избегать общих установок, так же как и в вопросе об отношении между литературным и разговорным языком. Мы стремимся к уменьшению расхождения между литературным и разговорным языком. Попытку создания литературного языка, оторванного от разговорного, который об'единял бы целые народности, следует считать повидимому обреченной на неудачу. Так, относительно южных тюрков (если иметь в виду мысль, выдвинутую т. Гаджи-Заде),— об'ективные условия, как напр. хозяйственные и территориальные, очевидно не позволяют серьезно ставить вопрос о создании единого языка.

Совершенно своевременна постановка вопроса о качестве школьного строительства, ибо качество нашего школьного строительства отстает по сравнению с ее количественным ростом. Особенные трудности имеются в кочевых скотоводческих районах. Вопрос о типе школы в кочевых и полукочевых районах должен быть немедленно разрешен. Точно так же, в связи с обострением классовой борьбы в улусах и аулах, необходимо серьезно проработать, хотя бы на основании материалов проводимых многочисленных обследований, вопрос о том, какие классы населения в первую очередь обслуживаются нашей школой.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО Т. ДИМАНШТЕЙНА

Прежде чем перейти к разбору взглядов, высказанных в прениях, я хотел бы ответить на некоторые вопросы, заданные во время перерыва. Меня спрашивают: «Почему Маркс был против возрождения неисторических национальностей, в особенности, славян, и почему мы это не учитываем».—Я полагаю, что вопрос поставлен неправильно; нельзя сказать, что Маркс вообще был против славян, как это пытался делать Чернов в своей книжке «Маркс и славянство»; дело тут совершенно не в национальных моментах или национальных чертах славянства, а в конкретной действительности того времени, в том, чего требовали интересы революции в ту эпоху. Я процитирую одно очень резкое место у Маркса по отношению к славянам, и вы все-таки убедитесь, что дело не в немецком национализме Маркса. Вот что он пишет: «Нет ничего удивительного, что проявившееся во всех славянских областях Германии и Венгрии в стремлении к восстановлению независимости бесчисленных незначительных наций движение панславизма повсюду враждебно столкнулось с европейскими революционными

движениями и что славяне все, как один (за исключением демократической части поляков), оказались на стороне деспотизма, «реакции», хотя, по их утверждению, они и сражались за свободу; это имело место в Германии, Венгрии и даже кое-где в Турции. Являясь изменниками народному делу, охранителями и опорой произвола австрийского правительства, они сами себя опозорили в глазах всех революционных наций... в Праге, полу-немецком городе, толпы славянских фанатиков с восторгом встречали и повторяли возглас: «лучше русская нагайка, чем немецкая свобода» (Революция и контр-рев. в Германии, стр. 99). В своей позиции в вопросе об этих западных славянах Маркс исходил из их приверженности к «русской нагайке», которая угрожала революции, а не из антипатии к славянам или к другим нациям. «Западничество» Маркса имеет такой же смысл, как «гордость великороссов», о чем вам известно из статьи Ленина под этим названием.

Отвечу также коротко на вопрос: «Осталось ли до сих пор верным определение тов. Сталина, что такое нация, данное им в 1912 г.»—Мне думается, что этот вопрос в наших условиях не является актуальным. Декларация прав народов России, этот основной документ национальной политики советской власти, говорит не только о равенстве народов, но также и о свободном развитии национальных меньшинств и даже этнографических групп; это развитие может пойти и в направлении консолидации разных племенных групп в нацию. Признак территории при таких обстоятельствах у нас обязателен, но все-таки у нас твердо установленного минимального процента данной национальности для административного выделения ее не существует (в Крыму, например, 26% татар). Обычно требуется больше 50%, но это не всегда соблюдается. В отношении языка национальностей у нас также имеются исключения, так мордва считает себя единой нацией, в то же время имеет два языка: эрзю и мокшу, или укажем на разделение марийцев—на горных и луговых, сильно отличающихся друг от друга по языку, или, отчасти, на картвелов и мингрелов в Грузии; но в основном—единство языка обязательно; остальные признаки нации вытекают из этих двух моментов. Еще в 1851 г. Пасквале Манчини определил, что «нация есть натуральное общество людей, при единстве территории, происхождения, обычаев, языка, приспособленного к жизненному общению, и социального сознания». Это уже не далеко от нашего определения нации. А Дюркгейм в 1915 г. дает очень своеобразное определение нации: «Национальность есть человеческая группа, член которой, по основаниям этническим или просто историческим *хочет* жить под одними и теми же законами, образовать одно государство... Среди цивилизованных наций теперь является принципом, что эта *общая воля*, когда она утверждается с настойчивостью, имеет право на уважение ..., что она есть *единственная прочная основа государства*». (См. Милюков «Нац. вопрос», стр. 78). Это совершенно не марксистская установка, но характерная для эпохи империализма, выдвигающей на первый план момент *силы*. Характер национального вопроса при диктатуре пролетариата значительно меняется, и в связи с этим меняется и значение определения нации. Но этот вопрос еще недостаточно изучен во всех его деталях.

Отвечу на вопрос. «Какое значение имеет для развития национальных культур в СССР капиталистическое окружение остального мира».—Я считаю, что так же, как для всего нашего социалистического строительства, буржуазное окружение является отрицательным фактором, тормозящим темп развития, но все же фактором преодолимым; также и в культурно-национальном строительстве—окружение затрудняет развитие национальных культур и осложняет проблему, поскольку некоторые национальные культуры развиваются на одном и том же языке одновременно у нас и за кордоном. В таких случаях надо особо следить за тем, чтобы новая культура не подвергалась националистическому влиянию извне, но это не меняет основного содержания культуры в данной национальной республике. Повидимому и этот вопрос связан с возможностью строить социализм

в одной стране, и спор по этому вопросу имеет общепринципиальный характер. Основной момент заключается в том, что при советской власти, когда фактически определяющим фактором воли нации является пролетариат, а вместе с ним и руководящая компартия данной республики, подчиняющаяся централизованному руководству партии—национальная культура по своему содержанию ничего общего не имеет с какой-либо национальной идеей или с какими-то мистическими чертами нации или ее «сущностью». Она—культура—национальна постольку, поскольку она создается самой этой нацией, соответственно всем ее особенностям, и не только одной ее интеллигенцией, так как я уже сказал, что при советской власти основная особенность культурного творчества состоит в том, что исчезает кастовость созидателей культуры, эта надстройка начинает отмирать одной из первых, при отмирании атрибутов старого мира. Мы поднимаемся на высшую ступень создания культуры, символом которой я назвал рабселькоров (т. е. массу города и деревни). По существу эта национальная культура интернациональна, давая в итоге во всем СССР общую сумму всего культурного строительства пролетариата нашей страны.

Отвечаю на последний заданный мне вопрос: «Согласен ли я с постановкой вопроса о национальной культуре у тов. Луппола и признаю ли я вообще слияние наций».

Постановка вопроса о национальной культуре в книге тов. Луппола «Ленин и философия» страдает некоторой неточностью. Он признает, что вообще в СССР противостоят друг другу две культуры—национальная и интернациональная; первую мы отбрасываем, вторую удерживаем. Он делает исключение для отсталых народов и говорит следующее: «Конечно, дело осложняется, когда перед нами отсталая страна и народы, органически связанные со страной, переживающей уже эпоху переходного периода от капитализма к коммунизму, иначе—страна с отсталой культурой, но с диктатурой пролетариата при поддержке более развитой страны. Пролетариат, осуществляющий свою диктатуру, осторожно подходит к культуре отсталых наций. Задача в данном случае состоит в том, чтобы *форму* национальной культуры менее развитых стран пропитать *содержанием* культуры переходного периода» (стр. 252—3). Подход тов. Луппола недиалектичен. Одно из двух—или мы признаем, что понятие национальной культуры и в переходный период осталось таким же, каким оно было при капитализме,—тогда мы поступаем правильно, отвергая ее для более передовых частей Союза; но в таком случае, к чему сохранять эту буржуазно-поповскую культуру (ибо такова форма национальной культуры у Ленина) для отсталых народов и наполнять ее несоответствующим, не вяжущимся с этой формой содержанием? Либо мы признаем, что при диктатуре пролетариата, при совершенно других соотношениях классовых сил внутри *каждой* нации, понятие «национальная культура» означает уже нечто совершенно иное, а именно, культуру носителей воли нации в лице пролетарской диктатуры, и тогда это понятие следует признать применимым *не только* в отношении отсталых частей Союза. Если мы стремимся, по выражению Ленина, к интернациональной культуре демократизма и всемирного рабочего движения (XIX, стр. 50) и в то же время согласны с Лениным в том, что «интернациональная» культура не безнациональна... Никто этого не говорил. Никто «чистой» культуры: ни польской, ни еврейской, ни русской и т. д.—не провозглашал» (там же, стр. 43),—то какая страна имеет больше права, чем СССР, и в особенности его передовые народы, считать свою культуру демократической, рабочей, содержащей необходимые элементы для создания интернациональной (а не безнациональной) культуры из слагаемых национальных культур? Ясно, что именно теперь национальная культура у нас больше не жупел, а основа для интернациональной культуры пролетариата, строящего новое общество с новой культурой на базе всех материальных

ц культурных достижений старого общества. Итак, тов. Луппол неправ: термин национальной культуры мы уже можем применять *ко всем* народам Советского Союза, не только к отсталым.

В программе Коминтерна по национальному и колониальному вопросу, охватывающей все национальности, мы читаем: «Обеспечение и поддержка всеми силами и средствами советского государства *национальных культур* освободившихся от капитализма наций, при последовательной пролетарской линии в деле развития содержания этих культур» (стр. 59). Это веское постановление Коминтерна говорит вполне определенно о национальной культуре всех наций, освободившихся от капитализма независимо от ступеней их развития. Тов. Луппол недостаточно правильно поставил вопрос о развитии национальных культур в переходный период от капитализма к социализму. Национальная культура все больше и больше будет превращаться в социалистическую по мере того, как она будет преодолевать наследие буржуазной культуры, впитывая в себя все здоровое и необходимое, отбрасывая все лишнее, вредное, неразрывно связанное с классовым характером этой культуры, в том числе и национальные элементы *в старом* смысле этого термина.

Это совершенно не значит, что мы рассматриваем нации как вечные категории, в противоположность марксизму, учащему о слиянии наций. Вообще говоря, вечных категорий нет: все течет, все меняется; действия этого закона не могут избежать и национальности. Вопрос состоит в том, каковы *этапы* этого процесса. Я не могу вдаваться в полный разбор вопроса об ассимиляции народов—в нашей Комиссии Комакадемии мы уже раз обсуждали этот вопрос более обстоятельно; однако, укажу схематически, как я представляю себе эти процессы. При капитализме нужны были твердые признаки для определения нации, так как при борьбе всех против всех, при строе, основанном на эксплоатации и на угнетении сильными слабых, выражающемся также в борьбе национальностей, всякая нация, терявшая некоторые свои основные признаки, как территория или язык или т. п., немедленно попадала под неумолимые жернова истории, которыми вертела крепкая рука беспощадных угнетателей. Такие нации или народности, после некоторого периода сопротивления и беспомощного барахтанья, исчезали, оставляя за собой только исторические следы. При капитализме устойчивость нации увеличилась, так как буржуазия угнетенных наций втягивала более широкие круги в борьбу за сохранение нации, исходя из своих экономических потребностей, но зато усилились средства давления угнетающих наций, стремившихся возможно скорее поглотить слабые нации; опасность исчезновения стоит перед многими национальностями, которые, теряя некоторые признаки нации, обрекаются на гибель.

При революционном переходе власти к пролетариату, последний перемещает «находу» все общество и сбрасывает с чашки весов истории все факторы угнетения, вызываемые капиталистической эксплоатацией, в том числе и национальный гнет. Это обстоятельство совершенно изменяет кривую развития национальностей: напр., нации-поглотители теряют свою способность к поглощению слабых наций насильственными средствами, а поглощаемые нации крепнут, становятся на ноги и принимают все меры к тому, чтобы зажить новой национальной жизнью, используя возможности, предоставленные пролетарской революцией. Можно ли говорить при этом о шаге назад от слияния наций, о регрессе вместо прогресса (так, по крайней мере, мыслит немалое количество русотяпов)? Вряд ли приходится спорить с такими взглядами в этой аудитории. Очень сомнителен прогресс, состоящий в насильственном изувечении здоровой нации методами самодержавия. К тому же достаточно известно, что эта политика вела не к слиянию наций, а к вечной распре между ними и к сепаратизму; дело шло не к слиянию народов, а к распаду Рос-

сии; об «успехах» руссификации можно было говорить только в очень относительном смысле.

Кроме того, если мы например считаем целесообразным раздробление крупных помещичьих имений—передовых хозяйств—и передачу их в интересах революции крестьянству, то по аналогии нельзя не признать целесообразным предоставление самостоятельности отдельными национальностям, даже и таким, которые—в виде исключения—шли по пути ассимиляции или даже были на пороге ассимиляции, тем более, что эти нации пошли теперь за пролетариатом и создают свою национальную культуру на интернациональной основе.

После пролетарской революции происходит неизбежный естественный рост числа национальностей, усиление процессов дифференциации и консолидации. Однако, надо предполагать, что после некоторого периода времени станут обнаруживаться действия другого характера; это «национальное» движение начинает сталкиваться с другими, противоположными и в то же время решающими факторами. Вместо насильственного угнетения капитализма начинают действовать притягательные силы больших передовых культур, которые, не ведя какой-либо наступательной борьбы против культуры других наций, одним фактом своего существования и своей «податливостью», предоставляющей отдельным индивидам и целым нациям возможность овладевать ими, являются, так сказать, постоянным соблазном. В этом направлении действуют и экономические факторы, которые с развитием социалистического строительства и большим накоплением экономических благ при легкости их создания не будут действовать с такой силой, с какой они действуют сейчас, но все-таки будут оказывать известное действие в направлении слияния культур.

Надо полагать, что сближение между нациями, а затем и слияние будет происходить определенными и довольно длительными этапами, напоминающими процесс развития демократии, начиная с буржуазной демократии, переходя к мелкобуржуазной и кончая затем пролетарской, до полного исчезновения этого понятия в связи с отмиранием государства. Нечто подобное будет представлять и процесс возникновения, развития, усиления, ослабления и исчезновения наций.

Совершенно естественно, что этот процесс будет прежде всего касаться национальностей, живущих вперемежку между собой, в одинаковых материальных и прочих условиях. Притягательные силы современем окажутся сильнее, чем факторы раз'единяющие. Начинается процесс физической ассимиляции и переплетения культурных взаимодействий, в том числе и процесс сближения языков. Основная особенность этого процесса, в отличие от таких же процессов при капитализме, заключается в том, что, вместо поглощения одной нации другой, происходит амальгамирование, взаимное смешение, дающее в смысле национальном нечто новое—единое тело, составившееся из добровольно слившихся частей, каждая из которых вносит свои богатства, накопленные веками; процесс ассимиляции продолжается; он захватывает уже соседние народы, живущие не вперемежку, а рядом. Надо полагать, что в более отдаленном будущем смешение национальностей будет возрастать, а не уменьшаться; в связи с этим будут усиливаться процессы ассимиляции. Период ассимиляции народов, в течение тысячелетий живших рядом на отдельных территориях, который последует за первым этапом, будет, понятно, неодинаков в отношении разных национальностей.

Мне кажется, что расовые признаки, вытекающие из разных, мало меняющихся природных условий, сохраняют бо́льшую устойчивость, чем более или менее искусственные национальные признаки. Это, понятно, не значит, что будет происходить борьба рас (ныне позорно культивируемая буржуазией под предлогом желтой или черной и т. п. опасности), а просто расовые отличия людей разных частей света

будут выявляться в их культуре; однако, массовые переселения людей в условиях более доступного сообщения будут с течением времени в значительной мере сглаживать и эти различия.

Я не хочу очень подробно вдаваться в разбор этого далекого будущего, который сможет, пожалуй, привести меня даже к вопросу о межпланетном сообщении будущих людей; я спешу вернуться к моей более скромной, но более реальной теме.

Теперь отвечу товарищам, выступавшим в прениях. Здесь говорилось, будто я ставил вопрос о том, что надо отделять культуру одной национальности от другой. Я этого не сказал и не мог сказать. Я только констатировал, что встречаются и элементы расхождения культур. По своему содержанию не только туркменская пролетарская культура и украинская одинаковы, но даже культуры на лезгинском языке и на бушменском языке,будучи пролетарскими по содержанию, будут по существу однородны. Но классовое содержание может быть выражено в различных национальных аспектах по-иному, то же классовое содержание может иметь различные формы, которые могут значительно отличаться друг от друга. Мы все стараемся итти к единой монолитной пролетарской культуре, но пути, ведущие к этому, очень разнообразны. Если я сказал, что украинская культура имела некогда в смысле языка больше общего с русской, чем это имеет место теперь, то отчасти это правильно, но в другой части я сам указывал на существующие пути и тенденции сближения. Оценивать ли факт этой дифференциации как положительный или отрицательный—это вопрос другой. Мы должны констатировать то, что есть. Товарищи, нам как марксистам необходимо считаться с эпохой, с обстановкой при решении вопроса о слиянии языков. Какие основные вопросы стоят перед нами? Перед нами стоят сейчас политические вопросы, т.е. вопросы о том, как привлечь по возможности более широкие массы к советской власти, на сторону коммунистической партии. В основном сейчас стоит вопрос об укреплении диктатуры пролетариата и советской власти. Нам нужно втянуть в работу низовые пласты, нам необходимо как возможно глубже внедриться в массы; такова задача сегодняшнего дня. Можем ли мы это делать посредством создания нового общего языка для тюркских народов, для славянских народов или для других народов в течение ближайших лет? Если вы хотите, чтобы массы понимали нас и друг друга, то перед вами сейчас в первую очередь встанет вопрос не о том, чтобы создать более удобный литературный язык, на котором можно изящнее выражаться, но который еще очень долго не будет понятен массам, а о том, чтобы создать такой язык, на котором широкие массы нас сразу лучше поняли бы и скорее бы за нами пошли. Поэтому в нынешнем этапе нашей революции надо так ставить вопрос о едином тюркском языке или других об'единений: поведет ли это к сближению между пролетариатом и крестьянством или нет? К массам мы должны обращаться на понятном для них языке, который отражает их быт и условия их жизни. В дальнейшем мы сможем поставить вопрос о создании одного более общего языка для целой группы близких народов, но сейчас условия для этого еще не назрели, сейчас мы наблюдаем противоположную тенденцию: развитие языков идет в сторону отдаления друг от друга, потому что они все ближе и ближе приближаются к массам, живущим в деревне, не приобщенным еще к культуре. Полагаю, что в дальнейшем у нас возникнет и противоположная тенденция. Когда мы теперешнюю ступень пройдем, мы сможем двигаться дальше по этому пути.

Тов. Оширов сказал, что я не прав, говоря о преимуществах народов, начинающих свою культурную историю при сов. власти. Я сказал, что эти народы начинают в своем культурном развитии сразу с Ленина, Маркса и т. д. Тов. Оширов говорит, что это не совсем верно, ибо у этих народов существует, как он сказал, устный эпос. Он указывал на появившиеся в «Правде» народные легенды, складывающиеся на Востоке о Ленине, в которых Ленин обоготворяется. Товарищи, никто не собирался

и не собирается идеализировать отсталость; я не толстовец, но когда речь идет об обоготворении, то пусть лучше тибетцы обоготворяют Ленина, чем Далай-Ламу, (хотя и с этим надо усиленно бороться). В дальнейшем мы сможем поступить с таким заблуждением, как Маркс поступил с Гегелем, перевернув его с головы на ноги. Во всяком случае я должен сказать, что этот этап работы будет уже гораздо легче (*с места:* В этом заключается вся проблема), чем бороться с образованной националистической интеллигенцией, от влияния которой гораздо труднее избавиться, чем от примитивной идеологии детства человечества. Поэтому я считаю, что та мысль, которую я выдвинул, является совершенно верной, она подводит вплотную к вопросу о некапиталистическом развитии в отсталых странах, для которых буржуазная культура не является необходимым этапом.

Следующий момент из прений, на котором я хочу остановиться,—это вопрос о терминологии в национальных языках, вопрос, связанный с трудными и сложными проблемами. Нельзя выбросить лозунг: берите непременно русскую терминологию. Я считаю, что такой лозунг неудобен даже политически; тут сразу могут заговорить о руссификации. Затем, нельзя сказать, что русская терминология филологически совершенна и пригодна для всего СССР. Поэтому я думаю, что моя мысль была правильна, когда я сказал: берите то, что более удобно, более понятно и ближе к массам. Это мы должны принять как общий лозунг в вопросе терминологии. Для некоторых это будет, скорее всего, русская терминология, но имеются народы, соприкасающиеся с народами, живущими рядом по ту сторону границы, в Персии, в Афганистане, в Турции и др. Быть может, у этих народов можно будет взять некоторые термины, если они подходят для народов, живущих в СССР. Поэтому я считаю, что в вопросах терминологии нам надо ставить вопрос о том, чтобы брать именно те слова, которые наиболее подходят для данного народа, которые ему знакомы, но вовсе не нужно, в виде общего принципа, заимствовать во что бы то ни стало русскую терминологию или, наоборот, допускать националистические тенденции и быть непременно против русских терминов.

Я хочу заключить вопросом об интернациональном и национальном воспитании, о котором много говорили. В прошлом докладе я тоже касался этого вопроса насчет сближения между нациями. Я хочу на сей раз ограничиться только тем, что вытекает непосредственно из вопросов интернационального сближения на почве развития национальных культур. Я указывал в прошлом докладе, что нам необходимо переводить с одного национального языка на другой. Почему не переводить из узбекской литературы на украинский язык, из тюркской литературы на белорусский и т. д. Перед нами стоит во всем об'еме вопрос о взаимном ознакомлении народов. Об этом я подробно говорил в прошлом докладе. Я выдвигаю вопрос об интернациональном воспитании в смысле постановки экскурсий, делегаций и массовых встреч. Почему не ездить группам учителей из одной республики в другую, чтобы посмотреть как ведется учебная работа? Почему не устраивать женских делегаций для содействия раскрепощению женщины? Я считаю, что мы до сих пор в проведении интернационального воспитания—не только в школьном строительстве—отстаем, не делаем того, что нам нужно было делать. Я думаю, что интернациональное воспитание совершенно не исключает того, что, например, у каждой нации может быть свой архитектурный стиль. Я за интернациональное воспитание, но в то же время могу допустить, что в Туркмении нужны дома круглые, а не четырехугольные, как у нас. Я помню, что во время моей работы в Средней Азии, киргизы, которым отдавали русские хаты, рядом ставили свою юрту и жили в юртах, а в хаты не ходили.

Интернациональное воспитание, которое мы хотим проводить, состоит не в уничтожении всех национальных черт. Для нас интернациональное воспитание важно

в смысле политическом. В интернациональном воспитании важнее всего, чтобы народы поняли, что Союз ССР их общее отечество, социалистическое отечество всех; нам нужно, чтобы туркмен чувствовал, если бьют белоруса, чтобы азербейджанскому тюрку было больно, когда бьют молдаван, чтобы была цементированная пролетарская солидарность между всеми национальностями СССР. На данном этапе нашей работы, в этом важнейшем моменте и заключается интернациональное воспитание. Сталин правильно сказал на XII с'езде партии, что основной вопрос в том, чтобы повести за передовым пролетариатом отсталое национальное крестьянство. Это то, что нам нужно сейчас с точки зрения интересов революции, в том числе и культурной революции. Формы осуществления этой смычки могут варьировать в зависимости от специфических особенностей отдельных республик при условии, что в данной республике национальный момент является не самодовлеющим, а подчиненным, и что основным моментом является классовый момент,—интересы революции. Вот в чем основная задача. Но этот подчиненный момент сам по себе настолько важен, что вы не можете его игнорировать, если вы хотите сохранить мощь свободного Союза народов—СССР; национальный момент должен быть достаточно учтен, достаточно понят для того, чтобы он, развиваясь на здоровой почве, привел бы скорее, при правильном руководстве партии, к подлинному пролетарскому интернационализму.

«МАРКСИЗМ» КАУТСКОГО

(Доклад т. М. Фурщика)[1]

Товарищи, вам розданы были тезисы, которые состоят из двух частей: «Каутский и материализм» и «Каутский и диалектика». В виду обилия материала мы решили прочесть два доклада. Сегодня я прочитаю доклад по первой части, т. е. на тему: «Каутский и материализм».

Разрешите сначала небольшую историческую справку. В январской книжке журнала австрийской социал-демократии «Der Kampf» за 1925 г. опубликовано письмо Каутского к Плеханову. Письмо это от 22 мая 1898 г. по вопросу о знаменитом литературном выступлении Плеханова против Бернштейна. В этом письме Каутский, стараясь «утихомирить», утешить, успокоить Плеханова в отношении Бернштейна, заявляет, что неокантианство Бернштейна не так страшно, что это меньше всего смущает его, Каутского, и меньше всего должно смущать Плеханова. Правда, оговаривается он, «философия никогда не была моей сильной стороной, и если я целиком стою на точке зрения диалектического материализма, то я тем не менее полагаю, что экономическую и историческую точки зрения Маркса и Энгельса в крайнем случае (zur Not) можно соединить с неокантианством, как можно соединить дарвинизм с материализмом Бюхнера, как можно соединить монизм Геккеля с кантианством Ланге».

Что меня смущает,—пишет он дальше,—так это экономические и исторические взгляды Бернштейна.

Это одна справка, из которой следует с совершенной очевидностью, что у Каутского в 1898 г. было, так сказать, в отношении философии весьма широкое сердце: он считает, как видно из этого письма, что марксизм и философия—разные вещи, что марксизм можно об'единить с любой философией.

Еще более ярко выступает этот взгляд Каутского в другом письме, напечатанном в том же «Kampf'е» и датированном 26 марта 1909 г. Это письмо является ответом на запрос одного русского рабочего, цюрихского эмигранта Бендианидзе, интересовавшегося отношением Каутского к махизму. Вот одна выдержка из этого очень любопытного письма:

«Вы спрашиваете: является ли Мах марксистом. Это смотря по тому, что понимать под марксизмом. Я понимаю под марксизмом не философию, а опытную науку, особое понимание истории. Это понимание истории, конечно, несоединимо с идеалистической философией, но не несоединимо с махистской теорией познания. Сам Мах не марксист по той простой причине, что он физик и от научного исследования общества стоит далеко».

Нас в данном случае интересует основная установка Каутского. Каутский чуть не об'являет Маха марксистом. Во всяком случае ничто не мешает ему Маха

[1] Зачитан в Институте философии Комм. Академии 17 и 31 января 1929 г.

соединить с Марксом, никакого внутреннего противоречия он здесь не видит, все в порядке. Налицо совершенно определенное махистское настроение.

Если в письме от 1898 г. он ничего не имеет против неокантианства, то в 1909 г. он гораздо более определенно кивает в сторону махизма, давая совершенно определенное теоретическое разрешение на соединение марксизма с махизмом. Продолжение этого последнего письма еще очень интересно в том смысле, что Каутский ругается по адресу русских марксистов, которые занимаются философскими дискуссиями, считая это совершенно излишним и вредным.

После этого законно поставить вопрос, является ли это настроение Каутского, вернее—эти настроения Каутского случайными или они коренятся глубоко в его философии, его мировоззрении. Его теперешняя книга подводит итоги, яркие итоги. Это не подлежит сомнению. Об этом я буду говорить подробно еще сегодня. Но нас интересует вопрос, не имеют ли эти настроения, выявленные в этих письмах, еще кое-какого прошлого, т. е. другими словами, не необходимо ли заглянуть еще глубже в прошлое Каутского? И действительно, там есть очень много интересного, есть ряд интереснейших исторических документов: статьи, рецензии, заметки. На всем этом не остановишься. Было бы очень интересно, например, произвести анализ его первоначальной работы от 1876 г., которую он счел нужным присоединить к теперешнему своему энциклопедическому труду. В этой работе проводится взгляд, что вся история человечества представляет собой борьбу между коммунистическими и индивидуалистическими инстинктами, другими словами—историческая концепция Каутского сводится там к чему-то в роде борьбы врожденных инстинктов.

Интересно было бы отсюда итти дальше к его всем известным статьям, переведенным на русский язык, от 1883 и 1884 гг. Я имею в виду статьи «Социальные инстинкты в мире животных» и «Социальные инстинкты в мире людей». Там также есть интереснейшие вещи. Стоит только вспомнить, скажем, положение, довольно ясно выраженное Каутским в его статье «Социальные инстинкты в мире людей», положение о том, что «первобытный коммунизм является одним из проявлений социальных инстинктов». Необходимо помнить при этом, что Каутский уже тогда был редактором «Neue Zeit». И вот как он—редактор марксистского журнала—обосновывает первобытный коммунизм. Никакой попытки дать действительное экономическое, марксистское об'яснение. Наоборот, превалирует тенденция об'яснить первобытный коммунизм как следствие социальных инстинктов, унаследованных человеческой расой от животного царства. Историческая концепция 1876 г. сохраняется и в 1884 году.

Повторяем, было бы интересно детально проследить все эти вещи и показать истоки недоброкачественного, своеобразного каутскианского «марксизма».

Но есть один документ, еще более яркий, от 1888 г. Это статья о Шопенгауэре. К столетию рождения Шопенгауэра Каутский написал статью в «Neue Zeit», где он критикует Шопенгауэра, но критикует так, что чувствуется, что он его сторонник, поклонник, по крайней мере наполовину. Впрочем он сам в этом красноречиво признается.

Он согласен с положением Шопенгауэра, с первой половиной его философской формулы, с положением о том, что мир есть представление. Ему только трудно согласиться со второй половиной шопенгауэрской формулы: «Мир как воля».

«Что мир есть представление,—поясняет Каутский,—это означает, что то, что является мне в виде внешнего мира, на деле суть лишь представления в моей голове. Время, пространство и причинность,—порядок причины и следствия—лишь формы нашего познания мира, они не принадлежат к вещам в себе. Эти последние не могут быть познаны путем об'ективного познания представления. Этому

учил еще Кант и сделал из этого вывод, что вещи в себе не познаваемы». Шопенгауэр, продолжает Каутский, «согласился бы с этим», если бы он не видел еще другого пути познания помимо пути созерцания внешнего мира, а именно познания через волю непосредственно.

И Каутский высказывается против шопенгауэрской метафизики воли в этой статье. Но делает он это очень робко и нерешительно. Он заявляет, что рискованно стать на точку зрения такой воли, ибо сама воля тоже в конце концов есть явление. Мы знаем отдельные волевые акты, направленные на отдельные об'екты. Воли как таковой мы не знаем. Кроме того, опасно стать на такую точку зрения. Это значит через задние двери пустить бога. Как видите, Каутский довольно робко и нерешительно возражает здесь Шопенгауэру. Я приведу дословно еще одно рассуждение, характеризующее робость и нерешительность его позиции: «По крайней мере мы,—говорит Каутский о себе,—еще не достигли того внутреннего просветления, которое показало бы нам «волю» как абсолютно известное».

Дело в том, что Шопенгауэр свою волю основывает на интуиции, на том, что воля дана непосредственно, интуитивно и, следственно, более известна, чем все об'екты представления и т. д. Каутский не решается встать на эту точку зрения, виляя и оговариваясь. Но по всему видно, что он этой точке зрения сочувствует. В своей последней книге Каутский в вопросе о воле окончательно сдает позиции Шопенгауэру. Он преодолевает свою робость, старую нерешительность и решительно становится на точку зрения Шопенгауэра, соглашаясь таким образом и со второй половиной шопенгауэровской формулы спустя несколько десятков лет.

Для того чтобы убедить вас в том, что это так, я приведу некоторые рассуждения Каутского из его последней книги. Высказываясь решительно и темпераментно против мировой цели, Каутский, однако, за отдельные цели, за внутренние цели, имманентные каждому организму. Ясно, что он тем самым в конце концов и становится на точку зрения Шопенгауэра. Каутский находит, что каждому организму свойственен, дан априори инстинкт самосохранения, или, как он его называет иначе, следуя шопенгауэровской терминологии,—«жизненная воля». «Этот инстинкт самосохранения, подчиняющий сознание как свой орган, есть не что иное,—об'ясняет Каутский,—как «жизненная воля».—«Она излишня и вероятно отсутствует (Каутский в этом не уверен),—продолжает он свои рассуждения,—у организмов с бессознательными движениями. Но там, где начинается сознательное движение, там есть эта воля, выступает эта воля как жизненный принцип, направляющий это движение. «Как образовалась эта воля?»—спрашивает Каутский и отвечает: «об этом мы пока так же не можем ничего сказать, как не можем ничего сказать о начале мышления и ощущения, духа и самой жизни». Она дана вместе с жизнью, неизменно ей сопутствует, ярко выступая вместе с сознательным движением и наибольшей интенсивности достигая у человека.[1] «Не только каузальное, но и телеологическое мышление является жизненной необходимостью для них»—говорит Каутский о человеке и высших животных, у которых жизненная воля выступает наиболее ярко и интенсивно (т. I, с. 36). Здесь налицо еще соблюдение «равноправия» между знанием и волей; неясно еще как Каутский разрешает вопрос об отношении между волей и знанием. Однако во втором томе в связи с полемикой с Де-Маном Каутский как нельзя более четко формулирует свою точку зрения в следующих словах: «Нет сомнения, что в последнем счете наша воля, наше хотение определяется не нашим познанием, а дана нам до всякого познания и определяюще на него воздействует... Хотение, таким образом, раньше знания» (т. II, с. 714).

[1] *Каутский*, Материалистическое понимание истории, т. I, с. 222.

Яснее выразиться трудно. Воля, хотение—априорны. Эти взгляды Каутского, которые я тут по необходимости вкратце изложил, являются в сущности повторением взглядов Шопенгауэра, с той лишь разницей, что Каутский не решается распространить этот по существу метафизический принцип на неорганический мир, ограничивая таким образом, сферу его действия. Но исходный пункт один и тот же. Далее. Отношение между познанием и волей Каутским разрешается целиком в духе Шопенгауэра. По Шопенгауэру познание есть «медиум мотивов», оно обусловливает действие непосредственно, но оно подчиняется воле как направляющей. То же у Каутского.

Разрешите теперь после этого исторического экскурса перейти вплотную к теперешней философской позиции Каутского и раньше всего к вопросу об идеализме и материализме, к проблеме духа и материи.

Что Каутский не материалист, явствует уже из его определения материализма и идеализма. Вот как он определяет материализм и идеализм. «В то время, как материализм... старался постичь человеческий дух как часть природы (als Stück der Natur), его противник рассматривал дух как находящийся вне природы» (т. I, с. 48).

Основным признаком материализма Каутский, значит, считает рассмотрение всех без исключения явлений духа во всеобщей связи. И только. Вопрос о первичности и вторичности, т. е. что чем порождается, Каутский считает праздным и самую его постановку неправильной, так как она выводит «за пределы опыта».

«Как бы разнообразны ни были,—говорит он,—формы, в которых проявляется материализм в одном они сходятся однако. Они понимают все явления этого мира в одной всеобщей связи» (т. I, с. 29).

Нечего говорить о том, что этот признак, общий материализму и позитивизму, не может служить характерным признаком материализма. Энгельс в своем «Л. Фейербахе» устанавливает другой действительно решающий признак, состоящий в признании первичности материи. Всякое другое понимание материализма в отличие от идеализма, принимающего дух за первичный, вносит, по мнению Энгельса, «путаницу».

И это несомненно так. Посмотрите, какая путаница получается у Каутского в результате пренебрежения им формулой Энгельса. Каутский жалуется: «несмотря на то,—говорит он,—что все явления, все области знания находятся в тесной связи, мы постоянно находим в философии попытки из'ять из всеобщей связи специальную область явлений, которую противопоставляют как особый мир: человеческий дух и его общественные проявления. Дух противопоставляется материи, общество—«природе», науки разделяются на естественные и духовные» (т. I, с. 29—30).

Так поступает идеализм. Выходит, что вина идеализма не в том, что он считает дух первичным, а материю—вторичной, а в том, что он дух *противопоставляет* материи. Грех идеализма в противопоставлении духа материи. Не больше. Дух и материя, неразрывно связанные во всеобщей связи мира, вселенной,—идеализмом мыслятся как противоположности. Между тем эту противоположность необходимо устранить. Вот мысль Каутского.

Материализм в свою очередь грешит тем же, выходит дальше по Каутскому. У него «поспешные гипотезы», из которых самая поспешная—отгадайте — атом. Послушайте.

«В современной физике и химии,—жалуется Каутский,—продолжают жить мельчайшие тельца, к движению, столкновению и соединению которых сводили всю мировую жизнь Демокрит, Эпикур и Лукреций, и которые они назвали атомами». И это при том положении, жалуется дальше Каутский, когда современная наука показала, что атом сложное тело, состоящее из электронов, которые в свою очередь, может быть, также окажутся сложными. «Атом материалистов находится по ту сторону всякого опыта. Материалистический метод не должен, строго говоря, им оперировать» (т. I, с. 30).

Каутский хочет изгнать атом как поспешную гипотезу Демокрита, Эпикура и Лукреция. Их атом оказался сложным телом. Значит «гипотеза» Демокрита, Эпикура и Лукреция оказалась несостоятельной и поспешной. Каутский на этом основании призывает материалистов к «самоограничению». Каутский выражается мягко, но он тем сильнее бьет по материализму. «Самоограничение» материализма Каутскому необходимо для примирения материализма с идеализмом. У идеализма, говорит он, обращаясь по адресу идеалистов, «свой атом»—лейбницевская монада, у материализма свой атом. Ошибаются оба—и идеализм и материализм. И эти ошибки обоих Каутский пытается доказать исторически.

Идеализм, по его мнению, питается главным образом «душевными потребностями», каковы «вера в бога» и поиски «смысла жизни», а также неумением обосновать мораль. Материализм же наивно и примитивно полагает, что можно об'яснить дух из материи. Недостаткам материализма и генезису «душевных потребностей», которым он якобы не даст удовлетворительного об яснения, Каутский посвящает ряд страниц, заслуживающих особого разбора.

Идеализм не возник, благодаря необходимости выяснить вопрос об отношении мысли к материи, приведший к учению об отделимой от тела душе, к утверждению бессмертия души, а благодаря врожденной «душевной потребности» познания связи явлений, толкнувшей его на «поспешную гипотезу» о боге.

Атом Демокрита и бог—оба для Каутского «поспешные гипотезы», и только; для Каутского между этими обеими гипотезами принципиальной разницы нет. Обе эти гипотезы жили и боролись, продолжают бороться до наших дней. И этому необходимо положить конец во что бы то ни стало. И сделать это хочет Каутский.

Чтобы убедить идеалистов в том, что они не правы, выделяя человеческий дух из всеобщей связи, Каутский сравнивает человека с животным. Он говорит по адресу идеалистов: либо вы отказываетесь от бессмертия души либо вы признаете таковое и за кротом. Каутский, видимо, считает этот аргумент «убийственным». Каутский не понимает, что таким аргументом нельзя убедить идеалистов, стоящих на точке зрения, что в основе мира лежит духовная субстанция. Потому-то идеалисты и рассматривают дух вне и над природой, что они его считают причиной по отношению к природе. Этого Каутский не понимает, вернее, не хочет понимать. Иначе он пошел бы в лобовую атаку, ударяя по основному вопросу о субстанции, а не тратил бы свои силы на атаку по второстепенному относительно первого вопросу. Очевидно, что Каутский в основном именно вопросе сдал позиции. В результате не он бьет идеализм, а наоборот, идеализм бьет его. Каутский должен отступать перед идеализмом, оказаться в плену у идеализма. Это неизбежно.

Теперь пойдем дальше. Стараясь примирить дух и материю, уничтожить их противоположность, он в своей аргументации против идеализма отводит большое место богоборчеству. Здесь он непомерно много тратит энергии, много бумаги, много темперамента вкладывает, но трудно читать эти строки без усмешки, потому, что он в своих рассуждениях тащит нас назад к XVII—XVIII веку, когда дело борьбы с богом было конечно великим прогрессивным явлением. Он компенсирует себя, размахивая картонным мечом против бога, компенсирует себя за то, что он бежит от основного вопроса, что он бежит от материализма. С такой же энергией он борется в этой последней книге против телеологии, а вы уже видели, что он телеологию допускает. Телеология играет у него большую роль в диалектике. Он строит в сущности диалектику на этой теории. Но о диалектике мы еще будем говорить.

Каутский, не будучи материалистом, в целом ряде мест сплошь и рядом настаивает однако на том, что он материалист, понимая под своим материализмом *материалистический метод*, отождествляя материализм с методом. Устранив субстанцию, покончив

с этим вопросом, об'явив спор о субстанции никуда негодным, постановку вопроса неправильной, он свой материализм хочет видеть в методе. От материализма, говорит он, остался только метод—все остальное обанкротилось, все попытки об'яснить дух из материи, как порождение материи, обанкротились,—остался только метод, только «материалистический метод». Этот метод Каутский очень часто еще называет естественно-научным. Его точка зрения здесь снова позитивистская. Это—точка зрения, выдвинутая Кантом, поставившим себе совершенно определенную задачу обосновать, своеобразным образом обосновать опыт, дать теоретическое обоснование естествознанию, но так его обосновать, дать ему такое обоснование, чтобы оставить место для идеализма. В этом по существу состоит кантианство. Так как Каутский кантианству учился у Альберта Ланге больше, чем у самого Канта, то мы процитируем одно место из «Истории материализма» Ланге. «Что Кант обо всех предметах естествознания судил строго натуралистически, не подлежит никакому сомнению... Кант оставляет всю область естественно-научного мышления на прежнем месте и в прежнем значении, как великое и единственное средство расширить наши опыты относительно мира, данного нашими чувствами, привести их в связь, и этим путем сделать понятным наш мир в причинной связи всех явлений». «Но Кант,—говорит Ланге дальше,—не останавливается на естественно-научном и механическом мировоззрении... утверждает, что этим дело не кончается, что у нас есть основание подвергнуть рассмотрению также и мир наших идей, что ни мир явлений, ни мир идей не может быть признан за абсолютную природу вещей». Тот же Альберт Ланге указывает на Лейбница в качестве еще одного примера, что можно быть человеком науки, строгим натуралистом, и в то же время идеалистом. «У Лейбница мысль о мире как представлении, находит себе крайнее выражение в учении о представлении монад, между тем Лейбниц в понимании мира явлений следует в то же время строжайшему механическому воззрению, и прием, употребляемый им по отношению к какой-нибудь проблеме физики, не отличается ничем от приемов других физиков». Каутский рассуждает точно так же: я позитивист, мой метод научный, естественно-научный, мое требование—все понимать во взаимной связи без вмешательства какого-либо бога, во всем следовать опыту. Но, как и у Альберта Ланге, место для идеализма у Каутского остается. Вот почему Каутский отождествляет свой метод с материализмом, называет свой позитивистский метод материалистическим методом—это необходимо для прикрытия того, что он в своей философской системе оставляет место для идеализма.

Присяжный критик австро-германской социал-демократии, Адольф Брауналь совершенно правильно, разбирая книгу Каутского, говорит по вопросу о методе: «Каутский,—говорит он,—противопоставляет философскому материализму материалистический метод, под которым он, собственно говоря, ничего другого не понимает, как научный метод исследования, которым должна оперировать каждая отдельная наука, которым следовательно должно оперировать и материалистическое понимание истории, являющееся научным методом изучения истории». Желая притянуть Маркса и Энгельса к этому делу, к делу сведения материализма к «методу», при котором вопрос о субстанции остается совершенно в стороне, Каутский берет на себя печальную смелость заявить, что и Энгельс под материализмом понимает метод и под материей признание, что мир, вселенная, действительно существует вне нас, что он не чистый призрак, не является продуктом человеческой головы. По Энгельсу,—говорит он,—материей называется вселенная. Конкретной материи нет, определенной, чувственно существующей материи нет. Короче говоря—Энгельс за материализм без материи, за материализм, который состоит в одном только признании, что что-то существует вне нас; материализм отличает *абстрактное признание существования внешнего мира*. По мнению Каутского Энгельс не знает материи как субстанции.

Чтобы «доказать» свой «материализм», Каутский, как это ни странно, ссылается на Канта. Кант, говорит он, был материалистом. Кант был материалистом, так как признавал внешний мир в отличие от Беркли. Что же касается критицизма Канта, то это вовсе не беда. С каких пор, говорит Каутский, критицизм несовместим с материализмом? Его критицизм, говорит он, наоборот—мог бы служить замечательным исходным пунктом для «высшей формы материализма». Критицизм и материализм не то что противоречат друг другу по Каутскому, а друг другу принадлежат. *Настоящий материализм непременно связан с критицизмом.* Каутский кантовскую вещь в себе, непознаваемость вещи в себе не только приемлет, но считает величайшей заслугой, открытием, бессмертной заслугой Канта. Вместе с Кантом Каутский заявляет, оставаясь верным своей старой точке зрения, что мир есть представление; вместе с Кантом он заявляет, что мы вещь в себе познать не можем. И не доволен он Кантом только за то, что он «выходит за пределы опыта», почему он, считая вещь в себе непознаваемой, однако, ищет выхода в другой, потусторонний мир, в мир идей. Он «журит» Канта за то, что он выходит за пределы «опыта».

Здесь обнаруживается каутскианское понимание опыта. Кто знаком с эмпириокритической литературой, эмпириокритической философией, тот видит, что понятие опыта, которое выставляет Каутский, это *махистское* понятие опыта. Каутский хочет сознательно остаться на почве эмпиризма, не выходить за пределы представлений, за пределы непосредственных ощущений.

Но он чувствует некоторую неловкость, и неловкость эта состоит вот в чем. Как тут быть на самом деле: если мир—одни представления, то при чем тут материализм; как-то не клеится, немножко противоречит одно другому. И Каутский старается выйти из положения известной поправкой к Канту. Он вносит поправку к кантовской вещи в себе. Мы на этом, как впрочем и на других моментах каутскианского материализма, подробно остановились на страницах «Под знаменем марксизма». Мы вследствие этого здесь будем очень кратки. Смысл этой поправки тот, что он хочет доказать недоказуемое, что можно, оставаясь в пределах представлений, понимая мир как представление, об'ективную вещь в себе, все же познать об'ективную реальность. Кант был не совсем прав: можно знать о вещи в себе больше, чем это допускал Кант.

Каутский для этого выдвигает интересную теорию; она не нова, это его довольно старая теория, *теория действительных соотношений и различий.* Эта теория формулирована еще в «Этике», где он также занимается критикой Канта. Там он заявляет, что время и пространство—формы суб'ективные, и что неправ Кант, когда он полагает, что этим априорным формам времени и пространства ничто не соответствует в действительности. По мнению Каутского, высказанному в «Этике», т. е. в работе, которая написана в 1906 году, суб'ективным формам времени и пространства соответствуют некие соотношения, которые в нашем представлении принимают форму времени и пространства. Он настаивает на том, что есть действительные соотношения, которых Кант не признает, а он признает. Что это за соотношения—Каутский не говорит, и сказать не может, поскольку он еще давно, как я указывал, еще в 1888 г. и раньше стоял на точке зрения суб'ективности пространства, времени и причинности. Эту теорию действительных различий и соотношений он пытается сейчас снова выдвинуть, но, как мы сейчас увидим, с меньшей убедительностью и с меньшим успехом.

Дело в том, что в «Этике» есть видимость обоснования этой теории, в последней же книге исчезает и это квази-обоснование. В «Этике» Каутский рассуждает следующим образом: как белому, черному и т. д. цветам в действительности соответствуют не цвета, а эфирные волны различной длины, так всем нашим представлениям соответствуют некие различия и соотношения. «Как с зрительной способностью в частности,—говорит Каутский в «Этике»,—так обстоит дело с познавательной способностью вообще. С помощью этой последней я могу воспринимать только пространственные и временные представления, т. е. обнаружить только те соотношения вещей, которые способны вызвать в моем мозгу пространственные и временные представления. На воздействия иного рода, если только таковые существуют, он не реагирует. Моей познавательной способностью обусловливается также то, что эти впечатления приходят к моему сознанию в особой форме. В этом только смысле категории пространства и времени определяются характером моей познавательной способности. Но *соотношения и различия* самих вещей, которые дают мне знать о себе при посредстве отдельных пространственных и временных представлений,—так, что различные вещи кажутся мне большими и малыми, близкими и далекими, ранними или поздними,—суть *действительные* соотношения и различия внешнего мира; они не обусловлены характером моих познавательных способностей. Если, таким образом, отдельные вещи в себе мы познать не можем, если в этом отношении наша познавательная способность есть в сущности способность непознавания, то мы все-таки можем познавать действительные различия вещей. Эти различия суть не просто явления, хотя они нам и становятся доступными только при посредстве явлений; они существуют вне нас и могут быть нами познаны, правда, только в определенных формах».

Эта теория любопытна в том отношении, что Каутский старается, исходя из суб'ективности нашего познания, сохранить хотя бы некоторые элементы материализма. Он настаивает на том, что существуют об'ективно соотношения, различия, не умея их назвать сколько-нибудь внятными словами. Существуют какие-то соотношения и различия, вызывающие у нас формы причинности, времени и пространства и т. д. Это одна мысль.

Вторая мысль, которую следует отметить—это его характеристика познавательной способности в отношении отдельных вещей. Он нашу познавательную способность принципиально называет способностью *непознавания* в отношении отдельных вещей. *Мы отдельных вещей—об'ективных, реальных вещей—не познаем.* По отношению к ним наша познавательная способность есть способность непознавать; наша познавательная способность пригодна исключительно для соотношений и различий.

Такова его теория, как она изложена в «Этике»; отдельных вещей мы не познаем, мы познаем *только различия.* Это раз. Во-вторых, эти различия и соотношения Каутский никак назвать не может. Он знает их только по пространственным и временным представлениям, по причинности и т. д., одним словом, по суб'ективным формам. *Он идет от суб'ективных форм к об'ективным различиям и соотношениям.* Уже в «Этике», значит, отсутствует точка зрения материализма, согласно которой мы познаем мир таким, каков он есть в действительности. Но там есть все же попытка сохранить известную дорожку, известный мост от суб'ективных форм к внешнему миру, к об'ективной реальности—есть такая попытка в виде теории действительных соотношений и различий. Посмотрим теперь, что же собственно осталось от этой теории. Эта теория, этот единственный остаточек реализма, который был у Каутского, испаряется, испаряется в последней его книге окончательно, хотя он старается употреблять старую терминологию. Аргументация уже не ведется так, как в «Этике». Достаточно привести только один пример. Что световые лучи, падающие на земляничный лист и на самое землянику, дают в одном случае зеленое, в другом красное, зависит от нашей организации, говорит Каут-

ский, но при этом он ни слова не говорит о том, что этому соответствуют световые волны различной длины, на чем он настаивает в своей «Этике». Вот эта аргументация выпадает целиком, и весь спор его с Кантом вокруг познаваемости вещи в себе, по поводу возможности познания об'ективной реальности сводится к сплошной казуистике. Чем больше он аргументирует, тем больше он попадает в лапы махизма. Чем больше он аргументирует за то, что мы можем познать вещь в себе, хотя бы частично, как он говорит, тем больше видно, что он эту вещь в себе как об'ективную реальность давно потерял. В последней книге центр тяжести аргументации перенесен на *сравнение представлений между собой*. Я — один и тот же суб'ект—имею разные представления,—ergo—этим представлениям соответствуют некие сотношения и различия. Для того чтобы спасти хотя немного свою позицию, Каутский заявляет: «вещь в себе»—это для нас *граница* познания, что совсем другое, нежели невозможность ее познания». Спрашивается, откуда это. Сопоставьте это заявление с другим его заявлением, гласящим: «конечно, познаваемые нами *различия* остаются различиями *представлений*, а не вещей в себе», и вы увидите, что каутскианское понятие *границы* есть *фраза*. На деле он знает только представления и различия представлений. Различия самих вещей в себе, фигурировавшие в «Этике», заменены различиями представлений. Вещь в себе утеряна окончательно.

Говоря о возможности познания вещи в себе, Каутский во власти собственной иллюзии. У всякого суб'ективиста есть такая иллюзия. Сначала он упраздняет об'ективную реальность, затем свою фикцию, свое представление выдает за об'ективную реальность. Так например, Мах ухитряется в одном месте сказать, что трансцендентность ему совершенно недоступна, а в другом месте заявить, что так как интересовать его может только функциональная зависимость вещей друг от друга, то эти вещи не суть уже непознаваемые вещи. Вещи Махом сначала упраздняются, превращаются в фикцию, в элементы, а затем об являются познаваемыми. Что же собственно остается познать? Фикции. У Каутского та же иллюзия, т. е. он проделывает тот же логический путь, что и Мах, что и Шопенгауэр и другие суб'ективные идеалисты.

Вывод: Если сравнить его теорию познания в «Этике» с его теперешней гносеологической позицией, то необходимо сказать, что если там, в «Этике», он еще старался сохранить известную теоретическую дорожку к об'ективному, то теперь он ее собственными руками разрушил. Частичную возможность познания реального мира он так же не может доказать, как не может этого сделать Мах. Замена связи вещей связью идей, представлений привела Каутского в лагерь суб'ективного идеализма.

Его старая суб'ективистская установка, данная в цитированной нами статье от 1888 года, восторжествовала в 1927 году полностью и целиком. Во всей аргументации нет ни одного указания на об'ективные различия. Каутский остается в пределах связи идей. Путь, пройденный им с 80-х годов, представляется в следующем виде: он начал с суб'ективизма, эволюционировал, не сдавая основной позиции, чуть-чуть в сторону материализма; расцвет его «материализма»—в его «Этике», в теории действительных соотношений и различий. Дальше налицо движение назад, обратная эволюция. В последней книге он возвращается к старым позициям.

В виду позднего времени я перейду сейчас к вопросу о причинности и необходимости, на котором я только кратко остановлюсь. В вопросе о причинности Каутский, как я уже указывал, в 1888 году стоял определенно на суб'ективистской точке зрения. Я подробно проследил ряд других работ и не нашел, где бы Каутский ясно сказал, что категория причинности об'ективного порядка. В последней своей работе он в вопросе

о причинности и необходимости говорит совершенно ясным языком, языком еле прикрытого, едва-едва замаскированного суб'ективизма. Теория врожденных инстинктов, от которой он никогда не отказывался, прямехонько ведет и приводит его к юмистской точке зрения.

Причинность и необходимость не априорны—начинает он свою аргументацию против Канта (он все время спорит против Канта)—они получаются из опыта. Кант ошибается, думая, что понятие причины «содержит» (у Канта erfordert) понятие необходимости связи с следствием и строгую всеобщность. Ничего подобного, говорит Каутский, причинность и необходимость—раньше животные инстинкты, чем человеческие представления. Априорны инстинкты, «чувства причинности и необходимости», а не понятия. К ним у высших животных и у человека присоединяется «сознательное наблюдение». Повторяющиеся явления человек подводит под правило, под «закон». (Каутский считает выражение—закон в данном случае «несчастливым выражением». И применяет он его здесь в смысле описания (Beschreibung). Явления не повторяющиеся человек обозначает *случайными*. «Эта наблюдаемая,—говорит Каутский,—регулярность или закономерность нам легко представляется как необходимость, под которой мы ничего другого не понимаем, как противоположность случайности». Короче говоря, необходимость—исключительно человеческое представление, основанное на животном инстинкте и важное лишь постольку, поскольку оно обозначает противоположность случайности.

К вопросу о случайности мы еще вернемся. Проследим пока дальнейшие рассуждения Каутского о необходимости. Совершенно естественно, что проблему propter hoc Каутский разрешить не в состоянии. Тут он уже терминологию меняет радикально, оперируя вместо необходимости понятием вероятности. При этом он прилагает все усилия к тому, чтобы повысить каким-нибудь способом степень этой вероятности. Возможно большее расширение связей, расширение наблюдений повышает степень вероятности.

Но нельзя сказать, чтобы Каутский сам был доволен таким разрешением проблемы propter hoc. Потеряв необходимость, он все же продолжает искать ее, но, разумеется, тщетно.

Большая сумма наблюдений все же способна, заявляет он, дать больше, нежели большая вероятность. Назвать это «больше» он не может. Во всяком случае это не необходимость. Ясно, что Каутский просто напросто от вопроса увиливает. И далее. На примере с гипотезой исчезновения солнца, когда прекратится смена дня и ночи, Каутский доказывает *относительность* всякой необходимости. Заостряя полемику против абсолютной необходимости, он выбрасывает необходимость вообще, заменяя ее релятивизмом. Он договаривается до того, что предлагает совершенно определенно и недвусмысленно заменить наконец слово «необходимость» словом, «регулярность» («Regelmässigkeit»). От осуществления этого намерения его удерживают соображения практической целесообразности, а также потребность в понятии, противоположном случайности. «Практическая целесообразность, а также необходимость теоретически противопоставить необходимость случайности заставляет нас держаться этой терминологии»,—говорит он. Но по существу он против этой терминологии—она не нужна, она путает.

Однако, свое понимание необходимости Каутский формулирует все же как априорное. Априорна необходимость, поскольку она вытекает из врожденных душевных способностей и инстинктов, но это априори совершенно другого порядка, нежели кантовское априори, говорит он. Это разумеется верно. Каутскианское априори—физико-психическое, натуралистическое в отличие от кантовского, являющегося трансцендентальным.

Чрезвычайно характерна вся эта позиция в вопросе причинности и необходимости, означающая полное и совершенно определенное скатывание к позиции Юма, Маха, т. е. к чистому суб'ективизму.

Теперь еще несколько слов о случайности. Понимая случайность как абсолютную противоположность необходимости, Каутский конечно стоит на метафизической точке зрения. Я хочу привести одно коротенькое, но зато очень интересное место: Оно гласит:

«Все в мире совершается либо необходимо, либо беспорядочно» («regellos).

Случайность совпадает с беспорядочным, с хаосом. Это по существу возвращение к старой метафизике вольфовской школы.

Вспомним позицию Каутского в вопросе о субстанции. Он отрицает субстанцию, отрицает материю. Отрицание субстанции, естественно, обусловливает, предрешает его позицию в вопросе о причинности. Нельзя стоять на точке зрения причинности, не признавая субстанции в нашем смысле слова и наоборот. Но конец венчает дело, как говорят. Он принципиально не возражает против замены причинности маховской функциональностью, «не возражает». Под видом того, что физикам-специалистам, мол, лучше знать, какие понятия им нужны. он подписывается под маховской теорией функциональной зависимости.

Сдавая, таким образом, полностью все позиции материализма, он пытается спасти причинность, формально настаивая на ней для общественных наук. В общественной науке, говорит он, я ничего не могу сделать с маховской теорией. Охотно принял бы ее, говорит он по адресу своего коллеги, Фр. Адлера, который является махистом,— охотно принял бы твой совет, но она в моей теоретической работе по общественным вопросам не принесла мне никакой пользы. Поэтому я считаю нужным держаться в общественной науке понятия причинности. Так почти буквально говорит Каутский.

Но понимает он эту причинность, которую он сохраняет, допускает в общественной науке, как столкновение противоположных сил. Что это за штука—столкновение противоположных сил в понимании Каутского? Об этом я сейчас говорить не буду. Это уже приводит нас к другой теме—к теме о диалектике.

Резюмируем: позиция Каутского была с самого начала не материалистической. Это можно проследить, и это надо сделать и написать об этом исследование. Но он проделал эволюцию. Он шел философски от Шопенгауэра и к Марксу никогда по существу не пришел. К Марксу и Энгельсу он философски никогда не пришел. Ни на один момент он не отказался от своего «естественно-научного», читай, позитивистского, метода. При чем, одно время он соглашался с неокантианцами, затем повернул к махизму. Ему как позитивисту-суб'ективисту, ничто не мешало менять «вехи» в этом смысле. Ленин совершенно правильно отмечает в своей книге «Материализм и эмпириокритицизм», что Мах сочувствует Шопенгауэру, Мах стоит на точке зрения Шопенгауэра по существу, на точке зрения его интуитивизма, о котором он говорит застенчиво, стесняясь говорить об этом в тексте, предпочитая намекать на это в сносках.

Путь развития в эволюции Каутского от Шопенгауэра к Маху, к махистским позициям, представленным в последней книге, не является случайным. Этот путь законный (по закону причинности), это закономерная философская эволюция, из начального шопенгауэрианца, вернувшегося после ряда зигзагов и шатаний между нео-кантианством, материализмом и махизмом, к старым позициям.

Разрешите перейти ко второй части доклада, к вопросу о диалектике Каутского.

Я начну с того общего замечания, что мы нигде в старых работах Каутского не встречали сколько-нибудь определенно, недвусмысленно и членораздельно выраженного отношения его к марксово-гегелевской диалектике. Как это ни странно, но это факт.

Факт, что такой крупнейший марксист, как Каутский, на протяжении десятков лет литературной и политической деятельности нигде, ни разу не высказался определенно по такому вопросу, как марксова диалектика, составляющая, как известно, краеугольный камень марксизма. Случайно ли это? Ни в коем случае.

Даже его статья «Бернштейн и диалектика», в которой Каутский должен был бы, казалось, противопоставить бернштейновской критике диалектики марксистское понимание диалектики,—даже эта статья характерна чем хотите, но не определенным изложением его позиции в вопросе о диалектике. В этой статье Каутский защищает диалектику Маркса и Энгельса, но защищает ее очень оригинально и своеобразно, защищает ее так, что тут же предает ее. Во всей статье красной нитью проходит мысль, что во всех «бедах» Маркса и Энгельса, во всех их ошибках, недостатках и т. д. повинна не «диалектика противоречий», которую Бернштейн считает «опасной», «ловушкой». Например, Бернштейн обвиняет Маркса и Энгельса в том, что они в «Коммунистическом манифесте» грядущую буржуазную революцию в Германии рассматривают как пролог пролетарской революции. Бернштейн в этом усматривает предвзятость, тенденциозность и прямое следствие диалектики с ее «отрицанием отрицания».

Каутский оправдывает Маркса и Энгельса следующим характерным манером: этот вывод,—говорит он,—Маркс и Энгельс сделали на основании опыта английской и французской революций, за которыми последовало движение левеллеров и бабувистов. «Диалектика противоречий» здесь совсем не при чем. «Какое отношение имеет,—говорит Каутский,—это пророчествование к гегелевской диалектике противоречий?.. И где ссылаются Маркс и Энгельс в своем пророчествовании в «Коммунистическом манифесте» на «диалектику противоречий»? Научное предвидение и «диалектика противоречий» по Каутскому вещи разные.

Диалектика была—говорит Каутский, продолжая «защищать» диалектику от Бернштейна—у Маркса и Энгельса по их словам могучим орудием исследования. Самым зрелым и блестящим продуктом этого метода явился «Капитал». Но Каутский ни одним словом при этом не обмолвился на счет того, в чем же *сила* этой диалектики, которая могла дать такой блестящий ученый труд, как «Капитал». Я хочу привести одну небольшую выдержку из этой статьи, где есть некоторый намек на положительное высказывание, где Каутский решается «дотронуться» до диалектики. Он приводит цитату из энгельсовского «Л. Фейербаха», где говорится, что отличие диалектики от метафизики в том, что диалектика смотрит на мир не как на комплекс готовых вещей, а как на комплекс процессов, и прибавляет: «двигателем же всего развития является борьба противоположностей». Каутский тут как будто соглашается с энгельсовской формулировкой диалектики, а также с тем, что двигателем развития является борьба противоположностей. Но у него при этом камень за пазухой. Послушайте, что он дальше тут же говорит по адресу Бернштейна: «Признает ли Бернштейн ошибочным само это воззрение, или те особые формы, в которых оно выражено у Гегеля или у Маркса и Энгельса? Он хочет предпринять пересмотр теории,—пересмотр, которого не успел сделать Энгельс,—он об'являет, что прежде всего необходимо для этого *рассчитаться* с диалектикой, он неистовствует против диалектики, но во всем своем сочинении он не проронил ни одного слова о том, в чем же, по его мнению, состоит ошибочность диалектики». Камень за пазухой, во-первых, в том, что Каутский подвергает сомнению «особые формы» марксово-гегелевской диалектики не только без нужды, но и без повода. Бернштейн критикует не диалектику вообще, а диалектику Маркса. Каутский же своим указанием на «особые формы» марксово-гегелевской диалектики «тонко» намекает читателю, что можно быть диалектиком и не придерживаться диалектики Маркса. Камень за пазухой, во-вторых, в том, что он на протяжении всей статьи не роняет ни одного слова *в пользу* марксовой диалектики. Каутский диалектику Маркса *выгоражи-*

вает, но не защищает. Бернштейн «не проронил ни одного слова о том, в чем же, по его мнению, состоит ошибочность диалектики», а Каутский со своей стороны также не проронил ни одного слова о том, в чем же, по его мнению, *сила* диалектики. Получается, что Каутский рассчитывается с Бернштейном не лучше, чем Бернштейн с Марксом. Выходит, что он рассчитывается с анти-диалектиком Бернштейном тем, что он указывает, что Бернштейн сам не умеет рассчитаться с диалектикой. Каутский, вместо того, чтобы прямо оспорить бернштейнианское положение о «ловушке» выбирает окольные пути. Вся статья «Бернштейн и диалектика» производит совершенно определенное впечатление: защищать диалектику надо, это—долг редактора «Neue Zeit», долг и обязанность вождя германской с.-д., но защищать ее так, чтобы собственная позиция Каутского в этом вопросе не была видна.

Кроме этой статьи, от которой и следовало бы ждать положительного мнения Каутского, по вопросу о диалектике никаких других подробных указаний нет. Есть отдельные разрозненные замечания. В частности есть кой-какие замечания, где Каутский дает оценку Гегелю. Я приведу две небольших выдержки. Одна от 1888 года. Это уже однажды цитированная статья о Шопенгауэре, где он отчасти рассчитывается с Шопенгауэром, которым он увлекался в юности, и где он Шопенгауэру противопоставляет Гегеля в вопросе о развитии. Гегеля он характеризует здесь с положительной стороны. Он говорит буквально следующее: «Гегель был философом развития, революции, как бы консервативно он в тех или иных случаях ни жестикулировал». Шопенгауэра он ему противопоставляет как «отрицателя развития, теоретика консерватизма, окостенелого христианства». Налицо положительное отношение к Гегелю и отрицательное к Шопенгауэру.

Но загляните в его работу—«Этику», написанную в 1906 году. Эта работа характеризует, как мы уже сказали, тот период Каутского, когда он наиболее «ортодоксально» себя проявляет, когда он показывает наибольшее приближение к ортодоксальному марксизму. В этот период у него оценка Гегеля совершенно противоположна той, которая дана им в 1888 году.

Я цитирую только несколько строчек: «Тот же дух (реакционный) заметен в гегелевской философии, которая сделала идею развития своей эпохи центром своей системы. Она тоже должна была служить только для прославления пройденного пути развития, который опять-таки должен был найти свое окончательное завершение в «Монархии божией милостью».

Философия Гегеля оценивается здесь как реакционная. Никакого различения между методом и системой Гегеля, никакой попытки оценить вклад, который Гегель сделал в теорию развития, в диалектику. О чем говорят эти две цитаты? Они говорят, что налицо поразительная эволюция Каутского. В период, когда он отходил от своих старых учителей,—а по нашей концепции его старыми учителями, которые навсегда наложили неизгладимый отпечаток на всем его мировоззрении, надо считать, в первую голову, Шопенгауэра, А. Ланге, Мальтуса, Дюринга и Гумпловича,—в этот период, когда он, повторяем, несколько отходил от них, приближаясь к марксизму, он проявил некоторую осторожность и выявил положительное отношение к гегелевской философии развития. Период же, когда он оформлял свой собственный «марксизм», собственную теорию развития, этот период, который судя по его же словам [1], начинается с 90-х годов и который тянется, по нашему мнению, до 1910 года, период его приближения к марксизму, «ортодоксализации»—показывает органическое непонимание марксово-гегелевской диалектики.

[1] Предисловие к русск. изд. «Размножение и развитие в природе и обществе».

Не трудно было бы показать, что вся его теория эволюции, которая довольно подробно изложена в его «Этике», является вульгарной теорией эволюции, а не марксистским учением о развитии.

В предисловии к книге «Размножение и развитие в природе и обществе», Каутский между прочим рассказывает, что с 90-х годов у него изменилось отношение к дарвинизму. Это, разумеется, не маловажный факт. Каутский до 90-х годов был, по его словам, дарвинистом, а с 90-х годов он изменил свое отношение к дарвинизму. В каком направлении изменился его взгляд на дарвинизм показывает его книга «Размножение и развитие в природе и обществе». Эта книга характерна собственной теорией развития, радикально расходящейся не только с классическим дарвинизмом, но и с марксизмом, характерна тем, что, борясь с мальтузианской стороной классического дарвинизма, Каутский выбрасывает дарвинизм в целом, выкидывает весь дарвинизм, выдвигая свою собственную теорию, теорию равновесия, являющуюся полным поворотом назад к ламаркизму. Не имея возможности останавливаться на его теории развития, как она дана в книге «Размножение и развитие в природе и в обществе», мы перейдем к теперешней его позиции.

Начнем с его отношения к дарвинизму. Его теперешняя позиция является продолжением его старой позиции, с той разницей, что в своей новой книге он дает развернутую и принципиальную критику дарвинизма. Рамки доклада не позволяют слишком долго на этом останавливаться, но немного на этом остановиться необходимо.

Раньше всего следует отметить, что Каутский не приемлет у Дарвина основного, что составляет характерную черту дарвиновского учения—понятия индивидуального различия. Индивидуальное различие, дарвиновская вариация, по Каутскому, не может быть исходным пунктом развития вида—оно слишком незначительно, чтобы итти в расчет при естественном отборе, который, мол, считается не с тем, что может получиться при длительном развитии незначительных изменений, а с тем, что есть сейчас. Каутский строго стоит на точке зрения «опыта». Но что в этом случае сделать с мутацией? Каутский ставит этот вопрос, но пытается увильнуть от него указанием, что сущность мутации покрыта темным покровом, что ничего неизвестно,—неизвестно, мол, имеем ли дело с новыми формами или с атавизмом; что мутации составляют непонятные исключения, которые об'ясняются действием либо скрещивания, либо изменения внешних условий. Каутский, как видите, открывает ту Америку, что мутации не беспричинны. После этих оговорок и экивоков Каутский заявляет, что если мутация имеет место, то она как индивидуальное изменение не может вести к изменению вида. Немногие отклонения должны исчезнуть. Всякие обнаруживающиеся различия должны, в конце концов, исчезнуть. Другими словами, на языке диалектики, качество должно раствориться в количестве. Ибо—продолжает свое рассуждение Каутский—в противном случае всевозможные многочисленные отклонения, которые оказались полезными и наследовались, привели бы к разложению существующих видов, к хаосу всевозможных индивидов.

Эту мысль он иллюстрирует на известном примере с жирафом, вступая в полемику с Дарвином и ссылаясь на Ламарка. По Дарвину жираф произошел от тех экземпляров старого вида копытных животных, имевших индивидуальные отклонения в виде удлиненной шеи и получивших благодаря этому в периоды засух преимущества перед другими товарищами по виду в борьбе за существование или естественном отборе. Каутский этим об'яснением недоволен. Совершенно непонятно, по его мнению, почему это шея жирафа оказалась предметом естественного отбора, а не что-нибудь другое. Само собою разумеется, что это вопрос досужего философа. Факт, что шея была предметом естественного отбора в данном случае, но Каутский мудрствует, занимается разговорами

насчет того, что с таким же успехом могло бы стать предметом естественного отбора и что-нибудь другое кроме шеи. Что речь идет о Южной Африке, где соревнование из-за обрывания листвы с высоких ветвей акаций и других деревьев играет большую роль, Каутский во внимание не принимает. Для него все возможности имеют одни и те же шансы, так как они *одинаково мыслимы. Каутский оперирует абстрактной возможностью.*

Для характеристики позиции Дарвина мы с своей стороны приведем одну выдержку. Дарвин говорит: «некоторые натуралисты утверждают, что всякое изменение связано с актом полового воспроизводства. Это, очевидно, не верно, потому что в другом своем труде я привел длинный список явлений так называемой «искры природы» (sporting plants), т. е. случаев, когда растения внезапно производили почку с совершенно новыми особенностями, отличную от всех остальных почек на том же растении. Эти изменения посредством почек, как их можно назвать, могут быть размножены прививкой, отводками и т. д., а иногда даже семенами. В природе эти случаи редки, но в культуре их нельзя отнести к редким явлениям. В виду того, что из многих тысяч почек, производимых из года в год тем же деревом при однородных условиях, одна внезапно получает совершенно новый характер, в виду того, что почки, появившиеся на деревьях, росших при различных условиях, давали начало той же разновидности—как то было в примере появления нектарии на персиковых деревьях и в примере появления махровых (моховых) роз на обыкновенных розах—мы вправе заключить, что природа условий имеет в произведении каждого данного изменения менее значения, чем природа самого организма; быть может, *первая влияет не более существенно, чем природа той искры, которая воспламеняет массу горючего материала и влияет на свойства вспыхивающего пламени*».

Дарвин формулирует здесь вполне определенно свой взгляд на соотношение организма и среды. Каутский Дарвину возражает: «если измененные условия действуют на организм, то род результата несомненно обусловливается не только характером условий жизни, но и характером организма». По правилу: и нашим и вашим. Прав Дарвин, прав и я, бишь, Каутский. «Но—продолжает он свои возражения—инициатива изменений может исходить исключительно из того фактора, чье изменение *начинает* процесс, а не из того, чье изменение *заканчивает* процесс. Таким образом, движущим фактором может быть только изменение условий жизни». Каутскому важна инициатива во времени, а между тем речь идет о том, какой фактор является решающим и определяющим изменение, его характер. Налицо отвод Дарвина формально, а не по существу.

Третье возражение Каутского гласит: «И если бы действительно существовали органы и организмы, которые на определенные воздействия среды отвечали бы не определенными результатами, а неопределенными...., то надо предположить, что подобные вариации «пластического» состояния не унаследуются, не становятся факторами видообразующими». Они остаются индивидуальными, только изредка и случайно передаются по наследству и с течением времени исчезают.

Каутский в этих возражениях поступает по правилу: если факты против моей теории, то тем хуже для фактов. Дарвин делает свои выводы на основании изучения миллионов фактов, а Каутский говорит: пусть это так, но все же надо предположить, что не здесь видообразующий фактор. Почему же нужно именно так предположить, а не иначе? Этот вопрос тем более обоснован, что Каутский посвящает целую главу вопросам наследственности, где он становится на точку зрения наследственной передачи приобретенных признаков.

Совершенно ясно, что Каутский запутался, недооценивая фактов индивидуальных отклонений, различий; отрицать их наличие он не может, об'яснить их он также не может, оценить их значение он не хочет. Ему остается лишь одно:

предать их анафеме. Немецкий язык богатый, тонкий, и в нем нетрудно найти выручающее слово. Каутский называет дарвиновскую вариацию «случайным исключением» (gelegentliche Ausnahme), причины которого темны. Совершенно ясно, что Каутский апеллирует здесь к случайности в самом дурном метафизическом смысле слова. Случайно появляются отклонения, только случайно и в очень редких случаях, не систематически передаются. Он уверен, что они должны исчезнуть. В этих рассуждениях характерно то обстоятельство, что он дарвиновского принципа естественного отбора, признака полезности, не учитывает совершенно. Каутский этот решающий момент обходит, и поэтому его учение, что никакие такие отклонения не будут систематически передаваться из поколения в поколение, являются совершенно необоснованным.

Я думаю, что позиция Каутского теперь целиком ясна. Он чистейший метафизик. Он формально, по старому подходит к вопросу о видах. Его виды в конце концов напоминают Линнеевские виды, виды без различий, виды без отклонений, виды, не терпящие никаких отклонений. Более того, условием существования видов как таковых является решительная победа генерализирующей тенденции над тенденцией варьирования. Вид существует лишь благодаря тому, что он беспощадно уничтожает всякие появляющиеся отклонения. Его теория, противопоставляемая им теории Дарвина, состоит в том, что в так. наз. устойчивые, консервативные периоды земли сохраняется все старое, все старые виды. В эти периоды нет никакого развития в органическом мире; а в так называемые революционные периоды происходит массовое приспособление под непосредственным воздействием новых, изменившихся условий.

Надо еще отметить один момент. Это о роли естественного отбора. Само собой разумеется, что естественный отбор по его теории не имеет никакой положительной функции. Естественный отбор играет у него исключительно отрицательную роль, грубо выражаясь, роль метлы: если встречаются отклонения—его дело их уничтожить, вымести их. Вместо положительной, революционной роли, какую согласно Дарвину играет естественный отбор, на его долю, по Каутскому, выпадает работа исключительно отрицательная, его роль консервативная.

Что точка зрения Каутского в этом вопросе есть точка зрения ламаркизма—совершенно бесспорно. Что эта точка зрения, далее, за материалистической терминологией прячет такие вещи, как признание души, психического напряжения, волевого порыва, и подобной идеалистической чепухи—это тоже не подлежит никакому сомнению. Ибо совершенно ясно, что для того, чтобы животные организмы под действием внезапно изменившейся среды могли бы в массовом масштабе целесообразно изменить свои органы, они должны быть снабжены тем, что ламаркисты называют внутренним, целевым устремлением. Ламаркизм Каутского стоит в тесной связи, в теснейшей связи с его шопенгауэрианством. Тут встречаются, сходятся две линии: ламаркизм в биологии и шопенгауэрианство в философии. Шопенгауэровская «воля к жизни» и ламаркистская «внутренняя цель» по существу одно и то же..

Необходимо теперь посмотреть, есть ли у него, фигурирует ли у него эта ламаркистско-шопенгауэровская психика и в каком виде. На этот вопрос нужно ответить положительно: фигурирует. Развитие в органическом мире, включая человека, говорит Каутский, происходит путем борьбы двух факторов: на одной стороне «я», на другой—внешний мир.

Что же такое это «я»? Оказывается не организм как таковой, как целое, а дух организма (der Geist), дух вместо тела, организма в целом. Это «я», чисто психическое, духовное и вступает в противоречие с внешним миром.

Когда вы в первый раз читаете эти места у Каутского, вы поражаетесь. Вам трудно поверить, что это говорит Каутский. Но тем не менее это так.

Выше мы сказали, что Каутский в сущности строит свою диалектику на телеологии. «Жизненная воля» как специфическое свойство организма только и позволяет Каутскому сконструировать свою диалектику, с материалистической диалектикой ничего общего, кроме названия, не имеющую. Его диалектику следует назвать дуалистической, так как она представляет развитие как результат борьбы двух сил, из которых одна — дух, представляющий организм, а вторая внешний мир, являющийся по отношению к духу «материей». Приспособляя к своим нуждам гегелевскую терминологию. он «я», дух называет «тезисом», окружающий мир или «не-я»—отрицанием организма. его «негацией», «антитезисом». Исходным пунктом развития Каутский считает «я», дух, приходящий в столкновение с окружающим миром. «В результате получается преодоление противоположности, отрицание отрицания, обновленное утверждение организма. благодаря приспособлению,—«синтез». Этим процесс возвращается к своему исходному пункту, индивидууму, который себя отстоял». В неорганическом мире Каутский никакого развития не признает, в органическом мире, как мы с вами уже знаем, он ограничивает развитие так наз. революционными периодами земли, когда организму необходимо себя отстоять если он не хочет погибнуть. Гегелевские категории противоположности, отрицания, трицания отрицания, тезис, антитезис, синтез, утверждение, он употребляет, но вкладывает в них другой смысл. Синтез по Каутскому получается тогда, когда организм себя отстоял. Синтез, стало быть, не означает высшую ступень, что либо новое. Синтез означает *сохранение индивидуума*. Антитезис у Каутского превращается в формальное противоположение. Да иначе и быть не может, поскольку Каутский противоположность трактует дуалистически. Моя диалектика, говорит он, «другого рода» чем гегелевская; у Гегеля, говорит он, тезис и антитезис не организм и окружающий мир—«две совершенно отличных друг от друга вещи, действующие одна на другую», у него уже в тезисе находится противоречие к самому себе, его «отрицание». Каутский об'является себя решительным противником диалектики противоречия, той самой диалектики противоречия, которую он некогда защищал от Бернштейна, правда, очень плохо защищал, как мы видели выше.

Каутский ставит на место противоречия *столкновение*, при чем столкновение определенного порядка, столкновение духа и материии. Каутский тем самым отходит не только от гегелевской диалектики, но и от механистической диалектики Ньютона и Канта, становясь на точку зрения Bouterweek'а и Шопенгауэра.

Яркий свет на диалектику Каутского бросает его позиция в вопросе противоречия. На этом вопросе необходимо остановиться, несмотря на то, что времени в нашем распоряжении осталось немного. «Слово противоречие,—говорит Каутский,—можно понять двояко: как выражение противоположности и как выражение несовместимости двух явлений или двух мыслей. Что в мире есть противоречия, не оспаривается никем... вопрос лишь в том, возможно ли противоречие как нечто несовместимое. Утверждение, что два явления совместимы или несовместимы есть суждение, а суждение существует только в моем сознании, которое может ошибиться, а не во внешнем мире». Это место взято нами из полемики Каутского с Энгельсом по вопросу о противоречивости движения. По его мнению, противоречие, на которое указывает Энгельс, не в самом движении, а в *определении* Энгельса. Энгельс—говорит он—дал движению такое определение, по которому вещь может «одновременно находиться в двух местах». Всякий, читавший Энгельса, изумится по поводу такого толкования Каутским энгельсовского определения движения. Но дело в том, что Каутский нарочито опускает вторую половину определения Энгельса, где говорится, что тело «находится в том же самом месте и не находится в нем», и базируется на первой половине, где говорится, что данное теле в один и тот же момент времени находится в одном месте и в то же время в другом. Находиться в данный момент в одном месте и не находиться в нем вовсе, разумеется, не значит находиться одновременно в двух

местах. Но Каутскому необходима эта передержка, чтобы одержать «победу» над Энгельсом.

Что же предлагает Каутский взамен забракованной формулы Энгельса? Нечто очень любопытное. Вот что он говорит: «В случае с движением исчезает противоречие, как только мы предложение повернем, когда мы движение будем понимать не как одновременное пребывание тела в двух местах, между которыми происходит движение, а как одновременную *отдаленность* от этих мест. Оно оставило *А* раньше чем достигло *Б*. В этом представлении нет ничего противоречивого».. Вот как изумительно «легко» и «просто» Каутский разрешает вопрос о противоречивости движения. Каутский хочет об'яснить движение через покой—вот, собственно, мысль Каутского. Тело *оставило А* раньше, чем *достигло В*. Состояние тела с момента *оставления А* до момента *достижения В* мы называем движением. *Движение есть противоположность покою*, ничего больше. Совершенно очевидно, что Каутский *от об'яснения* движения отказывается. Ибо первый вопрос, который ему можно поставить, следующий: а что такое покой, через который он хочет об'яснить движение. С точки зрения Каутского покой как противоположность движению должен быть об'яснен через движение. Но тогда мы начнем сначала и еще раз спросим: а что такое движение, на что после будет уже известный нам ответ.

Ясно, что решение, предлагаемое Каутским, не есть решение, а лишь увиливание от самого вопроса. И так же очевидно, что Каутский потому бежит от вопроса, что он не хочет согласиться с основным положением марксово-гегелевской диалектики, согласно которому сущностью движения является противоречие. Каутский по своему последователен: наше познание ограничено миром представлений, до сущности вещей ему не добраться никогда, ему, стало быть, не добраться и до сущности движения. Движение есть только представление, противоречие точно также лишь в представлении. Это, конечно, «легкое» разрешение вопроса, но дело-то в том, что это вовсе не разрешение его. В рассуждении Каутского есть лишь то зерно истины, что движение и покой—понятия соотносительные. Но он сам это зерно уничтожает, поскольку он эту соотносительность понимает исключительно суб'ективно. Суб'ективистским пониманием относительности и об'ясняется, почему он фактически *вычеркивает* движение.

Что противоречие присуще не действительности, а чистому разуму, говорил до Каутского еще Кант, как известно. Каутский идет здесь по стопам Канта. Неверная посылка о раздвоенности мира, мира явлений и мира вещей в себе ведет к неверным выводам. Противоречие изгоняется из действительности, чтобы остаться в чистом разуме, который в этих противоречиях имеет доказательство своего выхода за границы обусловленного чувственного мира явлений к миру необусловленного, к миру вещей в себе. Отсюда Кант совершает переход от мира чувственного к миру сверхчувственному, где применимы не категории рассудка, а *идеи*, где человек перестает познавать, а вместо этого ставит *задачи*, имеет дело не с сущим, а с *должным*. Здесь у Канта находят свое место и категорический императив, и бог, и причинность через свободу, и т. д. одним словом, все то, что в кантовской философии является наименее ценным и наиболее реакционным.

Такие же выводы должен был бы по существу сделать и Каутский, если бы он был последователен. Ведь выход из мира чувственного опыта признает и Каутский. Послушайте! «Конечно,—говорит он,—впечатления, ощущения и мысли, приводимые им (духом) в порядок, вызваны внешним миром. Но они оформлены духом, и чем шире область опыта, чем дальше пошел процесс приведения их в порядок, *тем больше удаляются* (кто? Очевидно, дух.—*М. Ф.*) *от внешнего мира*, благодаря растущей пирамиде абстракций, воздвигающейся на совокупности опыта, так что *торчащая у неба вершина ничего не ведает больше о земле, на которой она стоит*». Но Каутский стремится дух, являю-

щийся, по его мнению, «беспокойным» по самой природе своей, обуздать. Каким образом? Вот как.

Каутский различает между «диалектическим процессом первого порядка», состоящим в «приспособлении мыслей фактам», и «диалектическим процессом второго порядка», состоящим в «приспособлении мыслей к мыслям». Как видите, диалектику Каутский приспособляет к Маху. Но это между прочим. «Диалектический процесс первого порядка» совершается между «духом и материей», а «диалектический процесс второго порядка» совершается в области чистой мысли, в самом духе. «Опыт» оказывается бессильным по отношению к «беспокойному» духу, который Каутский развязал так, что не в состоянии его больше связать. Дух выходит за границы «опыта» у Каутского, который, как мы помним, всю критику Канта строит на требовании: не выходить за пределы опыта. Каутский стремится обуздать дух при помощи духа же. Может ли это удасться? Не может. Этого не мог сделать никто из феноменалистов до Каутского. Отрыв формы от содержания опыта неизбежно ведет к примату духа над материей, к идеализму. Это не может удасться, не удается это и Каутскому. Вот как выглядят на деле в применении к историческому процессу выдвинутые Каутским «диалектический процесс первого порядка» и «диалектический процесс второго порядка». «Диалектический процесс между человеком и окружающим миром,—говорит Каутский,—поскольку он становится историческим процессом, принимает в первую голову (in erster Linie) характер взаимодействия между психикой и окружающим миром». И дальше в своих заключительных рассуждениях о диалектике Каутский, сравнивая свою диалектику с гегелевской, заявляет: «мы находим здесь диалектический процесс, во многом сходный с гегелевским,— как у одного, так и у другого из этих процессов это в конце концов дух, который дальше развивает общество, который сам себе ставит собственную антитезу и ищет затем синтез между тезисом и антитезисом и после его нахождения образует новый антитезис и т. д.». Дух оказывается демиургом истории. «Диалектический процесс второго порядка», призванный, по Каутскому, дух обуздать, оказывается не только бессильным сделать это, а превращается в рычаг для самостоятельного творчества духа. Выход в безусловное налицо, правда, выход не по Канту, т. е. не в мир трансцендентальных идей, а по Гегелю, по Гегелю идеалисту и реакционеру, по которому история является лишь условием для обнаружения понятия, которое само по себе *безусловно*. Каутский берет у Гегеля только реакционное. Прогрессивное материалистическое зерно гегелевской философии Каутский пропускает мимо ушей.

А между тем, если бы Каутский в том же вопросе о противоречии взял бы у Гегеля прогрессивное и материалистическое, то он не пришел бы через Канта к реакционному Гегелю, а через материалистические элементы Гегеля к Марксу и Энгельсу.

В связи с критикой кантовских антиномий, Гегель в своей «Логике» характеризует непризнание противоречия за действительностью, как «проявление слишком большой нежности относительно мира». В »Энциклопедии» Гегель называет такое мнение «смиренным утверждением» («demütige Behauptung») и мотивирует. «Если разум есть пустое, неопределенное мышление, тогда он не мыслит ничего». Это возражение Гегеля Канту бьет и Каутского, ибо одно из двух: либо мышление имеет своим предметом бытие, тогда в нем не должно иметь места противоречие, поскольку такового нет в бытии, либо мышление пусто, неопределенно.

«Нежность» и «смирение» по отношению к действительности означает на языке социально-политическом *капитуляцию* перед данной конкретной действительностью, данным «окружающим миром», в котором господствует буржуазия. Можно у Каутского на конкретных вопросах социально-политического порядка видеть, что́ на деле, на практике это смирение и нежность означают. Эта философия смирения сама является согласно железным законам диалектики выражением некоего противоречия действительности, социальной действительности, противоречия между об'ективной необходимостью революционной классовой борьбы с одной стороны, и нежеланием, неумением вести ее с другой стороны. *Философия смирения призвана теоретически оправдать социальную леность и размагниченность воли бывших центристских, а ныне правых вождей социал-демократии и служить об'ективным орудием черной реакции.*

Нам хотелось бы для иллюстрации диалектики Каутского остановиться еще на его понимании категории отрицания. Предметом атаки он выбирает известные рассуждения Энгельса о растении и о бабочке. Дело не обходится здесь, впрочем, как во многих других местах—без передержки. Каутский приписывает Энгельсу, что он прорастание считает отрицанием, в то время, как на деле у Энгельса отрицание применено к растению. Исказив, таким образом, положение Энгельса, Каутский продолжает свои рассуждения следующим образом: никакого отрицания семени или яйца не происходит— при прорастании; что происходит— так это отрицание футляра семени, животного яйца, а не *их содержания;* содержание изменяется в процессе прорастания и роста, но каждый организм в продолжение жизни проходит разные стадии, его формы меняются беспрестанно, так что если рассматривать все эти изменения как отрицания, тогда организм находился бы в непрерывном процессе отрицания. Этого Каутский никак не может допустить и, прикидываясь наивным, заявляет: «Не совсем ясно, что Энгельс тут понимает под отрицанием. В сущности перед его взором подлинное отрицание, снятие, гибель индивидуума. Он говорит об исчезновении зерна, благодаря процессу прорастания, но с таким же успехом можно было бы говорить об исчезновении ребенка, когда из него получается зрелый мужчина».

Ясно, что Каутскому для того и понадобилась передержка, чтобы приблизить точку зрения Энгельса к своей. Раз, мол, Энгельс в прорастании, в котором зерно претерпевает глубокие изменения, видит исчезновение зерна и отрицание, то он, следовательно, стоит на его (Каутского) точке зрения, которая только в *гибели* индивидуума усматривает отрицание. Передержка ловкая, но она тем не менее передержкой остается. В том-то и дело, что Энгельс не прорастание называет отрицанием зерна, *а растение.* В процессе прорастания зерно отрицается постольку, поскольку он ведет к растению. А разница тут очень и очень существенная: растение с вполне сложившимися и вполне готовыми к своей деятельности органами появляется только *в конце периода прорастания.* С окончанием периода прорастания обнаруживается в растении физиологическое разделение труда, начинается процесс *усвоения вещества* от окружающей среды. Растение считается Энгельсом отрицанием зерна потому, что он как диалектик не односторонне, как Каутский, подходит к вопросу—ему недостаточно *только* исчезновения зерна как такового, ему важно появление на его *место нового организма—растения.* В процессе прорастания Энгельс видит *переход* к новому организму. Энгельс видит *обе стороны двустороннего процесса*—исчезновение зерна и связанное с ним *появление* нового организма. Каутский же на тот же процесс прорастания смотрит *односторонне*, как только на *гибель зерна*. Каутский формалистичен, а Энгельс диалектичен. Каутский стоит на почве формального абстрактного тожества и абстрактной противоположности. Энгельс стоит на почве диалектического тожества, включающего различие, *образующее переход к новому качеству.*

Рассуждение Каутского еще неверно с другой стороны. Неверно, что содержание зерна не изменяется в процессе прорастания. Для пробуждения семени к деятельности необходимы влажность, теплота и воздух; под влиянием этих факторов совершается ряд не только механических (разбухание, разрыв оболочки и т. д.) но и *химических* (раствор ферментов, дыхание) процессов. Период прорастания характерен *превращением* вещества. По Каутскому же все эти процессы только изменения футляра, а не содержа-

ния. Очевидно, что изменение содержания Каутский видит лишь там, где есть *количественный рост* вещества.

«Разгромив», таким образом, энгельсовское понятие отрицания, Каутский с победоносным видом приступает к критике «отрицания отрицания». Тут, по его мнению, дело обстоит еще хуже, чем с «отрицанием». Аргументация Каутского здесь поистине сногсшибательная. Послушайте: «Тут (у Энгельса) речь идет о действительном отрицании индивидуума. Растение умирает после того, как оно произвело семя; бабочка—после того, как она принесла яйца. Заново произведенное семя или заново принесенное яйцо составляют возвращение к исходному пункту процесса, семени или яйцу, из которых произошел индивидуум. Но производство семян и яиц и смерть организма, производившего их, никак не совпадают во времени. Первое наступает всегда раньше, чем последняя. Отрицание отрицания и синтез, возвращение к тезису никак не тожественны, если они у некоторых организмов и быстро следуют одно за другим». На самом деле! Если отрицание понимать как гибель организма, тогда отрицание отрицания означает гибель гибели или возрождение. Может ли—справедливо спрашивает Каутский—возродившийся организм, своим возрождением обязанный гибели породившего его организма, существовать одновременно с этим погибшим организмом? Растение произвело семя и лишь после этого умирает, то же с бабочкой. Убитое и убийца—оба при жизни; вот до какого абсурда доходит Энгельс или точнее доводит Каутский Энгельса в вопросе «отрицании отрицания». Виною этому—великодушно извиняет Каутский Энгельса—является понимание им движения и развития не «как действия двух факторов», а как движения «одного лишь фактора», как движения индивидуума «из самого себя»; Энгельс—говорит Каутский—«ищет антитезис и тезис в одном и том же индивидууме». А главная вина за гегелевской диалектикой, которой следовали Маркс и Энгельс и которой, по мнению Каутского, следующего здесь Бернштейну, присуща «известная произвольность».

Товарищи! Еще немного терпения потребуется от вас.

Я хочу привести еще схему общественного развития, предлагаемую Каутским на место маркса-энгельсовской. Вот она:

«1. Тезис. Первобытный коммунизм.

2. Отрицание первобытного коммунизма: частная собственность единичного рабочего на его средства производства.

3. Отрицание отрицания первобытного коммунизма. Экспроприация капиталом частной собственности рабочих на их средства производства.

4. Отрицание отрицания отрицания первобытного коммунизма, отмена капиталистической собственности на средства производства. Установление коммунизма нового типа».

Сам Каутский вносит предложение внести в эту формулу пятый член—феодальное общество, тут же высказываясь за возможность вставления еще других средних членов. Ясно, что в этом случае получится формула: отрицание отрицания отрицания отрицания и т. д. до бесконечности.

Вот во что превратился в руках Каутского основной закон диалектики «отрицание отрицания». Вот до какого абсурда дошел Каутский, играющий категориями диалектики. Налицо совершенно исключительная путаница.

Корни этой путаницы в неправильном понимании Каутским отрицания. В «Анти-Дюринге» Энгельс говорит по адресу метафизиков, понимающих отрицание à la Каутский: «В диалектике отрицать не значит просто сказать «нет» или об'явить вещь не существующей или же уничтожить ее по произволу». И относительно отрицания отрицания Энгельс там же говорит, что первое отрицание необходимо произвести таким образом, чтобы было или стало возможным второе отрицание. Для каждой категории предметов имеется особый, ему свойственный способ такого отрицания, чтобы из него получилось развитие. Энгельс едко высмеивает людей, производящих отрицание отрицания по Каутскому. «Ясно,—говорит он,—что при таком отрицании отрицания, которое состоит в детском занятии попеременно ставить *а*, а затем его вычеркивать или попеременно утверждать о розе, что она есть роза и что она не есть роза, что при таком занятии не выяснится ничего, кроме глупости того, кто предпринимает подобную скучную процедуру». Эта замечательно меткая характеристика звучит так, как-будто она написана специально против Каутского.

Резрешите под конец два-три замечания относительно обвинения Каутским Энгельса в понимании движения и развития как «движения из одного фактора—индивидуума из самого себя». Это обвинение не более, как маневр с целью отвести глаза от того обстоятельства, что Каутский не согласен с основным, главным законом диалектики о тожестве (единстве) противоположностей. Каутский не может не знать, что и по Энгельсу зерно для своего прорастания требует влажности и теплоты, что, следовательно, индивидуум по Энгельсу вовсе не развивается «из самого себя»; что, далее, Маркс и Энгельс ни на одну минуту не мыслили развития без борьбы противоположностей. Все дело в том, что Маркс и Энгельс *иначе* понимают борьбу противоположностей, не по Каутскому. Спор между Каутским и Энгельсом—спор между виртуалистической или волюнтаристической диалектикой и диалектикой материалистической. Виртуализм или волюнтаризм знает о реальности мира лишь постольку, поскольку есть сознание, хотение, воление. Мы знаем суб'ект, так как он чего-то *хочет*, знаем об'ект, поскольку он оказывает воле *сопротивление*, противодействие. *Противоположность между силой и сопротивлением служит основанием нашего знания о реальном мире вещей.* Каутский знает только противоположности в виде *силы и сопротивления*.

Диалектическое понимание противоположностей гораздо глубже. Материалистическая диалектика отказывается от понятия силы (сопротивление—также сила) как от понятия антропоморфического. Притяжение и отталкивание Энгельсом понимаются как «простые формы движения». Разделение и противопоставление полюсов, говорит Энгельс, существует лишь в рамках их связи и об'единения и, наоборот, их об'единение существует лишь в их разделении, а их связь лишь в их противопоставлении. Понятие «силы» характеризует *наивную* ступень развития нашего знания, когда мы переносим на внешний мир представление, заимствованное нами из проявлений деятельности нашего организма.

Каутский исходный пункт развития усматривает в организме. «Я»—сила, «окружающий мир», сопротивляющаяся сила—«не-я». Между обеими этими силами происходит «борьба», борьба в антропоморфическом значении слова. Каутский понимает «силу» и «борьбу» точь в точь, как волюнтарист Шопенгауэр.

На этом можно было бы закончить, но мне хотелось бы остановиться еще на одном моменте; на том, что критик Каутского Альфред Брауталь приветствует Каутского как нового реформатора марксизма, называет его старцем-юнцом, осмелившимся, наконец, нанести решительный удар диалектике и заменить ее теорией взаимодействия. Это мнение Брауталя только относительно верно. На самом деле Каутский не останавливается на теории взаимодействия, т. е. на теории борьбы противоположных сил—«я» и среды. Он идет дальше. Он вместе с Гегелем признает развитие исключительно в истории человечества. Каутский, цитируя соответствующие места из гегелевской «Философии истории», заявляет, что это есть то, что составляет замечательную сторону гегелевской диалектики и с чем он целиком согласен. Настоящая диалектика, говорит Каутский, только в человеческой истории, ибо тут дух сам создает свой собственный антитезис, двигаясь к синтезу, чего нет ни в развитии отдельного организма, а также в развитии видов. Каутский кончает идеализмом, кончает идеалистической диалектикой в неогегельянском духе.

В своей долгой жизни Каутский переходил от позиции к позиции, но основная точка зрения оставалась одна и та же. В целом ряде работ, даже в работе—«Путь к власти», имеются уже явные следы его будущей позиции, его теперешней позиции. Даже в «Путь к власти» он говорит о том, что первопричину экономических процессов нужно искать в воле к жизни индивидуумов. На общество он никогда не смотрел по-марксистски. У него нет ни одного марксистского определения общества. Борясь со Спенсером, он не договаривал. Общество не физиологический организм, утверждает он, а аггрегат, сочетание индивидуумов. Никогда он не дошел до марксистского определения: общество, как совокупность производственных отношений. Никогда он до этого не дошел. Удивительно ли после этого, что в последней книге он предпринимает поход против всех категорий исторического материализма.

То, что я вам тут излагал, это его пересмотр категорий материалистической философии, материалистической диалектики; пересмотр категорий исторического материализма требует особого доклада. Так он пересматривает понятие производственных отношений. Производственные отношения у него сводятся к духовным отношениям и т. д. и т. д. И весь этот пересмотр категорий нужен ему для того, чтобы в конце концов в основу истории положить *дух*.

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ Т. ФУРЩИКА [1]

Тов. *С. Новиков* начинает с указания на то обстоятельство, что для Каутского, так же, как и для других теоретиков современной социал-демократии (напр., Отто Бауэр, Макс Адлер), весьма характерным является убеждение, будто социализм нейтрален к материалистическому пониманию истории, а это последнее нейтрально к философии диалектического материализма. По мнению Каутского, с историческим материализмом можно соединить любое философское направление, кроме явного идеализма и кантианства. Однако и по отношению к Канту, несмотря на то, что с ним Каутский ведет томительную для читателя полемику на протяжении всего своего двухтомника,—несмотря на это, оказывается, что по существу дела Каутский капитулирует перед Кантом и признает непознаваемость вещи в себе. Это отмечалось докладчиком, отмечается также социал-демократическими рецензентами на книгу Каутского,—напр. Альфредом Брауналем. Другой рецензент («сам» Отто Бауэр) усмотрел (и притом не без основания) в книге Каутского попытку построить систему биологического понимания истории. Таким образом, даже социал-демократические рецензенты не могут не отметить ультра-ревизионистские тенденции Каутского, запрятанные под ворохом двух тысяч страниц его огромного Lebenswerk'a.

Далее, тов. Новиков переходит к оценке другой характерной для Каутского и прочих ревизионистов особенности,—к оценке подчеркиваемого ими тезиса о том, что марксизм есть *только* метод. Каутский, Реннер и Макс Адлер настаивают на акцентировке исключительно методологического характера марксизма для того, чтобы тем легче было выбросить за борт все революционные теории Маркса, его материализм, его учение о классовой борьбе, о диктатуре пролетариата и т. д. Реннер выражается более откровенно и прямо заявляет, что только духовный реакционер может в XX веке настаивать на «переживших себя» формулах Маркса и Энгельса, имевших значение лишь в XIX веке. Каутский менее откровенен, он виляет, но, по существу дела, нельзя указать ни одного положения Маркса, которое бы Каутский не подверг ревизии в своем двухтомнике.

«Метод», в котором Каутский усматривает сущность марксизма, Каутский преподносит в виде своей «диалектики». Тов. Новиков указывает, что гвоздь каутскианской «диалектики» нужно искать не в философских главах I тома, а скорее во

[1] Прения даны в сокращенном виде.

II томе, в каутскианской диалектике истории: в учении о движущих силах исторического развития, о смысле истории, о всеобщем и особенном в истории, о проблеме нового и т. д.

По мнению Каутского, настоящая диалектика существует только в истории: всякая иная диалектика имеет лишь суб'ективное значение диалектики в нашем мышлении. Докладчик показал, что это—радикальный разрыв с ортодоксальной трактовкой диалектики. В суб'ективировании диалектики Каутский опять-таки не одинок и не оригинален: он только повторяет ошибки Макса Адлера и Лукача.

Каутский строит целую систему био-социологической «диалектики»,—диалектики приспособления индивидуального организма к естественной среде и общественного организма к естественной и общественной среде. Для Каутского диалектика—это эволюционное приспособление, медленное, постепенное, чрезвычайно респектабельное. Здесь как бы скрыто самопознание каутскианства в политике и в теории. Ведь это не что иное, как «диалектика» приспособления к капиталистическому обществу, «диалектика» мирного врастания в социализм через государственный капитализм путем социальной реформы и демократии. «Диалектика» приспособления является логическим базисом и венцом теории «марксистского эволюционизма», провозглашенной Каутским еще в 1919 г. Революционной материалистической диалектики у Каутского не осталось и следа, за что его и хвалит «адлерист» Брауналь.

Переходя к характеристике каутскианской теории социалистической революции, тов. Новиков указывает, что Каутский отвергает марксово учение о диалектическом противоречии между производительными силами и производственными отношениями, как о причине революции, считая, что это учение Маркса не применимо к пролетарской революции. По Каутскому, пролетариат придет к социализму по той причине, что, в то время как буржуазия усиливается в экономике, пролетариат все более и более усиливается в политике. Не понимая, что политика есть концентрированная экономика, Каутский механически отрывает политику от экономики для того, чтобы подменить марксову алгебру социальной революции своей ревизионистской арифметикой социальной реформы. Для Каутского социалистическая революция есть не что иное, как процесс постепенного количественного увеличения сил пролетариата при одновременном столь же механическом уменьшении сил буржуазии: процесс возрастания числа парламентских мандатов и министерских портфелей, принадлежащих социал-демократическим рабочим, процесс постепенного увеличения числа национализированных и муниципализированных предприятий, как это имеет место при государственном капитализме. Путем такого эволюционного чисто арифметического процесса и должен, по Каутскому, наступить переход власти к пролетариату и водворение социализма.

Наконец, последний пункт, на котором останавливается тов. Новиков, касается каутскианской разработки проблемы *нового* в истории. Социал-демократические рецензенты считают разработку этого вопроса одной из самых важных и ценных частей книги Каутского о том новом, что представляет собою капитализм в истории человеческого общества. По Каутскому, новое в капитализме есть то, что он не основан на прямом внеэкономическом принуждении, а на экономической целесообразности. Поэтому заменить капитализм социализмом можно, только поставив вместо капиталистических более целесообразные экономические учреждения, а это можно сделать лишь с чрезвычайной осторожностью и постепенностью. Тут—вся соль каутскианской «диалектики» приспособления.

Далее Каутский «открывает», что новое в экономике, в политике и в идеологии каждой эпохи содержит в себе остатки предшествующих общественных формаций. Поэтому экономика данной эпохи не может об'яснить *всю* идеологию и поли-

тику этой эпохи: только *новое* в идеологии и политике данной эпохи можно об'яснить ее экономикой, а остаток, т. е. старое в политике и идеологии каждой эпохи, нужно об'яснить старой экономикой, т. е. экономикой предшествующих формаций вплоть до экономики первобытного общества. На этом основании Каутский приходит к той мысли, что базисом каждой эпохи является ее экономика *плюс* переданные по традиции остатки идеологии, плюс вся вообще надстройка всех предшествующих общественных формаций. Увлекшись пустой тавтологией, что новое об'ясняется новым, а старое—старым, Каутский не замечает, что мера власти идеологических и политических остатков предшествующих общественных формаций дана, в последней инстанции, *новой* экономикой, а не старой, и что только *новая* экономика является поэтому *базисом* каждой эпохи.

Каутский же из своей теории «нового» делает тот вывод, что базис и материален и духовен, а надстройка и духовна и материальна. Это значит, что истина каутскианского понимания истории лежит в историческом идеализме кантианца М. Адлера, в его учении о психичности производственных отношений.

Тов. Новиков кончает свое выступление следующей подытоживающей формулировкой: «Материалистическое понимание истории Каутского вполне свободно от материалистической диалектики и от исторического материализма. Образовавшуюся пустоту заполняет каша из обрывков позитивизма, естественнонаучного материализма, махизма, исторического материализма, био-социологии, социо-биологии, «марксистского» эволюционизма и социальной арифметики.—Тов. Фурщику следовало бы перейти от темы «Каутский и диалектический материализм» к критике каутскианского понимания *истории*».

В согласии с т. Новиковым *тов. Чернышев* отмечает чрезвычайную неоригинальность Каутского по сравнению с другими теоретиками германской социал-демократии. При этом Каутский обычно не считает нужным ссылаться на своих предшественников, у которых он заимствует те или иные мысли и теории. Из философских предшественников Каутского, у которых он многое почерпнул для своего двухтомника, в первую голову надо назвать кантианца Макса Адлера (напр., во вопросу об отрицании об'ективного значения за категорией противоречия).

Тов. Чернышев указывает, что вообще философские воззрения Каутского отличаются крайней несамостоятельностью, непродуманностью и половинчатостью.

Докладчик почему-то не остановился на критике Каутским понятия прогресса, понятия «совершенствования» в развитии. Между тем, вопрос этот очень важен, в частности в связи с теперешней дискуссией с механистами. По Каутскому, Энгельс неправ, полагая, что всякая новая ступень развития приносит обогащение содержания. Каутский отвергает даже самое понятие «совершенствования».

В вопросе о сущности диалектики Каутский хочет эклектически соединить Гегеля с Дарвином, пользуясь при этом фихтевской фразеологией: «я» и «не-я». Тов. Чернышев не согласен с докладчиком, поскольку последний утверждал, что «я» в схемах Каутского сводится к чистому духу. По мнению тов. Чернышева, под «я» Каутский понимает биологический организм вообще, хотя и настаивает на преимущественной активности «духа». Монизм, который пытается наметить Каутский, «снимая» противоположности организма («я») и среды («не-я»), в «приспособлении» организма к среде,—действительно, носит по существу идеалистический характер. Но нигде Каутский не проводит его до конца, так что и тут Макс Адлер опять-таки оказывается более последовательным, чем «папа» социал-демократии.

Тов. Аврамов, признавая всю важность и злободневную актуальность критического разоблачения реакционной, ревизионистской сути «новейших откровений Каутского», предостерегает вместе с тем от того перегиба в этой критике, который

приводит к недооценке положительных сторон его трудов, особенно его трудов, написанных до 1914 г. В целом ряде своих экономических, исторических и других исследований Каутский дал блестящие образцы применения на деле, на практике, метода материалистической диалектики, хотя и тогда Каутскому не хватало достаточной философской культуры в понимании теории диалектики.

Большую научную ценность имело и имеет, по мнению тов. Аврамова, в частности то написанное в 1909 г. сочинение «Развитие и размножение в природе и обществе», которое в докладе тов. Фурщика, подобно другим работам Каутского, подверглось решительной критике. Тов. Аврамов считает, что в этом сочинении Каутский дал весьма ценную диалектическую критику дарвиновской теории естественного отбора. Каутский оспаривает факт всеобщего перенаселения видов, их тенденцию размножаться в резком несоответствии с доступными им средствами существования и выводимую Дарвином из этой тенденции теорию жизненной конкуренции между особями каждого данного вида. По Каутскому, Дарвин грешит тем, что рассматривает каждый вид изолированно, между тем как мир организмов надо брать как совокупность, как органическое целое.

Солидаризируясь с этой критикой теории естественного отбора, тов. Аврамов указывает, что марксисты не должны принимать учение Дарвина *целиком*, а должны строго различать в нем, с одной стороны, гениальную общеэволюционную теорию биотрансформизма, а с другой стороны—отмеченную печатью механического материализма теорию естественного отбора, при помощи которой Дарвин пытался об'яснить установленные им факты биологического трансформизма.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО т. ФУРЩИКА

Я буду краток. Прежде всего отвечу на записку. Товарищ спрашивает, как Каутский смотрит на переход количества в качество. Я должен сказать, что понятие качества у Каутского употребляется чисто формально, без всякого содержания. О переходе количества в качество он говорит однажды или дважды, но только в виде красного словца. Закон перехода количества в качество и наоборот ему чужд и непонятен. Он знает по существу лишь одно количество. Он употребляет гегелевскую терминологию всуе, часто просто для того, чтобы отдать известную дань марксизму.

Я перейду теперь к выступлениям. Начну с тов. Чернышева. Тов. Чернышев спрашивает об отношении Каутского к проблеме совершенствования. Каутский, конечно, задевает этот вопрос и даже полемизирует против Маркса и Энгельса, обвиняя их в метафизике. По его мнению, об'ективного движения, от низшего к высшему, нет. В этой метафизике повинны Гегель и Дарвин. И его критик Альфред Браунталь приветствует Каутского в частности за то, что он раз навсегда уничтожил «метафизику прогресса». Каутский фактически никакого прогресса не признает. В органическом мире происходит приспособление к новым условиям. Но это приспособление ничуть не связано с движением вперед. Зато он компенсирует себя в истории, где он признает за духом способность творить новое.

Каутский ставит «проблему нового в истории». Что понимает Каутский под «новым»? Онформулирует так: это тот результат, который получается от приобретения нового органа у человека. Под органом же он понимает не только орудие производства, но и новые методы исследования, какое-нибудь новое учреждение и т. д. Вся эта постановка вопроса «нового в истории» явно идеалистическая и реакционная, льющая воду на мельницу буржуазной исторической науки, не признающая

развития в природе, нужна Каутскому для того, чтобы в истории открыть широко двери для творчества духа. Каутский выявляется, как доподлинный неогегельянец. Новое создает только дух. Смысл всей постановки вопроса Каутским о «новом в истории» состоит в том, что новое может быть создано только духом, а не материей. Материи нет, следовательно, нет никакого развития материи, следовательно, новое может быть только в истории. Основная идея книги Каутского направлена против об'ективного развития. Вся природа об'является мертвой. Он не признает материи и ее движения. Он признает дух и самодвижение духа. К этому он ведет, ведет всякими окольными путями, которые многих товарищей вводят в заблуждение и явно ввели в заблуждение т. Чернышова. Надо помнить, что Каутский один из первоклассных умов. Он строит свою книгу, всю архитектонику книги так, чтобы систематически от раздела к разделу вести к своей цели, т. е. к идеализму и отрицанию революции. Пример. «Мы можем обозначить на философском языке противоположность между мыслящим индивидуумом и окружающим миром, как противоположность между духом и материей», говорит Каутский. Это язык Макса Адлера. И тут же приводит он соответствующую цитату из Гегеля, где материя об'является чем-то внешним по отношению к духу, и солидаризуется с этим. На следующей же странице он делает оговорку: конечно, я понимаю под внешним миром то, что создано рукой человека, т. е. технику и т. д. На третьей странице он заявляет, что техника является продуктом воли духа. И далее в таком же духе. Основная линия Каутского ясна. Не нужно и вредно представлять Каутского, как путаника. Он первоклассный ум. Он знает, чего он хочет. Он пишет для социал-демократических читателей, для мелкобуржуазной интеллигенции, которую он хочет вербовать. Он пишет с подходцем. Он умнее многих коммунистов пишет. Это нужно разглядеть. Весь мой доклад построен на этой оценке Каутского. Я, разумеется, делаю резкие выводы, но я делаю их на основе изучения всей книги, всего Каутского.

Не надо далее недооценивать философского ума Каутского. Каутский, конечно, не Кант и не Гегель. Это верно. Но покажите мне в лагере «марксистской» социал-демократии Запада какую-нибудь более крупную величину, чем он (голос с места: Макс Адлер). Макс Адлер знает больше философию, он больший специалист в этой области, он профессор. Но Макс Адлер в несколько десятков раз глупее Каутского. Каутский—политик. Знает Каутский, чего он хочет и в своей философии. Знает. И его полемика с Кантом рассчитана, и там каждая точка на своем месте. Он знает, почему он полемизирует против Канта. Ему это нужно, как маневр, чтобы произвести впечатление марксиста. Ведь у него есть традиция борьбы с Кантом. Но за что он борется? Он борется не за материализм. Он борется *за другой тип агностицизма*. Он шел от Шопенгауера и пришел к неогегельянскому идеализму.

Некоторые отдельные замечания тов. Новикова несомненно интересны. Но тов. Новиков сделал, по-моему, одну крупную ошибку. Предостерегая нас от переоценки метода, тов. Новиков забыл одну мелочь, что наш метод материалистический (*Новиков:* я этого не забыл). Вот в чем штука. Наш метод материалистический, т. е. метод, связанный с философским материализмом. На нем основывается наша диалектика, материалистическая диалектика, а когда ревизионисты говорят о методе, то они его отрывают от материализма. Тов. Новиков подчеркивает, что Каутский не оригинален, что он у того взял, у другого взял, у третьего взял. Конечно, Каутский очень много взял, потому что нельзя написать такую книгу и не взять чего-нибудь у других. Он, разумеется, много учился, и в предисловии он говорит, что он учился у многих других, не только у Маркса и Энгельса. Но все дело в том, у кого он учился. Он учился—я уже раньше назвал его основных учителей—у них он учился, а к Марксу и Энгельсу он только *примкнул*.

Я не согласен с тов. Аврамовым, который поет Каутскому дифирамбы. Тов. Аврамов обижается за Каутского. Конечно, Каутский играл большую роль. Даже такой человек, как Ленин, принужден был в свое время считаться с Каутским, но Ленин все время тащил его влево. Его марксизм весьма и весьма относителен даже в 900-х годах. Он, если хотите, «оригинален», т. е. у него был всегда «свой марксизм». У него был своеобразный марксизм, марксизм на основе агностицизма с натуралистическим оттенком. В этом его «оригинальность». Теперь он стал совсем «оригинален», как мы видели. И его необходимо разоблачить, обнаруживая источники его мировоззрения в первую голову. Это мы и делаем. В моих двух докладах, которые я вам прочел, я старался выполнить именно эту задачу в первую голову.

Перехожу к последнему пункту. Тов. Аврамов, конечно, страшно переборщил. Традиция авторитета Каутского довлеет над умами, и с этим надо бороться основательно, бороться с этим необходимо и в нашей партийной среде. Тов. Аврамов подчеркивает его большую заслугу в теории развития и размножения в природе. Это в корне неверно. Каутский борется в своей книге «Размножение и развитие в природе и в обществе» с мальтузианством. Это, конечно, очень хорошо, но дело-то в том, что он вместе с мальтузианством выбрасывает весь дарвинизм. А вы этого не заметили, тов. Аврамов. Каутский выбрасывает учение о естественном отборе, как его выбрасывают все ламаркисты, у которых естественный отбор не играет никакой роли в эволюции. Внешняя среда активно воздействует на организм. Как организм приходит к тому, чтобы ответить на это воздействие внешней среды, ответить целесообразной реакцией, получить новый орган—этого Каутский об'яснить не может, как не может никакой ламаркист. И тут-то «на выручку» приглашается мистика.

Энгельс также борется с мальтузианской стороной дарвинизма. Но Энгельс при этом не выбрасывает дарвинизма, а наоборот защищает его, очищает его от мальтузианства. А Каутский выбрасывает дарвинизм. Он очень осторожно говорит в предисловии к русскому изданию «Размножение и развитие в природе и в обществе», что вместе с изменением его взглядов на вопрос о народонаселении, изменился его взгляд на дарвинизм. Хорошенькое изменение взглядов. Это—полная измена дарвинизму. И тов. Аврамов меня напрасно обвинил, что я принимаю Дарвина целиком. Мы стоим на точке зрения Маркса-Энгельса, которые целиком Дарвина не принимали, а дарвинизм, освобожденный от мальтузианства, не только принимали, но считали его естественно-исторической основой учения о классовой борьбе.

Я кончаю. Разумеется, доклад об «историческом материализме» Каутского, о его теории революции, о классах и т. д. необходимо поставить. Думаю, что институт философии так и сделает.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

И. Я. ВАЙНШТЕЙН.—ГЕГЕЛЬ, МАРКС И ЛЕНИН, Гиз. 1928 год, с 277.

Если любая книга о Гегеле, Марксе и Ленине не может вообще пройти у нас незамеченной, то в период большой философской дискуссии, в период углубленного интереса к основным проблемам диалектического материализма такая книга, естественно, привлекает к себе широкие круги читателей. Поэтому имеются все основания думать, что и книга т. Вайнштейна найдет такой круг читателей. Это обстоятельство заставляет разобраться в ней и выявить, как и в какой мере поможет она массовому читателю ориентироваться в вопросах марксистской методологии.

Разработка и конкретизация материалистической диалектики, как это достаточно выяснено, настоятельно диктуются и «крутой ломкой», переживаемой современной наукой, и,—последнее важнее,—тем огромным новым опытом, теми гигантской сложности и новизны проблемами, которые выдвинуты переходным периодом во всех областях жизни и строительства.

Наше время не только выдвинуло серьезнейшие задачи перед философской мыслью, но создало, в известном смысле, и материальные предпосылки для их осуществления. Мы говорим о том огромном и замечательном материале, который опубликован в трех томах «Архива Маркса и Энгельса» и в философских записях Ленина, и который нередко дает конкретные указания для разработки тех или иных проблем марксистской методологии.

Этот материал ждет систематической обработки.

С точки зрения задач, стоящих перед философской мыслью у нас, должна быть оценена и книга т. Вайнштейна, являющаяся попыткой связного истолкования методологии Гегеля, Маркса и Ленина.

Схема построения книги т. Вайнштейна следующая:

Гегель положил начало новой теории мышления, разработал диалектику, как могучее орудие познания всего существующего, и явился в методологическом отношении непосредственным предшественником революционного диалектического материализма. Освободив диалектику Гегеля от идеалистической оболочки, «поставив ее на ноги» и превратив в методологическую основу материализма, Маркс и Энгельс создали не только могучее орудие познания, но и революционного изменения действительности.

Только материалистическая диалектика дала возможность Марксу вскрыть сущность капиталистического общества и обосновать необходимость диктатуры пролетариата. И, наконец, только непревзойденное мастерство в применении материалистической диалектики дало возможность Ленину руководить в эпоху империализма решающими боями труда против капитала и, после победы пролетариата, проявить поистине чудеса на почве решения труднейших проблем, выдвинутых условиями социалистического строительства.

Выясним, прежде всего, насколько освещен в книге Ванштейна Гегель и его диалектика. Общей характеристике философии Гегеля специально отведен первый раздел рассматриваемой книги.

В этом разделе дана о б щ а я характеристика диалектической логики в отличие от формальной, показано, что она является, по существу, логикой предметного бытия, логикой действительности, и вскрыт ее специфически революционный характер.

Если тезис Канта гласит: противоречие в вещах невозможно, если о проблему противоречия фатально разбивались все попытки формально-логической мысли познать действительность, то Гегель, наоборот, интерпретирует противоречие и отрицательность, как основное биение жизненного пульса, как внутренний источник всякой деятельности и самодвижения природной и духовной жизни, как революционный стимул всякого развития.

Тезис Гегеля гласит: только противоречие ведет вперед. Логика противоречия вскрывает бессодержательность отвлеченного тождества формальной логики и преодолевает эмпиризм, остающийся в пределах непосредственного понимания действительности. Будучи и аналитической и синтетической, охватывая тождество в его различии, многообразие определений в их единстве, она указывает единственно правильную связь между абстрактным и конкретным, как определенный путь научного мышления, ведущий не к простому описанию и регистрации единичных фактов, а к пониманию закономерности бытия, постигнутого во всем его многообразии.

Конкретно-революционный характер диалектики Гегеля т. Вайнштейн иллюстрирует на главе из «Феноменологии духа»: «Самостоятельность самосознания и его несамостоятельность; господство и рабство», на критике критиков Гегеля, которым отведена последняя глава этого раздела (Шопенгауэр, Ланге, Гартман, Тренделенбург, Бернштейн), и на критике современных механистов.

Таков первый раздел книги Ванштейна. В нем дана только о б щ а я характеристика философии Гегеля и диалектической логики. Эта общая характеристика Гегеля, в условиях модного сейчас третирования «гегельянщины», будет иметь известное положительное значение. Тем более, что этот раздел книги носит, сравнительно с другими, более цельный характер.

Но одно дело дать общую характеристику философии Гегеля и совсем другое—вскрыть внутреннюю связь методологии Гегеля, Маркса и Ленина. Для последней задачи совершенно необходима *детальная* интерпретация основных категорий диалектической логики. Как т. Вайнштейн справился с этой стороной дела?

Категории логики и Гегель фигурируют у него во всех отделах книги. В ней, в частности, налицо все те важные методологические проблемы, которые служили предметом философской дискуссии. Гегелевская трактовка сущности и явления, формы и содержания, случайности —необходимости, количества—качества, закона, понятия, возможности, предела и т. д. и т. п.—все это встречается в книге Вайнштейна.

Но все эти категории приведены без всякой системы, от случая к случаю, в разном контексте, чрезвычайно лаконично, часто с комментарием, который просто повторяет Гегелевскую формулировку, *ничего не раз'ясняя* читателю, не знакомому с Гегелем.

Было бы совершенно невозможно в учебной работе указать студенту определенные страницы или определенный контекст книги, в котором он мог бы более или менее детально выяснить для себя диалектическое решение какой-либо методологической проблемы. Это замечание касается даже такой проблемы, как единство противоположностей, встречающейся буквально на каждой странице и в то же время нигде по-настоящему не выясненной.

Таким образом, хаотичность изложения, характеризующая вообще всю книгу, сводит почти на-нет работу Вайнштейна над категориями Гегелевской логики. Несколько

систематичнее, но недостаточно освещены следующие вопросы: количество — качество, случайность — необходимость, сущность и явление.

Лучше показана несостоятельность грубого эмпиризма, который прослежен и на конкретном материале, даваемом книгой.

Этот большой недостаток книги тов. Вайнштейна, чрезвычайно снижающий ценность всей его работы, может быть изжит только выделением в особую главу и *детальной материалистической интерпретацией* некоторых особо важных методологических проблем,—как проблема формы и содержания, сущности и явления, общего—единичного, закона, случайности и необходимости. Пока этого не сделано, в качестве об'ективного результата книги остается, как мы выше отметили, лишь *общая* характеристика Гегелевской диалектики, написанная с известным под'емом.

Надо заметить, что этот же под'ем, при слишком иногда радикальных утверждениях автора, рискует обратиться в апологию Гегеля, может быть и понятную в условиях третирования Гегеля некоторыми «марксистами», но тем не менее «смазывающую» различие материалистической и идеалистической диалектики.

И это совсем не потому, что у т. Вайнштейна нет критики Гегелевского идеализма. Наоборот. Он приводит Марксову критику Гегелевского идеализма из введения «К критике», критику «Феноменологии» из подготовительных работ для «Святого семейства» (Архив Маркса и Энгельса, том III), подкрепляет ее и своими замечаниями. Но эта критика, приведенная также от случая к случаю, проходит мимо читателя. Возможно, что и критику гегелевского идеализма следовало бы выделить в особый параграф и дать ее в более систематизированном виде.

О радикальных утверждениях автора заметим следующее: Тренделенбурговская критика Гегелевской логики служит, в известном смысле, очень благодарным материалом как раз для обнаружения предметного и материального характера диалектической логики. Как правильно заметил Плеханов, Тренделенбург об'ективно воевал против *идеалистической* диалектики и показал, что «Гегелева логика вовсе не есть порождение чистой мысли; она создана предварительным абстрагированием от природы».

Эту сторону критики Тренделенбурга т. Вайнштейн использует достаточно полно, но в то же время сопровождает ее следующими замечаниями: «Тренделенбург уличает диалектическую логику Гегеля, которая, обнаруживая преходящий характер всякого предела, опирается на «представление пространственного движения». Тренделенбург, думающий уязвить Гегеля таким упреком, обнаруживает свое полное непонимание диалектической логики, которая даже в идеалистическом наряде вынуждена следовать действительности» (с. 46 книги Вайнштейна). Аналогичное замечание и на 42 с. Здесь надо сказать, что «непонимание» непониманием, но самый тот факт, «что диалектическая логика даже в идеалистическом наряде *вынуждена* следовать действительности», безусловно «уязвляет Гегеля» и идеалистическую диалектику—как саморазвитие понятия. В этом Тренделенбург прав.

В связи с этим, думается, что необходимо резко выпятить, подчеркнуть ту сторону дела, что *всякое рациональное истолкование* логики Гегеля, как логики самой материальной действительности, есть, по существу, *одновременное разоблачение несостоятельности идеалистической* диалектики

Так обстоит в книге Вайнштейна дело с Гегелем.

Именно потому, что в ней не дано систематической материалистической интерпретации некоторых особо важных, с методологической точки зрения, категорий диалектики, несмотря на обилие последних,—книга т. Вайнштейна приобретает несколько фрагментарный характер и задачу свою—проследить внутреннюю связь методологии Гегеля, Маркса и Ленина — выполняет в самом общем смысле, не конкретизируя

по существу и не углубляя той общей формулы, которая приведена была нами выше в очерке общей структуры его книги.

Марксу, отчасти Энгельсу, отведена вторая часть книги. Основной в этой части является глава «Абстрактное и конкретное». В ней показано, что, если эмпирическая экономия не умела выйти за пределы наблюдаемых явлений и оставалась на их поверхности, то только «сила абстракции, которая при анализе экономических форм должна заменить и микроскоп и химические реактивы» (Маркс), дала возможность Марксу разгадать форму стоимости, вскрыть основу капиталистической действительности и охватить конкретное содержание последней.

И если аналитические абстракции классической экономии только удаляли последнюю от конкретного многообразия действительности, стирая в ней все специфическое, Марксовы абстракции—орудие воссоздания конкретного, как единства многообразия,—воспроизводят это конкретное в его историческом своеобразии, вскрывают его как диалектическое единство многообразия.

Удачно написаны в этом отделе книги главы: «Единство теории и практики», в которой излагается общее значение диалектики в Марксовой теории общественного развития и «Историческая закономерность и конечная цель», в которой излагается диалектическое понимание взаимозависимости причинности и целесообразности. Революционно-практическое значение такого понимания показано в этой главе путем противопоставления решения этого же вопроса метафизической логикой оппортунизма, для которого идеал, конечная цель—некая потусторонняя, совершенно противоположная действительности, приятная, но не осуществимая фантазия. Благодарным материалом для такой темы является, конечно, Эд. Бернштейн.

В этой главе следовало резче подчеркнуть ту сторону, что цель не только приобретает реальность в связи с обусловливающим ее закономерным процессом, но что сама она целиком *вырастает* из этого закономерного процесса, являясь только особой формой необходимости.

Весь отдел, посвященный Марксу, носит заглавие: «Диалектика, как материалистическая теория познания». На реализацию этого заглавия, повидимому, претендует первая глава отдела: «Диалектика и материализм». Глава эта, давая достаточную характеристику ограниченности механического и метафизического материализма, выясняет в общих чертах значение диалектики в преодолении ограниченности такого материализма, эмпиризма и идеализма в естествознании; здесь же указывается и значение диалектики в исследовании капитализма и т. д. Глава эта изобилует цитатами, главным образом, из «Диалектики природы», перегружена проблемами, хаотична. Если считать, что, главным образом, эта глава должна была дать ответ на вопрос о диалектике, как материалистической теории познания,—то такого ответа она не дает.

Вопрос о диалектике и теории познания, особенно так, как он ставится в заметках Ленина, вряд ли решается простым указанием на тот факт, что диалектика является методом познания любой стороны действительности. В этом смысле заглавие отдела не реализовано его содержанием. Надо заметить, что совершенно ни к чему вклеен в эту главу Спиноза, субстанция которого об'явлена к тому же единством противоположностей (атрибута мышления и протяжения, с. 68). Этот неожиданный бросок мысли невольно ставит под сомнение понимание автором самого единства противоположностей, фигурирующего у него повсюду. В самом деле. Надо ли думать, что атрибуты характеризуют внутрипротиворечивую структуру субстанции Спинозы или что именно такая антагонистическая структура обусловливает развитие или самодвижение Спинозовской субстанции? Если всего этого думать не следует, какой смысл в таком употреблении важнейшей категории диалектики, которое выхолащивает из нее всякий смысл, всякое содержание?

Тот же Вайнштейн на с. 130—131 заявляет, что Спинозовская субстанция, атрибут и модус—отвлеченны и не знают развития, что в системе Спинозы конкретная действительность не разворачивается в процесс имманентного самодвижения.

Большая половина книги т. Вайнштейна посвящена Ленину. Отдел о Ленине называется: «Диалектика, как методология революционного действия».

Первая часть этого отдела — Ленин и Гегель—целиком, в конце концов, отведена Гегелю. По мысли тов. Вайнштейна эта часть должна была быть развернутой трактовкой заметок Ленина о Гегелевской логике. Надо сказать, что внимательный анализ ленинских заметок о диалектике даст чрезвычайно ценный материал для углубленного понимания революционной методологии Ленина. Но и после книги т. Вайнштейна, замечательные записи Ленина о диалектике все еще ждут своего внимательного интерпретатора. Дать «развернутую трактовку» заметок Ленина т. Вайнштейн не сумел. Нельзя считать «развернутой трактовкой» ленинских заметок записи, где, в конце концов, то или иное утверждение Ленина просто иллюстрируется соответствующими цитатами из Гегеля. В порядке такого параллельного текста почти целиком приведены все заметки Ленина, но от этого они еще не стали познанными, особенно, для широкого читателя.

Особенно бессистемно написаны первые две главы этой части, перегруженные ненужными экскурсами в сторону и, в конце концов, не выясняющие все-таки исключительного методологического значения закона единства противоположностей и особенно, в том его толковании, которое дается Лениным.

Значительно лучше написаны третья и четвертая главы этой части: «Абсолютное и относительное» и «Проблема теории познания и закон единства противоположностей». В последней из них освещен вопрос о теории познания у Канта и Гегеля и, более или менее детально, вопрос о грубом эмпиризме и опосредствованном познании.

В конечном счете, скромным результатом «развернутой трактовки» ленинских заметок оказалось то совершенно правильное положение, что и Гегель и Ленин одинаково придавали огромное методологическое значение единству противоположностей. Но как, в частности, делает это Ленин, как у него этот закон познания дает возможность в любом предложении вскрыть зачатки *всех элементов* диалектики и какие именно элементы он выделяет — на все это обращено слишком мало внимания.

Ленин указывает основные «элементы» диалектики, имеющие важнейшее познавательное значение: закономерность, отдельное и общее, случайное и необходимое, явление и сущность; «превращение отдельного в общее, случайного в необходимое, переходы, переливы, взаимная связь противоположностей» (Ленин). Огромное познавательное значение именно этих категорий лишний раз подчеркнула и философская дискуссия, бившаяся вокруг этих вопросов.

Эти категории затерялись у тов. Вайнштейна в ряду всех прочих, не были выделены особо и подробно интерпретированы с тем, чтобы быть затем конкретизированными на материале Маркса и Ленина, поэтому и получилось, как об'ективный результат, что связь методологии Гегеля, Маркса и Ленина устанавливается в самом общем и для специальной книги — недостаточном смысле.

Приблизительная схема этой связи дается тов. Вайнштейном так: диалектическое понимание, умение вскрыть действительность, как единство противоположностей, умение видеть специфичность, качество... дало возможность Марксу... или Ленину именно так, в отличие от метафизики, плененной формальной логикой... решить такой-то вопрос.

Вторая часть отдела, посвященного Ленину, называется: «Пролетарская революция и логика бесконечности». В этой части т. Вайнштейн задается, повидимому, целью конкретизировать на большом материале Ленина определенную категорию Гегелевской логики — категорию бесконечности. Тов. Вайнштейн считает, что именно сочетание пролетарской революции и логики бесконечности «полагает водораздел между эклектической логикой оппортунизма и диалектической логикой, которая Ленину служила орудием осознания пролетарской революции и действенного решения порожденных ею проблем» (178 стр.).

Выясним прежде всего, что это за такая логика бесконечности. Гегель различает истинную и ложную бесконечность. Ложная бесконечность, в отличие от истинной, является таким отрицанием данного бытия, которое неспособно перейти в утверждение его противоположности, и высказывает относительно последней лишь бесконечное долженствование, бесконечные пожелания без всякой перспективы их практического претворения и воплощения в действительность.

На этом тов. Вайнштейн строит всю механику различения оппортунизма и революционного марксизма в вопросах, связанных с пролетарской революцией. Оппортунизм, цепляясь за дурную, ложную бесконечность, допускает и пролетарскую революцию и социализм только как бесконечное долженствование, как недосягаемое пожелание. Ленин, пресекая линию империализма в завершающей его социалистической революции, как необходимом разрешении капиталистических противоречий, преодолевает этим самым ложную бесконечность. Модификацией той же ложной бесконечности является, естественно, и отрицание возможного завершения социалистического строительства в стране диктатуры пролетариата, и демократические рецепты «преодоления» капитализма, когда это преодоление связывается с бесконечным ожиданием парламентского большинства.

И, наконец, примером такой же ложной бесконечности оказывается и богдановское положение о необходимости культурного вызревания пролетариата в условиях капиталистической действительности. Не будет преувеличением сказать, что к этому *сводится* у т. Вайнштейна *весь анализ* методологических основ оппортунизма и в вопросе империализма и пролетарской революции (глава 1-я) и в вопросе империалистической экономики и социалистического строительства (глава 2-я) и в вопросе диктатуры пролетариата и революционной тактики (глава 3-я) и, наконец, в вопросе о социалистической культуре (глава 4-я).

Исключительная поверхностность и произвольность подобной «методологической» обработки огромного и, с методологической точки зрения, неоценимо богатого материала заключается не в том, чтобы категория ложной бесконечности не могла быть обнаружена в этом материале; рациональный смысл этой категории в данном контексте сводится исключительно к иллюстрации точки зрения постепенности, точки зрения чисто количественного рассмотрения явления, т. е. вещей, хорошо знакомых уже рабфаковцу, прошедшему популярный курс диалектического материализма; произвольность и никчемность этого построения в том, что выпячивание категории, несложный, в данной связи, смысл которой затуманен цветистым термином (способным пугнуть не только рабфаковца), только помешает читателю по-настоящему разобраться и по-настоящему методологически осмыслить материал, в котором может и должна быть вскрыта исключительная плодотворность всех «элементов» диалектики.

Ведь как раз на вопросах пролетарской революции и теории «врастания в социализм» еще тридцать лет тому назад прекрасно умели показать исключительную важность диалектического метода и вскрыть теоретическую и практическую бессмыслицу теории постепенности, теории вульгарной эволюции, не прибегая ни к каким дурным бесконечностям.

Все это построение т. Вайнштейна следует считать совершенно *несостоятельным*, а поскольку действительный анализ материала заменяется звонким термином — и просто *вредным*. Отвлекаясь от этого неудачного методологического

опыта т. Вайнштейна, надо сказать, что вторая половина его книги кратко, но старательно излагает многие проблемы ленинизма. Здесь теория империализма и вопрос о пролетарской революции, вопрос о построении социализма в одной стране, вопрос о диктатуре пролетариата, крестьянстве, новой экономической политике, роли партии.

Эта последняя часть книги т. Вайнштейна, поскольку она излагает точку зрения Ленина на вопросы, связанные с пролетарской революцией, достаточна ценна и методологически интересна. Нужно сказать, однако, что интерес и ценность составляют здесь имманентное неот'емлемое свойство самого излагаемого материала.

Тов. Вайнштейн достаточно полно освещает указанные вопросы, противопоставляя точке зрения Ленина точку зрения оппортунизма и, таким образом, иллюстрируя в самом общем смысле диалектическое и формально логическое решение тех или иных проблем.

Интересен сам по себе и материал, приведенный в последнем отделе книги «Экономика и диалектика», состоящем из трех глав: 1) Народничество и капитализм, 2) Теория реализации и экономический романтизм и 3) Аграрная проблема и ревизионизм.

Этот отдел освещает, главным образом, полемику Ленина с народниками по вопросу о русском капитализме.

Центр тяжести всей третьей части книги т. Вайнштейна лежит в изложении точки зрения Ленина на тот или иной вопрос.

Совершенно бесспорно, что учение Ленина является прежде всего методологией пролетарской революции, методологией революционного действия. С этой стороны содержание последней части книги отвечает ее заглавию: «Диалектика как методология пролетарской революции».

Но задача т. Вайнштейна, по самому замыслу его книги, заключалась в том, чтобы показать, как эта методология революционного действия органически связана с той методологией знания, начало которой положил Гегель.

Как справился т. Вайнштейн с *этой* задачей? Тов. Вайнштейн и в этой части книги ограничился той общей схемой связи методологии трех мыслителей, о которой мы уже говорили выше и которая, в конце концов, не детализирует того хорошо известного положения, что Ленин — диалектик, а оппортунисты всех мастей — метафизики. С этой точки зрения, материал, в котором с исчерпывающей полнотой можно было бы «вскрыть все элементы диалектики», остался далеко не доработанным.

Такова книга о Гегеле, Марксе и Ленине.

Если оценить книгу тов. Вайнштейна с точки зрения конкретных задач сегодняшнего дня, с точки зрения конкретной ситуации на нашем философском фронте— надо сказать, что книга эта в некоторых отношениях окажется полезной и нужной. В книге показана, хотя и бессистемно и беспорядочно, но довольно полно, несостоятельность грубого эмпиризма, примитивность и беспомощность механического миропонимания, несостоятельность формально-логического мышления. Ценна в наши дни и самая попытка поставить в единую связь методологию Гегеля, Маркса и Ленина, которая выявлена, правда, в самом общем и хорошо известном смысле, но на достаточно обширном и современном материале.

Автор стоит, и это чрезвычайно важно, на правильной методологической позиции. В этих граница книга выполнит свою положительную роль.

Ряд недочетов книги указан при разборе отдельных ее частей. Основным является ее бессистемность.

Страсть автора к цветистой фразе и завидная способность к ассоциациям вполне уместны, а иногда и импонируют, когда нужно громить метафизику, международный оппортунизм, Шпенглера или Ницше. Здесь и язык автора приобретает иногда настоящую образность. Но те же свойства автора оказываются чрезвычайно серьезной помехой при обсуждении отдельных теоретических вопросов, когда и темперамент и мысль по ассоциации, загромождая текст, создают чувствительный сумбур, а серьезный вопрос продолжает ждать более спокойного интерпретатора.

Отметим в заключение, что цветистая фраза т. Вайнштейна разрешается сплошь и рядом в грамматически-неприемлемые формы. Например: «империализм есть резкий подрыв товарного хозяйства, основанный на гигантском обобществлении производства, плоды которого утилизируют избранники финансового капитала, т. е. попадают в тиски единоличного присвоения» (стр. 182). По построению фразы в тиски здесь попадают избранники капитала, а не плоды.

Тов. Вайнштейн обычно осторожен в своих утверждениях, подкрепляет их цитатами, но те же цитаты загромождают текст и затрудняют чтение. Цитирует Вайнштейн небрежно в двояком смысле: 1) в большинстве случаев указываются не те страницы или не то издание (при пользовании «Диалектикой природы» и сочинениями Ленина), 2) Вайнштейн не только не оговаривает своего курсива в чужих цитатах, но, убирая кавычки и ссылки внутри цитаты, выдает таким образом, правда, неумышленно, слова Маркса за слова Ленина (сравни важную цитату о теории реализации на стр. 256 книги Вайнштейна со стр. 414-415, а не 436-437, как указано (3-е изд. II тома сочинений Ленина).

Книга тов. Вайнштейна снабжена очень коротким, но удивительно небрежно написанным предисловием.

А. Арутюнянц

А. ТАЛЬГЕЙМЕР. Введение в диалектический материализм. Популярные беседы. ГИЗ, 1928, стр. 240.

Автор ставит себе задачей изложить основы диалектического материализма, рассматривая последний, как результат всей предшествующей истории философии. «Я не буду вам подносить диалектический материализм, являющийся самым передовым современным миросозерцанием, как нечто вполне готовое, но представлю вам это воззрение *в его истории*, в его развитии»,—говорит автор в начале своей книжки (стр. 7). «Я излагаю диалектический материализм как нечто возникшее, имеющее историю» (стр. 8—9). Такой подход к теме безусловно правилен, и мы могли бы приветствовать лежащую перед нами книжку, если бы наличие существенных методологических недостатков не понижало весьма сильно ее ценность. Но прежде всего два слова для общей характеристики книжки.

В соответствии с исторической установкой к теме, автор начинает свое изложение с религии, «так как религия, как это всем известно, является древнейшим из всех миросозерцаний» (стр. 12). Характеристике религии посвящены первые две главы. Бросаются в глаза отдельные неудачные формулировки: так, напр., иррелигиозность рабочего класса об'ясняется его революционностью, а особое положение рабочего в производстве, то, что «современный рабочий относится к природе не так, как крестьянин»,— рассматривается автором как «еще другие мотивы», которые «присоединяются» (стр. 235) к уже указанному — к революционности рабочего класса, а не определяют эту революционность.

Далее идут главы (III, IV и V), посвященные древне-греческой философии и индусскому материализму (VI глава). Характеризуя греческий материализм, автор излагает взгляды отдельных мыслителей, но плохо показывает связь между ними, в результате чего у читателя не получается цельного впечатления о *развитии* греческой мысли как единого процесса. Так напр., атомистика не увязана с предшествовавшими ей

философскими течениями, совершенно не показана ее роль и значение для дальнейшего развития философии. Такой важный этап в развитии греческой философии, как элеатская школа, совершенно выпал в изложении автора. Об элеатах упоминается в связи с характеристикой античной логики и диалектики, как об авторах известных парадоксов о стреле и об Ахилле и черепахе. Но остается абсолютно невыясненным, как возникла элеатская школа, каково ее историческое значение и т. п.; читателю невозможно понять, какое место занимают элеаты в общей цепи различных философских систем античной Греции. То же самое относится и к Платону и Аристотелю. Автор вскрывает социальные корни платоновского идеализма. Но логическая связь учения Платона с предшествующей философией совершенно отсутствует. В общем, книжка дает отдельные куски греческой философии, цельной же картины связи между отдельными системами и их развития одной из другой в книжке нет.

Аналогичные замечания должны быть сделаны и о главе, трактующей индусский материализм. Автор все время стремится показать социально-классовый характер тех или иных философских систем. Это интересно и необходимо, но этим нельзя ограничиваться. Нельзя забывать, что любая философия должна быть, помимо того, охарактеризована, как момент единого, закономерного процесса развития человеческой мысли.

Следующая (VII) глава дает краткую характеристику философии нового времени, с Гегелем и Фейербахом в центре. VIII глава говорит об источниках марксизма, об отличии материализма Маркса от материализма Фейербаха и, кроме того, ставит основной философский вопрос об отношении мышления и бытия. IX, X и XI главы являются центральными в книжке и трактуют вопросы материалистической теории познания и диалектики. XII и XIII главы посвящены характеристике материалистического понимания истории, XIV и XV главы—древней китайской философии. Эти главы с успехом могли бы быть поставлены в один ряд с главами, характеризующими историческое развитие домарксовой философии и предваряющими положительное изложение ее основ. Сами по себе эти главы являются ценными, поскольку здесь дается чуть ли не первая попытка подойти под марксистским углом зрения к богатой сокровищнице философской мысли древнего Востока. И, наконец, последняя (XVI) глава книжки, посвященная прагматизму, могла бы быть, по нашему мнению, без ущерба опущена, поскольку она не связана с общей установкой книжки—показать историческое подготовление философии марксизма.

Обратимся теперь к центральному и, вместе с тем, решающему в оценке книжки пункту,—к трактовке автором книжки основных проблем диалектического материализма.

Прежде всего следует отметить, что ни в начале книжки, ни тогда, когда автор приступает вплотную к рассмотрению вопросов философии марксизма, не дается удовлетворительного определения философии. Автор, как бы между прочим, заявляет, что диалектический материализм является «самым передовым современным миросозерцанием» (стр. 7). Но остается, во-первых, неясным,—почему и в каком смысле является диалектический материализм миросозерцанием, а во-вторых,—совершенно оставляется в тени значение марксистской философии, как всеобщей методологии.

В VIII главе автор касается основного философского вопроса об отношении мышления и бытия. В связи с этим, автор спрашивает: «каким образом можно опровергнуть то представление или ту идею, что все, что существует, существует только в представлении человека? Может быть, товарищи попытаются ответить на этот вопрос?» (стр. 120—121). Казалось бы, вопрос об опровержении идеализма давным-давно уже решен классиками материализма в лице Фейербаха, Маркса, Энгельса, Ленина. «Вопрос о том, свойственна ли человеческому мышлению предметная истина, вовсе не есть вопрос теории, *а практический* вопрос» (Маркс). «В том-то и состоит коренная ошибка идеализма, что он ставит и разрешает вопрос об об'ективности и суб'ективности, о действительности или недействительности мира только с теоретической точки зрения»,—сочувственно цитирует Фейербаха Ленин.

Казалось бы, подобная постановка вопроса является вполне установившейся в марксизме. Точка зрения практики в разрешении основного вопроса философии об'является Тальгеймером обыденной,—точкой зрения «здравого человеческого смысла». В самом деле, существует ли внешний мир, как независимый от моего сознания? «Это один из основных вопросов учения о познании»,—справедливо замечает автор. «Здравый человеческий смысл,—продолжает он,—быстро справляется с этим вопросом. Само собой разумеется, что фонарный столб существует независимо от моего сознания, и я замечаю это тогда, когда наталкиваюсь на него. Точно так же я замечаю, что дерево существует независимо от моего сознания, когда оно падает мне на голову. Но здравый человеческий смысл не является верховным судьей в вопросах науки» (стр. 119). «В меня попадает пуля. Согласно обыкновенному представлению, эта пуля существует совершенно независимо от меня. Но я замечаю эту пулю только благодаря моему представлению. Таким образом это возражение не годится. Мы должны углубиться дальше» (стр. 121).

Отвергнув таким путем критерий практики, автор следующим образом «углубляется дальше». «Предыдущее исследование человеческого сознания—говорит он—привело нас к выводу, что *само это сознание в своих глубинах заключает в себе знание о том, что мое сознание не есть все, а только часть мира*. Только благодаря этому сознанию возможно всякое мышление, из него исходит мышление. *Мы находим решение в самосознании:* оно состоит в знании о том, что мое сознание не есть все, но что мне противостоит мир, отличный от моего сознания» (стр. 121—122; курсив наш.—*А. Ч.*).

Итак, исходным пунктом философии являются, по Тальгеймеру, «глубины» сознания, и основной вопрос гносеологии решается в «самосознании». Все это, конечно, «оригинально», поскольку это говорит марксист. Но не нужно забывать, что подобную «оригинальность» давно уже разоблачил Ленин, говоря о махизме и его русских апостолах. Каким образом марксист, не так давно писавший о махизме в связи с ленинской критикой этого течения, сам теперь сбился на явно идеалистическую точку зрения? Правда, в следующей главе автор упоминает о критерии практики, но приведенное нами только что рассуждение заставляет сомневаться, насколько серьезно приемлет автор этот критерий.

Несколькими строками ниже Тальгеймер заявляет: «Теперь еще один маленький вопрос, который я хочу разобрать. Существуют не только такие представления, которые соответствуют действительным вещам. Существуют также и чисто суб'ективные представления» (стр. 122). Конечно, автор прав, говоря, что существуют не только истинные, но и ложные представления о леших, домовых и пр. и т. п. Но к чему, спрашивается, говорит он об этих представлениях? Не к тому, во всяком случае, чтобы указать на историческую практику человека, как критерий для различения истинного от ложного. Автор лишь констатирует наличие «суб'ективных» представлений (кстати, самый термин «суб'ективные представления» неудачен, ибо всякое представление есть свойство суб'екта и поэтому суб'ективно,—лучше говорить об адэкватных и ложных представлениях), отказываясь указать способ опровержения или разоблачения этих представлений. Как ни странно, но это так; автор говорит: «Я, например, смотрю ночью на небо и замечаю в каком-либо месте мерцание звезды. Эта звезда может существовать действительно, или же только в моем глазу происходит нечто такое, что возбуждает во мне это ощущение. Как я могу отличить, является ли это действительно звездой или же это

только в моем мозгу происходит нечто такое, что вызывает видимость этой звезды?» (стр. 122—123).—Ответа на этот вопрос не дается, и все рассуждение о «суб'ективных» представлениях направлено только к тому, чтобы подвести читателя к этому неразрешимому (или, во всяком случае, неразрешенному) вопросу, как выводу из всего предыдущего. «Чтобы вопрос стал яснее» (яснее, повидимому, в смысле невозможности на него ответить), автор указывает еще на пример душевно-больных, «у которых бывают ложные ощущения».

Если в вопросе о критерии истины автор скатывался к идеализму, то при характеристике мышления он же дает формулировку, чуть ли не совпадающую с вульгарным материализмом типа Фохта. Вот, что говорит автор в разделе «Мышление и мозг»: «Что же представляет собой само мышление? Есть ли оно нечто материальное или нечто иное? Ответ гласит: мы наблюдаем, что само мышление связано с материальной субстанцией, с человеческим мозгом; это функция такая же, как функция мускулов, подобно тому, как выделение жидкостей и т. п. есть функция желез. Но это мышление функционирует также лишь в связи с материальными веществами, с чувственными восприятиями. В этом двояком смысле мышление тоже материально» (стр. 123—124).

Смысл этого рассуждения прост: мышление материально «в двояком смысле». Во-первых, оно материально, поскольку «связано с материальной субстанцией», а во-вторых, оно материально еще и постольку, поскольку оно есть такая же функция мозга, «как выделение жидкостей и т. п. есть функция желез». Чем это отличается от плоского, грубого материализма, отождествляющего суб'ект с об'ектом?

В следующей (IX) главе резко бросается в глаза рассуждение автора на тему: «Мышление как особый случай всеобщего взаимодействия вещей». Желая обосновать возможность познания вещей, Тальгеймер заявляет: «Когда мышление вступает в связь с вещами, происходит то же самое, что бывает при всякой связи двух вещей вообще: когда две вещи вступают в соединение, то они взаимно действуют друг на друга. Нет действия без противодействия. В действии и противодействии проявляется природа обеих вещей. Отнять действие вещи на другую вещь значит отнять самую вещь. Вещи действуют на мышление и мышление действует на вещи. *Отношение мышления к вещам соответствует взаимодействию двух вещей*» (стр. 127; курсив наш.—*А. Ч.*).

Здесь, прежде всего, бьет в глаза прямое отождествление мышления и вещей, какое мы имеем у завзятых представителей вульгарного материализма. Затем, здесь же познание вещи приравнивается к действию мышления на вещи. Однако, это в корне не верно: мышление не воздействует непосредственно на предмет, познание есть лишь отражение вещи в сознании, полученное в результате человеческой практики, т. е. в результате взаимодействия человека и противостоящей ему вещи (или вещей). Точка зрения Тальгеймера по этому вопросу весьма далека от диалектического материализма. И в этом нас еще более убеждают следующие его слова: «Если вы желаете, чтобы познание совершалось таким образом, чтобы мышление не *перерабатывало вещей*, то вы желаете чего-то бессмысленного, а именно, чтобы действие совершалось без противодействия. Уничтожая противодействие, вы уничтожаете и действие, а вместе с ним и самое вещь или сущность ее» (стр. 127—128; курсив наш.—*А. Ч.*).

Итак, познание есть переработка вещей посредством мышления. Верно это или неверно?—Неверно. Тальгеймер вульгарно понимает, повидимому, то место из послесловия ко II изданию «Капитала», где Маркс говорит: «Идеальное есть не что иное, как переведенное и переработанное в человеческой голове материальное». Но ведь смысл этого выражения тот, что мысль перерабатывает не вещи как таковые, а ощущения этих вещей, представляющие материальное, уже *переведенное* на язык суб'екта.

Далее, поскольку, по Тальгеймеру, мысль есть вещь, оказывающая противодействие другой вещи (познаваемой), а без противодействия невозможно и действие, то выходит совершенно недвусмысленно, что без мысли нет вещи, без суб'екта нет об'екта. Не похоже ли это, как две капли воды, хотя бы на принципиальную координацию Авенариуса? Ответить на этот вопрос отрицательно было бы трудно.

Мы не будем останавливаться на ряде мест, представляющих если не извращенное понимание, то, во всяком случае, весьма неудачную формулировку тех или иных вопросов, а перейдем к изложению автором основных принципов диалектики. На основании предыдущего можно ожидать «оригинальности» и в изложении диалектики, ибо кто стоит на точке зрения тождества мышления и бытия, тот вряд ли способен правильно формулировать суть диалектического метода.

Тальгеймер различает четыре формы диалектики в истории философии. Две из них были развиты в античной Греции—Гераклитом, с одной стороны, и Платоном и Аристотелем, с другой, третья—диалектика Гегеля, четвертая—материалистическая диалектика. Что касается диалектики Гегеля и диалектики Маркса, то и та и другая формы представляют синтез предшествующих двух форм диалектики и различие между ними в том, что Гегель развивает диалектику на идеалистической почве; так, что, если отвлечься от гегелевского идеализма, то, по существу, можно говорить о трех формах диалектики. В одной из глав (V) автор и отмечает именно три формы диалектики, называя «высшую» из них «исторической диалектикой».

Нельзя сомневаться в необходимости отличать диалектику Гегеля и марксизма от предшествующих ей форм. Но вызывает большие сомнения принцип, исходя из которого, автор различает две формы (или ступени) диалектики в древней Греции. Вот что говорит автор: «Гераклит—первая ступень диалектики—развивает диалектику последовательности. Платон и Аристотель—вторая ступень—развивают диалектику смежности; она противоположна диалектике первой ступени и является ее отрицанием» (стр. 139).

Прежде всего, следует отметить почти полное отсутствие аргументации. Читателю приходится верить на слово автору, что диалектика Платона и Аристотеля противоположна диалектике Гераклита, ибо автор совершенно не дает изложения взглядов Платона и Аристотеля, как диалектиков. В самом деле, что это за диалектика последовательности и диалектика смежности? Автор совершенно голословно утверждает, говоря о диалектике Платона и Аристотеля: «Это была диалектика не последовательности, а рядоположности, одновременности; диалектика, которая заключается в отношении покоящегося целого к своим частям. Эта вторая форма диалектики была высшей формой, которую знала древность...» (стр. 83). Спрашивается, почему диалектика покоящегося целого и его частей есть высшая форма по сравнению с диалектикой изменения? Это с одной стороны. А с другой стороны,—возможна ли вообще диалектика покоя, которую автор видит, напр., у Платона, в противовес диалектике «одного лишь изменения» у Гераклита? Дело в том, что ни Гераклит не был релятивистом, признававшим абсолютное изменение, ни Платон, поскольку он был диалектик, не стоял на точке зрения абсолютного покоя, отсутствия движения. В самом деле, у Платона мы видим довольно глубокую диалектику единого и многого, общего и единичного. Платон разрабатывает категорию связи—одну из основных категорий диалектики. Поэтому называть диалектику Платона противоположной диалектике Гераклита, трактовавшей переходы (уже предполагающие связь) одного явления в другое—дело довольно рискованное, требующее, во всяком случае, солидного фактического и логического обоснования, которого у Тальгеймера нет.

Различие форм или ступеней диалектики тесно связано у Тальгеймера с его собственным пониманием диалектики. Современная («историческая») диалектика является по Тальгеймеру высшей формой, синтезирующей предыдущие формы диалектики—диалектику изменения и диалектику рядоположности, покоя. Этим формам, в сущности говоря, соответствуют два (из трех) основных закона диалектики. В самом деле, если у Платона имеется диалектика связи покоящегося целого и частей, то ведь и «первое

основное положение (диалектики.—*А. Ч.*)—говорит автор—закон о проникновении противоположностей—показывает всеобщую связь вещей или состояний *в статическом виде*» (стр. 162, курсив наш.—*А. Ч.*). Гераклит говорил об изменении, развитии вещей, но ведь и «второй закон—отрицание отрицания—продолжает автор—показывает связь вещей как процесс...» (там же). Как видим, Тальгеймер не зря говорил о двух формах диалектики. Первая ступень диалектики вскрывается в законе отрицания отрицания, а вторая—в законе взаимного проникновения противоположностей. Правда, остается неясным, почему Гераклит олицетворяет собой первую ступень диалектики, если этой ступени соответствует второй закон диалектики, а Платон—вторую ступень, если ей соответствует первый и основной закон диалектики. Но совершенно неверно положение Тальгеймера, что закон единства противоположностей—закон статики, а не закон *развития*. Приведем еще лишь пример, которым Тальгеймер иллюстрирует основной закон диалектики: «Существует 12-часовой день и 12-часовая ночь, время света и время тьмы. День и ночь—это противоположности, они друг друга исключают; но это не мешает тому, что день и ночь равны и являются частями 24-часового дня. Таким образом противоположность дня и ночи преодолевается в понятии 24-часового дня» (стр. 144).— Разве этот пример вскрывает суть закона единства противоположностей, как закона развития? Где тут показано «раздвоение единого», взаимное проникновение противоположных моментов и т. п.? Неудачны и некоторые другие примеры, которые приводит автор. Неудачно также положение, что «борьба *противоположных вещей* является стимулом всех изменений, всего развития» (стр. 155; курсив наш—*А. Ч.*), ибо здесь на первый план выставляется внешняя борьба, а не внутреннее противоречие.

Неправильно трактует Тальгеймер и закон перехода количества в качество. «Закон о превращении количества в качество и обратно—говорит автор—является просто специальным случаем первого основного закона диалектики о проникновении противоположностей» (стр. 164). Как понять, что закон перехода количества в качество и обратно есть лишь «специальный случай»? Разве бывают «неспециальные» случаи, когда развитие происходит не по закону количества—качества? Конечно, нет. Закон перехода количества в качество есть (как и другие законы диалектики) всеобщий закон развития, обнаруживающийся абсолютно во всех процессах.

«Качество—снятое количество, количество—снятое качество» (стр. 164). Вряд ли такое «определение» поможет читателю уяснить категорию качества и количества и взаимоотношение между ними.

Мы не можем останавливаться на главах, затрагивающих проблемы марксистской социологии, хотя и здесь ряд положений автора можно подвергнуть сомнению—напр., различение хозяйственных форм от форм производства и отождествление первых с отдельными отраслями производства—с земледелием, охотой, рыболовством и т. п. (см. стр. 173). Отметим лишь излишне громоздкое название этих социологических глав: «Теория истории диалектического материализма». Почему не выразиться проще и яснее—«теория исторического материализма»? Однако, для автора исторический материализм не тождественен с марксистской «теорией истории». Термин «исторический материализм» употребляется автором как синоним диалектического материализма (стр. 5, 8 и др.). Но зачем смешивать термины, употребляемые каждый в своем определенном смысле, когда это употребление (не без основания, конечно) получило—и уже давно—всеобщее признание в марксизме!

В добавление ко всему сказанному укажем, что несмотря на то, что книжка составилась из лекций, читанных автором в 1927 году, когда дискуссия между диалектиками и механистами была в полном разгаре,—в ней (книжке) не заметно отражения этой борьбы. Такой «беспартийный» подход к теме вряд ли, сверх всего прочего, может быть поставлен в заслугу автору.

А. Чичикалов

ТРУДЫ СЕКЦИИ ИСКУССТВОЗНАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ И ИСКУССТВОЗНАНИЯ РАНИОН, Т. II и III, М., 1928.

ТРУДЫ СЕКЦИИ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ (СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ) ТОГО ЖЕ ИНСТИТУТА, Т. II, М., 1928.

Три тома трудов заключают в себе обширный и разнообразный материал. Это разнообразие распространяется и на приемы научной обработки материала. Начиная с примеров довольно лапидарного формализма и кончая попытками выдержанного марксистского подхода, мы встречаемся здесь с конкретными применениями самых различных подходов к изучению искусства.

Прежде всего, нужно отметить ту ясную черту, которая отделяет труды секции искусствознания от трудов секции теории и методологии. В первых центр тяжести лежит в плоскости предварительных опубликований нового материала, в формальном анализе и атрибуции тех или иных художественных произведений. Задачи изучения искусства, как социальной функции, здесь не ставятся. Напротив, в трудах секции теории и методологии самодовлеющему формальному изучению противопоставлена принципиальная необходимость материалистического понимания искусства. Такое разделение в известной мере базируется на еще непреодоленном в искусствознании убеждении, будто *формалист изучает и анализирует художественные факты, а социолог их истолковывает* (см., напр., в статье *А. Сидорова*—*«Искусствознание за 10 лет в СССР»* (Тр. с. иск. II, 13): «момент подлинного социологического *анализа* есть момент *истолкования изученного уже произведения*»; курс. мой—*А. М.*). Неудовлетворительность позиции формалистов особенно ясно проявляется в тех случаях, когда от изучения отдельных произведений они переходят к более широким обобщениям или теоретическим построениям. Для наиболее последовательных формалистов (идеалистов) остается в этих случаях путь голых абстракций, совершенно оторванных от конкретного материала. Такова статья *А. Г. Габричевского «Поверхность и плоскость»* (Тр. с. иск. II т.), оперирующая исключительно отвлеченными формальными категориями. Субъективизм его утверждений очевиден: так, положение, что «художественность образа всегда определяется тем, может ли оно (изображение.—*А. М.*) быть сведено к плоскостным моментам и как»—представляет из себя типичный образец бесплодного априоризма. Такова же статья *А. И. Некрасова «Данное и мыслимое в пространственных искусствах с точки зрения восприятия пространства»* (Тр. с. иск. III). Одно из основных утверждений автора сформулировано им следующим образом: «Живопись—это восприятие иного мира, скульптура—мира подобного, архитектура—восприятие человеком самого себя». При этом говорится, что «в первой системе зрительного восприятия (живопись.—*А. М.*) зритель из своего чувственного мира переносится в иной, построяемый мир; в третьей системе (архитектура.—*А. М.*) вместе с своим чувственным миром поглощается тем, что воспринимает; во второй системе (скульптура.—*А. М.*) мир воспринимаемого и чувственный мир зрителя стоят в противоположении друг к другу, как равные, уподобленные, но неслиянно различные в уподобленной среде». Это соответствует пространству: в живописи—иллюзорному, в скульптуре—нейтральному, в архитектуре—реально организующему. Но представим себе зрителя в здании, наполненном скульптурой и живописью (органически с ним увязанными). По автору—три разных восприятия, как гарпии, должны растерзать воспринимающего, на самом же деле восприятие здесь едино, синтетично, протекает в одном и том же пространстве и с единой (не в смысле, однако, отсутствия ее перемещения вообще) точки зрения. Самое пространство организуется в данном случае (при наличии единого стиля, конечно) по одному принципу. Неверно также, будто скульптура не организует пространства, будто «в восприятии пространства

чувственное превалирует в архитектуре и наименее действенно—в живописи» и будто всегда «при неподвижном восприятии здание дает живописный эффект». Разница между типами живописи (фреска, миниатюра, станковая картина), конечно, *не определяется* величиною плоскости и т. д. Все это суб'ективные и априорные предположения, рассматривающие категории формы, как неизменные и застывшие. А таковых, как известно, не имеется.

Статья *В. Гиацинтова «О принципе стиля»* (Тр. с. иск. II), посвященная разбору книги Вёльфлина «Kunstgeschichtliche Grundbegriffe», имеет задачей, исходя из признания наличия в каждом искусстве одновременного стремления к закономерности и свободе, доказать отсутствие антитетичности в смене стилей ренессанса и барокко, ибо, по мнению автора, признание антитетичности игнорирует преемственность и единство основного принципа этих стилей. В известной мере справедливо возражая против односторонности Вёльфлина (игнорирование преемственности), автор впадает сам в односторонность иного порядка, отрицая в барокко вообще что-либо новое по сравнению с классицизмом. Самое рассмотрение вопроса идет исключительно в плоскости формальных категорий, самовозникающих в пределах искусства и ни от чего не зависящих.

Статья *Ш. Розенталь «Об'ем в скульптуре»* (там же) посвящена, в свою очередь, критике «категорий видения» Вёльфлина (линейное—живописное). Недостаток вёльфлиновской теории в этом вопросе заключался в том, что данные, полученные в результате анализа ренессанса и барокко, он распространил на *все искусство*, сделав их вневременными и самодовлеющими категориями. Естественно, что их неприемлемость сказывается при подходе к конкретному материалу иных эпох. Автор совершенно прав, указывая на это. Но попытка дополнения категорий Вёльфлина в применении к скульптуре, данная в статье, также не совсем удовлетворяет. Автор предлагает различать «три приема восприятия и оформления об'ема в скульптуре: трехмерно-пластический, рельефно-пластический и живописный». Но и трехмерная и рельефная скульптура могут быть с одинаковым успехом и живописны и «пластичны». Здесь стилевые принципы организации материала смешаны с видами искусства. Классификация Вёльфлина предствляется с этой точки зрения более выдержанной. Из этого, конечно, не следует, что социолог должен их принять для всех эпох, но их критика и изменение должны базироваться на материале историческом, а не быть только абстракциями.

И, наконец, последней из теоретических работ является статья *М. И. Фабриканта «К вопросу о периодизации в истории искусства»* (Тр. с. иск. III), которая, скорее всего, имеет целью предварительную постановку вопроса.

Автор еще не намечает ясно наиболее удовлетворяющего его принципа периодизации, хотя не скрывает большей предпочтительности для него среди прочих—теории поколений, ставящей развитие искусства в зависимость от биологически-возрастного фактора. В другом месте мы уже дали оценку этой и ей подобных теорий [1]. Вот почему, не останавливаясь на этом, укажем лишь, что с точки зрения марксистского искусствознания предлагаемый автором метод периодизации не может быть принят.

Таким образом, большинство теоретических работ не выходит из рамок формальных проблем или имеет дело с абстракциями, не оправданными на конкретно-историческом материале.

Что касается конкретно-исторических работ, то, прежде всего, придется отметить отсутствие здесь вопросов современного или новейшего искусства. В этом сказывается действие того утверждения идеалистического искусствознания, которое гласит, что изучение современного искусства не есть задача науки. «Формально-художественный анализ становится тем затруднительнее, чем хронологически ближе стоит к нам художественное произведение»,—замечает по этому поводу *А. И. Некрасов* (*«К вопросу о стиле картины Иванова...»*) (Тр. с. иск. II).

[1] Вестник Комм. Акад., 1928 г. 29(5), моя статья «Некоторые вопросы маркс. искусствознания».

Большинство статей, как уже указывалось, представляет собою описание и формальную атрибуцию отдельных памятников искусства (статьи *Разумовской*, *Щербакова*, *Денике*, *Сидоровой* из III т. и *Блаватского*, *Кобылиной*, *Харко*, *Анисимова*, *Алпатова*, *Брунова*, *Стрелкова*, *Греча и др.* из II т.). Иногда налицо и формальные обобщения на более широком материале, однако, они остаются необ'ясненными (напр.: *Жидков—«Живопись Новгорода, Пскова и Москвы на рубеже XV и XVI вв.»*). Вместо анализа искусства на его социальной почве—мы имеем применение «теории влияний», об'ясняющей все формальными заимствованиями (напр.: *Брунов—«Памятник русского зодчества XVI в.»*).

Между тем целый ряд весьма интересных фактов и наблюдений, имеющихся во многих работах, требует своего об'яснения. Так, напр., в статье *А. И. Некрасова «К вопросу о стиле картины Иванова «Явление Христа народу»*—отмечаются черты, сближающие его творчество с искусством XVI в. Однако, связь остается необ'ясненной и указание автора на то, что картина Иванова связывается с выступлением на историческую сцену средних классов общества, остается вне рамок работы.

Еще более интересный материал приведен в статье *А. В. Бакушинского «Формальное разрешение мотива «Шествия» у Серова»*. На этом материале очень наглядно можно было бы показать как *различные* задачи, стоящие перед социальной группой, олицетворяемой художником, порождают *выбор тематики и ее интерпретацию в художественных формах (Серов «Похороны Баумана»*, относящиеся к эпохе революции 1905 г. и *«Навзикая»*—послереволюционной эпохи). Но автор свел данное различие и эволюцию к констатированию того, что в «интимнейшем акте внутренне-творческого порядка происходит возведение индивидуального, случайного в категорию общего, обязательного», т. е. к замкнутому, индивидуальному процессу творчества.

Одному из выдающихся художников переходного периода Италии (XV в.), когда наиболее четким стало противопоставление принципов феодально-аристократического искусства и пробивающихся рядом с ним черт нарождающегося буржуазного искусства,—а именно: *Доменико Гирландайо*—посвящен большой этюд *Н. И. Романова*—(см. *Н. Романов—«Фрески в ц. Santa Maria Novella»*.—Тр. с. иск. III). Очень детально и показательно выясняя эту антитетичность в творчестве Гирландайо—в плане формальных приемов,—автор об'ясняет ее расплывчатыми «духовными» категориями. По его мнению, «предрасположение ко всему скульптурному, рельефному, ясно осязаемому есть одно из основных свойств античного духа; оно сохраняется, как смутное влечение, порою оживая с новой силой в искусстве новых европейских народностей, связанных по крови с греками и римлянами». Это то, что обычно именуют пластичностью. Живописность, по мнению автора, напротив, свойственна «духу» христианско-европейского искусства. Другую характерную черту нарастающего буржуазного искусства—интерьерность—автор связывает с влиянием «нидерландских и немецких художественных образцов, картин и гравюр, случайно попавших в Италию». На самом деле суть, конечно, не в «духовном» и не в «случайности», а в той практической общественной кон'юнктуре, которая, в частности, сложилась в XV в. во Флоренции. Возрастание и активизация групп буржуа, финансистов и банкиров наталкивались во всех областях—и в том числе идеологической—на непреодоленные еще феодальные традиции и каноны. Их идеология и их искусство развивается и должно развиваться пока что в границах этих канонов, постепенно тем самым разрывая их.

В безличные феодальные схемы входит портрет, схематический идеализм прозывается реалистическими чертами, линейность — живописностью, плоскостность —

глубинностью, и т. д. Когда *Джованни Торнабуони*, известный финансист XV века, глава банкирского дома Медичи в Риме и казначей Сикста IV, заказал Гирландайо украшение хор церкви Санта Мария Новелла (1486—1490), то он хотел, с одной стороны, соблюсти и старые традиции, с другой—*увековечить лично себя и свою семью* в портретах, включенных в рамки религиозной композиции. И *Робер де ла Сизеран* был прав, сказав, что здесь «истинным сюжетом картины являются те, которые за нее платят». Эти черты, об'ясняющие в основном те противоречия, которые есть в творчестве Гирландайо, не приняты во внимание автором статьи, оставшимся в границах «чистого» анализа формы и об'яснения ее из категорий «духа».

Мы не имеем здесь возможности подробно анализировать весь обильный материал, даваемый в трудах секции искусствознания,—в общих чертах их характер умещается в рамки приведенных здесь примеров. В этом отношении известным исключением является, пожалуй, лишь статья *А. А. Сидорова*—«*Неизданный этюд Венецианова*», где автор, хотя и кратко, но останавливается на социальной характеристике творчества Венецианова, давая ряд интересных замечаний. Все же *при критическом отношении* социолог многое может почерпнуть из опубликованных здесь материалов.

Труды секции теории и методологии, как говорилось выше, представляются ценными, прежде всего, по четкой установке на применение марксистского метода. Конечно, идя в этом направлении, авторы представленных во II томе трудов приходят не к одинаковым результатам и не всегда проводят выдержанную линию, но уже и то, что они дают, весьма ценно.

В составе опубликованных материалов надо прежде всего упомянуть безукоризненные в методологическом отношении статьи археологов (*А. Брюсов*—«*Восстановление общественно-экономических формаций в культурах неолитического типа*»; *С. Киселев*—«*Поселение*» и *А. Смирнов*—«*Социально-экономический строй восточных финнов IX—XIII вв. нашей эры*»). Отметим, в частности, прекрасную критику теории «влияний» и иных фетишей старой археологической школы—в работе *Брюсова* и блестящий социологический анализ поселения в статье *Киселева*, привлекшего очень значительные материалы. Статья *Смирнова*, в свою очередь, впервые ставит на реальную почву дело изучения культуры финнов по материалам археологии. Все занимавшиеся вопросами изучения истории восточных финнов хорошо знают, насколько ощутителен до сих пор тот пробел, который имеется в этой области для более ранних эпох. Попыток же марксистского анализа истории финских народов СССР мы не имеем и до сих пор. Поэтому работа Смирнова, с успехом выполнившего в той или иной мере обе эти задачи, ценна вдвойне.

Из статей, касающихся области искусства, отметим этюд *Н. Брунова*—«*О хорах в древне-русском зодчестве*», представляющий *первую попытку* (это особенно следует подчеркнуть) социологического истолкования фактов древне-русского искусства. Давая очень интересное и в общем почти не вызывающее возражений об'яснение эволюции хоров, автор зачастую пользуется, однако, слишком общими социальными фактами, не всегда соответствующими, к тому же, действительности. Исчезновение хор с XV в. он об'ясняет тем, что «XV в.—эпоха падения в древней Руси феодального строя», ссылаясь при этом на *Покровского*. Однако, не кто иной, как сам *М. Н. Покровский*, ясно указывает на то, что и Иван IV в 1533 г. (значит, к середине XVI в.) «унаследовал от своих отца и деда московскую вотчину в... феодальном... виде» («Р. ист.», I, 207). Самое исчезновение хор обусловливается у автора исчезновением «феодальной аристократии», «новым соотношением знати и низших слоев населения» в XVI и XVII вв., но почему это новое соотношение (и какое *конкретно?*) потребовало иного разрешения пространства в храме,—остается неясным. Также едва ли можно принять об'яснение примитивизации и огрубения Черниговской и Полоцкой архитектуры XII в.—из их *народного* характера,—ибо, конечно, не народ диктовал в это время формы церковной архитектуры.

«*Заметки о барочной архитектуре Рима*»—*А. Федорова-Давыдова*—спорны по самой принципиальной установке, полагающей возможным ограничиться анализом «социально-экономического происхождения» художественных форм, без раскрытия их «художественно-идеологического смысла». Игнорирование этих моментов ведет на практике к односторонности технологического и производственного анализа.

Оставляя в стороне весьма дискуссионный вопрос о «меркантильной» основе барокко (это требует обстоятельного обсуждения), укажем на те, по нашему мнению, неувязки, какие налицо в работе.

Конечно, преувеличением является рассматривание Рима, как «идеологической абстракции» (само-то барокко явно не абстрактно), и недоказанным остается утверждение о неизбежности в этих условиях декоративизма. Выведение характера архитектуры из ее ориентации на массы присутствующих или воспринимающих также слишком обще. Ведь и египетский храм и древне-русская церковь были рассчитаны на массу, а не индивидуальность,—однако, мы не отнесем их к барокко! Непонятно также, почему «на массу можно воздействовать только контрастами»,—припомним египетскую пирамиду, которая построена не на принципе контраста. Наконец, автор не увязывает эту «контрастность» с указываемыми им далее моментами плановости, единства ансамбля. Самый «коллективизм» эпохи барокко может быть сколько угодно оспариваем.

Автор не дает анализа *классового суб'екта* барокко, он рассматривает *потребителя* его. Но даже и этот потребитель—«расточительный аристократ XVI века»—оказывается, «целиком отдавал *свои неясные фантазии* на материальное воплощение художника». Последний, в свою очередь, оторван «от непосредственных работ по постройке здания. Он дает лишь чертеж и расчеты»...и... «также мало считался с материальными ресурсами и *с предназначением здания*» (курсив везде мой.—*А. М.*). Выше же мы имели об'яснение всего характера архитектуры из ее «предназначения» для массовых празднеств, приемов и т. д. В конце-концов становится неясным: откуда же бралось *осознание и практическое осуществление* этого «предназначения», если его не было ни у заказчика-потребителя (которым заменен классовый суб'ект), ни у художника? Остается «идеологическая абстрактность» Рима. Но мы не станем утомлять читателя дальнейшими выдержками. Ряд противоречий и неувязок делают всю работу очень уязвимой.

Значительно больше можно было бы сказать о той своеобразной методологии, которая лежит в основе работы *Н. Коваленской*—«*Французский классицизм*». Весь конкретный анализ строится на творчестве *Пуссена* (XVII в.), как известно, значительную часть своей жизни проведшего в Риме. Но нас интересуют не эти факты, хотя и они могли бы предостеречь автора от слишком большого преувеличения роли классицизма во Франции XVII в. Гораздо более важным моментом представляется методологическая установка работы. Автор начинает с формального анализа, с подыскания аналогий формальным категориям в эстетических и философских системах того времени, и только после этого переходит к вопросу о социальных основах классицизма. Здесь автор признает решающее значение за категорией «*потребителя*», *заказчика*, игнорирует *класс*, как *суб'ект искусства*, что не тождественно с потребителем. Ибо потребляет искусство часто вовсе не та социальная группа, которая его создала. Такой подход ведет к игнорированию искусства как *функции определенного класса*, превращая художественную практику в *междуклассовую смесь*, *определяемую непосредственным «заказом» ряда существующих классовых групп*.

Самые группы потребителей характеризуются, прежде всего, как юридические, профессиональные, бытовые, а не как классовые группы (см., напр., анализ дворянства, *его нравов, норм поведения и быта* или невероятное нагромождение всевозможных «буржуазий», разделяемых по профессиональному признаку).

В одном месте Н. Коваленская указывает: «Искусство церкви не столько выражает *ее собственную психологию* (что это за «собственная психология» церкви?—*А. М.*), сколько *психологию обслуживаемых ею групп*, и потому по большей части не представляет самостоятельного стиля» (курс. мой.—*А. М.*). Как известно, церковь, ради закрепления идеологии и власти господствующего класса, обслуживала все социальные группы. Последние были потребителями, но не творцами, об'ектами, но не суб'ектами «церковного искусства». По автору выходит, однако, что раз они были потребителями, то они же были и творцами. Подобный подход, снимающий вопрос о классовости и классовой борьбе в искусстве и заменяющий ее утверждением искусства, как продукта классового сотрудничества, когда самые различные и антагонистичные классовые группы об'являются носителями одного и того же стиля (в конце-концов, значит—«надклассового»),—очень четко проступает в разбираемой работе. По утверждению автора, классицизм выражал одновременно психологию трех социальных групп: аристократии, крупной буржуазии и буржуазии *бюрократической* (sic!). И это не потому, что их психология и классовые интересы (о них, впрочем, и речи нет в работе) были едины, а потому, что в классицизме автор обнаруживает *отдельные черты*, свойственные той или иной группе. Так, абстрактность и идеализация классицизма—от аристократии, что обусловлено «специфическим характером» салонного быта аристократии, ее оторванностью от жизни, так сказать, декоративностью ее бытия». Рационализм классицизма отнесен к «высшим слоям» буржуазии; волевое начало и стоицизм—ко всем буржуазным группам. *Отвлеченность* «свойственна буржуазии бюрократической, поскольку последняя совершенно оторвана от мира вещей и связана в большей мере со *всевозможной словесностью*» (! курс. мой.—*А. М.*). И, наконец, эстетизм внесли сами художники.

Так классицизм оказался раздерганным на целый ряд формальных признаков, распределенных почти что в арифметическом порядке между всеми социальными группами. Классовость искусства исчезла. Здесь можно было бы отметить еще целый ряд особенностей работы. Так, автор почему-то считает, что «идея государственности—происхождения буржуазного», что художники вносили свои черты в искусство, «как члены академического корпуса», что для торговой буржуазии, имеющей дело с товарами, свойственна, как правило, абстрактность, и т. д., и т. д. Спорно и толкование классицистических черт в искусстве эпохи Французской революции. Но все это в значительной мере вытекает из характера самого подхода к изучению материала, подхода «потребительского» и механистического.

Кроме рассмотренных работ, в сборнике имеются еще статьи: *Д. Арановича*—«*Эстетические воззрения Дидро*» и *Н. Яворской*—«*Художник и зритель во Франции в середине XIX в.*». Что касается первой, то, давая подробное изложение взглядов Дидро на искусство, статья страдает некоторой расплывчатостью и отсутствием четкого представления о классовой кон'юнктуре эпохи. Дидро—типичный представитель «просветительства» в эстетике, и «материализма XVIII в.», со всеми их достоинствами и противочиями. Совершенно ясно, что автор, старательно доказывающий, что Дидро был «материалистом», должен был показать, *каким* он был материалистом. В таком случае пришлось бы сравнивать его не *с Плехановым*, как это делает Д. Аранович, а скорее всего—*с Чернышевским*. Важно при этом не то, что Дидро считал искусство «идеологией», а *акцентирование* им просветительно-идейной стороны искусства.

В классической марксистской литературе вопрос о материализме и «просветительстве» XVIII в. разработан достаточно хорошо и остается только пожалеть, что автор не счел нужным от нее отправляться.

И, наконец, последняя статья—*Н. Яворской «Художник и зритель во Франции в середине XIX в.»*—дает очень большой материал для изучения художественных и потребительских групп интереснейшего периода французского искусства (1830—1880 гг.).

Но эта же статья лишний раз убеждает, что нельзя изучение зрителя искусства отождествлять с изучением социального суб'екта искусства. Непонятным остается, например, тот факт, что, несмотря на очень отрицательное отношение зрителей, «публики», к импрессионистам, они все-таки являлись группой, представлявшей интересы значительного социального слоя; по мнению автора, даже *всей буржуазии*. В самой социальной оценке искусства этого периода автор допускает ряд неясностей и спорных определений. Так, романтизм охарактеризован, как выражение протеста мелкобуржуазных групп, а реализм, как выразитель их революционных тенденций, что, конечно, в отношении реализма дискуссионно.

Нельзя далее согласиться с тем, что «Делакруа, замкнувшись в круг чистохудожественных проблем, не ставил себе задачей передачу современной жизни». Делакруа, напротив, необычайно активен по отношению к *современности* (в понимании олицетворяемых им групп) и самые формы служат у него лишь средством для передачи нужного в *агитационно-классовых целях* содержания.

То же можно сказать и об импрессионистах, которые, конечно, занимались формальными проблемами лишь в силу и в меру необходимости передать в наиболее *адэкватных* формах актуальное с их точки зрения содержание. Неверным поэтому представляется утверждение автора, будто «современность служит им (импрессионистам.—*А. М.*) для разрешения формальных проблем». Наоборот, последние подчинены у них задаче передать «современность». Спорно также утверждение, будто «академизм был официальным искусством буржуазного строя».

Не умножая подобных замечаний, укажем в заключение на несколько неточное истолкование приводимых автором цитат из Маркса. Так, напр., процитировав фразу Маркса «она (финансовая аристократия.—*А. М.*) сидела на троне, она диктовала законы в палатах, она раздавала государственные должности, начиная с мест в министерствах и кончая местами в табачных бюро»,—автор делает вывод, что «к финансовой буржуазии примыкала и крупно-промышленная», тогда как Маркс четко оговаривает *оппозиционность* «собственно-промышленной буржуазии», по отношению к господствовавшей финансовой. И далее—Маркс говорил не о «классах, находящихся за пределами легальной страны», как это интерпретирует автор, а об «идеологических представителях» оппозиционных классов (см. Маркс и Энгельс—Историч. работы, Гиз., с. 27—28).

Все эти замечания, однако, не должны умалять фактической и теоретической ценности работ, помещенных в «Трудах секции теории и методологии». Их задачей является построение отдельных звеньев несуществующей еще материалистической истории искусства, и при всей спорности ряда приемов исследования и выводов, что иногда об'ясняется совершенной непроработанностью материалов искусства в этом плане,—все рассмотренные здесь работы имеют свою значительность и ценность.

А. Михайлов

ХРОНИКА

ЛЕНИН И ИСКУССТВО

(Доклады на об'единенном заседании Институтов археологии и искусствознания и истории литературы и языка РАНИОН и Секции литературы, искусства и языка Коммунистической Академии по случаю пятилетия со дня смерти В. И. Ленина).

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО *В. М. Фриче*.

Разрешите считать открытым соединенное заседание двух Институтов РАНИОН'а и Секции Ком. академии, посвященное проблеме «Ленин и искусство».

Задача докладов, которые здесь будут оглашены,—показать, как образ Ленина отпечатлелся в искусстве и литературе наших советских республик и западного мира.

Ни один политический деятель XIX—XX вв. не оказал в самом деле такого огромного воздействия на воображение отдельных одиночек, а, главное, народных масс. Образ Ленина воссоздан в мраморе и бронзе, в музыкальных звуках, в легендах и сказках, в стихе и прозе. В этом многоголосном хоре перекликаются и русский крестьянин, получивший землю, и сын в прошлом угнетенной малой народности, полной грудью дышащий воздухом национальной автономии, и пролетарий Запада, с надеждой взирающий на огни, зажженные первым рабочим государством. И однако в этой богатой галерее мировых откликов едва ли налицо единый образ Ленина,—в ней живет столько же образов, сколько разных общественных классов и групп трудилось над их овеществлением. Что в самом деле общего—если ограничиться хотя бы только нашей литературой—между хозяйственным мужичком, как Ленин изображен в мужицком сказе Сейфуллиной, приглашающим односельчан забрать помещичью землю и скот, и между Лениным, как он дан в статье теоретика конструктивистской школы Зелинского, в виде формулы «наиэкономнейшей, наиточнейшей, упорной до спазмы, динамической, как огонь, революционной работы», и—наконец Лениным, как он вышел из-под пера пролетарского поэта Безыменского, в чьих стихах он живет и в рабкоре, и в пониженных ценах сапог, в работающем тресте и в мелочи любой, чтобы завтра Всемирным совнаркомом поднять ленинский стяг. Но в том ли, строго говоря, задача искусства, чтобы «изображать» Ленина, не в том ли она прежде всего, чтобы в этой области претворять в жизнь, осуществлять его заветы?

Этих заветов два: один гласит—искусство классовое, другой—искусство массовое.

Мы слышим в последнее время от людей, имеющих претензию руководить работой художников, что искусство классово-направленное есть второразрядное, тенденциозное и публицистическое, есть «вода», и есть другое, подлинное—бестенденциозное—подобное «вину». Мы слышим от них, что художник, живший в гармонии со своим классом, не может воссоздать свой класс в образах, что полноценным художником он становится, лишь выйдя за пределы своего класса, и ему в обязанность вменяется помнить насильственно вырванный из контекста социальной трагедии Пушкина его стих: «Ты царь, живи один—дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум».

Нет ничего более противоположного ленинизму этой концепции искусства эстетиков мещанства, рвущихся из оков пролетарской диктатуры.

Еще в годы нашей первой революции Ленин напечатал в газете «Новая жизнь» статью, где старался доказать мелкобуржуазным иллюзионистам, что в классовом обществе не может быть свободного творчества, что искусство в таком обществе должно быть классовым, и если уж говорить о свободном творчестве, то разве только по отношению к искусству, связанному с народными, прежде всего пролетарскими массами.

Подчеркнув, что свобода буржуазного художника есть на самом деле его зависимость от буржуазии, Ленин продолжал:

«И мы, социалисты, разоблачаем это лицемерие, срывая фальшивые вывески—*не для того, чтобы получить неклассовую литературу и искусство—это будет возможно лишь в социалистическом внеклассовом обществе*,—а для того, чтобы лицемерно-свободной, а на деле связанной с буржуазией литературе противопоставить действительно свободную, открыто связанную с пролетариатом литературу.

Это будет свободная литература, потому что не корысть и не карьера, а идея социализма и содействие трудящимся будет вербовать новые и новые силы в ее ряды... Это будет свободная литература, оплодотворяющая последнее слово революционной мысли человечества опытом и живой работой социалистического пролетариата».

И не в создании некоего внеклассового искусства видел Ленин и после Октября задачу художников. Он, звавший рабочий класс так настойчиво учиться и учиться у буржуазных специалистов науки, техники и искусства, прекрасно понимал и трудность, здесь стоящую, и опасность, здесь грозящую. В одной из своих статей он писал:

«Соединить победоносную пролетарскую революцию с буржуазной культурой, с буржуазной наукой и техникой—задача трудная»,

а на XI партс'езде он предостерегал вещим голосом рабочий класс, что налицо огромная опасность, ибо побежденный может навязать победителю свою культуру не потому, что она очень высока,—напротив, она «мизерна»,—а просто потому, что он все же «культурнее».

В этих указаниях и предостережениях явственно слышится совет: учись беречь чистоту своей классовой культуры, *своего* классового искусства.

Художник не только мастер и техник, но и «общественный человек», чьи моральные устремления так или иначе отлагаются известным образом в его созданиях, а в классовом обществе не может быть морали общечеловеческой, есть—по Ленину—мораль эксплоататора и мелкого собственника и «нравственность коммунистическая», которая «об'единяет трудящихся против всякой эксплоатации,' против всякой мелкой собственности».

Воплотить средствами и формами искусства эту «коммунистическую» классовую «нравственность»—задача искусства, «открыто связанного с пролетариатом».

Не по пути «свободного» творчества, что в наших условиях продолжающейся классовой борьбы равносильно свободе творить искусство чуждых и враждебных пролетариату классов, должен итти художник-ленинец, и не тот пролетарский писатель даст ценное произведение, кто пребывает в «некотором разладе с своим классом», а тот, кто, выражаясь словами Ленина, «открыто связан с пролетариатом».

Если один завет Ленина—учись, впитывая в себя всю художественную культуру прошлого, творить свое классово-пролетарское искусство, то другой его завет: искусство массам.

«Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно об'единять чувство, мысль и волю этих масс, поднимать их».

Искусство должно быть «понятно» массам, и тогда оно будет ими «любимо». А у нас—в большинстве разрыв между массами и искусством.

Вот один из тысячи случаев, недавно имевший место.

На заводе «Красный богатырь» рабочие хотели познакомиться с поэмой Сельвинского «Пушторг», о которой там много писалось и говорилось. Читал сам автор. Минут пятнадцать спустя значительная часть аудитории разошлась. Оставшиеся—в большинстве члены литературного кружка—просили читать медленнее, читать отчетливее—не помогло. Слушатели единодушно сошлись на том, что поэма до широких масс не дойдет. В своем ответе Сельвинский об'яснил, что рабочих он не знает, что он представитель квалифицированной технической интеллигенции и говорит «языком этой общественной группы». Речь идет здесь, конечно, не о языке в буквальном смысле, а о всей целостности данной художественной формы.

Так встает перед искусством большая и трудная задача.

Если оно хочет выполнить второй завет Ленина, если оно хочет дойти до сердца широких масс, если оно хочет «об'единять» и «поднимать» эти массы, то оно должно, не понижая художественного мастерства, говорить с ними их языком и прежде всего языком социалистического пролетариата. В своих политических речах и статьях В. И. Ленин говорил с миллионными массами нашего Союза, с миллионными массами Востока и Запада именно этим «языком», а не языком мелкого буржуа или технического интеллигента, и потому речь его доходила, об'единяла их, поднимала их.

Что может сделать слово политика, в неменьшей степени может сделать и слово художника.

И тогда искусство, «понятное» массам, будет и «любимо» массами.

Работать над созданием классово-пролетарского и массового искусства—такова в этой области директива Ленина.

И если художники выполнят эту большую и трудную задачу, то они сделают неизмеримо больше, чем если бы им удалось дать в бронзе или в мраморе, в стихах или в прозе портрет Ленина—

«похожих не было и нет»,

как выразился один из наших пролетарских поэтов, ибо речь идет не столько о том, чтобы пассивно «изобразить» Ленина, а именно о том, и прежде всего о том, чтобы действенным усилием и в этой области претворить в жизнь его мировое дело—создать искусство, способное в могучем порыве к социализму «об'единить чувство, мысль и волю» миллионов—у нас и везде—и тем облегчить и ускорить тяжелые муки рождения из старого мира, который рушится, нового общества и нового человека.

ЛЕНИН ОБ ИСКУССТВЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ

(Доклад А. Михайлова)

Несмотря на то, что высказывания Ленина по вопросам искусства немногочисленны и кратки, и он сам всякий раз оговаривал свою «некомпетентность» в данной области,— эти высказывания давно уже стали предметом широкого обращения и часто играют роль решающего аргумента при разрешении той или иной дискуссионной проблемы искусства и художественной политики. Споры о пролетарской культуре и искусстве, вопросах художественного наследства и многие другие — неизменно сопровождаются обращением к соответствующим мыслям и заметкам Ленина. Выводы, к которым приходят в результате этого, нередко весьма противоречивы, тем более, что при ссылках на отдельные фразы обычно изолируют их от всего контекста и, что еще более важно, — не ставят в связь с учением Ленина в целом, с теорией и практикой ленинизма. Неудивительно, что при таком положении вещей утверждения, не имеющие ничего общего с ленинизмом, оказываются подкрепленными неверно понятыми отдельными высказываниями самого Ленина.

Вопрос о систематизации и истолковании последних приобретает, в силу этого, особо важное значение. Не претендуя на выполнение этой задачи во всем об'еме, мы остановимся на некоторых наиболее важных проблемах нашей художественной действительности, на которые Ленин непосредственно откликался. Основным в этом плане является вопрос о пролетарском искусстве. Как известно, лаконические заметки Ленина к статье Плетнева дали повод многим отрицателям классового пролетарского искусства и культуры опираться на его авторитет в своих выступлениях.

Здесь можно ссылаться в частности на выступления одного из последователей Троцкого—В. Ваганяна, утверждавшего, что пролетариат «сам не создает классовой культуры и ему некому создавать ее». По убеждению Ваганяна достаточно только, чтобы пролетарские и крестьянские массы овладели всем ценным из прошлой культуры «науки, техники, всего знания искусства», так как «при условии такого овладения... мы обеими ногами станем на социалистическую почву». При такой постановке вопроса не может быть, конечно, речи о классовой культуре и искусстве пролетариата. Весь переходный период, вся культурная революция сводится автором к процессу «овладения массами культурой прошлого» [1]. Свои выводы Ваганян подкрепляет ссылками на вышеупомянутые заметки Ленина к статье Плетнева.

Выводы эти являются на самом деле изложением взглядов Троцкого, под прикрытием тенденциозного истолкования заметок Ленина и борьбы с богдановщиной.

В своей речи на совещании ЦК по вопросам литературы (1924 г.) Троцкий утверждал следующее: «Те, кто говорят о пролетарской литературе всерьез и надолго, которые из пролетарской литературы делают платформу, мыслят в этом вопросе по формальной аналогии с буржуазной культурой. Буржуазия взяла власть и создала свою культуру; пролетариат, овладев властью, создаст пролетарскую культуру. Но буржуазия—класс богатый и потому образованный. Буржуазная культура существовала уже до того, как буржуазия формально овладела властью... Пролетариат в буржуазном обществе—неимущий и обездоленный класс и потому культуры своей создать не может». Переходный

[1] См. В. Ваганян.—Несколько соображений о пролетарской культуре («Воинствующий материалист» 1925 г. кн. 3), стр. 147, 153—154, 158—159; и его же статью—«Вопросы культуры при диктатуре пролетариата» («Воинств. Матер.» 1923 г. кн. 5).

же этап есть этап борьбы, когда «звенит оружие», но «молчат музы», когда никакой классовой пролетарской литературы быть не может, ибо революционная борьба эту литературу «сдавит, сожмет». Если в моменты «передышки» литература и оживает (как это началось в СССР с периода нэпа), то она «сразу окрашивается цветом попутчиков». Переходный этап может лишь создавать предпосылки для бесклассового искусства социалистического общества, через поднятие грамотности и культурности масс. Такова точка зрения Троцкого [1].

Интересно отметить, что Луппол в своей статье: «Проблема культуры в постановке Ленина» доверчиво следует ложному представлению о том, будто Ленин «тщательно избегает выражений: «пролетарская культура», «пролетарская литература»; «он говорит (лишь) о литературе, открыто связанной с пролетариатом»..., из чего следует, по мнению Луппола вывод, что «противопоставление... культур буржуазной и пролетарской способно повести к недоразумениям, затемняющим выдержанную концепцию Ленина... Выражение «пролетарская культура»... означает не что иное, как *элементы* коммунистической культуры, т. е. культуры, в развернутом виде составляющей надстройку уже над *бесклассовым* обществом. Поэтому искусственное «культивирование» пролетарской культуры означает консервирование классовой культуры, в то время как тенденция исторического процесса, активным носителем и двигателем которого является пролетариат, развивается к бесклассовому, коммунистическому обществу с бесклассовой культурой» [2]. При всей общности и лапидарности постановки вопроса в словах т. Луппола чувствуются отголоски неправильного понимания ленинских утверждений. Утверждение, что наиболее правильным противопоставлением культур будет «логически и социологически» противопоставление капиталистической и коммунистической культуры, игнорирует то обстоятельство, что наиболее широким в этом плане будет противопоставление классовой культуры вообще и бесклассовой культуры коммунистического общества. Это нисколько не мешает противопоставлению буржуазной и пролетарской культур, как классовых, но принципиально отличных и разно направленных; если первая развивается в направлении классового эгоизма и замкнутости, то последняя — в направлении всеобщности и бесклассовости. Но что же говорит по этому поводу Ленин, на взгляды которого пытаются сослаться все авторы? В своей статье «Партийная организация и партийная литература», написанной еще в 1905 году, Ленин дает исчерпывающе точный ответ на все эти вопросы. Если бы т. Луппол внимательно проанализировал эту статью, отдельные места которой он излагает, он вероятно удержался бы от вышецитированных утверждений. Ленин разоблачает в ней, прежде всего, пресловутую «свободу» буржуазного искусства, за которой скрывается всего лишь классовая ограниченность и лицемерно замаскированная зависимость искусства от капиталиста. «В обществе, основанном на власти денег, в обществе, где нищенствуют массы трудящихся и тунеядствуют горстки богачей, не может быть «свободы» реальной и действительной. Свободны ли вы от вашего буржуазного издателя, господин писатель? От вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографии в рамках и картинах, проституции в виде «дополнения» к «святому» сценическому искусству? Ведь, эта абсолютная свобода есть буржуазная или анархическая фраза (ибо, как миросозерцание, анархизм есть вывернутая наизнанку буржуазность). Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания». Этому мнимо-свободному искусству буржуазии Ленин *противопоставляет* пролетарское искусство. «И мы, социалисты,—говорит Ленин,—разоблачаем это лицемерие, срываем фальшивые вывески,—не для того, чтобы получить внеклассовую литературу и искусство (это будет лишь возможно в социалистическом внеклассовом обществе), а для того, чтобы лицемерно свободной, а на деле связанной с буржуазией литературе противопоставить действительно свободную, открыто связанную с пролетариатом литературу» [3].

Нетрудно сделать вывод, что ленинская постановка вопроса о пролетарской литературе и искусстве не имеет ничего общего с позицией Троцкого и Ваганяна. Если последние даже и в 1924—1925 гг. (к которым относятся цитированные статьи; известно, однако, что последние годы не изменили их точки зрения) отрицали пролетарское искусство

[1] См. «Печать и Революция» 1924, кн. 3, с. XII—XIII.

[2] И. Луппол. «Проблема культуры в постановке Ленина». («Печать и революция» 1925 г., кн. 5—6, стр. 8—9. Ср. «Ленин и философия». 2-е изд. 1929 г., стр. 248—249, где эта постановка вопроса и истолкование оставлены без изменений).

[3] Цитирую по сборнику «Ленин и искусство», сост. С. Дрейденом (Кубуч, 1926 г. с. 15—14).

и литературу, то Ленин еще в 1905 г. поставил вопрос о необходимости и закономерности противопоставления партийной, пролетарской литературы и искусства литературе и искусству буржуазии. Причем литературы не только «связанной» с пролетариатом, но и пролетарской по своему классовому существу. В той же статье т. Луппол (полемизируя с т. Лупполом, мы, конечно, не отожествляем его точки зрения с позицией Ваганяна и др.) мог прочесть следующие строки: «Для социалистического пролетариата литературное дело не может быть орудием наживы лиц или групп, оно не может быть вообще индивидуальным делом, независимым от общего пролетарского дела. Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверх-человеков! Литературное дело должно стать *частью* общепролетарского дела, «колесиком и винтиком» одного единого, великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса» [1]. Когда Ленин говорит о литературе, «открыто связанной с пролетариатом», это не имеет у него значения оговорки, как толкует т. Луппол, а указывает на ее подлинно пролетарский, классовый характер. Слово «связанную» Ленин употребляет здесь по аналогии с употребленным им в той же фразе выражением— литература «связанная с буржуазией», что должно было охарактеризовать ее, как классово-буржуазную. Таким образом, истолкование т. Луппола не может быть принято. Далее нужно отметить, насколько старательно Ленин подчеркивает, что буржуазной литературе и искусству противопоставляется не внеклассовая литература и искусство, которые будут лишь возможны в социалистическом внеклассовом обществе, а классовая, партийная литература (и искусство) пролетариата. Представление о том, что Ленин «тщательно» избегал выражений «пролетарская культура», «пролетарская литература»—предвзято и необоснованно. В известной всем статье из «Дискуссионного Листка» 1910 г. Ленин настойчиво повторяет несколько раз «пролетарское искусство», подчеркивая слово «пролетарский». Совершенно очевидно, что если Ленин называет в этой статье Горького «крупнейшим представителем пролетарского искусства, который много для него сделал и еще больше может сделать», если Ленин указывает, что «Горький—авторитет в деле пролетарского искусства», что «в деле пролетарского искусства М. Горький есть громадный плюс» [2], то значит Ленин считает, что в том или ином виде пролетарское искусство *уже существует*, может быть еще как совокупность только отдельных черт, как некий эмбрион, но существует [3]. И снова нельзя не отметить, в каком разительном противоречии с этим находится утверждение Троцкого и его последователей о том, что пролетариат не может создавать своей культуры (а следовательно, и искусства) в условиях капиталистического общества, в силу своей «обездоленности». Уже теоретически подобная постановка вопроса неприемлема для марксиста. Ибо марксизм достаточно твердо установил, что элементы нового общественного организма (в том числе и элементы новой культуры) вырабатываются еще в пределах предшествующей ему ступени общественного развития. Пролетариат не составляет исключения в этом отношении. Еще в условиях господства капиталистического хозяйства и культуры пролетариат создает элементы своей будущей классовой культуры. Вспомним революционные празднества пролетариата (хотя бы 1 мая), которые уже имеют длительную традицию и определенные формы, отразившие черты классового мировоззрения пролетариата, его коллективизм, товарищескую солидарность, революционность и т. д. Пролетариат выдвигает своих писателей, поэтов, на его сторону переходят лучшие представители буржуазии, отдающие свое творчество пролетариату и тем самым кладущие основу пролетарского, классового искусства (припомним Гросса, Кэтэ Кольвиц, Бехера и друг., которые работают ведь в условиях и в окружении буржуазной культуры и искусства). Конечно, эта теоретическая предпосылка не является абсолютной догмой, понимаемой вульгарно. Русский пролетариат, в частности, в силу исторических условий и специфичности пролетарской революции в России не успел в дореволюционный период достигнуть той ступени культурного развития, на которой находится пролетариат передовых капиталистических стран. У него, как неоднократно говорил Ленин, «политический и социальный переворот оказался предшественником... культурному перевороту». Тем не менее и русский пролетариат имел к моменту революции начатки своей классовой культуры и искусства. К сожалению, мы очень мало занимаемся изучением этих вопросов. Так, об изучении политической сатиры и карикатуры, рабочей поэзии и рабочих празднеств у нас нет и речи.

Ошибкой большинства «отрицателей» пролетарской культуры и искусства было то, что заметки Ленина к статье Плетнева они восприняли механически негативно, как отрицание возможности строительства пролетарской культуры в наших условиях. Ленин же говорит своими заметками не о *возможности*, а о *путях* этого строительства.

Возьмем такой пример. Плетнев пишет: «Задача строительства пролетарской культуры может быть разрешена только *силами самого* пролетариата. Сколько бы ни было у нас пришельцев из буржуазного лагеря, сколько бы ни «приняли» они классовую точку зрения, все же это будут единицы, быть может, очень ценные, но решающего значения они иметь не будут». «И крестьяне?» спрашивает тотчас же Ленин. Далее: Плетнев пишет: «Задача строительства пролетарской культуры может быть разрешена только силами самого пролетариата, учеными, художниками, инженерами и т. д., вышедшими из его среды». На этот раз Ленин кратко отмечает: «Архификция».

В другом месте против сходного утверждения он пишет: «Вздор» [1].

Может быть, из этого следует, что Ленин отрицает пролетарскую культуру и искусство? Может быть, Ленин считает, что у пролетариата нет возможностей к созданию классовой культуры? Ни то и ни другое. Ленин протестует здесь против односторонней постановки проблемы Плетневым, изолирующим пролетариат от остальных социальных групп, против игнорирования им культурного наследия, без которого ничего построить нельзя. В своей речи на митинге в Петрограде в 1919 г. Ленин говорил: «Нужно взять всю культуру, которую капитализм оставил, и из нее построить социализм. Нужно взять всю науку, технику, все знание, искусство. Без этого мы жизнь коммунистического общества построить не можем. А эта наука, техника, искусство — в руках специалистов и в их головах» [2]. Плетнев этого не понимает, так же как не понимают до сих пор многие лефовцы. Тот лозунг, который сейчас достаточно усвоен марксистским искусствоведением, гласящий, что процесс строительства пролетарской культуры и искусства не мыслим без смыкания массовых форм художественного самодеятельного творчества с профессиональным творчеством, несущим в себе достижения буржуазной и предшествующих ей культур, — многим казался неверным в начале революции. В предисловии к книге статей Б. Арватова «Социологическая поэтика» О. Брик в 1928 г. рассказывает, что в начале революции были две точки зрения и две партии: одна «охранителей» культурного наследства, другая—«разрушителей».

«Охранители» говорили: «Новая пролетарская культура является продолжением прежней, буржуазной; поэтому, прежде чем строить новую культуру, надо, чтобы пролетариат усвоил старую. Поэтому мы должны не только охранять эту старую буржуазную культуру, но и популяризировать ее среди широких рабоче-крестьянских масс». «Разрушители» говорили: «Пролетарская культура будет создаваться в борьбе с буржуазной культурой, и поэтому мы должны расчистить место для этой новой пролетарской культуры и разрушать старую, буржуазную. Чем больше мы будем охранять старое, тем труднее будет расти новому. Мало того, старое не лежит мертвым грузом, а влияет, воздействует и мешает строить новое». [3] Брик и по настоящий день убежден, что точка зрения «разрушителей»-лефовцев единственно-правильная. Пролеткульт и Плетнев, в частности, во многом разделяли эту точку зрения. Их «пролетарская культура» на деле была абстракцией, оторванной от конкретной действительности, от предыдущего культурного развития, оранжерейным растением, пышно украшенным «левой» фразой. Они упрощали и упрощают проблему. Ленин же ставил вопрос диалектически и с учетом всей практической конъюнктуры. Тип «охранителя», как его описывает Брик, выдуман им самим. В той же речи Ленин указывает, почему мы должны использовать культурное и художественное наследство. Это нужно, говорит он, «устроить теперь, не через 20 лет, а через два месяца, чтобы бороться против буржуазии, против буржуазной науки и

[1] Там же, стр. 10—11.

[2] Сб. «Ленин и искусство», стр. 42—43.

[3] Здесь надо отметить, что пролетарская культура и искусство не представляют чего-то застывшего и неизменного. Самое понятие «пролетарское искусство» — в разные моменты имеет точно так же не одинаковое значение. Мы не имеем возможности остановиться на этом подробнее; важно лишь подчеркнуть, что в то время, когда Ленин писал цитированные строки о Горьком, как представителе пролетарского искусства — он, конечно, не имел в виду наделить его творчество всеми теми чертами, которые мы сейчас считаем необходимыми для пролетарского искусства. Оговоримся, однако, что в обсуждение вопроса о том, насколько можно согласиться с данной Лениным *конкретной* характеристикой Горького,—мы не входим.

[1] Сборник «Вопросы культуры при диктатуре пролетариата». ГИЗ, 1925 г., статья Плетнева «На идеологическом фронте» (из «Правды» 27/IX 1922 г.) с пометками Ленина. Стр. 9, 12, 15.

[2] Цитирую по сб. «Ленин и искусство», стр. 52.

[3] См. Б. Арватов—Социологическая поэтика. «Федерация» 1928 г. Предисловие Брика, стр. 7—8.

техники всего мира». То же можно сказать и об искусстве. Задача критического усвоения и использования всего опыта, накопленного предшествующим развитием человеческого общества, является здесь основной и необходимой предпосылкой, ибо «пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда, не является выдумкой людей, которые называют себя специалистами по пролетарской культуре. Это все сплошной вздор. Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества». Но эти запасы знания, культурное и художественное наследство должны быть поставлены на службу пролетариату, помочь ему в борьбе с капиталистическим миром, т. е. нужны не ради них самих, а ради построения новой культуры, с помощью критического усвоения и *преодоления* старой [1].

Ленин прекрасно учитывал громадную организующую роль искусства и необходимость использования его для практических целей. Еще в начале революции по его мысли была сделана попытка осуществления средствами изо-искусства т. наз. «монументальной пропаганды». По его предложению следовало «украсить здания, заборы и т. п. места, где обыкновенно бывают афиши, большими революционными надписями» и приступить к постановке памятников великим революционерам в чрезвычайно широком масштабе». Ленин не боялся в данном случае использовать специалистов, которые служили буржуазии, использовать опыт и формы буржуазного искусства. И эта «монументальная пропаганда» имела большое политическое значение.

Но если Ленин считал, что мы должны взять все достижения культуры и искусства прошлого, то он всегда соединял с этим требование не просто механического использования этих достижений, а критической проработки их на основе подчинения нашего искусства определенным практическим задачам, органической связи его с политическими лозунгами и требованиями дня. Интересно для иллюстрации этого привести отрывок из рассказа С. Сенькина о посещении Лениным ВХУТЕМАС'а. «Кто-то приносит мой рисунок, сделанный для сборника памяти Кропоткина. Владимир Ильич, ядовито поглядывая и на рисунок и на автора, спрашивает: «А что же это изображает?» Я изо всех сил стараюсь доказать, что это ничего не изображает; старые художники обманывают и себя и других, что они умеют изображать,— никто не умеет, а мы учимся, и нашей задачей является связать искусство с политикой. Владимир Ильич спокойно дает перевести дух и маленький вопросик: «Ну, а как же вы свяжете искусство с политикой?» не находя этой связи в рисунке»[2] В последние годы своей жизни Ленин обращал особо серьезное внимание на кино, которое считал «важнейшим из всех искусств» по его массовости и громадным возможностям пропагандистского использования. В своей записке Литкенсу (1922) Ленин дал директивы по использованию кино в пропагандистских целях. Целый ряд других фактов говорит за то, что Ленин придавал большое значение искусству в эпоху социалистического переустройства, как орудию политической пропаганды и идеологически-культурного перевоспитания масс.

Но Ленин прекрасно понимал, что эту роль пролетарское искусство осуществит только в том случае, если оно действительно использует весь опыт прошлого развития и станет достоянием самых широких масс. Вот почему вопросы художественного наслед-

[1] Надо особенно акцентировать, что художественное наследство не является *нейтральным* и при некритическом, неразборчивом использовании может принести отрицательные результаты. Односторонность точки зрения Лефов и богдановцев заключалась не в том, что они учитывали *классово-чуждый* пролетариату характер буржуазного искусства, а в том, что они эти черты преувеличивали, отрицая положительное значение художественного наследства. Поэтому Полонский (см. статью «Ленин об искусстве и литературе», «Новый Мир», кн. XI, 1927 г.), утверждающий, что богдановская теория, которая будто бы «создает допущение, при котором искусство оказывается способным *изменять сознание* человека вопреки его классовому бытию», «есть антимарксизм, ибо «организовать сознание класса в сторону, противоположную его интересам,—это ведь и значит перевернуть вверх ногами тезис: «Бытие определяет сознание»—вульгаризирует разрешение проблемы не менее чем Брик. Такая постановка вопроса абсолютно неприемлема, потому что здесь классовое воздействие чуждого искусства заменяется его нейтральностью вне пределов своего класса, а самое воздействие искусства понимается механически. Полонский напрасно ссылается при этом на Ленина, ибо в своей речи на XI с'езде РКП Владимир Ильич как раз указывал на опасность *подчинения* коммунистов чуждой классово культуре разгромленных революцией социальных групп, культуре «мизерной, ничтожной», но все же большей «чем у нас».

[2] Сб. «Ленин и искусство», стр. 94.

ства и массового искусства в особенности настойчиво поднимает он почти всякий раз, когда говорит об искусстве.

Наиболее решительно возражает Ленин против строительства пролетарской культуры и искусства силами *только* самого пролетариата. Помимо приведенных выше замечаний о крестьянстве, Ленин особо отмечает свое несогласие с той фразой Плетнева, где последний утверждает: «Опыт нашей революции в целом, и в период нэпа, в особенности, показал, что художник старого мира не может и не будет художником революции... Мы смело утверждаем, что подавляющая масса художников, и даже при формальной принадлежности их к партии, остаются по своей художественной идеологии идеалистами и метафизиками». Ленин делает примечание: NB «Вывод». «В особенности!» [1]. Смысл этих примечаний ясен. Еще в 1908 г. Ленин писал Горькому: «Уж, конечно, я не думал «гнать интеллигенцию», как делают глупенькие синдикалисты, или отрицать ее необходимость для рабочего движения» [2]. Выше мы уже приводили ряд положений Ленина о том, что пролетариат не может построить свою культуру без использования знаний и опыта, которыми владеют специалисты,— и если, по словам Луначарского, он вполне понимал «стремление пролеткульта выдвинуть собственных художников» [3], то все же в формулировке Плетнева видел лишь одностороннее преувеличение одной стороны задачи. Другими словами: Ленин прекрасно учитывал необходимость выдвижения художественного творчества самих трудящихся масс. «Искусство — говорил Ленин в беседе с К. Цеткин — принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую широкую толщу трудящихся масс. Он должно быть понято этими массами и любимо ими. Оно должно об'единять чувство, мысль и волю этих масс, поднимать их. Оно *должно пробуждать в них художников* и развивать их. Должны ли мы небольшому меньшинству подносить сладкие утонченные бисквиты, тогда как *рабочие* и *крестьянские массы* нуждаются в черном хлебе. Я понимаю это, само собою разумеется, не только в буквальном смысле слова, но и фигурально; мы должны всегда иметь перед глазами рабочих и крестьян. Ради них мы должны научиться хозяйничать, считать. Это относится также к области искусства и культуры» [4].

В такой постановке проблема пролетарского искусства, как массового, приобретает совершенно иной характер нежели у Плетнева. Последний кроме «индустриального пролетариата» никого знать не хочет — крестьянство в целом считает антисоциалистической, антипролетарской социальной прослойкой. Совсем иначе ставит вопрос Ленин. Искусство должно принадлежать трудящимся массам. Искусство должны строить трудящиеся массы на основе всего культурного опыта и не только своими силами, но и силами специалистов, интеллигенции, которые только и могут передать трудящимся этот опыт, знания и всю художественную культуру. Понятие «массы трудящихся» Ленин берет не в его абстрактности («индустриальный пролетариат»— Плетнева), а в его конкретности и в его изменяемости. Так, если в предреволюционный период, когда массовое движение только еще начинается в передовых группах рабочего класса,— массой вполне можно считать несколько тысяч рабочих, то в период, когда революция уже подготовлена и становится фактом, «понятие массы изменяется в том смысле, что под ним разумеют большинство и притом *не просто лишь большинство рабочих*, а большинство всех эксплоатируемых; другого рода понимание недопустимо для революционера» (Ленин—«Защита тактики Коммунистического Интернационала»). Так, и в том случае, когда речь идет о массовом искусстве, должен приниматься во внимание не только «индустриальный пролетариат», но и *все трудящиеся массы*. (Не даром в соответствующем месте статьи Плетнева, где он отметает крестьянство, Ленин спрашивает: «А процент строящих паровозы», указывая тем самым на узкость и ограниченность Плетневского понимания «пролетарской культуры») [5]. Многие положения Плетнева, думаем, потому отвергались Лениным, что Плетнев черты коммунистической культуры будущего в ряде случаев переносит на классовую культуру пролетариата.

[1] Сб. «Вопросы культуры при диктатуре пролетариата», стр. 17.

[2] «Печать и революция» 1924 г. кн. 3-я, стр. 7.

[3] Из речи Луначарского на совещании ЦК по вопросам художественной литературы (1924 г.).

[4] «Ленин и искусство», стр. 49.

[5] Из этого, конечно вовсе не может быть сделано вывода, будто Ленин отрицал за пролетариатом ведущую роль в области культуры и искусства. Но, как и в других областях, эта ведущая роль не может быть осуществлена без союза с крестьянством и со всеми эксплоатируемыми, которые тоже участвуют в строительстве культуры и искусства. Последнее и хотел подчеркнуть Ленин.

Там, где у Плетнева идет речь о противопоставлении классовой буржуазной культуры и классовой же культуры пролетариата,— Ленин не делает никаких возражений и замечаний. Как уже показано было выше, для Ленина необходимость и закономерность такого противопоставления вовсе не была спорной. Но когда дело доходит до практических выводов относительно характерных черт пролетарской культуры и искусства, Ленин начинает возражать. Плетнев утверждает: «Пролетарский художник будет одновременно и художником и рабочим». Ленин отмечает кратко: «Вздор»[1]. Вполне понятно почему: таким художником будет лишь работник коммунистического общества. В эпоху же пролетарской диктатуры и перехода от капитализма к коммунизму такие художники лишь подготовляются через постепенное развертывание самодеятельного художественного творчества трудмасс. В переходный период пролетариат вместе с тем создает кадры своих художников-профессионалов, и использует профессиональное творчество предыдущих исторических этапов. Художник остается еще профессионалом специалистом.

Но, повторяем, как в этом, так и во всех других случаях Ленин своими «заметками» протестует не против пролетарской культуры и искусства как таковых, а против конкретного толкования пролетарской культуры и искусства в статье Плетнева и тем самым против понимания этих вопросов всеми «сверхлевыми» фразерами и «сверхиндустриалистами» (как лефовцы, пролеткультовцы и проч.).

В заключение необходимо несколько подробнее остановиться на проблеме художественного наследства в постановке Ленина. В своем разговоре с К. Цеткин Ленин высказал ряд соображений по этому поводу: «Мы чересчур большие «ниспровергатели» в живописи. Красивое нужно сохранить, взять его как образец, исходить из него, даже если оно «старое». Почему нам нужно отворачиваться от истинно-прекрасного, отказываться от него, как от исходного пункта для дальнейшего развития, только на том основании, что оно «старо»? Почему надо преклоняться перед новым, как перед богом, которому надо покориться только потому, что «это ново»? Бессмыслица, сплошная бессмыслица. Здесь много художественного лицемерия и, конечно, бессознательного почтения к художественной моде, господствующей на Западе. Мы — хорошие революционеры, но мы чувствуем себя почему-то обязанными доказать, что мы тоже стоим «на высоте современной культуры». Я же имею смелость заявить себя «варваром». Я не в силах считать произведения экспрессионизма, футуризма, кубизма и прочих «измов» высшим проявлением художественного гения. Я их не понимаю. Я не испытываю от них никакой художественной радости» [2]. На основании этих слов Ленина делают нередко выводы, что наше художественное наследство ограничивается периодом «расцвета» буржуазии, буржуазным реализмом, передвижничеством и т. п. На всесоюзном совещании по художественной работе среди молодежи т. Либединский (ассоц. пролет. муз.) заявил: «Мы должны пропагандировать художественное наследство буржуазии эпохи ее расцвета... Что нам давать из старого: период импрессионизма, конструктивизма и прочих «измов», или нечто иное? Ленин, Плеханов, Маркс *много раз* подчеркивали, что нужно исходить из старого искусства времен расцвета буржуазии. Они подчеркивали неприемлемость упадочных форм. Владимир Ильич говорил: «Я не в силах испытать радость от тех искусств», которые он окрестил названием «измы». А у нас сейчас начинает проявляться большое влияние этих буржуазных слоев и в музыке и в других видах искусства. Появляется течение, считающее, что мы должны исходить из этих упадочных форм» [3].

Об этом же говорит и Луначарский: мы не должны предпочесть искусству, отвечающему раннему и среднему периоду капиталистического развития,— искусство империализма» [4].

Подобные утверждения в большинстве случаев направлены против защищаемого в последнее время частью марксистской критики и левых художественных группировок тезиса о необходимости критического усвоения художественных достижений и методов капиталистического искусства в его последней фазе развития, когда все предыдущие *измы*, бывшие в подавляющем большинстве откликом на запросы мелкобуржуазных групп, отступают перед конструктивизмом, несущим в себе ряд положительных организующих и научно-технических тенденций монополистического, финансового капитала. Известно, что до этого у нас было необычайное засилие футуризма, экспрессионизма и

[1] «Вопросы культуры при диктатуре пролетариата», стр. 17.
[2] «Ленин и искусство», стр. 48.
[3] См. «Комсомол на фронт искусства» (Матер. 1-го всесоюзн. совещ. по худож. работе среди молодежи.) Изд. Теакинопечать. 1929 г., стр. 94—95.
[4] Там же, стр. 22—23.

лишенного всех своих положительных качеств эстетизированного кубизма. Уже из самой постановки вопроса Лениным можно было бы заключить, что он протестует прежде всего против этой «моды», которую, однако, и указанная часть марксистов, искусствоведов и художников не склонна считать положительным художественным наследством. Истолкователи Ленина делают передержку, именно в этом пункте распространяя слова Ленина на все буржуазное искусство т. наз. индустриальной эпохи. По их словам выходит, что автор классических работ об империализме, государстве и революции, всегда утверждавший, что именно последняя фаза развития капитализма создает предпосылки для пролетарской революции и строительства социализма,—отвергал этот тезис в применении к культуре и искусству. Но Ленин в «Государстве и революции» прямо говорит о «близости» монополистического капитализма с его планирующими и централизирующими тенденциями к социализму, он говорит о культурных предпосылках социализма, создаваемых в эпоху монополистического капитализма. Такие же предпосылки создаются и в области искусства. Ссылаться на Ленина при отрицании этого факта—вещь невозможная для марксиста. Мы имеем к тому же и прямые указания на то, что Ленин не упрощал вопроса до формулировок, подобных высказываниям Либединского или Луначарского.

В статье Плетнева имеется следующий абзац: «Будуарный херувимчик нелеп на фасаде грандиозной электрической станции, гирляндочки цветочков смешны на перекинутом через ширь реки мосту. И станция и мост красивы своей красотой мощи, силы, конструкции огромных масс стали, железа, бетона, камня». Ленин отмечает на полях: «Верно, но *конкретно* (Эренбург)» [1]. Первая часть фразы не нуждается и в истолковании — в ней ясно подчеркнуто согласие с тем, что эпоха индустриализма не может безразлично использовать старые декоративные приемы, старое искусство, т. к. имеет свою собственную эстетику и особые потребности. Во второй части Ленин, очевидно, указывает на то, что это положение нуждается в конкретизации, ибо в таком общем виде оно может дать повод к различных истолкованиям, в частности, к точке зрения Эренбурга, фетишизирующего красоту индустриальной вещи, как внесоциальную вечную категорию. Мы знаем, что у пролеткультовцев, лефовцев и «сверхиндустриалистов» моменты подобного истолкования и фетишизации были. Ленин не мог однако согласиться с узостью фанатиков, поклоняющихся только буржуазному искусству последнего периода, притом очень некритически и неразборчиво. Художественное наследство не может быть ограничено конструктивизмом, но еще менее правильно считать художественным наследством только искусство среднего или раннего периода буржуазного общества, приклеивая к нему ярлычок «расцвета». Ни Ленин, ни Маркс, ни Плеханов никогда не утверждали этого. Ленинское требование призывает взять и критически проработать все знания, всю культуру и искусство, созданное человечеством в условиях господства различных общественных форм, предостерегая при этом от некритичности, «моды» и однобокости. И лишь идя этим путем, мы сумеем действительно усвоить и использовать все положительное для данной области, накопленное веками и тысячелетиями, ставя акцент на действительно близких и ценных с нашей точки зрения моментах.

Таковы основные вопросы искусства и художественной политики, по которым высказывался Ленин. Требование практической ориентированности и политической актуальности искусства, создания широкой базы для развития действительно массовой и пролетарской художественной культуры, не замыкаясь в лабораторные изыскания и абстрактные выдумки, требование широкого усвоения художественной культуры прошлого, использования ее на службе социалистического строительства—остаются и для сегодняшнего дня основными задачами нашего художественного развития.

ОБРАЗ ЛЕНИНА В РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

(Доклад И. Нусинова)

Через несколько месяцев после смерти Ленина крестьянские дети одной заброшенной деревушки Павлиховской волости, Тверской губернии, рассказывали нам:

«В тихом саду он схоронен, Ленин, в Москве. Думали посреди Москвы большой терем построить и туда его положить. Но перед смертью он позвал самых старших коммунистов и сказал им: «Мне никакой награды не надо. Вы все народу дайте. А главное, детей не забудьте. Прежде всего о них заботьтесь».

[1] «Вопросы культуры при диктатуре пролетариата», стр. 18.

Было об этом заявлено народу. Ходили записывать детей. Но ничего не выдали. Неизвестно почему, но ничего не выдали.

Я рассказал детям про Ленинский фонд для беспризорных детей.

— Ну, так оно и правильней. У нас, видно, не поняли. Все же это правда, что он сказал: «мне награды не надо» и велел про детей помнить» (И. Нусинов «Вокруг озера Селигера», Гиз, 1925, стр. 37).

По представлению крестьянских детей высшая и справедливая награда от партии Ленину—построить большой терем и туда положить тело Ленина. Но у Ленина бескорыстное служение народу, великая забота о народе и великая любовь к детям. И он зовет перед смертью своих старших учеников и с библейской простотой говорит им: «Мне никакой награды не надо. Вы все народу дайте. А главное, детей не забудьте. Прежде всего о них заботьтесь».

Кое-кто из деревни побывал в Москве на Красной площади, побывал и в мавзолее Ленина. Может быть, дети даже видели снимок мавзолея.

Но они хоронят Ленина в тихом саду.

Тихий сад—великий покой, который заслужил человек, всю жизнь потрудившийся для народа, и который перед смертью не желал награды. В тихом саду ему покоиться, а не на шумной площади.

В этом сказе крестьянских ребятишек деревушки, отдаленной от мира рельс и телеграфных проволок озером в десятки верст,—ключ к художественной литературе о Ленине.

Ребята дают не образ Ленина, а свое представление о Ленине, о партии, которая чтит Ленина, но которую Ленин и самой своей смертью направляет на свой, единственно верный ленинский путь.

Не Ленина, а свое представление о Ленине дают все те писатели, которые посвящали ему свои произведения. Причем по самому этому образу Ленина можно будет судить о том, в какой мере эти писатели действительно подошли к Ленину и ленинизму, в какой мере они способны творить дело Ленина или стремятся заставить Ленина творить их дело.

В художественной прозе нет еще ни одного произведения, которое было бы посвящено специально Ленину. Ни одной книги, где бы Ленин дан был, как центральная или даже, вообще, как одна из основных фигур произведения.

Ленин дан между прочим, как один из элементов среды, атмосферы, где живет и действует стержневая фигура произведения. Так у Ильи Эренбурга Ленин—одна из встреч Хулио Хуренито. Эренбург дает беседу своего учителя с Лениным и портретный набросок Ленина.

Когда речь заходит об искусстве, Ленин говорит: «Я в нем ничего не смыслю и перечисленными вами ремеслами (искусством, театром, поэзией.—*И. Н.*) не интересуюсь. Мне кажется гораздо более занимательным писать декреты о национализации мелкого скота, нежели читать стихи Пушкина, от которых я сам честно засыпаю. Я с детских лет ничего не читал и не читаю, кроме работ по своей специальности. Я не гляжу на картины, ибо мне интереснее смотреть на диаграммы. Я никогда не ходил в театр, вот только в прошлом году пришлось по долгу службы с гостями республики—это было еще снотворнее гимназического Пушкина. Чтобы перейти к коммунизму, нужно сосредоточить все силы, все помыслы, всю волю, всю жизнь на одном—на экономике».

По многим воспоминаниям о Ленине мы знаем, что раньше всего его можно было характеризовать словами: «Ничто человеческое мне не чуждо».

Эренбурговская беседа была бы вероятна, если бы она была дана в таком плане:

Захотелось однажды Вл. Ил. мистифицировать одного из своих многочисленных, часто только любопытствующих буржуазных собеседников. И сыграл он со своим эстетски-филистерским собеседником такую шутку: прикинулся перед ним как раз таким, каким филистер его представляет себе. Филистер слыхал, что Ленин марксист, что марксисты придают какое-то особое значение экономическому фактору, что они как-то отрицают самостоятельное значение искусства. Вот он и говорит филистеру, что от Пушкина он засыпает, от театра еще того пуще. Одно, что его интересует—это диаграммы, экономика, мелкий скот.

Но Илья Эренбург дает эту беседу не как ильичевскую шутку, а всерьез. И тем разоблачает свое филистерское представление о Ленине, о коммунисте, о марксисте. Если что-нибудь здесь верно—это только то, что беседы с такими эренбургски-хуренитскими «гостями республики», и того больше, хождение с ними по театрам—действовали на Ленина «снотворнее гимназического Пушкина».

Эта беседа Ленина, его отношение к искусству, к поэзии и театру вытекают из портрета Эренбурга:

«Насмешливый слегка, простой, как шар,—точно аппарат, слова расходятся спиралями, конденсированная воля в пиджачной банке, пророк новейшего покроя, сидевший положенное число лет сиднем за книгами (или за кружкой бюргерского пива!) и после в две недели ставший мифом, чье имя равно сводит с ума и пекинского кули и джентльмена из Лидса».

Ленин без конца говорил о творческом, критическом усвоении культуры прошлого. Годы в библиотеках были для него годами такого творческого усвоения и творческой критики. В портрете нет намека на все это. Портрет дает буквоеда, фаустовского Вагнера. Портрет говорит об обывателе, который вдруг узнал о Ленине—в две недели стал мифом,—а не о живом пути Ленина, для которого те две недели были только вершиной.

Если скептик из «Проточного переулка» дает встречу Ленина с Хуренито, то коммунист Аросев дает Ленина в восприятии своего Андронникова.

Ленин «говорил, исторгая слова из самой глубины своей сущности, отчего и звук голоса был точно налитый той особенной жизненной силой, которая полной чашей льет в сердце уверенность. Все слова у Ленина обыкновенные, простые. А попадет это слово в сердце, раскусишь его—в нем ядрышко. И от этого горячего Ленина, от изборожденного песчаного лица, от простых глаз, не то огненных, не то коричневых, от всей его плотной фигуры на Андронникова опять нашло то странное закружение, которое обнимало его по-особенному, человеческому, родному».

Не человек книги, а человек, в самом голосе которого особая жизненная сила. Не человек скучных диаграмм, а простых слов. Не начетчик, который просидел положенное число лет над книгой, не флегматик, который спокойно потягивает из кружки бюргерское пиво, а горячий Ленин, от него идет «странное закружение», обнимающее «по-особенному, человеческому, родному».

Таким же своим, простым и не мудрствующим Ленин кажется крестьянам из «Мужицкого сказа о Ленине» Л. Сейфуллиной. Только что этим мужичкам—как это уже отметил В. М. Фриче—«Ленин рисуется деловитым, хозяйственным мужичком».

«Глядят мужики, солдаты, фабричные, и приехал к ним простецкий хрестьянский человек и говорит им:

«Буду я с вами в одном положении, как есть мы теперь товарищи... забирайте землю, скот и хозяйствуйте. А там будет дело видное...»

Не в пример цитированным авторам Тарасов-Родионов стремится дать внешне описательный портрет, почти фотографию:

«Невысокий, сутулый и плотный человек средних лет, с огромной лысой и какой-то выпуклой наперед золотистой и упругой, как шар, головой. Упершись хитро поднятой бровью в коротенькие потные пальцы, он узенькими, по-восточному простодушно-прищуренными глазками шустро бегал по какой-то бумажке, низко подвигаясь к ней. Потом он поднял голову, погладил лысину ладонью, раскрыл из-под рыжеватых, подрубленных снизу усиков, широкий крепкий рот над золотистым клинышком кургузой бородки и, не глядя ни на кого, деловито, торопливой скороговоркой, как-то уверенно-крепко, в то же время картавя на некоторых звуках, стал как бы вскользь пояснять»...

Это портрет мемуариста, который знает, что виденное им интересует потомство. Он констатирует, не оценивая.

И этот портрет правильнее было бы отнести на ряду с портретами Горького, Осинского и др., к воспоминаниям о Ленине, чем к художественным образам Ленина, хотя зарисовка Горького, к которой мы ниже еще вернемся, содержит в себе несравненно больше элементов художественного образа, чем те детали портрета Ленина, которые взяты нами из беллетристических произведений.

Несравненно больше занималась темой—Ленин—наша поэзия.

Значительное количество стихотворений о Ленине относится к его смерти. По большей частью они и не ставят перед собой задачей дать образ Ленина. Они стремятся лишь выразить печаль и скорбь тех, кому был дорог Ленин, они—боль утраты и клятва хранить верность Ленину.

Лучше всего эта боль выражена у тех поэтов, кто смог приобщиться к ленинской простоте.

... «И снова он встает передо мною,
Смертельною тоскою пронзенный день.
Казалось: земля с пути свернула,
Казалось: весь мир покрыла тьма.
И холодом отчаяния дохнула
Испуганно-суровая зима.
Забуду ли народный плач у Горок
И проводы вождя, и скорбь, и жуть,
И тысячи лаптишек и опорок,
За Лениным утаптывающих путь».

(Д. Бедный—«Снежинки»).

Гипербола «земля с пути свернула, весь мир покрыла тьма» смягчена повторным «казалось» и становится доподлинным переживанием через последующие:

«Забуду ли народный плач у Горок».

Эта простота Д. Бедного особенно контрастирует с некоторой деланностью А. Жарова:

«Рванулась тревога
И вдруг—замерла...
Тревога Шопена
Не нашей была.
А нашей не выразить:
Боль и обида...
Вдруг—Вагнер заплакал
Слезами Зигфрида.
Рыдали. И—гневом
Пылали оркестры
Сгущая протесты,
Протесты, протесты!..»

В том-то и дело, что Жарову боли «нашей не выразить». Да и своей ему не удалось выразить. И он поэтому позволяет себе для случайной рифмовки с «оркестры» повторное «протесты», хотя протесты здесь не при чем.

Мы не протестуем, мы скорбим о смерти. Протесты против смерти—от истерии, если не от богоборчества. Бессилие выразить свою боль толкает его к выкрикам: «Солнце, стой».

Далеким от доподлинных переживаний, неуместной звуковой игрой продиктованы строки Светлова:

«Но мы знаем, мертвый Ленин рад,
Что назван город—Ленинград.
Будет вместе с нами Ленин рядом
Над оледенелым Ленинградом».

Но для большинства поэтов эта смерть не литературная тема, а живое переживание—огромное, исключительное, которое они бессильны выразить.

Поэзия дала ряд предварительных зарисовок, которые говорят о большой боли и значительных переживаниях поэтов как граждан, как членов коллектива, понесшего великую утрату. Но она явно демонстрировала свое бессилие выразить те исключительные дни.

Мир не знал дней такой скорби народа, страны, как дни утери Ленина.

Мир не знал таких похорон, как похороны Ильича.

Поэзия, посвященная этой смерти и тем «шести дням, которых страна не забудет», является лишь слабым выражением той великой боли.

Ни одного поэтического документа, который в какой бы то ни было мере мог бы стать таким же памятником тех дней, каким останется навсегда речь Н. К. Крупской на траурном заседании С'езда Советов.

Поэзия записала все основные тематические моменты: и то, что «пять ночей в Москве не спали» (В. Инбер), и замершую жизнь—«остановились трамваи на миг, и пробегающий автомобиль головой глазастой уткнулся, рыдая, в сугроб» (Санников),—и «стужу над Москвою», и то, что «приходят с Карпат и с Амура, чтоб бодростью свежей

напиться у дряхлой кремлевской стены» (Дж. Альтаузен), и твердую решимость класса орудием ленинизма продолжить дело Ленина:

— «трудно будет республике без Ленина,
Надо заменить его—кем? и как?
Довольно валяться в перине клоповой!
«Товарищ секретарь!—на тебе—вот—
Просим приписать к ячейке еркаповой
Сразу коллективно—весь завод»...

(Вл. Маяковский).

Но все это тезисы, подчас более, чаще менее удачные для будущей разработки этой темы.

Ждет своего писателя тема—коллектив, который скорбит об ушедшем и клянется быть достойным ушедшего. Ждет еще своего художника и образ самого ушедшего Владимира Ильича.

Наиболее значительными поэтическими попытками дать Ленина надо пока считать поэму Вл. Маяковского: «Владимир Ильич Ленин».

Здесь сказались особенно ярко все качества и недостатки лефизма, в частности лефизма Вл. Маяковского. Вл. Маяковский знает, что история Ленина—история борьбы и победы рабочего класса. И он дает все этапы развития нашего рабочего движения, от начала капитализма в России до смерти Ленина.

По существу, он дает рифмованный конспект по истории революционного движения и в особенности по истории ВКП (б). Все отмечено: и такие сравнительно второстепенные факты, как богоискательство, как слова Плеханова, что не надо было браться за оружие, и такой большой факт, как Временное правительство.

Но то плохо, что Вл. Маяковский все записал, все перечислил, но ничего не показал.

Искусство—не об'ективное познание действительности. Оно—классовое познание, сквозь очки класса. Познавательное значение пролетарской литературы тем большее, что она литература класса, которому дано больше всего быть об'ективным в познании действительности.

Между тем, поэма Маяковского лишена познавательного значения.

Когда Вл. Маяковский пишет:

Мы говорим «Ленин».
Подразумеваем
«партия».
Мы говорим
«партия»,
Подразумеваем—
«Ленин»

или когда он пишет

Партия—спинной хребет рабочего класса.
Партия—бессмертие нашего дела.
Партия—единственное,
что мне не изменит...
Сегодня приказчик,
а завтра
царства стираю в карте я!
Мозг классса,
дело класса,
сила класса,
слава класса—
Вот что такое партия».

то, хотя слова и разбиты в маленькие строки, по два-три слова в строку, пред нами все же газетные повторения, риторика провинциального трибуна: «Мозг класса, дело класса, сила класса, слава класса», и сравнение «сегодня приказчик, а завтра царства стираю в карте я»—скорее похоже на обывательское: «погоди, попадешься мне в руки», чем на:

«Кто был ничем, тот станет всем».

Или когда Вл. Маяковский пишет:

«Бился об Ленина темный класс,
Тек от него в просветлении,
И обданный силой и мыслями масс,
С классом рос Ленин».—

то он, по существу, высказывает верную мысль, что партия — разум класса, орудие его самосознания, что партия, ее вождь, Ленин растет вместе с классом. Но это хуже, много хуже публицистической мысли, ибо Маяковский дает лишь ее словесное повторение, не вскрывает ее художественно, не дает ее образного показа.

Здесь метод погубил произведение. И лишь отдельные страницы дают нам почувствовать дни смерти и похорон, лишь отдельные строки вызывают образ. Но в них-то и Вл. Маяковский изменяет своему методу, перестает делать вещь, отходит от лефовского формализма:

«Он к товарищу
людской лаской,
Он к врагу
вставал
железа тверже.
Знал он
слабости,
знакомые у нас,
Как и мы,
премогал болезни».

Здесь повеяло живым человеком.

Вл. Маяковский тысячу раз прав, когда он предупреждает:

Я боюсь,
чтоб...
не залили б
приторным елеем
Ленинскую
простоту,
За то я дрожу,
как за зеницу глаза,
чтоб конфектной
не был
красотой оболган.

Надо дать Ленина—не елейным, не конфектным, но живым. И притом не вообще вождя рабочего класса, а Владимира Ильича Ленина.

Его-то Вл. Маяковский не дал и из-за своего метода дать не мог.

Он бросает небрежно:

«Коротка
и до последних мгновений
нам
известна жизнь Ульянова».

и ей, жизни Ульянова, противопоставляет:

«долгую жизнь
товарища Ленина».
Ее-то
«надо писать
и описывать заново».

Но, во-первых, неотделимы Владимир Ульянов и Владимир Ленин. Это никчемный дуализм. Знать эту жизнь «до последних мгновений», написать «Детство, отрочество и юность» Владимира Ульянова—значит вскрыть направленность путей Вл. Ил. Ленина не меньше, чем «Детство, отрочество и юность» графа Л. Н. Толстого вскрывает путь непротивленца Л. Н. Толстого.

И совсем нам еще не «известна до последних мгновений жизнь Ульянова».

Дальше: «долгую жизнь товарища Ленина надо писать и описывать заново». Вл. Маяковский прав. Он приступает к этому делу:

«Голосует сердце—
я писать обязан
по мандату долга»—

Но «мандат долга» не использован. Не только заново не описал, но и старого не дал. Человека живых переживаний, колебаний, достижений и сомнений не показал. Ибо сам его не увидел.

Вот, вспоминая один из моментов раскола в «Искре», Н. К. Крупская сказала: «Мы вдвоем с Вл. Ильичом всю ночь продрожали».

Показать бы одну такую бессонную ночь Ильича, когда он вынашивал решения поворачивать руль партии. Тогда ожило бы само по себе правильное, но уже тысячи раз сказанное, что Ленин был «самый земной изо всех прошедших по земле людей»,— тогда вскрыта была бы правда слов:

«Он земной—
но не из тех,
кто глазом
упирается
в свое корыто.
Землю
всю охватывая разом,
видел
то,
что временем закрыто».

Пробовал Дм. Петровский дать один такой момент: «Последнее свидание».

Больной Ленин, в последние предсмертные дни в Горках заставляет шофера повезти его в Кремль: он желает в последний раз посмотреть штаб великого боя [1].

«Последнее свидание», написанное после смерти Ленина и где дана тоска Ленина по Кремлю,—эскиз для того великого произведения, которое действительно покажет Ленина как «самого земного из всех прошедших по земле людей».

Маяковский прошел мимо глубоко трагической темы Дм. Петровского, темы последних месяцев его жизни в Горках, его болезни и смерти. Здесь одним перечнем фактов ничего не сделаешь. Между тем, рассказать про Ленина этих дней, проникнуться его переживаниями этих месяцев—значит больше сделать для показа исключительности, неповторности Ленина, чем всеми перечислениями событий.

---

[1] Один «добродетельный» молодой критик цитирует диалог Ленина с шофером:

«— Шофер, поворотн в Москву!
— Я не могу, товарищ Ленин,
Мне не велели...
. . . . . .
— Повороти к Кремлю—велю:
Ужель путь туда потерян?
Я вождь пролетариата...—Есть!
Шофер не смеет больше спорить».

Критик возмущен:

«Дмитрий Петровский покушается своим стихотворением на основную добродетель Ленина, на его поразительную скромность. Ленин превращается в мелодраматического героя с претензиями шекспировского властолюбца» («Ленин в худож. литерат.». Биб. «Огонек», 425). Вот уже доподлинно требование, чтоб Ленина «залили б приторным елеем». Составитель книжки «Ленин в художественной литературе», повидимому, представляет себе, что скромность Ленина примерно того же сорта, что скромность д-ра Рагина, о котором Чехов рассказывает, что «когда ему хочется есть,—он нерешительно покашливает и говорит кухарке: «Как бы мне чаю»... или: «Как бы мне пообедать» («Палата № 6»).

В самом деле—знало ли человечество трагедию более значительную: тот, к голосу которого весь мир—и друзья и враги—прислушивались, умолк.

Он продолжал жить большой ильичевской жизнью, но миру поведать об этой жизни больше не мог.

Подходила осень 1923 г. История оказалась на распутьи: между германским Октябрем и стабилизацией.

Над чем думал тогда Ленин? Над тем, как выйти к германскому Октябрю, или над тем, что вот его жизнь окончена? Были то думы Владимира Ильича или толстовского Ивана Ильича?

Ряд воспоминаний близких, рассказы о том, как мучительно он расспрашивал у своих близких о событиях в Германии, говорят о том, что единственная и последняя мысль—была мысль о дальнейших путях революции.

Но над этой проблемой, над проблемой последних дней,—Вл. Маяковский и не задумался.

Литература должна познать и обогатить читателя своим новым познанием. Маяковский, верный лефизму, дал лишь констатирование и потому ничем не обогатил нашего знания о Ленине. Но надо сказать, из всех поэтов, писавших о Ленине, Маяковский ближе всех подошел, если не к образу Ленина, то к пониманию его исторической сущности. Во всяком случае, у него ни тени не осталось от старо-деревенской ограниченности Клюева, для которого Ленин «красный государь коммуны».

Ленин для Маяковского также не такой сфинкс, как для Есенина:

«Суровый гений! Он меня
Влечет не по своей фигуре.
Он не садился на коня
И не летел навстречу буре.
С плеча голов он не рубил,
Не обращал в побег пехоту.
Одно в убийстве он любил—
Перепелиную охоту.
Для нас условен стал герой:
Мы любим тех, что в черных масках,
А он с сопливой детворой
Зимой катался на салазках.
И не носил он тех волос,
Что льют успех на женщин томных,—
Он с лысиною, как поднос,
Глядел скромней из самых скромных.
Застенчивый, простой и милый,
Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какою силой
Сумел потрясть он шар земной?»

Художественные образы Ленина будут все множиться и множиться. Но множиться будут также искажения Ленина. Неизбежно то, что каждый писатель будет его рисовать «по своему образу и подобию».

Ленин был гением революционного пролетарского действия, революционной пролетарской мысли.

И создаст его образ пролетарский писатель, великий пролетарский писатель.

И он тогда положит в основу своего образа портрет Владимира Ильича Ленина, сделанный его великом другом М. Горьким.

Он покажет тогда «неутомимого охотника на ложь и горе жизни». Встанет пред нами «Великое дитя окаянного мира сего, прекрасный человек, которому нужно было принести себя в жертву вражде и ненависти, ради осуществления дела любви и красоты».

ОБРАЗ ЛЕНИНА В ИСКУССТВЕ ЗАПАДА

(Доклад А. Сидорова)

Материал, даваемый нам искусством, исключительно четко выявляет устремления и самую идеологическую установку тех общественных сил и групп, которые в настоящее время борются на Западе. Идеи и образы часто становятся для них об'единяющими, стя-

гами их общественной работы. Из всех образов, связанных с современностью, *образ Ленина* встал перед западным искусством в особенной, неповторяемой значительности. Мы не выполнили еще до конца нашей обязанности по изучению и собиранию иконографии вождя пролетарской революции. Наши сведения исчерпываются только тем, что дает искусство СССР. Творчество революционного в подлинном смысле или же дружественного Советскому Союзу передового интеллигентского искусства Запада у нас также не до конца изучено и использовано. Между тем хотя бы краткая систематика образов Ленина в изобразительном искусстве современного Запада оказывается для нас вдвойне интересной. Ленин предстает перед нами как грандиозная тема, с которой искусство справиться не в силах; вместе с тем, образ покойного вождя—всегда живой и действительный об'ект и вызов художественному творчеству; западные художники в нем воплощали и доныне воплощают свои идеи о всемирном великом революционном сдвиге и, говоря о вожде советского переворота, мечтают о своих достижениях, которые еще в будущем; стремясь воплотить историческую действительность, удержать живое отличие ушедшего, они в то же время больше всего говорят о себе, о своих чаяниях и комбинациях сил. А вместе с тем, в западных образах Ленина имеются и другие задания—попытка понять и осознать русское особое начало мировой революции, характеризовать индивидуальное и неповторимое величайшей в мире социальной победы. Все это только с новой настоятельностью подчеркивает интерес такой темы, как та, которая стоит перед нами сейчас. Потому что изучение искусства в серьезном социологическом разрезе является одною из очередных задач всей системы революционной науки.

То, что здесь предлагается мною, ни в коем случае не должно быть сочтено за последний готовый результат уже проведенного исследования. Классификация пока построена на материале неполном; выставки, опубликования и иные источники, бывшие в нашем употреблении, позволяют только предварительно наметить ту работу, выполнение которой конечно подлежит функциям одного из специальных советских институтов. Однако представляется, что и в том фрагментарном виде, в котором предлагается настоящая информация, она позволяет сделать известные заключения о той неизменной и несравненной силе, которою обладает для революционного искусства Запада облик Ленина. То есть—самая принявшая конкретный облик мысль и идея всемирной коммунистической борьбы.

Самая же классификация имеющихся в нашем распоряжении материалов по образу Ленина в западном искусстве позволяет присмотреться и к той внутренней производственной логике, которою руководится та или иная техника, тот или иной прием художественной агитпропаганды. В сущности каждый «Ленин» на Западе не только портрет и не только документ, но и агитация. Именно последнее бросает свой свет на различие средств выражения самого задания. Классификация художественного образа Ленина всего легче проводима по признакам технологии и разности использования произведения искусства. Бросается в глаза, что именно здесь мы оказываемся близкими к подлинной социологии искусства, учитывающей в последнем прежде всего его роль в жизненной борьбе. Наша классификация поэтому пытается рассмотреть образ Ленина в современном искусстве Запада по основным трем делениям изобразительного искусства—в графике, живописи и скульптуре. Повторяем, что только предварительно информационным может быть наш очерк.

Графика дает наиболее полное и разнообразное использование облика Ленина в западном искусстве. Это понятно. Графика наиболее эластична как техника и как прием распространения. К тому же графика как искусство полиграфии, как печатная форма, находящаяся в руках партийной редакции, естественно более отзывчива на революционные темы. В газете и в журнале она злободневна и политична. Облик Ленина был ею на Западе использован очень часто как с дружественными, так и с враждебными целями. Но политическую, тем более нам чуждую по идеологии, карикатуру мы оставляем в стороне. К характеристике нашей темы она ничего не дает. Тем более интересен окажется для нас конечно близкий к карикатуре журнальный рисунок. В нем, не преследуя той непосредственной задачи участия в политической борьбе, которую ставит перед собою карикатура, осуществлена промежуточная форма между нею и реалистическим наблюдением действительности, как она есть. Задача сходства разрешается здесь без шаржа. Из этой группы и могут быть нами взяты наши первые примеры.

Весьма выдающийся американский рисовальщик *Бордман Робинзон* является создателем двух рисунков, которые, будучи опубликованы в американском рабочем журнале, облетели весь мир, явно производя большое впечатление. На одном из рисунков этих, посвященном «Версальскому миру», художник, как он сам это выражает,

показывает «тень Ленина, господствующую над мирной конференцией». Колоссальная фигура Ленина на заднем плане, за очень похожими Вильсоном, Ллойд-Джорджем, Клемансо, держит полуразвернутый свиток, на котором написано: «Смертный приговор капитализму». Этот свиток сливается с той рукописью, на которой подписывается, сам не зная, что пишет, Вильсон. Второй рисунок, ставший не менее популярным, изображает Ленина за шахматами—не тою конкретной игрою, которую любил Владимир Ильич, а за шахматами мировой политики; противниками выступают те же представители обреченного на проигрыш капитализма, и Владимир Ильич улыбается, сделав неопровержимый ход. Робинзон делал рисунки свои углем и тушью; в них нет ничего особенно формальнопервоклассного, но в то же время — в них достаточно много умной и искренней убежденности.

Преследовать здесь целей полноты или даже хронологической последовательности мы не можем. В порядке принципиальной и тематической близости к разобранному варианту стоит использование образа Ленина в политическом плакате коммунистической партии Норвегии *(Рольф Клуге)*, где тень Ленина указывает путь рабочему, устремившемуся к открытой борьбе. Здесь образ Ленина освещен, синтезирован, если угодно—символичен. У плаката впрочем свои законы; использование для них плоскостей проекции силуэта конечно более приемлемо, чем для журнальной графики. Последней много дало поводов траурное начало 1924 года. Портрет Ленина был изображен в каждом из передовых, партийных и рабочих органов печати Запада. Большие газеты помещали фотографии с Ленина, пользуясь для этого советскими изданиями. Венгерские и сербские левые листы помещали рядом с фотографиями образцы советской графики и литературы. Орган берлинских «ультра-левых», известный журнал «Die Aktion», помещает на титульном листе № 3/4 от 1924 г. портретную маску Ленина, нарисованную неизвестным к сожалению художником, в которой сходства несравненно меньше, чем претензии на нечто значительное, достигаемое тем, что Ленину придается некое невероятное выражение сумасшествия. Зато очень интересно задумана, если не выполнена, гравюра на линолеуме *Гайдоса Ласело*, заканчивающая ленинский номер журнала «Egység». Здесь маска умершего Ленина помещена в центре пятиконечной звезды, между лучами которой расположены маски народностей пяти частей света. В журналах этих отметим также использование фотомонтажа, но впрочем строимого по принципу масок, не фигур.

Гравюра, которая помимо применения на страницах изданий может быть и станковою, использовала облик Ленина в западном передовом искусстве понятно несравненно реже, чем гравюра советская, создавшая, как известно, целую весьма примечательную галерею портретов Ленина. Отметим, однако, гравюры на дереве *Франца Зейверта*, одного из вождей «левого фронта» германского искусства, конструктивиста или близкого к ним, во всяком случае не ставившего себе никаких целей сходства или формального реализма.

Графические образы Ленина в западном изобразительном искусстве нами, конечно, не исчерпаны. Мы ограничимся пока этими указаниями, предоставляя будущему исследованию подробнее и детальнее использовать материал по нами намечаемой схеме.

В *живописи* перед искусством Запада вставали явно иные темы и более широкие масштабы. Не портрет, а картина, т. е. — не единичный образ, а коллективная концепция. Западное революционное искусство здесь ставит перед собой задачи очень разнообразные, но тем более ответственные. Есть, конечно, примеры более или менее понятного и приемлемого символизма. Сюда относится, например, рисунок *Мунельса Паля* (Венгрия), который мы рассматриваем в данной группе именно потому, что он дает картинную композицию «похорон Ленина», гроба, несомого на плечах рабочих, на фоне некоего отвлеченного города и абстрактного шествия. Еще более ответственную задачу поставил перед собою известный мастер *Генрих Фогелер* (Германия), который представляет из себя слишком интересную для современного искусства революционного Запада фигуру, чтобы не остановиться на его имени несколько подробнее.

Художественная и политическая биография Фогелера—исключительна для представителя его поколения. В конце девятнадцатого века Фогелер—один из сочленов известной художественной школы-колонии Ворнъсведе, утонченный декадент-символист, автор достаточно изломанных декоративных сказочных схем. Его популярность достигает и России эпохи буржуазного либерализма и мещанского эстетства. В художественной полосе всяческой «виньеточности» фогелеровской изысканности вполне нашлись «честь и место». Тем более знаменательно, что империалистическая война оказывается для художника радикальным перерождением. Он выходит из нее—через дом для умалишенных—жестоким ненавистником всей мещанской лжи, бунтарем и другом советской власти. Он—в Москве как гость общества политкаторжан, которое устраивает ему выставку, работает в Свердловском университете и создает в числе других и ту картину, которую нам здесь хотелось бы вспомнить. Она называлась «Смычкой», была сложной плакатного типа композицией, в которой между миром города и деревни сияла красная звезда с портретом Ленина посредине. Снова, как раньше, встретились мы с примером использования облика Ленина в плане более общем и широком, чем его дает или может дать вообще портрет как таковой.

Картина Фогелера относится к 1922 году. Через 6 лет, в 1928 году, в качестве последнего слова западного передового искусства создается достаточно монументальный «живописный памятник» Ленину в картине молодой австрийской художницы *Э. Лихшвиц*. Здесь изображен земной шар и фигура Ленина, наклонившаяся над ним. Ленин не слишком похож; но замысел прост и приемлем для всех. Образ Ленина—это мечта о том, что революция и на Западе разобьет цепи трудящихся рабов буржуазной культуры. Интернационализм и мировой размах революции—вот «идея Ленина» в этих последних образах западного искусства.

Эта идея получает знаменательное разрешение в *скульптуре* современного Запада. Здесь снова намечены две, на этот раз по-иному различные тенденции. С одной стороны встает как особая, очень настойчивая задача искусства создание памятника Ленину. *Марио Петруччи* в Вене, очень талантливый скульптор, создает реалистический в основе «макет» неосуществленного пока такого памятника и мечтает о том, чтобы ему была выслана из Москвы посмертная маска Ильича. В Норвегии *София Мадсен* лепит бюст Ленина из гипса, не ставя себе целей портретного сходства, но стремясь снова воплотить в Ленине некий общий символ, делая Ленина образом почти абстрактным, не забывая, правда, на пьедестале (небольшого) бюста поместить фигуры, олицетворяющие труд и рабочий класс. Тем паче интересно сопоставить с ним бюст небезызвестной английской художницы *Клэр Шеридан*, неоднократно посещавшей СССР и бывшей единственной из представительниц анализированного здесь западного искусства, которая портрет Ленина делала с натуры. Конечно, именно К. Шеридан имеет наименее прав на то, чтобы быть названной представительницей революционного искусства. Не слишком даже талантливая художница, она постаралась свой бюст Ленина сделать больше всего и только—похожим; недаром в своей книге «Русские портреты» («Russian Portraits», Лондон 1921) она рядом с воспроизведением своего бюста Ленина помещает фотографию Владимира Ильича как «оправдательный документ». Интересен ее рассказ о том, как ей позировал Ленин, вернее о ее наблюдениях над Лениным в его рабочем кабинете, о том как менялось его лицо при телефонном разговоре, при политической дискуссии. Она отмечает особый «ввинченный» («screwed-up») взгляд Ленина, принадлежащий только ему. Впрочем бюст ее работы все-таки не удался. По дороге в Англию он едва не был уничтожен англичанами. Очевидно и в таком портрете было что-то от опаснейшего из противников капитализма.

Идея *памятника Ленину*, конечно, не исчерпывается только изобразительными произведениями. На немецкой выставке в 1924 г. в Москве мы видели любопытный проект *архитектурного* памятника Ленину, где здание передавало собою форму серпа и молота и было увенчано именем «Ленин». Этот проект, принадлежавший молодому «левому» мастеру *Пери*, только в словесной передаче представляется несколько нелепым, по существу же доказывал полную возможность осуществления тематической задачи памятника в абстрактных формах. Но здесь мы входим уже в новую и особую область. Нам представляется сейчас правильным провести то, что следует назвать «социальной атрибуцией» просмотренного нами предварительного материала. Само собою разумеется, что эта новая точка зрения потребовала бы и иной группировки этого материала. Важнее технологического классификационного принципа для нас будет теперь иной—принципиальный. Реалистические портреты Ленина, или стремящиеся быть такими, могут быть противопоставлены обобщенным идейным образам его, в которых главное—не Ленин, а олицетворяемая им идея; причем и здесь допустимы противопоставления или градации образов по степени их большей или меньшей абстрактности. «Ленин» Фогелера, в центре «смычки» между городом и деревней, между пролетарским студенчеством и крестьянством (именно такая смычка является конкретным содержанием картины), может быть воспринят как момент иллюстративного порядка, как известный намек на тот или иной декрет, лозунг, программный плакат. У Лихшвиц, у Мадсен, у Клуге, у большинства, одним словом, образ Ленина имеет, как мы, думается, уже достаточно подчеркнули, характер «вселенский», в самой своей обобщенности выявляющий то, что можно было бы назвать «пригодностью»

Ленина и всего его дела для Запада. Весьма знаменательно, что это воплощается западными художниками путем лишения Ленина его физического сходства, его отрешения от конкретности и индивидуализации; на Востоке, в Азии, как известно, та же самая проблема «пригодности» того же В. И. Ленина разрешается народным искусством обратно, придачей лицу Ленина черт той национальности, которая стремится к использованию его образа (в индусских лубках, напр., где Ленин изображается, как известно, в индусской одежде).

Образ Ленина в искусстве Запада, как представляется, достаточно ярко выявил разность подходов к идее и разность вместе с тем тех социальных идеологий, которые скрыты за непосредственным формальным их осуществлением в искусстве, которое об'единяется нами под названием «революционного искусства Запада» потому, что оно действительно в своем приятии революции как таковой находит себе общую платформу. Но разность группировок в пределах этих больших скобок очень бросается в глаза. Только профессионал и интеллигент мог дать ту надуманность, которая осуществлена Фогелером, и если за абстракцией Лихшвиц чувствуется желание автора быть понятным массам, то в гравюрах такого «левого» художника, как Зейверт, мы этого не учтем. На правильном пути придется считать стоящим Рольфа Клуге, но тогда очень знаменательным окажется и тот факт, что единственный вполне натуралистический западный портрет Ленина, бюст Кл. Шеридан, окажется выполненным художницей из буржуазной среды.

Последним итогом будет признание, что западное искусство, изображавшее Ленина, не дало чего-либо адэкватного тем обликам Ленина, которые все-таки воплощены в искусстве советском. Мы не собираемся что-либо говорить об этом последнем. Характерно, однако, что в недавно нами пережитый момент пятилетия со дня, когда Ленин ушел от нас, западная иллюстрированная пресса, в большинстве своем воспроизводя портреты Ленина, пользовалась рисунками советских художников: Н. И. Альтмана, Н. А. Андреева; портретный набросок Альтмана с Ленина использован даже в Японии; и, конечно, признание Запада, что в порядке портретности ему лучше уступить место советским мастерам, лучше, нежели помещение такой недоброй «инвективы» на образ Владимира Ильича, которую позволила себе ультралевая «Aktion».

Значение же и роли и личности Ленина на Западе признано всеми, если и остается там власть в руках наших врагов. Года два тому назад весьма буржуазный лондонский «Graphic» поставил «анкетный вопрос»: «Кто наиболее великие десять человек послевоенного времени?» Ответ был дан единодушно — на первом месте назван был Ленин.

Имя вождя советской революции — знамя и маяк. Свет маяка этого виден, как мы на малых примерах пытались показать это — и далеко на Западе.

ОБРАЗ ЛЕНИНА В СКУЛЬПТУРЕ

(Доклад А. Бакушинского)

Тема «образ Ленина в скульптуре» в сущности сводится к проблеме советского скульптурного портрета. Судьбы его в значительной мере определяются общими судьбами этого жанра в истории русской скульптуры. Поэтому нам необходимо, прежде чем перейти к основной задаче доклада, очень кратко, но четко оттенить главные, уже пройденные моменты в развитии русской скульптуры на этом пути.

В истории русской скульптуры портрет никогда не играл крупной роли.

В XVIII и начале XIX вв. портрет, парадный и монументальный, был формой, исключающей все остальные. В это время были даны образцы, наиболее полно и совершенно отражающие запросы аристократии, символизирующие ее могущество,— запросы не столько аристократии в целом, сколько ее самого верхнего слоя. Это был портрет в полном смысле репрезентативный. Отсюда тяга к иностранцам с их развитым чувством парадности и монументальности. Отсюда засилие французов, итальянцев — Фальконе. Растрелли — и неудача интимного разрешения скульптурного портрета, как это было сделано в гениальных работах Шубина.

Со второй половины XIX в. начинается упадок скульптурного портрета и продолжается по линии все большего вырождения по конец XIX в. Все проникнуто натурализмом и салонностью.

Такое же снижение стиля и салонность крепнут в опытах разрешения монументальных замыслов. Достаточно вспомнить эволюцию монументальной скульптуры от Клодта к Микешину и Опекушину. Вспомним показательное и яркое вырождение чутья большого стиля у Опекушина от памятника Пушкину через памятник Александру II в Кремле к памятнику Александру III у храма Спасителя.

Характерным свойством монументального стиля этой эпохи является превращение форм салонной статуэтки в формы монументальной скульптуры.

Импрессионизм, порвав с натурализмом и эпигонством академизма, породил портрет интимный—в двух его разновидностях: портрет—натюр-морт Трубецкого и портрет—знак духовной выразительности у Голубкиной. Но импрессионизм все же не мог дать решительного боя салонности, особенно в творчестве своих эпигонов.

Импрессионизм пробовал свои силы и в монументальном портрете. Примеры: Андреевский «Гоголь», Волнухинский «Первопечатник», Александр III—Трубецкого. Эти памятники лишены привкуса салонности, но они продолжают оставаться типом станковых вещей, незаконно и случайно получивших монументальные размеры.

После эпохи импрессионизма «левые» течения решительно поставили задачу борьбы с самой изобразительностью, выдвинули формалистически-конструктивные требования взамен образа и внутренней выразительности. Задача портрета потеряла свой смысл и действенность.

Революция провела глубокую борозду и здесь между тем, что было до и после. Уже сквозь первые годы засилия левых течений наметился решительный поворот в сторону изобразительности. Это означало возврат к *образу*, к тематике, к сюжету. Причины: выход на сцену масс и массового вкуса. Этот вкус определяется рядом признаков. Прежде всего это тяга к вещественности, к утверждению предметности в ее наиболее конкретном и непосредственном восприятии. Отсюда—неизбежные реалистические тенденции с более или менее ярко выраженным натуралистическим оттенком. Возрождение пластического мировосприятия,—возрождение, следовательно, скульптуры как наиболее соответствующей формы выражения для новой концепции—естественный результат таких основных посылок. Современная послереволюционная психика масс во многих отношениях сходна с психикой нарождающегося «третьего» сословия, «среднего» класса эпохи Возрождения, который на заре своего господства в борьбе против аристократического уклада жизни с репрезентативными формами искусства организовал свое социальное мировосприятие реалистически-пластической концепцией, выдвинул взамен общего и отвлеченного индивидуальное и конкретное. Но для той же эпохи, как и для эпохи Перикла в Греции, характерно осознание широко общественной функции искусства,— портрета в частности. В этой области происходила неумолкаемая борьба, которая породила индивидуалистически-интимный портрет, с одной стороны, с другой—вновь портрет репрезентативный с его общественно-парадным смыслом и функциями.

Одна из основных задач современной советской скульптуры, в зависимости от происшедших социальных и политических сдвигов,—портрет как проблема социального заказа масс. Портрет кабинетно-салонный уже не имеет ни материального, ни идейного оправдания. Только монументальный портрет имеет достаточные духовные и материальные посылки для оправдания творческих усилий современного художника. Общественное обоснование этих посылок можно свести к следующим положениям. Портрет интимный—индивидуалистическая роскошь, теряющая всякое оправдание в новом быте. Только *монументальный* портрет может быть оформлением *общественно значимого*. Таков воспроизводимый образ вождя, общественного деятеля.

Монументальный портрет естественно становится в дальнейшем проблемой *портрета-монумента, портрета-памятника*. Здесь задачи конструктивности, с одной стороны, и предельной убедительности *символики образа*,—с другой, становятся основными.

Третья разновидность скульптурного портрета, возможная для положительного разрешения в условиях нашей современности,—*портрет-миниатюра*—и как круглая скульптура и как рельеф-медаль. Формы такого портрета должны быть строго подчинены особым закономерностям, свойственным «малой скульптуре». Они должны быть выдержаны в характере обобщенной декоративности. В отношении к ним следует применить особую осторожность в деле утилитарного приспособления. Такое приспособление должно быть вполне оправдано декоративно.

«Малая» портретная скульптура как предмет массового потребления и размножения требует особых материалов. В первую очередь это керамика разных видов,—майолика, фарфор, бисквит, затем бронза.

Наконец, последнее и—очень существенное свойство «малой» скульптуры—ее стилистически-формальная связь с декоративностью монументальной. Такая связь всегда была характерна в эпохи господства органического стиля: связь, например, средневековой миниатюры с фреской, медалей Возрождения, монет Греции с формами «большого» искусства, монументальной скульптуры.

Все сказанное мною о задачах разновидностей послереволюционного скульптурного портрета,—задачах, обусловленных происходящими социально-политическими сдвигами и их главным историческим направлением, имеет, главным образом, потенциальную силу. На деле, в окружающей обстановке далеко не все благополучно. В массовых вкусах еще очень крепко господство мещанских тенденций. Здоровая тяга к реалистическому образу пока разменивается и вырождается в формы салонного натурализма. Эти тенденции, конечно, в явном противоречии с новыми органическими началами художественной формы и выразительности, о которых речь шла выше.

В общем современная скульптура ответила неудачно на социальный заказ в области портрета. В массе она сбилась на линию наименьшего сопротивления,—продолжения тех вырождающихся тенденций, которые предшествовали буйному натиску левых и не до конца были свалены движением импрессионизма.

Под этим углом зрения приходится рассматривать и скульптурную иконографию Ленина.

В общем разрешении задачи скульптурного портрета Ленина господствует тенденция салонного натурализма. Таково большинство ленинских бюстов Гиза. Напомним работы Менделевича, Меркурова. Не ушел от этой тенденции и Шадр со своим очень мятым по форме рельефом. Бюст Андреева значительно обобщеннее и крепче, но холоден и фотографичен. Даже работа Лебедевой не выходит из того же круга зависимости от маски и фотографии, отличаясь может быть лишь большей остротой выразительности. Вне Гиза дело обстоит не лучше. Ярким образцом дурно понятой и даже омонументализированной салонности, обвеянной «парижским шиком», в этом ряду выступает бюст работы Аронсона. Характер муляжный имеют бюст и статуя Ленина работы Бибаева, слабые и иконографически и технически бюсты большого и малого размера работы Харламова.

Среди этих художественных неудач, а иногда и продуктов антихудожественной ремесленности выгодно отличаются бюсты Альтмана и Мухиной. Оба идут от «левых» приемов, от конструкции скульптурных масс и форм к выразительности. Бюст работы Альтмана интересен также и тем, что он работался непосредственно с натуры.

Королев, работая над портретом Ленина, шел от внутреннего образа, не придерживаясь твердо фотографических указаний. И может быть поэтому его мрамор в Музее революции и дерево в Музее Ленинского института представляют собою художественные явления несомнённой ценности и значительности. Они живут напряженно и очень выразительны. Королевское решение образа Ленина, близкое по замыслу к большому Меркуровскому бюсту из черного гранита, очень резко и выгодно отличается от последнего.

Все эти удачные более или менее опыты могут быть определены как опыты создания реалистического портрета с чертами монументального обобщения.

Переходом к монументально-символическому замыслу является фигура говорящего Ленина работы Чайкова. Самое ценное в этом замысле—преодоление натуралистических пут и полная враждебность салонно-парадным тенденциям. Однако преобладание формальных моментов уводит автора к другой крайности—чрезмерности экспрессии.

Особенно важно отметить не только как реальный факт, но и как определенную художественно-общественную опасность—преобладание натуралистической концепции в подавляющем большинстве монументальных памятников Ленину.

На необъятном просторе Советского Союза, в большом количестве крупных и малых городов, рабочих центров, мы наблюдаем один и тот же шаблонный, стереотипный мотив, заимствованный из случайной и нехарактерной фотографии [1], как мотив монументального образа Ленина. Началось как будто с муляжно-фотографической статуи работы Козлова. Бронзовый Ленин в «2 арш. 8 вершков», водруженный на лишенной всякой архитектоничности базе. Одна из многочисленных копий этого произведения красуется в нашем московском почтамте. Буквально с той же фотографии выполнена Харламовым отлитая заводом «Красный выборжец» пятиаршинная статуя Ленина. ВЦСПС издает проспект, в котором пропагандирует фигуру Ленина для памятников работы Алексеева, выполненную с той же фотографии.

Стереотипный фотографический образ Ленина в соответствующей натуралистической обработке нашел себе приют на площадях Краснодара, Владивостока, Харькова, Сормова, Тулы, Гомеля, Тагильского завода, на дамбе канала Ташкентской гидроэлектростанции, месте, ставшем «центром народных гуляний» [2].

[1] См. «Кр. ниву», № 4, 1929 г.

[2] См. «Р. И.» от 15—31 янв. 1929 г., «Веч. Москву»,—номер посвященный пятилетию смерти Ленина.

По тому же шаблону был разрешен ряд проектов памятника Ленину на конкурсе Ленинградской Академии художеств [1], а также проекты памятника Ленину в г. Дюшамбе,—один архитектора Белогруда, другой—академика архитектуры И. А. Фомина. Из создавшейся так быстро «традиции» не вышел и осуществленный в Ленинграде памятник Ленину перед Финляндским вокзалом, выполненный архитектором Щуко и скульптором Евсеевым.

Натуралистические скульптурные формы нередко в памятниках провинциальных соединяются с безвкусной архитектурной формой, нередко претенциозно-аллегорической. Так, в Тагиле фигура Ленина поставлена на земной шар, а последний утвержден на пирамиде книг. Боковые стороны пирамиды обработаны как страницы раскрытых книг. Такое сочетание форм и их сюжетно-изобразительного смысла крайне уменьшает в масштабе восприятия самую фигуру, усиливает ее натуралистические подробности и делает общее впечатление крайне немонументальным. В Ташкенте фигура Ленина помещена на верху очень сложного и художественно бесформенного, ничем не оправданного сооружения из чугунных колес и различных машинных частей. Такой апофеоз груды металлического «лома» вряд ли может быть оправдан и архитектонически, и идейно как язык художественной символики. Его вопиющее безвкусие может быть лишь сопоставлено с безвкусием материалов, чаще всего используемых самоучками. В Музее Ленинского института мы видим Ленина из каменного угля, Ленина из соли, Ленина из сахара, из лоскутов, хлебных зерен, волос и т. д., и т. д.

Особо тяжелое и уныло обезличивающее впечатление производит сопоставление ряда этих осуществленных и крепко стоящих на местах памятников на страницах наших журналов, в номерах, посвященных пятилетию со дня смерти Ленина [2].

В собранном фокусе фотомонтажа на одной странице явный шаблон всех этих замыслов приобретает угрожающий характер как симптом поразительного бессилия художественно-творческой мысли перед такой большой и крайне ответственной задачей.

Среди всех этих памятников лучшим и наименее шаблонным является гигантская статуя работы Шадра в Грузии и ее реплика в Московском Музее революции. Художником выявлен образ, полный силы и значительности, найден новый жест, отлично выискан силуэт и построена близкая к подлинной монументальности форма. Статуя в общем оказалась достаточно связанной и с местностью. При выполнении скульптор применил совершенно новый прием—построения основных масс и форм с некоторого расстояния путем передачи соответствующих указаний помощникам по телефону. Выисканы был силуэт и формы при всех эффектах солнечного освещения от первых лучей до заката. Рассказ скульптора о примененном им системе работы имеет захватывающий интерес и очень показателен для тех возможностей в условиях творческой работы, которые обусловлены всем характером современной техники. Основным недостатком, присущим может быть всем работам Шадра, особенно ранним, оказывается здесь некоторое размельчение форм за счет общего впечатления. В реплике Музея революции этот недостаток уже в значительной мере устранен. Опасны для Шадра в его поисках монументального стиля его натуралистические стремления, к сожалению пока неизжитые им ни в одном из произведений. Есть и налет салонности,—особенно в мелких работах. Поэтому так неожиданно близок к стилю Аронсона оказался Шадровский рельеф Ленина.

Второе произведение, в общем заслуживающее положительной оценки,—«Похороны вождя» работы Меркурова. Построение, навеянное, несомненно, Возрождением, отличается строгой и торжественной ритмичностью. Медлительная, тяжелая поступь похоронного шествия. Простая выразительность жеста и движения.

Характерна история произведения. В связи с протестом против обнаженной трактовки фигур произведение Меркурова было снято с Совнаркомовской выставки. Здесь необычайно интересна и показательна борьба натуралистических тенденций с стремлениями к монументальной форме и свободой художественного замысла—образа. Скульптор принужден был уступить и... одел фигуры в рабочие костюмы.

Портрет-миниатюра как задача «малой» скульптуры оказался совсем неразрешенным. Фарфоровая чернильница с бюстом Ленина, выпущенная государственным фарфоровым заводом, и плакетка-барельеф «Ленин у шалаша», выпущенная ленинградским Монетным двором, ни с какой точки зрения не могут быть признаны художественно удовлетворительными. Миниатюрный бюст Ленина, приклеенный сбоку к чернильнице, не имеет ни сходства, ни выразительности. По формальным свойствам он ничем не отличается от рыночных «головок» писателей, наводнявших и раньше, наводняющих

[1] См. «Кр. Ниву» № 3, 1929.

[2] См. уже цитированные выше номера «Р. И.» и «Кр. нивы».

и теперь наши магазины. Рельеф—иллюзорная картинка, почему-то выполненная средствами пластическими. Деревья, тр азка, перспективная даль. Уровень исполнения крайне слабый. Кому и зачем нужно такое «произведение искусства»—неизвестно.

Общий вывод из всего сказанного. Задача «Ленин в скульптуре» не разрешена по существу ни в монументальном портрете, ни в малой скульптуре, ни в памятнике. Крайне малое количество условно удачных замыслов и их выполнения тонут в материале, отрицательном и нехудожественном.

Быть может, основную причину такой неудачи следует искать в отсутствии моментов, которые могли бы дать обобщенный *образ-символ*. А это обстоятельство, вероятно, вызвано в первую очередь непреодоленными натуралистическими вкусами—требованиями. Эти требования особенно охотно и настойчиво пред'являются людьми, лично знавшими Ленина. В таких случаях обычно несовпадение изображения—образа, данного художником, с личным образом—воспоминанием очевидца.

Огромную роль—отрицательную—играет усилившееся за последнее время непризнание всякого иного, ненатуралистического толкования образа и иных форм его выражения. Об этом говорят: участь лучших работ в круге Ленинских скульптурных портретов—бюстов Альтмана и Мухиной, жалобы Музея революции на запрещение репродукций с работ Королева и Шадра.

Совсем иным дается образ Ленина в немногих скульптурных произведениях чисто примитивного творчества. К наиболее выразительным образцам такого творчества можно отнести скульптурные эскизы двух самоучек: кавказца Джаншиева: «Горцы у гроба Ленина» и батрака с Кубани И. А. Попова: «Великий путь Ленина» [1]. Джаншиев дал величайший пафос скорби, сдержанной и глубокой, самыми простыми, «детскими», а потому и наиболее сильными средствами, вне натурализма и сентиментальности.

Попов развернул изумительную по силе впечатления символику жизненных этапов вождя, исходя из давней народной схемы ступеней, по которым располагается человеческая жизнь. Башнеобразное строение эскиза со спиральным движением зрителя вверх заканчивается выразительной фигурой говорящего с трибуны Ленина. Отправным толчком для изображения фигуры Ленина послужила также фотография. Но она оказалась решительно переработанной в закономерностях примитивного монументализма и органически связанной с замыслом и в его архитектонике, и в его символическом смысле. Легендарный образ Ленина, как он переживается в народном массиве, получил то типическое выражение, которое так характерно для творчества примитивного,—в своих истоках и своей основе сверхличного, лишенного остро-индивидуалистического характера. Отсюда—не только смысловая значительность, но и монументальная форма, свойственная этим работам, диллетантским и технически слабым.

Повидимому, изображение в искусстве Ленина—лишь дело будущего. Оно должно иметь свои посылки в общественной психологии, быть может в некоторых отношениях созвучные эпохам художественно-примитивных концепций. Оно должно иметь *свою легенду*. Только легенда выведет художественный образ—истолкование личности Ленина и как человека и как вождя—на путь монументально-эпического его оформления.

ЛЕНИН В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ СОВЕТСКОГО ВОСТОКА

(Доклад А. Аршаруни)

В художественном творчестве народов советского Востока значительное место в послеоктябрьской литературе занимают произведения, посвященные Вл. Ильичу. Это относится главным образом к поэзии. В прозе, к сожалению, еще нет произведений, заслуживающих их внимания, за исключением очерков и воспоминаний.

В пределах Советского Союза нет народа, на языке которого выходили бы газеты, учебники и вообще литература, и в поэзии которого не было бы несколько стихотворений о Ленине. Особенно это относится к устному творчеству, которое не только не отстает, а, наоборот, идет впереди индивидуального творчества на Советском Востоке. Этот любопытный факт достоен внимания, причем надо сказать, что в художественном отношении безымянные народные песни, которые поются в кишлаках, аулах, представляют больше ценности, чем многие поэмы наших литераторов. В этом вы убедитесь в нижеприводимых отрывках.

[1] Оба эскиза в Музее Ленинского института.

Песни и поэмы о Ленине у народов советского Востока написаны в течение последних лет, главным образом, после смерти Ильича. Были конечно и раньше (после Октябрьской революции) на некоторых языках стихи о Ленине, но все более или менее художественное и заслуживающее внимания написано позже. О Ленине писали и пишут многие. Пишут главным образом пролетарские писатели. Пишут и советские литераторы. Одно обстоятельство важно отметить: старые, крупные мастера ни слова не пишут о Ленине.

Художественная литература о Ленине на языках народов советского Востока делится на две части: индивидуальное и народное творчество. Как мы указывали, народное творчество выделяется своей эмоциональностью, в некоторых случаях даже своей высокой художественностью, но там, естественно, хромает, иногда очень заметно, идеология. В индивидуальном же творчестве замечается обратная картина: часто не на высоте художественная сторона.

Молодые, пролетарские поэты, порою не овладевшие стилем, языком и художественными приемами, в своих поэмах и стихах незаметно для себя сбиваются на публицистику. В этом можно упрекнуть еще многих, но есть, несомненно, оформившиеся пролетарские писатели, в произведениях которых образ Ленина вполне закончен, и эти произведения, весьма малочисленные, правда, представляют огромный интерес.

Чтоб дать некоторое представление об индивидуальном творчестве народов советского Востока, остановимся на произведениях двух авторов: армянского пролетписателя Алазана «Великий, гениальный архитектор» и туркменского поэта Иль-Оглы-Насырли «Немеркнущий маяк».

Приводим целиком стихотворение Алазана:

«Великий, гениальный архитектор,
Вождь воль бунтующих умов,
Построил здание—прожектор,
Сверкающее в глубь веков.
И с высоты невиданного здания,
К грядущему
Сквозь горечь и страдания
Указывает верные пути.
Кому прогнивший мир
И тягостен и душен,
Кто хочет радости
Ликующей, весенней, —
Тот, затая биение сердца,
Слушай!
С тобою разговаривает Ленин».

(Перевод А. Ситковского).

Алазан уже зрелый пролетарский поэт. Однако, его стихотворение о «великом, гениальном архитекторе» Ленине нельзя назвать удачным.

Стихотворение Иль-Оглы-Насырли интересно прежде всего тем, что, освобождаясь от оков туркменских мистиков-классиков—Махтум-Кули, Азади, Зелали и других,—автор дает образы рыбачьего быта. Мы приводим лишь часть стихотворения, не нарушающую цельность произведения.

«...В нашем море,
Штормовом людском,
Ленин
Светит ярким маяком.
Плавающий в бурю,
Будь отважен—
Верный путь маяк всегда укажет.
Вдруг змеей впилася в сердце весть,
И —
Скала на голову упала...
Ленина...
Вы слышите?..
Не стало...
Как змея впилася в сердце весть.
Гневом полнятся глаза рыбачьи...

Неужель
Навек маяк погас?
Не найти
Людей
Несчастней нас...
Плачь же, море,
Ночь и тучи—плачьте!
Гневом полнятся глаза рыбачьи...
Нет!
Маяк всемирный
Не померкнет.
Ленин жив
В соратниках своих.
И сегодня
Миллионы их
Станут в строй
Для боевой поверки,—
Никогда
Маяк наш
Не померкнет». (Пер. И. Фролов.)

Как первое, так и второе стихотворение своей искренностью захватывают читателя. Однако, оба они страдают общими недостатками. В них много публицистики, мало художественности. Эти отрывки, на наш взгляд, в достаточной степени характеризуют большинство произведений, посвященных Ленину.

Среди известных нам произведений о Ленине отличаются поэмы и баллады армянского поэта Е. Чаренца. В одной из своих эпических поэм Чаренц удачно передал переживания турецкого рабочего-матроса, узнавшего о смерти Ильича. Эту поэму Чаренц назвал «Ленин и Али».

«Центр мира—Москва.
Москва древнее Мекки.
Крупнее Москвы нет в мире города,
Ибо в самой Москве
Живет сам Ленин».

Если нет крупнее и древнее Москвы города в мире, если нет крупнее Ленина, «архадаш Ленина», человека вообще, значит Ленин должен иметь «*чин*» самого крупного халифа.

«Вот в этой самой Москве
Живет архадаш Ленин.
Тот, который старше самого халифа,
Но он такой халиф,
Что понимает всегда положение фухары (бедноты).
Поэтому-то его любит Али из Трапезунда».

Может показаться странным, что матрос Али называет Ильича халифом. Но это лишь с первого взгляда. В дальнейшем мы увидим, как в народном творчестве понятия и термины смешиваются: понятие «газават» (священная война против неверующих) смешано с Октябрьской революцией, Ленина в одной элегии 70-летняя узбечка называет Ленин-шах и т. д. и т. п.

В устном творчестве народов советского Востока в данное время мы имеем несомненно ценный, богатый и в художественном отношении интересный материал о Ленине.

Эпос о Ленине создан у народов советского Востока в течение буквально нескольких лет. Последнее обстоятельство в свою очередь ставит под вопрос сложившееся мнение, будто народное творчество весьма консервативно и подвергается чрезвычайно медленным изменениям. Уже теперь можно было бы издать внушительный том народных песен, легенд, сказаний о Ленине, которые известны широким трудящимся массам народов советского Востока. А ведь нам известна только незначительная часть всего того, что создано народным творчеством за последнее время и что записано некоторыми неутомимыми любителями эпоса. Надо прибавить также, что песни и легенды о Владимире Ильиче поются на далеком Севере—у остяков и ламутов, у народов Средней Азии—узбеков, таджиков, туркмен, уйгуров и т. д., в горах Кавказа—у осетин, кумыков, аварцев и т. д. и т. п. Народные певцы: ашуги, бахши, гафизы разносят эти песни из аула в аул, из кишлака в кишлак, из деревни в деревню.

Народные певцы, порою неграмотные, а иногда и слепые, пользуются большим гостеприимством у крестьянина и кочевника советского Востока. В своих песнях народные рапсоды впервые на советском Востоке воспевают электрификацию, приход трактора, земельно-водную реформу, Октябрьскую революцию и больше всего, естественно, Владимира Ильича Ленина. Необходимо здесь же констатировать, что этот ценный материал не только не изучен, но и в достаточной мере не собран и не систематизирован.

О чем поют народные певцы? На этот вопрос отвечает одна песня, которая записана в кишлаках Ферганской области в 1925 г. Л. В. Соловьевым.

«Мы, таджики, поем о том, что видим, и что внушает нам мысль о песни...
Если мы видим красивую лошадь, мы поем о ней песню.
Эту песню будут знать только певшие ее, а остальные никогда этой песни не узнают.
И это произойдет потому, что лошадей, достойных песен, очень много, и каждый будет петь про ту, которую видел он.
Но есть у нас песни, которые слагаются сладкозвучными гафизами.

И эти песни предназначены для путешествия по рубежам годов и иногда веков.
Такие песни, прошедшие три века, слагал Фиркат, а позже Нахани.

Они пели о красавицах и о цветах.
Сейчас есть много гафизов, немногим уступающих Фиркату и Нахани,
Но поют гафизы не о красавицах и не о цветах.
Они поют о новой свободе.
Они поют об аэроплане.
Они поют о благоденственной будущей жизни.
Но больше всего они слагают песен о Ленине.
И это они делают потому, что без Ленина не родилось бы никаких песен,
Кроме тех, которые похожи на визг собак, т. е. таких, которые восхваляли царя Николая
И его генералов, полковников и солдат.
Ленин дал гафизам право петь о чем угодно.
И они сразу все запели о нем».

Эта песня пелась в кишлаках Ферганы через год после национального размежевания Средней Азии, после ликвидации басмачества, когда партия и советская власть приступили к мирному строительству. Гафиз—это тот же самый дехканин. Если гафиз в 1925 г. свою песню посвящает Ленину, следовательно дехканину стал в достаточной степени понятен, близок Владимир Ильич. Иначе он—тот же самый отсталый дехканин, который не видел и не слышал Ленина, не читал его работ, не прошел также в то время курса школы политической грамоты, но прошел суровую школу национального и классового угнетения,—не пел бы в своих песнях:

«Один человек только тогда может заставить говорить о себе мир,
Когда он совершит или неслыханное злодейство,—
Или окажет доброе дело для всего мира.
От многих злодейств содрогалась земля,
И о многих поэтому говорил мир.
Добрые же дела творили немногие, —
Самое большое и доброе дело сотворил Ленин —
Освободитель земной, сосуд добродетелей.
Пусть сравняются с землей вершины Памира,
Путь океан зальет это место,
Пусть на этом месте вырастут новые горы,
Величиной превосходящие первые в десять раз.
За это время железной стопой пройдут века по земле,
И люди забудут названия стран, где жили раньше их предки,
Люди забудут язык предков,
Но имя Ленина не забудут они».

Правда, перелом в народном творчестве средне-азиатских народов мы замечаем лишь после целого ряда экономических и политических мероприятий, проведенных

партией и советской властью после эпохи военного коммунизма. Однако имя Ленина, как вождя угнетенных масс, задолго до этого стало известно на далеких окраинах бывшей России. Еще в 1920 г. в киргизской газете была напечатана песня молодой женщины из китайских киргизов. Эта песня начинается следующими словами:

«Если ты увидишь Ленина, то передай ему эту песню,
Песню вечного страдания и рыдания рабыни-киргизки в Китае».

Во всех легендах и сказаниях народов советского Востока образ Ленина связан исключительно с борьбою с царизмом, буржуазией, эксплоататорами всех видов и вообще со всякого рода «злыми силами». В каждом конкретном случае в зависимости от того, в каком районе, у какого народа сложилась легенда, борьба Ленина с эксплоататорами принимает ту или иную форму, близкую и понятную коренному населению. Одна черта свойственна всем легендам об Ильиче. Ленин представлен, как великан или герой с огромной физической силой и находчивостью. Ленин переворачивает скалы, Ленин днями борется со штормом, Ленин преодолевает всякие препятствия и трудности и всюду он не падает духом.

В этом отношении интересна одна остяцкая песня, литературная обработка которой принадлежит А. Максули. Мы принуждены привести большую цитату, потому что она чрезвычайно наглядно иллюстрирует нашу мысль.

Старик-остяк готовит своего сына стать старшиною. Он рассказывает ему о Ленине и дает полезные советы. Старик хочет, чтоб его сын стал не обыкновенным старшиною, а таким большим и сильным, каким был Ленин. Ленин, оказывается, в молодости жил такой же простой жизнью, как любой остяк в тундрах: «Оленей пас, бил зверей, совсем легко, шутя бросал аркан на 40 саженей». Но природа севера сурова. В борьбе с природой человек не всегда оказывается победителем. Поэтому старик-остяк в своем рассказе подчеркивает, что Ильич выдержал и победил стихию и врагов.

«Однажды Ленин вышел в море
Тюленей бить (достать их жир),
Вдруг—шторм сильный—горе, горе!
Унес челнок в морскую ширь.
Затихло море, вновь серчало,
И лед кругом сковал челнок;
А Ленин ел моржовье сало,
Ночей не спал и весь продрог.
Так плыл он долго, долго очень,
А сколько плыл—не знал никто.
Лед тоньше стал и менее прочен,—
Заплыл туда он, где тепло.
Собрав с трудом остаток сил,
Взмахнул веслом на солнце прямо —
Сын Ямал-хе-хе [1] был упрямый—
И вот до берега доплыл.
Ему навстречу звери и люди:
—Приди к нам в чум и отдохни,
Потом с тобой тягаться будем —
Покажешь силы нам свои».
А Ленин им: «Я хоть устал,
Но бить вас хватит сил моих».
Стрелою взор, скривил уста,
Аркан накинул на троих,
Связал и бросил в моря пасть;
Топор метнул—двоих рассек,
И не успел один упасть —
Копьем пронзил его в висок...»

Дальше борьба становится серьезной. Ленин убивает царя, купцов, скупающих за бесценок пушнину. Отняв у последних награбленное ими богатство, Ильич раздает бедноте. И только после всего этого, решив, что больше не осталось злых людей, спокойно умирает. И на небе появляется новая большая звезда—это звезда Ленина. Старик-остяк обращается к своему сыну:

[1] Легендарный герой.

«Как целью всех своих стремлений,
Я вижу в том, Хасава-ню (мой сын),
Что станешь ты таким, как Ленин,
И в небе дашь свою звезду».

В этой примитивной песне Ленин представлен не как руководитель и вождь рабочего класса, а как народный герой—защитник бедноты и непримиримый враг эксплоататоров, в частности скупщиков пушнины. Старик-остяк воспитывает своего сына на ленинском примере.

На ряду с физической силой и ловкостью Ленин в народных песнях одарен большими умственными способностями. Он подвергается испытаниям и по этой линии. Любимые черты восточных легенд—загадки—занимают значительное место и в ленинском эпосе. Этим способом проверяют умственные способности любимого героя. И вот Ленин то аллахом, то злыми силами, то советом мудрецов подвергается экзамену, который выдерживает блестяще. Не будем останавливаться на иллюстрациях. Они все в той или иной форме встречаются в восточных легендах.

В народных сказаниях наряду со всеми положительными особенностями мы находим много, если не реакционного, то по крайней мере консервативного. Это выявляется почти во всех легендах и сказаниях в следующем:

Во-первых, Ленин действует индивидуально. Он—герой, он одарен божественной силой и т. д. Правда, Ленин борется за счастье трудящихся, за победу бедноты над всеми эксплоататорами. Однако, он эту борьбу ведет индивидуально, самостоятельно. Конечно, нельзя было ожидать от отсталого крестьянина—творца легенд и сказаний—классовой четкости и идеологической выдержанности при передаче ленинской борьбы. Совершенно очевидно, что ему, коллективному творцу ленинских легенд, иногда неизвестны цели и задачи пролетарской революции и роль Ленина в ней.

Во-вторых, совершенно отсутствует в ленинских легендах пролетариат. Эта характерная особенность бросается в глаза во всех произведениях устного творчества крестьянских районов Советского Союза.

И, наконец, безымянный коллективный автор ленинских легенд допускает мирное существование рядом Ленина и аллаха, причем Ленин получает свою мудрость у аллаха, а иногда и пользуется советами его. Этот компромисс особенно заметен в песнях земледельческих советских республик. Аллах еще не вышел в тираж. Он продолжает существовать, хотя уже беспомощен, потерял свой авторитет и даже от бессилия рыдает. В другом месте мы подробно остановимся на этом вопросе. Здесь укажем лишь, что в последних народных песнях, посвященных например земельно-водной реформе, аллах больше не фигурирует.

Перейдем к вопросу, как в народном творчестве описана биография Ленина.

Кто был Ленин? Этот вопрос не может остаться без ответа в народном творчестве. Ведь нельзя же заставлять говорить о себе весь мир, если не имеешь необыкновенное происхождение. В легендах обычно историческая личность получает мифическое происхождение. Вождь пролетариата и угнетенных народов также в революционном эпосе рождается не как обыкновенный смертный. Его рождение сопровождается необычайным событием.

В одной узбекской песне-диалоге, записанной в сентябре 1924 г. в старом Коканде, сказано:

«Первый певец. Мало ли звезд на небе? Выделишь ли ты из них самую яркую? Мало ли песчинок в бархане? Выберешь ли самую большую? Мало ли людей на земле? Найдешь ли самого славного?

Второй певец. Я не выберу из миллиона огней самый яркий и из миллиона миллионов крупинок—самую большую. Но из миллиона людей я назову самого славного.

Первый певец. Кто?

Второй певец. Ленин!

Первый певец. Ты прав, он затмил величие железного Тимура.

Второй певец. Тимур—ничто.

Оба вместе. Где прошел Тимур,—не росла трава.
И умирал в поле суслик,
И в пустыню превращалась земля,
Прожженная железной хромой пятой.

Первый певец. Вздрогнул царь, когда Ленин родился.

Второй певец. Вздрогнули все цари, когда Ленин сказал первое слово.

Первый певец. И это первое слово было...

Второй певец. Хлеб и свобода.

Оба вместе: Ленин сверг насилие и гнет,
Ленин сам бедняк, но родился он
От месяца и звезд и от них получил силу
И сделал доброе дело.

Первый певец. У него правая рука по локоть была золотой.

Второй певец. И в жилах его тек огонь».

В другой легенде Ленин свою мудрость, знание получает ни у кого-либо, а у аллаха. Причем аллах сам добровольно уступает Ильичу часть своих способностей. В целом ряде народных песен советского Востока беспомощный аллах в безвыходном положении плачет. Пробовал он послать своих помощников на землю в целях освобождения трудящихся. Обычно цари убивали этих послов аллаха, а гнет увеличивался. Потерявший всякую возможность воздействия на угнетателей аллах рыдает. По совету мудреца, он обращает внимание на молодого человека по имени Ленин.

«И вложил аллах в глаза Ленина светлую воду
И дал ему возможность проникать в чужие мысли;
И в уста его он вложил огненный язык
И дал Ленину возможность поражать этим языком своих врагов;
И вылил он кровь из жил Ленина,
И небесным огнем наполнил его жилы».

Встречаются, однако, сказания, в которых указывается, что Ленин в молодости не хотел кровопролития, войны и убийств. Он стремился мирно разрешить проблему социального неравенства. И вот аллах, всё тот же аллах, избрав его спасителем человечества, решил принести еще одну жертву. Цари убивают старшего брата Ильича Искандера, Искандер—это Александр Ульянов. Он, старший брат Ленина, не выдержав гнета, об'явил газават царю и буржуазии. Его убили.

«И ярость забушевала в сердце Ленина,
Как ветер ночью в глухой степи.
И заковал он сердце, выбросив из него жалость,
В железную броню бесстрастия.
В его жилах загорелся небесный огонь,
И гнев охватил его великий ум.
И страшен был гнев земного освободителя».

Это всё однако не значит, что Ленин был жестоким, мстительным и суровым. Эти качества проявляются у него лишь по отношению к угнетателям. К угнетенным и беспомощным у Ленина совершенно обратное отношение.

В сказании «Ленин и Кучук-Адам» подчеркнута эта сторона ленинского характера.

«Вышел из гор Ленин в степь и мягки были степи под ногами его. Ядовитые змеи, ящерицы и лягушки уползали с дорог, чтоб своим видом не осквернять глаза Ленина, а сами тайком из травы смотрели на него и плакали, что никого не оставил Ленин без ласки кроме них. Ленин услышал этот плач и позвал к себе змей, ящериц, лягушек и всех прочих гадов, всех обласкал он, не оставив никого незамеченным. В счастьи расползлись по норам гады и говорили:

— Вот первый человек, который, видя нас, не хватает камня, а гладит нас и говорит нам ласковые слова».

Действительно, это первый человек, который так близок угнетенному Востоку. Трудящиеся советского и зарубежного Востока в Ленине нашли своего защитника, а народные певцы посвящают Ленину свои песни.

НА ЖЕНЕВСКОЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКЕ [1]

(Доклад М. Н. Смит)

В области статистики, как и в области других научных дисциплин—истории, естествознания и т. д.,—собираются от времени до времени международные конгрессы. Однако, на этот раз дело касалось не обычного международного статистического конгресса, а договора государств по вопросам экономической статистики. Это был не спор ученых о научных изысканиях, а разговор дипломатов о том, как использовать статистический инструментарий для тех или иных целей, а главное—для экономической слежки друг за другом. На международных статистических конгрессах представительство СССР зависит не столько от Международного Статистического Института, сколько от того, впустит или не впустит их данное правительство в ту страну, на территории которой имеет место очередной конгресс. Так, в 1927 г. египетское правительство побоялось, очевидно, что вместе со своими статистическими работами СССР-овские делегаты завезут с собой и большевистскую бациллу и что страна угнетенных феллахов им противостоять не сможет, и сочло за благо СССР-овским статистикам в визе на в'езд отказать. И как ни метался Международный Статистический Институт, положения он спасти не мог. Но в Женеве вопрос стоял совсем иначе. Ежели для целей экономических сношений, экономических войн, экономической конкуренции и экономической слежки друг за другом капиталистические державы хотят между собою сговариваться о формах статистического учета, то никакой их сговор явно не будет действителен без участия страны, расположившейся на 6-й части мира, с ее бурным экономическим ростом и при наличии той ведущей роли, которую эта страна играет теперь в области статистики. Кроме того официально конференцию собирала Лига наций, а в Лигу наций помимо СССР и нескольких мелких держав не входит еще и такая могущественная страна, как Соединенные штаты Северной Америки. Пришлось ко всем обращаться.

Делегация наша состояла из трех делегатов, трех экспертов и двух секретарей. Материал, который мы приготовили, состоял из целого ряда предложений и дополнений к первоначальному проекту договора, присланному нам Лигой наций через Наркоминдел. Была разработана целая система весьма серьезных предложений. Однако, московская редакция этих предложений и тот сугубо нижегородский французский язык, на который они были переведены, еще не были на высоте. Уже в Берлине пришлось взять это дело в свои руки и основательно переработать материал так, чтобы он был понятен иностранцам не только в смысле языка, но и в смысле постановок вопроса, и был бы зашифрован и разнесен по всем разделам проекта. В проекте же первый раздел был посвящен об'ему экономической статистики, а уже в остальных разделах рассматривались вопросы о тех или иных методах.

Главную работу пришлось делать в первые дни в Женеве до начала комиссионных работ, где, собственно, и рассматривался договор. Работать пришлось днями и ночами и в работе крепкими помощниками оказались два швейцарских коммуниста, помогавших в переводах, печатавших на машинке и т. п.

Таким образом работу мы благополучно провели, все предложения были систематизированы, зашифрованы соответственно разделам и параграфам текста договора и почти без перевода сразу изображены на таком французском языке, который был всем понятен и за который мы слышали много комплиментов от устроителей конференции. Таким образом, и по содержанию, и по форме тетрадь наших предложений оказалась вполне на высоте. Таких тщательно разработанных и далеко идущих предложений, конечно, другие страны предложить не могли. Ибо углубленность этих предложений определялась уровнем развития нашей статистики, а этот последний в свою очередь определяется уровнем тех требований, которые плановое хозяйство пред'являет статистике. Во время заседаний бюро конференции председатель французской делегации с полной откровенностью заявил председателю нашей делегации т. Крицману, что мы-де не социалистическая страна и совсем нам не нужна такая развитая статистика. И это разделение на статистику социалистической страны и статистику капиталистических стран проходило красной нитью через всю работу конференции.

Любопытен состав конференции: 44 делегации от 44 государств, из которых действительно сильно организованной статистикой обладают только три страны: СССР,

[1] По стенограмме доклада, прочитанного в о-ве статистиков-марксистов Комм. Академии.

Соединенные штаты и Германия. Из остальных—в целом ряде небольших стран государство не может тратить достаточно денег на статистику, а в других случаях—в крупных, богатых и экономически развитых странах—все же не тратит, очевидно не по недостатку финансовых, а по недостатку культурных предпосылок. Таким образом, вслед за социалистическим СССР идут две страны развитого капитализма—Америка и Германия, а дальше начинается либо оппортунизм случайного статистического действия, либо финансовая и культурная немощь.

Лейтмотивом всех политических контроверз служила декларация председателя советской делегации т. Л. Н. Крицмана. Речь эта была в свое время напечатана в нашей прессе; отановлюсь теперь поэтому лишь на некоторых важнейших пунктах ее. Тов. Крицман резко подчеркнул в своей речи, что статистика может явиться в руках Лиги наций орудием угнетения, что, определяя с помощью экономических и статистических показателей экономический рост какой-нибудь страны, Лига наций может их использовать при применении так называемых «санкций», иначе говоря, экономического нажима на данную страну, причем, конечно, первым об'ектом такого нажима может стать Германия. Кроме того, т. Крицман резко подчеркнул полное отсутствие в проекте договора статистики труда и статистики вооружений. Причем, несмотря на отсутствие в проекте договора статистики труда и, в частности, статистики стачек, в одном из приложений упоминается все же статистика стачек углекопов. Труд, говорил т. Крицман, есть созидатель всех богатств. Никак система экономической статистики не может быть полной, если в ней нет статистики, рисующей судьбы рабочего класса, роста или ухудшения его благосостояния. Необходимейшим ее элементом является также учет производства предметов вооружения, имеющего столь большое экономическое и политическое значение. Когда Л. Н. кончил, председатель германской делегации проф. Вагеман пересек зал, подошел к нам, чтобы пожать Л. Н. руку, а назначенный Лигой наций председатель, швейцарский профессор Раппар, относившийся к нам все время очень любезно,чрезвычайно дипломатично сказал, что мы внесли в это дело слишком много «славянского воображения», что статистикой труда занимаются совсем не здесь, а по соседству, в так называемом Бюро труда Лиги наций, а что статистику, мол, вооружений незачем отдельно заводить, потому что ведь учитывается продукция в целом. Что касается до Бюро труда Лиги наций, то во всех наших выступлениях мы от всякого контакта с ним, конечно, резко отбояривались, но весьма наивная дипломатия проф. Раппара была совершенно очевидна. Хотя он и прекрасно знал, по каким политическим причинам мы не входим в Лигу наций, однако, его политической наивности хватало на то, чтобы попытаться втянуть нас в Лигу наций обходным путем через ворота статистики и, в частности, через черное крыльцо—Бюро труда.

В дальнейшем вопрос о вооружении встал еще раз в комиссии по статистике производства. Тов. Крицман произнес там внушительную речь, где он подробно аргументировал необходимость этой статистики и внес наш конкретный проект по этому поводу. В ответ на это председатель итальянской делегации проф. Джинни, видный член фашистской организации, как и вся, впрочем, итальянская делегация, крикнул ему: «А какие же могут быть гарантии подлинности этой статистики?» На это в своей последующей речи Л. Н. с уничтожающим остроумием ответил ему, что он очень рад, если на этот раз представитель Италии подымает вопрос о международных гарантиях. В подготовительной комиссии к конференции по разоружению как раз представитель Италии резко высказывался против всякого международного контроля в области вооружений, и он, т. е. тов. Крицман, будет очень рад довести до сведения своего правительства о том, что представитель Италии на этот раз держится другой позиции. Это сразу спасло апломб ученого профессора, пытавшегося отбояриваться разными общими фразами, но весьма неудачно.

К статистике труда мы возвращались еще неоднократно, защищая наше детально разработанное предложение и в комиссии и в последующих заседаниях пленума, но, конечно, нас каждый раз проваливали. Вообще первая речь Л. Н. сразу определила все позиции. Во всех наших деловых предложениях, где приходилось признавать наш приоритет, голосовать с нами нельзя было. Мы знали от ряда делегаций, что многие из наших предложений вызывают большое сочувствие, уважение и даже почти зависть с их стороны к проделанной нами работе, и в то же время мы знали, что голосовать с нами они не могут. Были и такие, которые в частных разговорах заявляли: «Мы не можем с вами голосовать, но слушаем вас с напряженным вниманием». Слушали тем более, что по ряду вопросов мы выступали сильно вооруженные не только нашими предложениями, но и нашими работами и, что особенно важно,—знанием их работ

Не буду передавать очень подробно содержание комиссионных работ и комиссионных споров. Намечу здесь только главнейшие линии наших разногласий. Важнейшим и чрезвычайно характерным для всей ситуации моментом были наши разногласия по линии сельскохозяйственной статистики, в особенности в связи с предстоящей мировой сельскохозяйственной переписью. Главным нашим оппонентом являлся тут Международный сельскохозяйственный институт в Риме. Лига наций, очевидно, хотела предоставить монополию по статистике труда своему Бюро труда, а монополию по сельскохозяйственной статистике — Международному сельскохозяйственному институту. Институт же интересуется только учетом сельскохозяйственной продукции, совершенно не входя в область социально-экономических отношений деревни. Мы развивали подробную программу в области изучения социально-экономических отношений деревни и, принимая в основе их предложения по учету продукции, предлагали, однако, дополнить их добавочными работами выборочного порядка по проверке степени точности полученных данных. Разногласия начались с этого момента. Римский институт и все его приверженцы считали, что всякого рода проверка (балансовый метод, аэрофото-с'емки и применение др. измерительных приборов, детальные монографии и т. д.)—это неосуществимая утопия. Так как, мол, крестьянин всегда и во всех странах врет, в этом отношении он вполне международен, то ежели как-нибудь и что-нибудь в общем статистик схватит, и то ладно. А в женевской газете в отчете о конференции фигурировало, к стыду их, такое сообщение: «Советская делегация предлагала такие-то работы, долженствующие проверить степень точности получаемых данных, но конференция их отвергла». Так буквально и было написано без зазрения совести. Во время дебатов я с величайшим вниманием и напряжением слушала длиннейшие возражения представителя Римского института, стараясь уверить себя, что не может же он нам просто возражать, должен же он развернуть какую-нибудь серьезную аргументацию. Вопрос слишком большой, чтобы так просто от наших предложений отбояриться, но, увы, как я ни напрягала слух, я решительно ничего делового в его возражениях не находила. В отношении необходимости проверки получаемых данных в его выступлениях было скорее об'ективное подтверждение необходимости ее, так как об условности получаемых данных говорил и он. Однако, единственным его аргументом было то, что мы-де утописты, желаем невозможного, и тому подобные общие рассуждения всякого рода на тему об утопиях Советского Союза. В наших ответах ему было указано, что речь идет не об утопиях, а о фактах, так как балансовый метод проверки у нас осуществляется уже восемь лет, а проверочные измерения при помощи точных приборов производятся и у нас и, особенно, в Америке, откуда он, кстати сказать, только-что приехал. Что касается до социально-экономических отношений, то ненужность их изучения откровенно защищалась.

Не менее решительным было и сражение в области промышленной статистики. Здесь в первой же декларативной речи, рассказывая о новых, нами проведенных работах по промышленной статистике, я указала, что мы, с одной стороны, уже реализовали быстрый конъюнктурный учет промышленной продукции и занятых в промышленности рабочих, а с другой—с помощью более медленно действующего аппарата годичных учетов—ставим себе более сложные задачи изучать не только об'ем промышленной продукции, но и эффективность ее работы и важнейшие факторы этой эффективности, в особенности теплосиловое хозяйство и основные капиталы. Ранее, до моего выступления целый ряд делегаций, преимущественно небольших стран, выступали с декларациями о том, что проект договора ставит им слишком сложные задачи, что для них очень многое невозможно и что они то одно, то другое должны принять с оговоркой и «по возможности». Тогда, утешая их, председатель комиссии, весьма ответственный американский деятель статистики Дюрант, дипломатично заявил, что, мол, в договоре все это будет внесено в достаточно растяжимых формулах, французский же переводчик в переводе употребил термин «неопределенная формула» (formule vague). Когда же я выступила с своими предложениями, то кто-то из них, употребляя то же французское выражение vague, заявил—вот, мол, выступает с какими неопределенными вещами. Я воспользовалась этим и в ответе заявила: «Переводчик был неправ в первый раз, ибо следовало сказать не «неопределенная формула», а «эластичная». Все же он для других стран считал этот термин пригодным, а вот против нас этот же термин выдвигают, как обвинение, притом же совершенно необоснованное, ибо все наши предложения мы делаем на основе проделанных работ». В частности, председатель французской делегации заявил, что учет основных капиталов промышленности является по его мнению совершенной утопией, а председатель американской делегации сказал, что уж на что хороши американские цензы, а и то с проблемой основных капиталов не справились. В ответ

на это я подняла над головой напечатанную работу, где впервые были сведены данные об основных капиталах нашей промышленности, и сказала, что мы преодолели трудности, имевшиеся в этой области, и вот в этой книжке уже напечатаны данные об основных капиталах не только госпромышленности, но и частной и концессионной.

Был также большой бой и по вопросам энергетической статистики и топливной. Американец поддержал нас по линии учета электрического тока, сказав, что это так же важно, как учитывать уголь и нефть, но учитывать первичную энергию—это уж слишком трудно. На это я ему возразила, что даже в Америке, где промышленность наиболее электрифицирована, лишь 72% первичной энергии трансформируется в электрическую, в других же странах, например, в Англии или в Советском Союзе, коэфициент электрификации, т. е. отношение электрифицированной энергии ко всей массе первичной энергии, не превосходит 50%. Таким образом, учет только электрического тока даст несравнимые величины. При этом я сослалась на пример Франции, проведшей в начале этого столетия чрезвычайно ценные переписи по учету двигательной силы, а теперь, увы, их больше не повторяющей.

Весьма дипломатичный председатель нашей комиссии решил тут создать две подкомиссии: одну по сельскохозяйственной статистике, где обрабатывали и уговаривали т. Крицмана, и другую по промышленной статистике, где обрабатывали и уговаривали меня. Увы, безнадежная попытка, давшая скорее косвенные результаты, чем прямые. Много уговаривали нас и в частном порядке, ссылаясь на то, что где же небольшим странам все это одолеть; здесь вы этого не выдвигайте, а вот мол, встретимся неофициальным путем в составе представителей стран с развитой статистикой и там поговорим. Эту идею мы, конечно, подхватили и перенесли ее уже за пределы конференции на частные совещания, но на конференции продолжали отстаивать свои позиции, защищали, развивали, отстаивали всю сложную сеть наших предложений. Когда же особенно сильно раздавались жалобы немощных стран и их бесконечные оговорки по поводу скромных требований, включенных в проект конвенции, то мы заявляли: так как те препятствия, на которые жалуется тот или иной делегат, нами уже преодолены, то мы принимаем все предложения проекта без всяких оговорок, но требуем таких-то и таких-то расширений их и углублений.

Конечно, по всем вопросам нас безоговорочно проваливали. Даже торф оказался зараженным большевистской бациллой, поскольку предложение об его учете было внесено нами. И все же по одному пункту мы поставили вопрос так, что нельзя было нас провалить без позора для себя. Речь шла о проекте рекомендаций в деле улучшения статистики. И здесь в числе других наших предложений фигурировало предложение об улучшении энергетической статистики. При этом мы ссылались на пожелания, выраженные в этом направлении международными энергетическими конгрессами в Лондоне и в Базеле и на экономической конференции самой Лиги наций, и на нескольких крупнейших энерговедов Европы и Америки. И после некоторого замешательства и пересчета голосов оказалось, что за наше предложение голосовало 12, а против 11. Для этих 11, очевидно, самый факт нашей поддержки международных энерговедческих конгрессов окутал большевистским мраком даже крупнейшие работы точных наук. И опять в женевской газетке мы, к удивлению своему, прочли: по предложению советской делегации была принята рекомендация всем странам улучшить статистику двигательных сил.

Было еще много у нас любопытнейших дебатов о статистике цен, о статистике торговли, транспорта, опять и опять возвращались к статистике труда, везде разворачивали деловую аргументацию, основанную на нашей работе, и везде почетно проваливались. Особо напряженным стало положение к концу, ввиду большого интереса со стороны всех к вопросу, подпишем мы или не подпишем договор. В проекте его был однако неприемлемый для нас параграф — создание при Лиге наций особого комитета экспертов по вопросам экономической статистики. Мы же считали, что такой комитет должен быть не «при» Лиге наций, не на ее иждивении, а как комитет, созданный настоящей конференцией, т. е. странами, подписавшими договор. Ясно, что это была новая попытка втянуть нас обходным путем в Лигу наций, и мы отвечали на нее с полнейшей определенностью.

Позже я слыхала, что один крупный немецкий профессор статистики, сам не бывший на конференции, рассказывал одному русскому, бывшему у него, что советские делегаты уехали с конференции триумфаторами. Уехали, конечно, в уверенности, что во многих случаях нам удалось вбить клин между экономистом-статистика, любящего свою работу, и чиновника, вынужденного повиноваться правительству капиталистов. Уехали, завязав добрые деловые отношения с наиболее передовыми в области

статистики странами и решив еще раз встретиться с ними особо. Уехали после того, как на заключительном заседании т. Крицман дал еще раз уничтожающую оценку всей пустяковщине, имевшей место на конференции. Уехали, дав резкий отпор всяким попыткам втянуть нас в какое бы то ни было незаконное сотрудничество с Лигой наций.

Еще несколько слов хочется мне сказать о моем выступлении у студентов или, вернее, аспирантов Женевского исследовательского института. По просьбе студентов, переданной мне проф. Раппаром, возглавляющим этот институт, я прочла им доклад о высшей советской школе. В этом докладе я прежде всего отметила, что положение нашей высшей школы определяется следующими моментами: 1) мы—страна, где нет частной собственности на средства производства в крупной промышленности и транспорте, почти нет в торговле и где берется курс на коллективизацию сельского хозяйства и всякого мелкого производства. Нет у наших граждан и в особенности у молодежи, следовательно, и стимула к накоплению и овладению средствами производства, являющегося в буржуазных странах доминирующим стимулом к высшему образованию; 2) поскольку мы являемся страной коллективной собственности на средства производства, постольку у нас важнейшей задачей научной работы являются научная организация хозяйства и плановое предвидение развития его; 3) соответственно с этим мы отбираем цвет нашей молодежи, преимущественно рабоче-крестьянского происхождения, и воспитываем из нее плановых организаторов хозяйства. Это создает психологию молодежи и тип высшей советской школы. И это создает тот своеобразный героизм молодежи, который позволил ей преодолеть чрезвычайно трудное для вузов время жестоких материальных лишений. Я рассказала об этой героической странице в истории наших вузов, когда мы работали, замерзая в аудиториях, когда студенчество училось, голодая и живя в нетопленных общежитиях, и все-таки училось и все-таки шло вперед. Рассказала о системе рабочих факультетов как о методе подготовки к вузу рабочих от станка и крестьян от сохи, о внутренней организации вузовской жизни. Говоря же о кадрах преподавателей, указала, что в области естествознания и техники мы имели и прежде еще сложившиеся кадры крупных работников науки, преподающих в наших вузах, а в области обществознания у нас складываются новые кадры работников новой школы. Проф. Раппар, который, приглашая меня делать этот доклад, имел, повидимому, косвенной целью задать мне ряд язвительных вопросов, начал эту свою серию именно с моего последнего утверждения.—Итак,—заявил он,—вы не отрицаете,что в области обществознания у вас допускаются к преподаванию только люди определенного мировоззрения, а другие, значит, не допускаются?—Нет,—ответила я,—допускаются все, но процесс естественного отбора все же выдвигает новые кадры. Вы, вероятно, знакомы с теорией Дарвина о естественном отборе?

— О выживании наиболее приспособленного? Да, конечно,—ответил он с удивлением.

— Так вот и у нас побеждает наиболее приспособленный к современным требованиям. Ведь и у вас в аудиториях слушатели распределяются неравномерно: некоторых профессоров слушают больше, а некоторых посещают очень мало; одни выдвигаются вперед, другие остаются в тени. И здесь идет процесс приспособления к каким-то требованиям. Только у нашего студенчества другая установка, а, следовательно, и иные требования.

— Но у нас выдвигаются люди не в связи с направлением, а в связи с их индивидуальной талантливостью,—ответил мне торжествующим тоном проф. Раппар.

— Совершенно верно, но имейте в виду, уважаемый профессор, что революционер в науке всегда имеет и выраженную индивидуальность. А так как у нас общественно-экономические науки идут по пути революционного трансформирования их устоев, то у нас и складываются естественным путем новые кадры работников науки, в особенности молодых. Притом же чистые марксисты доминируют преимущественно в области теории политэкономии, а в области прикладных наук мы имеем и ряд крупных работников немарксистов.

Ему нечего было мне на это ответить, тем более, что мое упоминание о том, что и на Западе не все аудитории посещаются одинаково, ему, кажется, не слишком понравилось и, повидимому, вызвало некоторое сочувствие у довольно сдержанной в общем аудитории. Тогда профессор Раппар решил перейти в открытую атаку.

— А правда ли, что ваше правительство занимается организацией пропаганды среди международного пролетариата?

— Правительство, профессор Раппар,—ответила я,—вообще пропагандой не занимается. Его функции—управление страной, а не пропаганда. Наше правительство так же мало занято пропагандой коммунизма, как английское правительство занято

пропагандой программы консервативной партии. Обычно занимаются пропагандой политические партии или их об'единения. Таким образом, пропагандой коммунизма может заниматься Коминтерн, а пропагандой программ консервативной партии — консервативная партия любой страны.

— Однако, консервативная партия Англии не занимается агитацией в Швейцарии или во Франции. Ее пропаганда не выходит за пределы ее страны.

— Если это действительно так, то, очевидно, потому, что у консервативных партий нет такого мощного международного об'единения, какое имеется у коммунистических партий.

— Но ведь главным вкладчиком этого международного об'единения является СССР.

— Вы ошибаетесь, профессор, не СССР, а ВКП как одна из партий, входящих в Коминтерн, включая и коммунистическую партию Швейцарии. Правда, наибольшая материальная помощь идет от ВКП, но арифметически говоря, суммы ее взносов являются произведением двух множителей: первый множитель —это отчисление каждого члена партии с его жалованья в размере 4% и с его гонораров и научных заработков, если таковые имеются, в размере 25%. Второй множитель, и весьма солидный, это — число членов нашей партии. Сумма получается весьма солидная, но ее арифметический состав вполне прозрачен. Члены нашей партии не могут получать больше определенной суммы в качестве жалованья, за исключением лишь научного и литературного заработка, из которого сдается не меньше, чем 25% и выше.

И опять профессору Раппару нечего было мне ответить. Однако в связи с вопросами, предлагаемыми мне студенчеством, он попытался дать мне отпор по иному поводу. Один из студентов, повидимому, член антимилитаристской организации мелкобуржуазного образца, занимающийся пропагандой индивидуального разоружения, спросил меня, занимаются ли наши школьные учителя пропагандой лозунга «Долой оружие». Я ответила:

— В наших школах преподается политграмота и в ней сообщается вся политика СССР в вопросах международного разоружения, достаточно известная здесь в Женеве. Однако индивидуальное разоружение из нее ни в коей мере не вытекает. Наша Красная армия считает себя защитницей завоеваний пролетариата.

И тут профессор Раппар торжествующе вставил:

— Вот так именно рассуждают наши реакционеры.

На что я ему ответила:

— Если реакционеры строят какое-нибудь свое рассуждение достаточно логично и в области формальной логики построений мы с ними солидарны, то в этом нет ничего страшного. Но нужно сказать, что мы — коллективисты во всем, а, следовательно, и в вопросах разоружения. Собирающаяся весной в Женеве конференция по этому вопросу в достаточной мере выявит нашу позицию в вопросах *международного* разоружения. Застрельщиками в этом вопросе являлись и являемся именно мы.

В таком стиле шла вся беседа. Изумительно, до чего наивны, убоги, пустяковы все представления этих людей о нашей жизни, о нашей работе, о наших стремлениях. Удивительно, до чего они безграмотны в суждениях о нашей политике и нашей творческой работе.

Впрочем, профессор Раппар не только не отрицал, что они ничего не знают о нашей жизни и о психологии нашего творчества, а, наоборот, совершенно определенно признавал это незнание. И совершенно определенно отозвался о негодности источников их информации в этом отношении, т. е. о работе международных клеветников из белогвардейского стана. Сообщения же такого типа, как мое, могли бы быть для них, по его терминологии, «школой первой ступени» в деле ознакомления с жизнью, работой и психологией того могучего об'единения народов, которым является наш Союз. На что я ответила любезным приглашением приехать к нам в Союз и увидеть нашу жизнь в ее реальных проявлениях.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

ДОКЛАДЫ

СЕКЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Подсекция критиков-коммунистов

В этом году Подсекция критиков-коммунистов продолжает разработку актуальных вопросов нашей художественной литературы. Обострение классовой борьбы, активизация враждебных пролетарской диктатуре сил, оживление в рядах «колеблющихся», протекающее по двум направлениям: или в сторону приближения и активного участия в нашем строительстве или же в лагере враждебных ему социальных групп, рост и диференциация пролетарской литературы,—вот краткая характеристика нашего «сегодня». Доклад *В. М. Фриче «Буржуазные тенденции в современной литературе и роль критики»*, прочитанный им 6/XII пр. года на открытом заседании Подсекции, дал анализ происходящих на литературном фронте явлений. Подкрепленный значительным количеством фактического материала, взятого из художественной продукции последнего времени, доклад этот весьма убедительно доказывает правильность положения докладчика, что «в литературе любой народности нашего Советского Союза в последнее время довольно отчетливо слышится откровенная пропаганда идеологии капитализма и идеологии буржуазии». Эта пропаганда выражается всевозможными способами. На Украине, например, призывают ориентироваться на Запад в противовес ориентации на Москву («Вальдшнепы»). Нашей современности противопоставляется прошлое (Грузия, Армения). Причем прошлое изображается как чудная сказка, а настоящее—как мрачное, тоскливое, жизнечуждое. Докладчик находит в этих мотивах, связанных с идеализацией дореформенного прошлого, «голос кулацких слоев деревни, протестующих против большого города, против индустриализации, против социализма во имя патриархальной деревни».

Художественная литература «внутренних эмигрантов» национальных республик в некоторых случаях связана тесно с эмигрантами внешними. Азербайджанские муссаветисты-эмигранты посылают своим агентам, работающим в советских школах, специальную инструкцию, в которой говорится о том, что необходимо воспитывать школьников в традициях национальной и религиозной розни; для этой цели необходимо особенно использовать художественную литературу.

Задачей докладчика было обрисовать эту буржуазную реакцию в рамках русской художественной литературы, показать те приемы и подход, при помощи которых эта буржуазная реакция борется против диктатуры пролетариата, против социалистической революции, против социалистического строительства. Обстрел пролетарского самоутверждения начинается с самого факта Октябрьской революции. Писатель Сергеев-Ценский в романе «Обреченные на гибель» показывает картину, символизирующую пророчески Октябрьскую революцию. Посредством этой картины Сергеев-Ценский изображает нашу революцию как грабеж и убийство, из которых рождается скотоподобная жизнь. Но оклеветать и выставить на поругание Октябрь и результаты его завоеваний можно, оказывается, и в более завуалированной форме. Борис Пильняк, например, в рассказе «Лорд Байрон» оплевывает Октябрьскую революцию, пользуясь выдуманным героем, облаченным в иностранную форму. Он изображает революцию как дело кафеджи и хамалов (пролетариев), совершающих ее исключительно из-за куска хлеба и эгоизма, идеализируя в то же время прошлые буржуазные революции.

Изображая революцию пролетариата в таком мстительно-искаженном и извращенном виде, эти писатели в таком же аспекте изображают и рабочих-большевиков и вообще все то, что можно назвать большевизмом.

И если раньше некоторые из этих писателей воспевали героев гражданской войны (хотя и внешне), то теперь большевик-рабочий превращается в зверя, в хищную птицу, специалиста по убийствам, явного паразита, даже эксплоататора, неспособного к труду (Семен в рассказе Сергеева-Ценского «Старый Полюс»).

Писатели этого необуржуазного фланга не ограничиваются изображением большевиков как бандитов, всю нашу жизнь они олицетворяют в виде ликующего филина, сожравшего павлина (рассказ Сергеева-Ценского «Павлин»); они стараются, далее, показать, что советский строй—не русский строй. В рассказе Пильняка «Штосс жизни» все ответственные работники—евреи; в рассказе Сергеева-Ценского «Жестокость» изображается шесть комиссаров—еврей, латыш, татарин, *рязанец*, *полтавец*, т. е. выходит, что если русский является комиссаром, если он вступает в компартию, то он уже не является

русским. Здесь явно проскальзывает чувство печали о «единой, неделимой, великой России». Это ли не «созвучие» эмигрантских «русских» настроений с представителями «Московской русской литературы»! Но «Россия»,—так называют эти писатели Советский Союз—изображена, не только как страна чуждая «русским» людям, но и как страна, в которой человеку трудно дышать и он принужден искать спасения и упоения в смерти (Пильняк «Дело смерти»).

Даже у тех писателей, которых мы характеризуем как наших «попутчиков», мы найдем те же тенденции, но в очень смягченном виде, не как принципиальное отвержение нашей социалистической революции и всех ее последствий, а скорее как ее искажение мелкобуржуазными и интеллигентскими настроениями. Октябрьская революция в этом попутническом секторе отнюдь не отвергается, но все же неправильно изображается и воспроизводится. Всеволод Иванов, например, взял в основу повести «Гибель железной» фактический материал, придал ему, однако, такое специфическое истолкование и освещение, что революционная и целеустремленная героика потонула в полусознательном переживании инстинктов, в психо-биологической и эротической мути, чем стерлась историческая действительность героического похода.

У некоторых писателей этого же сектора есть тенденция изобразить советский строй таким, где честному человеку нельзя ни жить, ни работать. Ярким примером такой тенденции может быть произведение Сельвинского «Пушторг». Наряду с таким тенденциозным искажением нашей действительности, есть среди части попутчиков и просто непонимание ее. У Глеба Алексеева передовой крестьянин, строитель социализма в деревне, просто американский фермерский делец. У Юрия Олеши в повести «Зависть» советский деятель очень напоминает практика-дельца в капиталистическом тресте.

Несмотря все же на проявление буржуазных тенденций в этом попутническом секторе, говорить о реакции против диктатуры пролетариата однако нельзя.

Каковы же задачи критики в связи с такими явлениями на литературном фронте?

В такую эпоху, когда борьба классов и в жизни и в литературе обостряется, наша коммунистическая критика должна выявить в художественном произведении спрятанное во всей его конструкции явное лицо классового врага, сорвать маску с этого классового врага.

Но дело не только в критике. Наши редакторы и издательские организации должны быть особенно осторожны при выпуске в свет литературной продукции. Никакие «коронованные» лица от литературы не должны быть исключениями для требований *целесообразности*.

Мы не можем позволить себе «роскошь» печатания реакционного материала, расходящегося с интересами трудящихся масс; каждая книжка, выпускаемая нашими издательствами, должна быть внимательно взвешена на весах целесообразности.

И последнее. Кадры талантливых писателей, органически связанных с основными нашими классами, проникнутых нашей идеологией, дающих такие произведения, которые будут побуждать массы к переустройству нашей жизни, нам нужно поставить в такие условия, чтобы они могли творить все новые и новые ценности.

Доклад т. Фриче вызвал оживленные прения. Целый ряд товарищей (Нусинов, Беспалов, Керженцов и др.), исходя из установки, данной в докладе, пополняли его положения все новыми и новыми иллюстрациями. Единичным было выступление Н. Н. Суханова, попытавшегося об'яснить «вспышку» реакционных настроений в литературе «хвостами» у магазинов и призывавшего мириться с этими настроениями, как мы «миримся» с хвостами. Развивая этот, с позволения сказать, «марксизм», Н. Н. Суханов считает возвращением к нравам царской цензуры запрещение издавать реакционную литературную продукцию. Нельзя от писателя требовать быть гражданином, ибо, что бы он ни писал, он делает гражданско полезное дело и т. д. Выступавшие товарищи дали решительный отпор этим положениям. В. М. Фриче в своем заключительном слове указал на немарксистское, недиалектическое понимание Сухановым процессов нарастания реакционных элементов в литературе.

«По мере того как социалистическое хозяйство и позиция пролетариата крепнут, как все больше ущемляются все несоциалистические элементы—кулацкие, мещанские, интеллигентские, непролетарские,—по мере того как они все больше придавляются, они выражают свой протест в литературе». Вот откуда идут корни роста реакционной литературы.

Влияние буржуазных и мелкобуржуазных тенденций находит свое выражение и в современной поэзии, не исключая и некоторых пролетарских поэтов. Это положение было весьма убедительно доказано тов. Малаховым в его докладе «Возрождение мелкобуржуазной идеологии в современной поэзии», прочитанном им на подсекции 13/XII пр. г.

Анализируя творчество даже таких, близко стоящих к пролетариату поэтов, как Жаров, Светлов, докладчик сумел показать конкретное проявление влияний мелкобуржуазной, обывательской стихии в их произведениях.

Подсекция по изучению проблем современного искусства

I. Вопросы изучения потребителя изо-искусства. Подсекция посвятила этим вопросам ряд деловых совещаний, выдвинув специальную комиссию для их проработки и корректируя ее работу через обсуждение выводов комиссии [1] в расширенных заседаниях, с приглашением компетентных работников соответствующих областей. В итоге намечен следующий путь изучения. В основу берется рабочий клуб, имеющий определенное художественное оформление, которое воздействует на посетителей клуба сравнительно регулярно. В наших условиях клуб является центральным пунктом культурного отдыха и воспитания трудящихся, местом их коллективного общения. К нему пред'являются и требования художественного воздействия, и он несомненно должен стать одним из основных проводников искусства в массы. С другой стороны, клуб является тем пунктом, вокруг которого группируется рабочее самодеятельное искусство (изо-кружки и т. д.), составляющее необходимую основу строительства художественной культуры пролетариата. По сравнению с музеем клуб представляется местом естественной встречи искусства и потребителя, ибо находящееся в нем искусство практически увязано с общими задачами клуба. Оно служит оформлению газеты, определенных комнат и уголков, используется при проведении различных кампаний, массовых праздников, торжественных заседаний и т. п. Клубное искусство может и должно быть образцом художественного оформления быта для массового посетителя клуба.

Все эти соображения и заставили комиссию по изучению потребителя искусства взять в качестве основного пункта рабочий клуб. Тем более, что особенно важное значение имеет изучение именно *рабочего* потребителя искусства. Стержневой проблемой в процессе работы над клубным посетителем является выяснение его требований к искусству быта, т.е. в конце концов к наиболее массовым и важным формам изо-искусства. Изучение должно быть проводимо в форме непрестанного живого общения с клубной массой, наблюдения над ней и устройства соответствующих экспериментов. Анкета является лишь подсобным материалом.

Но было бы неправильно ограничиться этим. Традиционной формой общественной демонстрации современной художественной продукции остаются пока-что выставки. Художники профессионалы еще не обслуживают конкретные клубы или другие центры советской общественности — они производят свои вещи на потребителя «вообще» и предлагают их на выставках как свободно обращающиеся автономные ценности. Выставки являются средоточиями художественных произведений целого общества или нескольких обществ художников и на них впервые происходит встреча потребителя с современным искусством. Учесть результаты этой встречи, значит—выявить в той или иной мере общественное мнение относительно определенного направления в современном искусстве и в то же время определить требования различных общественных групп в этом плане.

Таким образом, изучение потребителя на выставках современного искусства является второй необходимой задачей.

И, наконец, третьим разделом работы является изучение музейного зрителя. Специфика данной области изучения должна основываться на том факте, что здесь зритель сталкивается не с современным искусством и не с искусством, организующим непосредственно быт, а с художественными ценностями, относящимися к категории культурного наследия, которое необходимо использовать в процессе строительства нового искусства. Еще и доныне не разрешен как следует вопрос о том, что мы должны из этого наследия взять как положительное и что наоборот можно считать вполне превзойденным. Изучение восприятия и оценки старого искусства представителями различных социальных групп может дать ценные материалы для детальной разработки вопросов критического усвоения и использования художественного наследства.

Но здесь, как и на выставках, изучение не должно базироваться только на анкетном материале; методы об'ективного наблюдения и фиксации, постановка экспериментальной работы—вот что должно быть положено в основу. И далее: надо изучать не потребителя вообще, а определенные классовые группы потребителей, делая акцент на пролетарских группах.

[1] В комиссию входили тт. Зивельчинская, Курелла, Маца и Михайлов.

Только при соблюдении этих требований намеченная работа может дать необходимые результаты.

II. О правых течениях в изо-искусстве. Подсекция по изучению современного искусства наметила целый ряд докладов и диспутов, посвященных вопросу о правых, антипролетарских тенденциях в изо-искусстве, считая, что борьба с ними, их разоблачение составляют ударную задачу марксистов-искусствоведов и критиков. Намеченная кампания открылась 27 ноября 1928 г. докладом тов. *Михайлова* «О правых течениях в изо-искусстве и изо-критике». Доклад был разбит на три части. В первой части тов. Михайлов рассматривал продукцию профессионального изо-творчества, главным образом, в области живописи. За истекший год здесь надо констатировать ряд фактов, говорящих за усиление правых течений. Это, во-первых, организация сильного общества ОМХ, явно ориентирующегося на обслуживание нового буржуа и других группирующихся вокруг частнокапиталистического сектора социальных прослоек. ОМХ выступает в качестве вождя и об'единителя ряда мелкобуржуазных группировок, оказывает сильнейшее воздействие на попутчиков, стремится привлечь к себе художественную молодежь и часто преуспевает в этом. Во-вторых, поправение одной из передовых художественных групп—ОСТа, в ряде моментов приближающейся к ОМХу. В-третьих, демонстрация мещанского засилия в таких группах, как «Репинцы», «Бытие», «Цех живописцев», в известной мере АХР и т. д. Этот процесс характеризуется вытеснением из искусства *советской* действительности (классовая борьба, индустриализация, коллективизация, новый быт и т. п.), заменяемой восхвалением индивидуалистических навыков, бытовой ограниченности и всех психо-идеологических черт буржуа или мещанина. В то же время вытесняются и новые формы (динамичность, конструктивный реализм и пр.), заменяемые воскрешением традиционных приемов мелкобуржуазного мастерства («живописность», суб'ективизм художественных методов).

Вторая часть доклада посвящена анализу массового искусства. На примере ряда лубков, бытовых предметов и др. образцов массового искусства тов. Михайлов указывал на наличие в этой области наиболее консервативных форм и полное господство реакционной идеологии (мещанства, «народничества», сентиментального оттенка, особенно в лубках для деревни, воскрешения форм иконы и сытинского лубка, восхваления в ряде вещей деревенской косности или невежества, идеализация «ухарей», сусальной деревни и т. п.). В третьей части доклада тов. Михайлов остановился на вопросах критики. Здесь особенно сильны «либеральные» и «примиренческие» настроения, замазывающие возрастание и классовую враждебность правых течений, преуменьшающие их вред для дела социалистического строительства. Очень распространено, в частности, оправдание мелкобуржуазного искусства, исходя из «дырявой экономики», т. е. отсутствия государственного обеспечения художников, что будто бы и вынуждает их заниматься писанием натюрмортов и пейзажей. Вместо вскрывания классовой значимости и общественной направленности творчества отдельных художников—последнее оправдывается указанием на то, что творчество—это «личное дело художника» (так, например, поступают с Тышлером, произведения которого явно упадочны и антиреволюционны). В руках соглашательской и «либеральной» критики находятся основные пункты массовой печати.

Конечно, одновременно с возрастанием и активизацией правых течений в изо-искусстве и критике происходит рост и усиление близких к пролетариату художественных групп и марксистской критики (например, организация «Октября», усиление левой части АХРа, рост прогрессивного молодняка и т. д.). Но эти группировки недостаточно еще сорганизованы и сильны, чтобы дать надлежащий отпор антиреволюционным тенденциям.

Заканчивая доклад, тов. Михайлов выдвинул лозунг единства этих групп для борьбы с наступающими враждебными силами на фронте искусства.

Ряд выступавших в прениях критиков и художников подчеркнули своевременность постановки данных вопросов, отмечая необходимость дальнейшей углубленной их проработки.

Некоторым диссонансом прозвучало выступление тов. Хвойника (которое председательствующий тов. Маца охарактеризовал как примиренческое), в основном сводившееся к утверждению, что общественная пассивность художников об'ясняется их материальным положением, а не фактом связанности с классово-враждебными пролетариату группами, и т. д.

Тов. Рогинская в свою очередь обвиняла часть марксистской критики и художественное об'единение «Октябрь» в том, что они сознательно преувеличивают правые тенденции в искусстве. В частности факт существования таких группировок, как «Жар-

цвет», «ОХР» и др., не заслуживает особого внимания, ибо их картины не имеют никакого распространения среди широких кругов потребителей (в частности рабочих).

Надо отметить, что выступления тт. Хвойника и Рогинской, затушевывающие наличие и удельный вес антипролетарских тенденций в искусстве, не вызвали сочувствия присутствующих. Тов. Михайлов в своем заключительном слове вскрыл неправильность и вредность подобных суждений. Он указал, в частности, на ряд фактов, свидетельствующих об очень широком круге воздействия враждебного нам искусства (так мастера «Жар-цвета», «ОХР» и др. ведут большую работу в театре, им заказываются массовые лубки и т. д.). Но если бы даже они и не имели широкого круга потребителей и их вещи не доходили бы до пролетариата—их все равно надо критиковать и бороться с ними, поскольку они живут и работают в стране, где пролетариат является гегемоном, и эта гегемония распространяется не только на то, что он потребляет, но и на все остальное.

Подсекция материалистической лингвистики (доклады за первый квартал 1928/29 г.)

Первым докладом, заслушанным подсекцией материалистической лингвистики, был доклад ее председателя—акад. *Н. Я. Марра*, на тему: «Актуальные проблемы и очередные задачи яфетической теории» (27 октября 1928 г.).

Начав с указания, что «об'ективное установление тех или иных научных положений вовсе не есть достижение, поскольку суб'ективное отношение специалистов представляет глухую стену», и подчеркнув, что и на нынешнем своем этапе яфетическая теория «продолжает оставаться в недоработанном виде, именно в отношении увязки учения о языке с историей хозяйства, техники и форм социальной структуры», Марр остановил свое внимание на целом ряде вопросов, разработка которых является наиболее важным заданием новой диалектико-материалистической лингвистики.

Эти проблемы часто выходят и по своему значению и по необходимым для их разрешения средствам за пределы компетенции науки об языке и, в связи с этим, ждут своего разрешения от сотрудничества смежных обществоведческих наук, интересы которых нередко переплетаются с лингвистическими интересами. Таким образом, первой научно-организационной задачей является задача скрещения новых языковедных достижений яфетической теории с обществоведческим историко-материалистическим методом.

Марр отмечает, что в круге одних языковедных фактов и явлений яфетидология дошла уже до крайних пределов, увязав между собою все языковые системы мира и установив принцип единства глоттогонического процесса. В связи с этим стоит огромная техническая проблема единого письма для всех языков, особенно актуальная в разрезе потребностей СССР. Изучая языки мира, яфетидология не может подходить к ним статически. Напротив, взяв за исходный пункт проблему происхождения звуковой речи, она рассматривает языковые системы под углом исторического развития, а отсюда перед ней встает задача исторической статистики языков и тесно связанная с ней проблема количественного роста населения земного шара. Такой подход заставляет особое значение приписать тем вопросам, которые господствующие лингвистические школы или вовсе не замечают или полуобходят. Эти проблемы следующие: а) средиземноморская, включающая вопрос о происхождении классических языков Европы—латинского и греческого, б) клинописная месопотамо-малоазийская, в) хамито-семито-кавказо-яфетическая и, наконец, г) проблема скифского бесписьменного мира с увязкой приволжских и далее угро-финских языков с яфетическими языками Кавказа. Последняя проблема в свою очередь тесно связана с вопросом о культах.

Работа над кругом этих вопросов вскрыла стадиальность в развитии всех языков и их взаимосвязи, причем оказалось, что чем более отходят языки от Средиземноморья, тем ярче они выявляют своей структурой и своим составом присущую им близость как бы к «палеолитическому» состоянию звуковой речи. Одновременно эта работа привела к необходимости совершенно иного научного подхода, т. к. обычная трактовка древнейших стадий языкового развития оказалась абсолютно несостоятельной. В процессе исследовательской работы яфетидологией были созданы две новых лингвистических дисциплины—семантика и палеонтология, что в свою очередь вынудило перенести в лингвистическом исследовании центр тяжести с учения о формах на учение о словах. Яфетидологией была поставлена и принципиально разрешена проблема изменчивости структуры языка и отдельных языковых категорий.

Конкретное разрешение каждой отдельной задачи из числа входящих в состав этой общей и сложной проблемы требует увязки прежде всего с соци-

ологическим анализом, так как каждой стадии языкового развития отвечает соответствующий этап всего общественного развития и, прежде всего, развития техники, хозяйства, мышления. Здесь особенное значение приобретает проблема развития мышления, процесс смены дологического мышления логическим. Смена общественных формаций увязана с изменением формы мышления и системы построения звуковой речи. Самый процесс развития звуковой речи, говорит Марр, представляет картину не размножения языков, а унификации их, растущей с каждым этапом хозяйственного развития человечества. При этом нужно иметь в виду, что распространение звуковой речи на начальных ее стадиях являлось процессом, в значительной степени аналогичным процессу распространения грамотности, т. к. звуковой речи предшествовала речь кинетическая, ручная. Указанием на первичность кинетической речи Марр дает свое четкое решение старой задачи о том, что раньше—мышление или речь. Яфетическая теория упразднила возможность такого вопроса, показав, что звуковая речь возникла на той стадии, когда мышление существовало уже давно. Возникновение звуковой речи, по Марру, тесно связано с процессами внутренней дифференциации древнейших человеческих коллективов, предшествуя оформлению племен.

Здесь яфетидолог сталкивается с проблемой классовой дифференциации, которая должна быть разрешена уже не лингвистом, а социологом. Лингвистические выводы яфетидологии заставляют ее самым решительным образом сказать, что гипотеза Энгельса о возникновении классов в результате разложения родового строя, нуждается в серьезных поправках. Марр намечает совместную работу лингвистики и социологии на следующей задаче: изучить производственные отношения, слагающиеся в социальной структуре первобытного коллектива, и наметить, по крайней мере, на отдельных примерах, как на почве накопления избыточного продукта зарождается отделение в такой ячейке трудового населения от нетрудового. Подобные же задачи могут стать об'ектом совместной исследовательской деятельности яфетидолога и историка права.

3 ноября 1928 г. *И. Ф. Протасовым* был сделан доклад на тему: «Проблема письма и письменности в марксистском языковедении».

Докладчик отметил, что изучаемая им проблема остается почти неразработанной в трудах господствующей индо-европейской школы лингвистики, а между тем наше время ставит ряд актуальных и совершенно конкретных задач в этой области, именно: создание письма для освобожденных революцией народов, до сих пор бесписьменных, улучшение письма восточных национальностей и международную унификацию и рационализацию письма. Основные положения марксистского языковедения при изучении письменности и разрешении проблемы письма сводятся, по мнению т. Протасова, к установлению взаимоотношения базы и надстройки — причем письмо выступает как надстройка—к признанию классовой сущности письма и к приложению к истории письма общей схемы исторического развития. Указав на целый ряд недостатков современного нашего письма, докладчик настаивает на углубленном экспериментально-психологическом изучении письма, с одной стороны, по линии сравнительного психо-технического изучения обычного типа письма,—медленного, но легко читаемого, и стенографического—быстрого, но трудно читаемого, с другой,—по линии изучения различных способов упрощения письма. Центром этой работы должен явиться проектируемый докладчиком кабинет письма при Ком. академии.

10 ноября 1928 г. был заслушан доклад члена подсекции *И. Дмитриева-Кельды* на тему: «К проблеме происхождения языка», который в несколько сокращенном виде печатается в одной из ближайших книг «ВКА».

8 декабря 1928 г. состоялся доклад члена подсекции *Н. Ф. Яковлева* на тему: «Проблема диалектики развития слов в связи с происхождением понятий».

Проф. Яковлев определяет язык, как социальную форму мышления, и, соответственно, как систему определенных (по материалу) знаков социального взаимообщения. Слово, как термин, неразрывно связано со словом, как формой. В языке, как таковом, не существует терминов без слов. В языках без морфологии слова оформлены синтаксически.

Кроме истории слов, как терминов, отражающих развитие обозначаемых ими явлений хозяйства и общества, необходимо исследовать также с формальной стороны самый процесс развития значений одинаково звучащих слов. История слов-терминов, рассматриваемая материалистически, является историей вещей и явлений хозяйства и социального строя. История слов-форм является историей всей грамматической системы данного языка в целом и сводится к истории слов, как более сложных сочетаний и как продуктов сочетания более кратких единиц—сем и фонем. История сочетаний слов есть история их значений.

На основании сохранившегося материала языков очень трудно восстановить историю возникновения сочетаемой речи при переходе от стадии нечленораздельной речи криков к речи синтаксической. В этот момент в языке в качестве основных сочетаемых элементов появляются синтаксически оформленные слова. Дальше идет возникновение языков предикатных (полисинтетических), которые допускают сочетание двух отдельных слов первичного типа (семосочетание). Этот процесс легче всего наблюдать на материалах черкесских языков, на основании которых можно наметить следующую схему:

Новый факт культуры, проникающий в круг явлений культуры данного народа, воспринимается обычно в терминах его прежнего основного производства. Соответствующие термины получаются путем сочетания названий существовавших прежде явлений культуры, однако в новой, необычной, еще несуществовавшей ранее связи их друг с другом. Уже возникший составной термин употребляется в сочетании с новыми, определяющими его значение словами—детерминативами, присоединение которых ведет к выявлению формально-логического противоречия между старым значением слова и значением детерминативов. Процесс развития слова носит, таким образом, диалектический характер. Разрешение противоречия происходит путем вытеснения специфического значения прежнего детерминатива. История развития слова есть в то же время история понятий. Понятия, как социальные величины, в мышлении формулируются и развиваются в тесной связи и одновременно с соответствующими словами. Процесс развития понятий, так же как и процесс развития соответственных им слов, заключается в постоянной смене признаков, представляющих собою обобщение меньшего об'ема, признаками более отвлеченными, обобщенными в более крупном масштабе. Этот процесс обобщения признаков протекает также путем сочетания в понятиях противоречивых в формально-логическом отношении признаков, из которых вторичные вытесняют первичные. На основании материала различных языковых систем и групп нужно признать всеобщим закон диалектического развития слов в языке и понятий в мышлении.

КОМИССИЯ ПО ИСТОРИИ РЕЛИГИИ

Доклады тт. *Сарабьянова*, *Путинцева* и *Шеймана* «Корни религиозности в СССР» (4/XII 1928 г.)

Основными причинами религиозности в СССР т. *Сарабьянов* считает:

во-первых, отсталость техники в сельском хозяйстве, вследствие чего крестьянин находится во власти стихийных явлений, которые он не в состоянии ни предупредить, ни предвидеть. Применение машин в сельском хозяйстве и организация его на научных, агрономических и химических основаниях уменьшают элементы случайности и тем самым подрывают веру в сверх'естественные силы.

Другой не менее важной причиной является наличие классовой эксплоатации, которая создает для эксплоатируемого кажущуюся безвыходность и поддерживает в нем веру в вечность и незыблемость разделения общества на господ и рабов. Подорвать эту основу религиозности могут только борьба с капиталистическими элементами и классовые об'единения эксплоатируемых.

И, наконец, наличие третьей политической силы—мелкой буржуазии, неустойчивой и колеблющейся между бедняком и кулаком, питает религиозность, внося в общественные отношения элемент случайности и непредвиденности.

Целый ряд явлений, как, напр., хозяйственные затруднения, создающие безработицу и бестоварье, бюрократизм и волокита, также питают веру в бога, вызывая потребность в потусторонней помощи и защите.

Антирелигиозную пропаганду, которой до сих пор уделялось недостаточно внимания, нужно вести, не отрываясь от жизни. Безбожники должны принимать активное участие в деле машинизации и коллективизации деревни и укрепления советского аппарата.

Стремление средних крестьянских слоев сохранить в период гражданской войны нейтральное положение среди борющихся сил является, по мнению т. *Путинцева*, одной из основных причин роста сектанства. Более осторожная, более «демократическая» и «левая» позиция сектантства способствовала его успеху. То обстоятельство, что эта демократичность только внешняя и что под видом братской помощи в сектантских общинах процветали и процветают и ростовщичество, и растраты, и насилия, было недостаточно разоблачаемо нашей антирелигиозной литературой.

В настоящее время росту сектантства способствует недостаточное культурное обслуживание населения. Во всех тех случаях, где наблюдались слабость культурной работы, разложение советского аппарата, а также под влиянием таких хозяйственных катастроф, как недород, население было охвачено массовыми религиозными психозами, вроде ожидания конца света. Всюду, где велась интенсивная культурная работа, где на дело борьбы с сектанством было обращено достаточное внимание, сектантство было вытеснено со своих позиций.

Доклад т. *Шейнмана* был посвящен вопросу о причинах религиозности городского населения. Здесь религиозными настроениями охвачены прежде всего те слои, которые после Октябрьской революции лишились власти и руководящей роли в политической и хозяйственной жизни страны, т. е. дворянство, чиновничество, а также верхушка интеллигенции и ее колеблющиеся слои, не приставшие к пролетариату. Здесь господствуют мистические настроения, которые, подобно мистическим течениям на Западе, являются не только самоутешением, но и орудием борьбы против пролетариата. Что касается наиболее демократической части интеллигенции, то она целиком идет с пролетариатом и помогает партии в ее антирелигиозной борьбе.

Большое значение в деле укрепления религиозности среди городского населения имеет торговец-частник, вытесняемый политикой советской власти из хозяйственной жизни страны. Городская буржуазия не имеет никакой возможности для классовых группировок, и религиозная община есть единственная доступная ей легальная организация.

Что касается рабочих, то здесь религиозные настроения держатся лишь среди наиболее отсталых, связанных с деревней, слоев и среди женщин, невтянутых в общественную работу. Работа всякого рода «бывших людей» и слабость советско-партийного руководства, а также отсутствие культурной работы, и здесь играют большую роль.

В прениях т. *Бонч-Бруевич* указал, что идеализация сектантства основана на недоразумении, что следует отличать сектантов дореволюционных от сектантов нашего времени. Однако и современное сектантство требует углубленного научного изучения, так как оно хранит многочисленные культурно-исторические традиции, связывающие его с крупнейшими религиозными движениями в истории, вплоть до альбигойской ереси. Вместе с тем т. Бонч-Бруевич считает недопустимым деление населения по религиозному признаку и зачисление всех сектантов в ряды наших врагов, тем более, что сектантские хозяйства и теперь являются наиболее передовыми и культурными.

Тов. *Костицын* привел ряд конкретных фактов, характеризующих реакционную деятельность сектанства и необходимость усиленной борьбы с ним, как с наиболее опасным врагом.

Тов. *Стуков* указал на связь нашего сектантства с западно-европейским и американским и на роль нашего сектантства, как проводника западно-европейских буржуазных влияний. Вместе с тем подход к сектантству должен быть классовым. Если сектант-кулак всегда будет нашим классовым врагом, то нельзя того же сказать о сектанте-бедняке, которого мы можем и должны привлечь на свою сторону.

Тов. *Урсынович* полагает, что при научном изучении сектантства необходимо различать упадочнические настроения исчезающей мелкой буржуазии от ее идеологии в период под'ема.

Тов. *Лукачевский* поднял вопрос о методологии изучения религиозности в конкретной обстановке переходного периода, изучения, требующего уже не установления общих схем, а анализа современной идеологии и подтверждения общих положений конкретными примерами. В этом случае необходимо установить прежде всего критерий религиозности, так как обычные критерии религиозности и антирелигиозности, как выполнение церковных обрядов, закрытие церквей и т. п., должны быть пересмотрены в связи с конкретной обстановкой, и такие факторы, как консервативность религиозной идеологии, с одной стороны, и огромная приспособляемость религиозников, с другой, должны быть учтены и приняты во внимание.

Тов. *Кобецкий* полагает, что помимо тех общих причин религиозности, которые существуют в Советском Союзе, укреплению религиозности специально на Востоке способствовало смешение понятия религии и нации, ведущее к тому, что за религию держатся как за национальный признак, религиозную школу рассматривают как национальную. Однако за последнее время, в связи с земельной реформой в Средней Азии и конфискацией имущества баев в Казакстане, замечается рост антирелигиозных настроений.

По вопросу о сектантстве т. Кобецкий приводит данные о меннонитских хозяйствах в Омской губернии, о преобладании в них кулацких хозяйств, об эксплоатации батраков и сообщает, что меннониты обращались в ВЦИК РСФСР с просьбой отменить преподавание дарвинизма в меннонитских районах.

Доклад т. *Урсыновича*: «Религия народностей Сибири и Северо-Востока РСФСР». (2 февр. 1929 г.)

Изучение религий туземных народностей Сибири имеет очень большое значение для изучения вопроса о происхождении религии, так как дает нам в руки свежий материал о низших ступенях развития религии из первоисточника, в то время как данные об австралийских, американских и африканских племенах доходят до нас искаженными в духе тенденций западно-европейских буржуазных ученых. Для правильного собирания нашего этнографического материала необходимо, чтобы в этнографических экспедициях принимали участие антирелигиозники.

Другим не менее важным побуждением для изучения этих религий является то обстоятельство, что в связи с падением в Сибири официальной церковности, там начинают усиливаться примитивные религиозные представления, являющиеся большим препятствием для культурного строительства среди нацменьшинств.

Основным типом религии нацменьшинств Сибири является *шаманизм*, в котором первенствующую роль играет кудесническая, колдовская обрядность. Соответственно различным видам хозяйства шаманизм принимает различные формы. У племен палеазиатов (чукчи, коряки, енисейские остяки), живущих охотничьим, рыболовным и ранним скотоводческим хозяйством, не умеющих еще использовать молоко животных и не приручивших еще собаку для охраны стад, наблюдается массовый шаманизм, практикуемый всей общиной, и отсутствие шамана-специалиста. С этой формой шаманизма связано также крайне смутное представление как о богах небесных, так и божествах стихий, настолько смутное, что шаман к ним обычно не обращается. Эти племена находятся на стадии культа предков и тотемов.

За этим ранним шаманизмом скрываются некоторые анимистические предпосылки: шаман всегда обращается к духу, но анимистических обрядностей в этой форме шаманизма открыть не удается. В раннем шаманизме большую роль играет женщина, а также мужчины шаманы, меняющие пол.

У племен с вполне развитым оленеводством (тунгусы), коневодством (якуты) и разведением рогатого скота шаманы выделяются в особую группу, с подготовкой к шаманству, с обрядами посвящения. Вместе с тем в религиозных представлениях племен начинают фигурировать стихийные и небесные божества, и намечается даже культ умирающего и воскресающего бога.

Шаманизм проливает некоторый свет на спорные вопросы происхождения религии. Очень любопытны имеющиеся у некоторых енисейских остяков представления о душе-двойнике, т. н. ульвее, и о целом ряде других, существующих наряду с ним, душ, представления о жизни после смерти и т. п.

Третий вид шаманизма, копирующий ламаизм, встречается у гольдов по Амуру и представляет собой тип заносной религии.

В дальнейшем т. Урсынович сообщает целый ряд интересных данных о проникновении ламаизма в Бурятию, о роли его, как проводника китайского торгового капитала в Сибирь, и о мероприятиях русского правительства, поощрявшего и регулировавшего ламаизм в целях торговой экспансии в Китай, о христианизации Сибири и о сословии новокрещенных. В результате проникновения ламаизма и христианства в Сибирь шаман стал подражать ламайскому и христианскому священнику, стараясь точно копировать их обряды.

Что касается социальной роли шамана, то в буржуазной науке имеется стремление затушевать его культовую роль, представить его врачом, артистом, певцом, хранителем народного эпоса, и изобразить его вместе с тем представителем беднейших групп населения. Все это не соответствует действительности. Шаман тесно связан с состоятельной частью населения, всегда тянул сторону власть имущих и промышленников, являясь промежуточным агентом между населением и царским чиновничеством. Во всяком случае шамана следует толковать как всякого ламу или христианского священника и сделать в отношении к нему соответствующие выводы.

В прениях т. Аширов сообщил целый ряд данных о современном положении шаманизма в Бурято-Монгольской республике и о роли в ней ламаизма. Шаманизм в Бурятии после советизации этого края чрезвычайно пал. Он сохранился, странным образом, в наиболее культурных районах у якутских бурят, в то время как в забайкальском районе с полукочевым и кочевым скотоводством шаманизм почти исчез, и его место заступил ламаизм. Это явление—результат сложного социально-политического процесса, в котором принимала участие православная церковь.

Социальные функции шамана очень многообразны. Являясь хранителем примитивного народного искусства, шаман поставил его на службу своим интересам, пронизав народное творчество шаманским содержанием и обратив его в орудие очень тонкой пропаганды.

Шаманы не представляют собой церковной организации, и борьба с ними легче осуществима, чем с высоко-организованной ламаитской церковью. Среди шаманов наблюдается также процесс приспособления: появились либеральные, прогрессивные шаманы, проповедующие отказ от водки, колдующие на молоке. В некоторых районах наметилась смычка шаманизма с ламаизмом.

Одной из основных причин распространения ламаизма т. Аширов считает сохранившиеся в нем традиции борьбы за общебурятские интересы. Особенно активную роль ламаитская церковь играла в 900-х годах, в период земельной реформы. Борьба с ламаизмом гораздо сложнее, чем с шаманизмом. Если в Бурятии имеется 150 шаманов, то лам там насчитывается около 8 тысяч, и после революции построено десять новых монастырей. Правда, среди ламаитов происходит в настоящее время большое расслоение, и наши успехи в культурно-экономическом строительстве подрывают существование ламаизма. Как бы то ни было, изучение ламаизма и борьба с ним являются боевой задачей Бурято-Монголии. Что же касается уходящего шаманизма, то необходимо поставить сейчас как можно шире научное изучение уходящего вместе с ним народного творчества.

В ПРЕЗИДИУМЕ И СЕКЦИЯХ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

ПРЕЗИДИУМ

Одним из важнейших событий в жизни Коммунистической академии за последние месяцы явилась *конференция историков-марксистов*, привлекшая большое количество участников и сосредоточившая на своих работах в течение нескольких дней ее заседаний (27 декабря—4 января) напряженное внимание не только работников нашей исторической науки, но и вообще марксистов-общественников.

Кроме обсуждения докладов из различных областей историографии в секциях конференций, на ее пленуме были рассмотрены важнейшие идеологические и методологические вопросы, а также организационные вопросы дальнейшего развертывания научно-исследовательских работ марксистской исторической науки.

Не касаясь содержания отдельных докладов конференции и развернувшихся вокруг них прений, так как подробные сообщения о результатах конференции будут даны в специальном журнале Общества историков-марксистов, а материалы конференции будут изданы особыми сборниками в издательстве Комм. академии, отметим лишь общие выводы, сделанные конференцией по основному вопросу о состоянии, перспективах и задачах исторической науки в СССР.

Основная резолюция конференции, констатировав огромное значение марксистской исторической науки как одного из важнейших участков идеологической борьбы пролетариата за социализм, подвела итоги тем достижениям, которые мы имеем к настоящему моменту на этом участке как в отношении наличия уже значительной советской школы историков, стоящих на точке зрения марксизма и ленинизма, так и в отношении научной продукции этой школы, имеющей не только важное значение для СССР, но и мировое значение. Одновременно отметив существующие недочеты в работе этой школы, заключающиеся, главным образом, в отсутствии как общесоюзной организации, так и центрального печатного органа, конференция вынесла постановление о необходимости превращения Общества историков-марксистов при Комм. Академии во всесоюзную организацию и о превращении в связи с этим журнала Общества «Историк-марксист» в центральный всесоюзный орган.

Отметив отсутствие правильно налаженных интернациональных связей, конференция признала необходимым организовать выступления советских историков-марксистов на заграничных с'ездах и конференциях, а также созвать в Москве в течение ближайших двух-трех лет международную конференцию историков-марксистов.

Конференция особенно подчеркнула, что историки-марксисты являются воинствующими марксистами, важнейшая обязанность которых заключается в борьбе с классово-враждебными идеологиями, в чем бы они ни состояли. Это особенно необходимо в настоящий момент, когда, в связи с обострением классовой борьбы, наблюдается оживление среди идеологов, чуждых и враждебных пролетариату, в отношении к которым со стороны марксистско-ленинской школы историков не могут быть допущены никакие уступки, никакого рода оппортунизм или «нейтралитет».

В связи с организационнымивы водами, сделанными конференцией, перед Комм. академией встал вопрос *о создании* при ней *Института истории* как основного научно-исследовательского центра марксистской исторической науки в СССР.

Вопрос этот обсуждался в президиуме Комм. академии 16 февраля текущего года, причем президиум признал необходимым теперь же начать организационную работу по созданию Института истории с тем, чтобы эта работа была закончена весной текущего года и Институт мог развернуть свою деятельность в 1929—30 году. При этом деятельность нового института должна быть тесно увязана с деятельностью Общества историков-марксистов, и при его организации институт должен будет включить в свой состав те отдельные части Комм. академии, которые уже в настоящее время работают в области истории, и в первую очередь, Секцию методики и методологии истории.

Признано необходимым возбудить также в соответствующих инстанциях вопрос о слиянии с вновь создающимся институтом Института истории РАНИОН. При этом предположено возложить на Институт истории Комм. академии подготовку научных и преподавательских кадров для вузов и научно-исследовательских учреждений путем организации при нем аспирантуры. До настоящего момента дело *подготовки научной смены* в Комм. академии не осуществлялось в качестве самостоятельной задачи, если не считать естественного роста квалификации младших научных сотрудников в процессе их научно-исследовательской работы, организации семинариев при некоторых учреждениях Комм. академии (Секции экономическая, кооперативная, естественных и точных наук и т. д.) и единичных аспирантов. Вместе с тем, с развертыванием научных работ Комм. академии, вопрос о подготовке в ее учреждениях научных сотрудников-марксистов приобретает все более актуальное значение. В связи с этим, выдвинут *вопрос об организации аспирантуры* не только во вновь организуемом Институте истории, но и в остальных научных институтах и секциях Комм. академии.

В связи с тем, что кроме состоявшейся уже конференции историков-марксистов при Комм. академии в этом году должны состояться еще 2 конференции—конференция марксистско-ленинских научно-исследовательских учреждений и конференция аграрников-марксистов, президиуму Академии пришлось заниматься вопросами об организации этих конференций.

Так как *2-я конференция марксистско-ленинских научно-исследовательских учреждений*, в соответствии с решениями 1-й конференции, состоявшейся весной 1928 г., организуется Комм. академией совместно с Институтом Маркса и Энгельса, Институтом Ленина и Институтом красной профессуры была собрана комиссия, включающая в свой состав представителей указанных институтов, которая наметила порядок дня, состав конференции и подготовительные мероприятия по ее созыву.

В порядок дня конференции включены доклады о деятельности отдельных участвующих в ней учреждений: Комм. академии, Института Маркса и Энгельса, Института Ленина, Украинского института марксизма и кафедры марксизма и ленинизма при Украинской академии наук, Ленинградского института марксизма и белорусских учреждений.

Докладчиком о работе Академии за период от 1-й конференции до 2-й намечен тов. М. Н. Покровский и докладчиком о плане работ Академии на 1929/30 г. — тов. В.П. Милютин. Но кроме этих информационных докладов, посвященных, главным образом, подведению общих итогов и намечению дальнейших перспектив в работе марксистско-ленинских учреждений, а также организационным вопросам связи между работой этих учреждений, в порядок дня конференции включены также доклады по существу отдельных научно-исследовательских проблем. Таким докладом явится доклад тов. А. М. Деборина о современных проблемах философии марксизма с содокладом тов. В. В. Адоратского о новых материалах В. И. Ленина по философии и доклад Л. Н. Крицмана о работах комиссии по изучению аграрной революции. Точно так же включенный в порядок дня доклад тов. О. Ю. Шмидта о работе Секции естественных и точных наук и Института по изучению высшей нервной деятельности будет поставлен не как чисто-информационный доклад, а как доклад по существу деятельности этих учреждений в связи с общими проблемами современного естествознания и состоянием естественных наук за границей.

В настоящее время уже ведется подготовительная работа по организации конференции, избрана оргкомиссия и разрабатываются тезисы отдельных докладов.

Конференция эта должна будет состояться в первых числах апреля с. г.

Вслед за этой конференцией президиумом Комм. академии решено созвать в мае месяце *конференцию научных работников-марксистов, работающих над аграрными проблемами*. В этой конференции кроме марксистско-ленинских научных учреждений,

работающих в области аграрного вопроса, должны будут принять участие также представители марксистских частей научно-исследовательских учреждений, работающих в области экономики сельского хозяйства, и представители сельскохозяйственных вузов, работники земельных плановых органов республик и областей, работники отделов по работе в деревне, ЦК национальных коммунистических партий, областных и краевых комитетов и представители редакций марксистско-ленинских журналов по аграрному вопросу.

В порядок дня этой конференции включены доклады т. Крицмана о теории аграрного вопроса, тов. Милютина о социалистической реконструкции сельского хозяйства, тов. Гайстера о результатах аграрной революции в России и тов. Кубанина о землепользовании и землеустройстве.

Кроме того намечено организовать на конференции 7 секций: теории аграрного вопроса, расслоения деревни, социалистической реконструкции сельского хозяйства, аграрной политики, истории аграрной революции, аграрного вопроса на Востоке и организационную.

Из вопросов, относящихся к внутренней организации учреждений Комм. академии, которыми в последнее время пришлось заниматься президиуму, следует отметить слияние биохимического и экспериментально-патологического отделений Института высшей нервной деятельности в одно отделение и организацию в составе Секции литературы, искусства и языка Музыкальной комиссии. В бюро этой комиссии вошли т. Челянов в качестве председателя бюро, т. Маца—в качестве члена бюро и т. Острецов в качестве секретаря.

Президиумом утверждено также создание в составе Кооперативной секции трех подсекций: потребительской кооперации, кустарно-промысловой и с.-х. кооперации, а также кабинета-музея коллективизации.

Кроме того пополнен состав правления недавно организованного Института философии Комм. академии тт. П. Н. Лепешинским, Ф. В. Ленгником, П. И. Красиковым и В. И. Невским, которые одновременно введенытакже в состав редакции «Философской энциклопедии».

Имея в виду необходимость уже сейчас приступить к разработке плана работ Ком. академии на 1929/30 г., президиум рассмотрел проект директив по составлению этого плана, представленный т. В. П. Милютиным. Согласно этим директивам планирование научно-исследовательской работы должно происходить на основе учета задач и перспектив общественного развития СССР на период ближайшего пятилетия, согласно которым строятся все наши хозяйственные планы. В связи с этим и план Комм. академии должен быть построен на указанной основе. Кроме того, необходимо при планировании научно-исследовательской работы учесть имеющиеся в наличности силы и средства как самой Комм. академии, так и других научно-исследовательских, марксистско-ленинских учреждений.

Основное внимание должно быть обращено на теоретическую проработку проблем, связанных с развертыванием социалистического строительства, с усиленным развертыванием реконструкции народного хозяйства, широкой организации культурной работы, а также на научное освещение социальных сдвигов при проведении социалистического строительства. Особое значение в связи с этим приобретает работа по методологии, так как такие актуальные проблемы, как планирование, реконструкция, рационализация, не могут быть должным образом проработаны без проведения предварительной работы по методологии и связанных с нею философских проблем. Значительное внимание должно быть уделено также освещению современных буржуазных теорий и критической борьбы с буржуазной и мелкобуржуазной идеологией, в частности с реформизмом, получающим в настоящее время в ряде научных областей новые формы и новое выражение.

Директивы эти намечают также общие линии развития работ по отдельным основным отраслям научной деятельности Комм. академии. Так, в центре работ Экономической секции должна быть поставлена проработка проблем реконструкции народного хозяйства СССР, в частности вопросов равновесия в развитии народного хозяйства, баланса народного хозяйства, темпа развития народного хозяйства, вопросов труда в связи с развертыванием социалистического строительства, проблемы энергетического баланса и проблемы реконструкции и рационализации.

Так, по Аграрному институту должны быть проделаны работы, связанные с развитием обобществленного сектора сельского хозяйства и с вопросом диференциации деревни в условиях реконструкции народного хозяйства.

Кооперативная секция должна будет обратить основное внимание на вопросы, связанные с темпом кооперирования в различных областях народного хозяйства, а также на освещение буржуазных и мелкобуржуазных теорий по кооперации.

В работах Института советского строительства особое внимание должно быть обращено на вопросы о роли советской организации в городе и в деревне и на вопросы, связанные с культурными организациями.

В области философии должны разрабатываться проблемы, связанные с современным естествознанием и с борьбой с различного рода идеалистическими и метафизическими направлениями, зачастую драпирующимися в форму материализма.

По остальным институтам и секциям Академии также даны общие директивы, которые должны явиться предпосылками при составлении соответствующих планов.

Директивы эти в настоящее время прорабатываются отдельными научными учреждениями Комм. академии и послужат затем основой для разработки как общей наметки пятилетнего плана, так и более детального плана на 1929/30 г.

В директивах предусмотрена также необходимость углубления теоретических работ и ряд организационных мероприятий. В частности по опыту конференции историков-марксистов, в будущем году намечается организация подобного рода конференций по вопросам наиболее актуального значения, уже достаточно разработанным учреждениями Комм. академии. В частности предполагается создать конференцию по вопросам литературы и искусства и конференцию по вопросам советского права.

Особое внимание должно быть обращено также на создание при отдельных учреждениях Комм. академии вспомогательных научных учреждений в виде специальных библиотек, выставок, музеев и т. д.

При разработке перспектив на предстоящее пятилетие должна быть также учтена необходимость значительного расширения научно-исследовательских учреждений Комм. академии как путем создания ряда новых учреждений, так и путем расширения уже существующих.

Из работ отдельных учреждений Комм. академии президиум рассмотрел *работу И-та мирового хозяйства и мировой политики*. Доклад директора И-та т. Варги в президиуме показал, что деятельность этого И-та за последнее время значительно расширилась, что выражается как в его текущей научной работе, так и в его печатной продукции. Институтом заслушано 13 докладов по экономическим вопросам, в частности доклад т. Осинского об экономической депрессии в САСШ, доклады т. Варги об основных моментах стабилизационного периода, об экономическом и социальном положении Китая и о репарационной проблеме, доклад т. Гольдштейна о тенденциях мировой торговли и т. д. Теоретическим вопросам было посвящено 6 докладов, касающихся, главным образом, вопросов теории кризисов и кон'юнктуры, а также и других вопросов теории капитализма в настоящий период. Редактируемый И-том журнал «Мировое хозяйство и мировая политика» также освещал на своих страницах как актуальные политические вопросы капиталистических стран, так и связанные с этим теоретические проблемы. Ряд статей был посвящен вопросу о рационализации промышленности и рационализации в английской промышленности. Репарационная проблема была разработана коллективным образом и освещена с точки зрения заинтересованности главных империалистических держав в репарационном вопросе. Коллективным образом была также разработана средиземноморская проблема.

Кроме того за последний год Институтом выпущено 15 печатных работ, посвященных вопросам политики и экономики империалистических стран, а также вопросам развития колоний. В настоящее время подготовляется к печати работа Варги «О мировом хозяйстве и хозяйственной политике в 1928 г.», коллективная работа под его же редакцией «Мировое сырьевое хозяйство» и ряд других. Институтом издается целая серия по колониальному вопросу. В настоящее время намечено издание книг о Китае, Египте, Манчжурии, африканских колониях Франции, о Сирии, об Ираке, Персии, Индокитае, Южной Америке, а также книг теоретического характера о развитии капитализма в колониальных странах.

Значительно расширил свою деятельность архив Института мирового хозяйства. Им обрабатывается ежедневно 55 газет и 70 ежемесячных и еженедельных иностранных журналов. В то время как в начале своей деятельности архив ограничивался, главным образом, подбором газетных материалов, в настоящее время работа эта распространяется также и на другие источники. Установлена связь с иностранными исследовательскими институтами и экономическими организациями, от которых получаются книги, периодические издания, а также информационные бюллетени, которые являются ценным сырым материалом для исследовательской работы Института. Архив получает бюллетени

крупнейших заграничных банков, крупных трестов, синдикатов и продолжает расширять существующие уже связи с заграницей. В настоящее время архив располагает 195 000 газетных вырезок и картотекой журнальных статей в 25 000 карточек. Использование этого материала довольно интенсивно: так, за 1926 г. использовано всего 18 000 вырезок, т. е. 36% всей годичной продукции архива.

Настоящий год должен явиться для И-та переходным годом в смысле дальнейшего углубления исследовательской научной работы, так как за этот год проделан ряд подготовительных работ по подбору сотрудников, собиранию материалов, уточнению тем и программ.

СЕКЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТОЧНЫХ НАУК

За время с октября по январь 1928/29 г. работа Секции естественных и точных наук выразилась в следующем:

Математический раздел

В начале ноября 1928 года раздел был реорганизован с целью усиления марксистско-методологической стороны работы. В его состав были привлечены новые работники (тт. Кольман, Выгодский, Яновская); реорганизовано было также и бюро раздела, в состав которого, кроме перечисленных товарищей, были введены из старых работников тт. Люстерник и Гливенко. Ввиду того, что семинарские методы работы выявили себя мало пригодными в работе математического раздела, бюро решило на текущий год из прежних семинариев сохранить лишь семинарий проф. Нетер. Работники же остальных семинариев были привлечены к основной работе раздела.

Труднейшим моментом, осложняющим работу, является отсутствие кадров специалистов-математиков, интересующихся проблемами методологии своей науки, особенно с марксистской точки зрения. В связи с этим бюро решило сохранить при разделе двух аспирантов математиков-марксистов. Были приняты также меры для привлечения к работе раздела новых кадров выдвиженцев-математиков, особенно их партийно-комсомольской части, а также аспирантов-математиков I и II МГУ. Проводится эта работа путем вовлечения их в кружок математиков и физиков-материалистов.

Кроме того, в целях повышения методологической подготовки математиков бюро раздела решило организовать философский семинарий, темой которого должна явиться «математика в системе мировоззрения авторов философских систем». Семинарий имеет в виду особенно тщательно проработать «Науку логики» Гегеля в свете ее отношения к математике. Один из докладов этой серии решено поставить в ближайшее же время (математика в системе Декарта).

В настоящее время намечены к проведению следующие работы: 1) Эволюция понятия пространства—*Лихтенбаум*. 2) Проблема качества и количества в математике—*Люстерник*. 3) Математическое существование—*Гельфонд*. 4) Вероятность в статистической механике—*Гливенко*. 5) Строение современной математики—*Кольман*. 6) Эволюция понятий в математике—*Яновская*. 7) Формализм и интуиционизм—*Хотимский* и 8) Математические абстракции и действительность—*Выгодский*.

Представленные уже тезисы некоторых из намеченных работ указывают на трудности перевода на новые рельсы старых работников. Тем не менее бюро раздела решило проводить строгую критическую оценку печатаемых разделом работ. Если это и уменьшит количество последних, то все же этим мероприятием будет достигнуто поднятие научного уровня математической марксистской литературы.

Раздел методологии физики

Тов. *А. Тимирязевым* сданы в печать работы: «Новая волна махизма в современной физике» и «Приложение интегральных уравнений к теории внутреннего трения в разреженных газах». Кроме того, им прочитан доклад о работах Томсона «За пределами электрона» и доклад в МК ВКП (б) «Рецидив механистического материализма в современном естествознании».

Тов. *З. Цейтлин* сдал для печати два дополнения к работе «Что такое материя»: «Краткий очерк развития понятия материи» и «Понятие материи и основы материалистической диалектики». Им подготовлен доклад на тему: «Планетарная таблица Лорринга и природа всемирного тяготения» и написан реферат на книгу Эддингтон «Der innere Aufbau der Sterne». Кроме того, он разработал часть материалов на тему: «Эволюция механики», главным образом, по философскому введению: «Философские учения о пространстве, времени, движении и материи» и по развитию механики в эпоху средневековья. В связи с последней темой им собран материал для «Очерка по истории средневековой философии, науки и техники».

Тов. *Г. Потапенко* закончил и сдал для напечатания в «Вестнике Комм. академии» работу «Тепловое лучеиспускание и электромагнитная теория А. Корна». Им выполнена также подготовительная работа к постановке опытов по обнаружению влияния движения земли на распространение света.

Тов. *Г. Харазовым* подготовлен доклад об арифметике кватернионов и написана новая критическая работа по теории относительности. В настоящее время он продолжает работать над составлением учебника механики и подготавливает к печати работу «О задаче Аполлония» (опыт введения в сравнительную геометрию).

Тов. *Б. М. Гессен* работал над темой «Статистический метод в физике». Отрывки из первой части этой работы уже напечатаны в № 1 журнала «Естествознание и марксизм» и в настоящее время закончена глава об эргодической гипотезе и о теоретико-вероятностном исследовании брауновского движения.

Кружок физиков и математиков-материалистов

За истекший период были прочитаны следующие доклады: *Кольман, Э.*—«Математический метод исследования процесса капиталистического производства, взятого в целом»; *Колмогоров*—«Новая интерпретация логики»; *Хинчин, А. Я.*—«Учение Мизеса о вероятностях и принципах физической статистики»; *Пистрак, М. М.*—«Об основных вопросах преподавания математики в средней школе».

Кроме того, продолжалась работа по составлению библиографии по методологии и философии физики и каталогизировано свыше 2 000 карточек.

Биологическая лаборатория

В этой лаборатории продолжались экспериментальные работы, намеченные в плане на 1928/29 год.

В ноябре 1928 года была получена из Вены большая партия взрослых саламандр, которые дали многочисленное потомство. Личинки были использованы для опыта по влиянию цветного фона на окраску. В настоящее время они уже близки к превращению, так что можно ожидать тех или иных результатов. Сверх того, было обращено особое внимание на связь особенностей окраски потомства с окраской нормальных (неизмененных) саламандр-матерей.

Продолжались также работы с жабой-повитухой: для соблюдения нормального цикла развития животные были отправлены на зимовку.

Опыты *Е. Смирнова* над изменчивостью и наследственностью Hippodamia находятся в следующем состоянии: за отчетный период был получен ряд новых данных по наследственности и влиянию внешней среды. В результате скрещивания различных рас намечаются основные факторы, управляющие окраской элитр. Опыты с влиянием повышенной и пониженной температуры в различных стадиях насекомого дали возможность установить определенные закономерности. Особенно явственный результат был получен для нимфальной стадии.

Исследования *Ю. М. Вермеля* о значении функционального приспособления в онтогенезисе и филогенезисе сводились в последнее время к окончательной и детальной обработке экспериментального, анатомического и статистического материала, собранного в течение предыдущего академического года. При этом удалось установить много ясных и новых данных по влиянию функции на структуру и форму костей, суставов, мускулатуры и кожи. Часть полученных результатов доложена на семинарии акад. А. Н. Северцова в I МГУ под заглавием: «Исследования по механике развития и эволюции конечностей».

В настоящее время обрабатываются результаты опытов Ю. М. Вермеля над регенерацией сифонов у асцидий (из цикла Каммереровских работ). Сделанные им летом этого года на Мурмане проекционные рисунки с об'ектов опыта измеряются и подвергаются вариационно-статистической обработке.

Работы *М. С. Навашина* по значению хромозомного аппарата для наследственности и видообразования продолжаются им в Америке, где он находится в научной командировке, и в лаборатории Комакадемии лаборанткой *Е. Н. Герасимовой*. Последняя занималась микроскопической обработкой и исследованием материалов, собранных в течение лета 1928 г.

В *генетической* работе, субсидируемой Комакадемией и проводимой в лаборатории Московского зоотехнического института, принимали участие следующие лица: *Серебровский, А. С., Дубинин, Н. П., Агол, И. И. Левит, С. Г., Гептнер, М. А., Альтшулер, В. Е., Шапиро, Н. И., Гайсинович, А., Сидоров, Б. Н.* и др. Основной работой было попрежнему получение мутаций при помощи рентгеновских лучей у Orosophila Melanogaster и у мышей. Ввиду полученных в предыдущее полугодие замечательно интересных результатов при изучении четырех аллеломорфов гена scute, внимание было преимущественно направлено на получение дальнейших аллеломорфов, что и увенчалось успехом в виде получения двух новых аллеломорфов, $scute_5$ и $scute_6$, дающих возможность продвинуть дальше построение плана исследуемого гена и подтвердить сделанные теоретические предсказания о взаимоотношении генов в «лестнице аллеломорфов». Результаты, полученные этими исследованиями, доложены на всесоюзном генетическом с'езде в Ленинграде 10—16 января с. г. Дубининым, Аголом, Альтшулером и Серебровским и демонстрированы ряду генетиков, посетивших лабораторию, в том числе Goldschmidt'y и Baur'y; Дубининым и Аголом подготовлены к печати статьи для журналов «Журнал экспериментальной биологии» и «Biologisches Centralblatt».

Работа с мышами продолжается по прежней программе и в настоящее время подходит к стадии, в которой могут быть ожидаемы результаты (третье поколение). К сожалению, размножаемость самцов, подвергнутых рентгенизации, прерывается длительным периодом бесплодия, наступающим вслед за сеансом освещения, что, являясь, с одной стороны, указанием на наличие определенного действия Х-лучей, с другой стороны, замедляет получение результатов на 1½—2 месяца.

Общество биологов-материалистов

За время с 1 сентября 1928 года по 1 февраля 1929 года Общество биологов-материалистов имело пять общих собраний, на которых были заслушаны следующие доклады: доклад тов. *Некрасова, А. Д.*: «В поисках за яйцом млекопитающего» (Граф, Валиснери, Бюффон, Бэр); два доклада на совместном заседании с Обществом врачей-материалистов: тов. *Капланского:*—«Проблема синтеза белка в связи с новыми теориями его строения» и тов. *Верткина:*—«К вопросу о компенсаторных функциях клапанов сердца»; доклад тов. *Богоявленского, Н. В.*—«Данные гистологии в изучении факторов эволюции»; тов. *Румянцева, А. В.*—«Особенности роста тканевых культур»; тов. *Серебровского, А. С.*—«Опыт качественной характеристики эволюционного процесса».

На заседании президиума Общества были произведены выборы новых членов Общества—*Боссэ, Г. Г., Давыдова, В. Н., Крыжановского, С. Г., Лебедева, М. Н., Емельяновой, Н. А.* и *Ордынец*, а также обсуждался вопрос о формах содействия и поддержки Мурманской биологической станции.

В обществе врачей-материалистов научный сотрудник *С. Г. Левит* сделал доклад на тему: «О понятии болезни», напечатанный в № 1 «Естествознание и марксизм».

Кабинет истории естествознания

В области научной работы Кабинет продолжает работу по переводу и обработке классических сочинений по естествознанию и математике и лучших сочинений по истории этих наук. Переводится классическая книга Галилея—«Discorsi»; перевод редактируется сотрудником Академии т. *Выгодским*. Заканчивается перевод и редакционная обработка (проф. В. Ф. Каганом) первой части «Лекций по развитию математики» Клейна. Скоро будет закончен также перевод небольшой, но содержательной книжки Бурхардта по истории зоологии. Готов к печати перевод классической работы Дорна о происхождении позвоночных и принципе смены функций, в которой автор выступил с защитой дарвиновского эволюционизма против идеалистической теории постоянства типов (редакция и вводная статья проф. Шмальгаузена) и работа Фрица Мюллера «За Дарвина», являющаяся не только крупным этапом в борьбе за дарвинизм, но и крупнейшим произведением из числа положивших начало филогенетическому направлению в зоологии (редакция и вводная статья сотрудника Кабинета т. Ежикова). Обе эти небольшие книжки являются исключительно ярким примером идеологической борьбы в области биологии; вводные статьи к ним служат не только историческим введением, но и дают обзор современного состояния вопроса. К научной работе Кабинета привлечен проф. Н. З. Милькович; тема его работы—история геологии в связи с романтикой и натур-философией начала XIX века.

Из публичных выступлений сотрудников Кабинета можно отметить лекцию т. *Ежикова* по истории и методологии основного биогенетического закона—для слушателей Академии коммунистического воспитания и доклад т. *Райнова* в Комиссии по истории знаний Академии наук СССР о работе, долженствующей выйти в трудах Кабинета,—«О колебаниях творческой продуктивности в физике за время с 1771 г. по 1900 г.».

Работа по оборудованию Кабинета в настоящее время заключается преимущественно в библиографической и библиотечной работе. Продолжалась работа по составлению сводного карточного каталога на книги по истории естествознания, находящиеся в крупнейших библиотеках Москвы. Вслед за учетом книг по истории естествознания Кабинет приступил к учету источников—старых оригинальных работ, которые учитываются до 1880 г. включительно; эта работа закончена в библиотеке Политехнического музея и Общества любителей естествознания и теперь ведется в библиотеке I МГУ. Накопившиеся за прошлые месяцы карточки, в количестве около 4 500, приведены в форму сводного систематического каталога. В библиотеке Комакадемии также продолжается работа по подробному описанию книг из области истории естествознания, однако из-за недостатка валютных средств пополнение библиотеки нужными Кабинету книгами осуществляется слабо; при выписке книг из-за границы пришлось ограничиться немногими важнейшими сводками и совершенно отказаться от выписки даже самых нужных источников; из журналов выписываются немногие специально исторические и библиографические, а также справочные. В Москве и Ленинграде зав. кабинетом удалось приобрести ряд интересных книг, некоторые из которых имеют музейное значение.

В целях устройства музея, Кабинет вошел в переговоры с Историческим музеем и встретил полное содействие со стороны правления этого учреждения; является возможность использования Кабинетом интересующих его экспонатов из числа неразобранных еще и недемонстрируемых материалов Исторического музея.

Психо-неврологический раздел

В настоящее время сдан в печать один выпуск истории психиатрии, обнимающий собою эпохи Рима и Греции, эпохи феодализма Европы и России. Подготовляется также первый выпуск Истории психологии. Кроме того, закончен перевод книги Келлера «Об интеллекте человекоподобных обезьян».

Продолжалась экспериментальная работа на заводе Госзнак на тему «Влияние трудовых процессов на нервно-психический аппарат», причем было закончено обследование утомления.

Общество психоневрологов-материалистов

За истекший период состоялось четыре заседания, на которых были прочитаны доклады *Залкинда, А. Б.*—«Психоневрология в СССР»; *Выготского, Л. С.*—«Мышление и речь», *Сарабьянова*—«Психофизическая проблема» и *Сеппа, Е. К.*—«Локализационное направление в науке о поведении».

В настоящее время ведется организационная работа по подготовке с'езда, созываемого Обществом.

Журнал «Естествознание и марксизм»

По изданию этого журнала проделана большая работа. Многочисленное письма, получаемые Секцией из провинции, указывают на своевременность и необходимость этого издания. К участию в журнале привлечены все существующие при Секции общества. В настоящее время вышел из печати № 1 и приступлено к печатанию № 2, который выйдет в середине апреля.

Институт по изучению высшей нервной деятельности

В июне 1928 года одновременно с перестройкой и приспособлением для Института высшей нервной деятельности здания бывшего дворца в Покровском-Стрешневе начался ремонт старого помещения Института на Волхонке. Вследствие этого лаборатории Института, за исключением анатомо-гистологического отделения, временно оставшегося в старом своем помещении, были лишены территории и вынуждены были почти

прекратить свою работу. Тем не менее в течение истекшего периода в разным местах велась все же некоторая работа, которая сводится к следующему.

Научными сотрудниками *физиологического отделения*, для которого в Покровском-Стрешневе было приспособлено временное помещение для работы с обезьянами и оборудованы временная собачья камера и помещение для нервно-мышечной физиологии, была продолжена и углублена разработка тех вопросов, которые были начаты в предыдущем периоде: *Юрман, М. Н.*—закончила работу по вопросу о влиянии желез внутренней секреции (надпочечников) на состояние выработанных условных рефлексов. Ею же составлен обзорный доклад работ, вышедших из лаборатории Cremer'а, в связи с ее командировкой в Германию. *Башмаков*—занят проверкой опытов состояния двигательных рефлексов при перерезке спинного мозга, причем изменения мускулатуры записываются при помощи гальванеометра. *Чечулин, С. И.*—продолжает работы о влиянии желез внутренней секреции (щитовидного и паращитовидного аппарата) на условно-двигательные рефлексы с изучением современного положения данного вопроса. *Залманзон, А. Н.*—прорабатывает литературу по вопросу о действии стрихнина и др. ядов на кору головного мозга. *Петропавловский, В. П.*—занят подготовительными работами по вопросу о влиянии различных состояний спинного мозга на условно-двигательные рефлексы. *Шмидт, В. Ф.*—продолжает изучение влияния условных рефлексов на пищевой безусловный. *Попов, Н. Ф.*—занят собиранием литературы по вопросу о функциях мозжечка и установкой приспособлений уточнения выпадений данных функций в связи с удалением (частичным и полным) мозжечка у собак. *Михельсон, Н. И.*—продолжала работы о локализации угасительного торможения при разнородных условных рефлексах и о рефлекторной анурии при перерезке спинного мозга на различных уровнях. *Стариков, Г. С.*—работает с обезьянами и собакой по выработке условных световых рефлексов. *Розенцвейг, Б. М.*—изучает локализацию зрительного центра путем частичной экстирпации участков коры головного мозга.

Био-химическое отделение расположилось временно в одной из комнат в Покровском-Стрешневе. Им велась следующая работа: Выяснение химической структуры отдельных участков мозга на человеческом материале *(Серейский, Топштейн);* условия, способствующие повышению липоидного обмена в мозгу *(Серейский, Топштейн, Ганушкин)*. Получение сухого препарата мозгового вещества *(Рево* в био-химической лаборатории I МГУ). Выделение действующего начала абсента, вызывающего эпилептический припадок *(Рево)*.

Сотрудники отделения *экспериментальной патологии* работали в Институте общей патологии I МГУ и в медико-биологическом И-те: т. *Сиротинин* работал над 2-й частью темы:—«О существовании в сером бугре вазомоторных центров для почки», т. *Пикат*—работал по вопросу о липоидном обмене в связи с экстирпацией гипофиза и поражением серого бугра, т. *Перельман*—по вопросу о влиянии экстирпации печени на обмен веществ.

В *Анатомо-гистологическом отделении* велась следующая работа: закончена и приготовлена к печати работа *Г. И. Быховской*: «К вопросу о гомологии Sulcus Coronarius канидов с Sulcus Centralis приматов». Заканчивается большая работа тт. *Гуревичем, Быховской* и *Урановской*—«Сравнительная цитоархитектоника грызунов». Производятся микрофотографические снимки, составляются карты, проверяются границы полей с точки зрения сравнительной архитектоники. *И. Л. Робинзон* начата работа «К цитоархитектонике копытных».

Кроме того, значительно пополнен музей отделений.

СЕКЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Секция по изучению теории и практики международного женского движения ставит своей основной задачей изучение вопросов женского труда в свете современных условий экономического развития капиталистических стран и СССР. В план ее работы, далее, входит изучение вопроса об участии женщины в различных формах классовой борьбы, а также изучение правового положения женщины в различных странах. Наконец, особое внимание уделяется изучению положения женщины на Востоке.

Первоочередной задачей секции в текущем году явилось ее организационное оформление: привлечение научных сил, организация комиссий, разработка их планов и т.д. В результате организационной работы были созданы две комиссии: комиссия по изучению женского труда и библиографическая комиссия.

В центре внимания секции за последний период стояла работа комиссии по изучению женского труда, поставившая себе задачей «путем строго научных исследований способствовать выяснению вопросов о рациональном использовании женской рабочей силы в народном хозяйстве». Тов. Рязановой был выработан общий план научно-исследовательских работ этой комиссии, охвативший экономические вопросы (зарплата, безработица, рационализация и т. д.), вопросы охраны труда и матмлада и, наконец, вопросы организуемости работниц (профдвижение, кооперация). В дальнейшем, в соответствии с основными подразделами своей общей программы комиссия разбилась на три подкомиссии. Из них в первую очередь приступила к работе подкомиссия по изучению вопросов профзаболеваемости, охраны труда и подкомиссия материнства и младенчества, под руководством бюро в составе тт. *Л. С. Боголеповой* (директора Государственного института по изучению профвредностей), *С. И. Каплуна* (директора Гос. инст. охраны труда) и *В. П. Лебедева* (члена правления Гос. инст. охраны матмлада).

В план работы этой подкомиссии, в качестве актуальной проблемы, связанной с переходом некоторых предприятий на 7-часовой рабочий день, вошло изучение вопроса о влиянии ночного труда на женский организм.

Работа осуществляется членами подкомиссии, в состав которой вошли специалисты и общественные работники соответствующих научных институтов и организаций. Подкомиссией подготовляется доклад на тему «Женский труд и заболеваемость», который будет поставлен в ближайшее время в порядке доклада секционного характера. Кроме того, по вопросам труда на ближайший период намечена постановка еще двух докладов: «Капиталистическая рационализация и женский труд» (т. Людвиг) и «Женский труд и введение семичасового рабочего дня» (т. А. Рязанова).

Что касается истекшего периода, то секцией были проведены два доклада: вступительный доклад, прочитанный т. *К. Цеткин*,—«О целях и задачах секции по изучению теории и практики международного женского движения» и доклад т. *А. Рязановой* «Женский труд». Кроме того, совместно с секцией социологии Об-ва историков-марксистов был организован доклад т. *Менхена* «Взгляды Энгельса и Моргана на развитие семейных форм и новейшая этнология».

Одновременно с этой работой секцией предпринято издание библиографии журнальных статей по женскому вопросу на русском и иностранных языках, в связи с чем ведется работа по описанию и аннотированию этих статей.

Далее, в соответствии с намеченным на 1928/29 г. издательским планом секцией сдана в печать работа т. *Цеткин* «К истории женского рабочего движения в Германии» и подготовлена к печати работа т. *Александер* «Женские буржуазные организации на Западе».

Секцией ведется также работа по организации кабинета и архива газетных вырезок по женскому вопросу при библиотеке Комм. академии. Так, за последнее время под руководством секции библиотека Комм. академии значительно пополнила свою литературу по женскому вопросу.

УСТАВ ОБЩЕСТВА ВОИНСТВУЮЩИХ МАТЕРИАЛИСТОВ-ДИАЛЕКТИКОВ (ОВМД)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

§ 1. Общество считает своей основной задачей консолидацию и активизацию всех сил, ведущих теоретическую и практическую борьбу за марксизм против ревизионизма, против буржуазных теорий, против идеализма и поповщины в ее грубом или утонченном виде.

Ближайшей и основной областью деятельности Общества является собственно философия: положительная разработка философских проблем, борьба против всех видов идеализма и позитивизма, а также борьба против современной ревизии диалектического материализма в СССР и за границей.

Общество считает своей задачей также борьбу против извращения ортодоксального диалектического материализма в исторических, экономических, естественных и других науках.

Вся работа Общества ведется под знаком борьбы за культурную революцию, за атеизм, за последовательно-материалистическое мировоззрение, за коммунизм.

§ 2. Работа Общества ведется в следующих направлениях:

Внутри Общества:

а) Положительная разработка актуальных, боевых вопросов марксистской философии.

б) Обсуждение новейших выступлений представителей антимарксистских течений в СССР и за границей.

в) Разработка проблем исторического материализма.

г) Обсуждение методологических проблем естествознания.

Вне Общества:

а) Борьба с идеализмом в философии и в естественных науках во всех его проявлениях.

б) Борьба с извращением и упрощением диалектического материализма.

в) Активная пропаганда и популяризация диалектического материализма.

§ 3. Для осуществления указанных выше задач Общество имеет право:

а) Устраивать закрытые и открытые собрания для заслушивания и обсуждения докладов членов Общества.

б) Устраивать публичные лекции и диспуты с участием членов Общества и приглашенных лиц.

в) Издавать и распространять популярную философскую литературу.

г) Организовывать библиотеки.

д) Учреждать музеи по своей специальности.

е) С разрешения соответствующих органов Народного комиссариата по просвещению учреждать курсы по вопросам свой специальности.

ж) С разрешения Народного комиссариата внутренних дел созывать с'езды и конференции по вопросам своей специальности.

§ 4. С момента регистрации Общества в Народном комиссариате внутренних дел Обществу предоставляется право приобретать необходимое для осуществления его задач, определенных § 2 настоящего Устава, имущество, владеть таковым на основании действующих законов, заключать всякого рода договоры и сделки, отвечающие § 2 Устава, искать и отвечать на суде.

§ 5. Район деятельности Общества определяется территорией РСФСР. Правление Общества находится в г. Москве.

§ 6. Общество имеет печать с надписью: «Общество воинствующих материалистов-диалектиков (ОВМД)».

II. СОСТАВ ОБЩЕСТВА

§ 7. Общество состоит из членов действительных и сотрудников.

§ 8. Действительными членами Общества могут быть лица, действительно стоящие на точке зрения диалектического материализма, взгляды которых проверены на практике (в устных или печатных выступлениях).

Примечание. За исключением лиц, лишенных по суду права занятия выборных должностей в общественных организациях (п. «б» ст. 31 У. К. РСФСР) в течение срока, установленного судом.

§ 9. Первыми действительными членами являются нижеследующие члены-учредители Общества:

1. Гессен, Борис Михайлович.
2. Губанов, Николай Иванович.
3. Деборин, Абрам Моисеевич.
4. Карев, Николай Афанасьевич.
5. Левит, Соломон Григорьевич.
6. Маньковский, Лев Александрович.
7. Митин, Марк Борисович.
8. Невский, Владимир Иванович.
9. Подволоцкий, Иван Петрович.
10. Разумовский, Исаак Петрович.
11. Стэн, Ян Эрнестович.
12. Тащилин, Иван Григорьевич.
13. Фридлянд, Григорий Самойлович.

§ 10. Лица, вступающие в действительные члены Общества, подают в правление отделения Общества заявление и представляют рекомендации двух членов Общества.

§ 11. Правление отделения Общества, согласно представленным материалам, предварительно обсуждает вопрос о возможности принятия отдельных лиц в действительные члены Общества и выносит свое решение на утверждение общего собрания отделения. Утверждение действительных членов производится на общих собраниях отделения открытым голосованием, простым большинством голосов.

§ 12. Членами-сотрудниками Общества могут быть лица, отвечающие всем требованиям § 8 Устава, но взгляды которых еще недостаточно проверены на практике (публичные, печатные или устные выступления).

§ 13. Члены-сотрудники утверждаются правлением отделения Общества. На собраниях Общества члены-сотрудники пользуются правом совещательного голоса и не могут быть избираемы в исполнительные и ревизионные органы Общества.

Примечание. Утверждение перевода членов-сотрудников в действительные члены производится общим собранием в порядке, установленном для приема в члены (§ 11).

§ 14. Члены Общества уплачивают вступительный и ежегодные членские взносы в размерах и в сроки, установленные с'ездом Общества или распорядительными собраниями отделений, если это право предоставлено отделениям С'ездом.

§ 15. Правлению Общества или правлениям отделений Общества предоставляется право освобождать от уплаты членских взносов членов, не могущих внести таковых или являющихся активными работниками в Обществе. В остальных случаях за неуплату установленных членских взносов в определенные сроки отдельные члены считаются выбывшими из состава Общества.

§ 16. Действительные члены Общества пользуются следующими правами:

а) правом решающего голоса на всех собраниях и с'ездах Общества;

б) правом избирать и быть выбранным в исполнительные и ревизионные органы общества;

в) правом пользования на льготных условиях библиотеками, музеями и прочими учреждениями Общества;

г) правом публичного выступления с разрешения правления от имени Общества.

§ 17. Выбытие из числа членов Общества может иметь место либо по личному заявлению выбывающего, либо за неуплату установленных членских взносов, либо по постановлению $^2/_3$ наличного состава членов данного отделения по спискам, причем исключение в последнем случае может иметь место лишь при наличии со стороны исключаемого или несоответствий с требованиями, пред'являемыми членам настоящим Уставом, или порочащих Общество поступков, или уголовно-преследуемого деяния.

§ 18. Выбывшие по личному желанию могут быть приняты вновь на общих основаниях. Выбывшие за неуплату членских взносов могут быть зачислены вновь по уплате таковых.

III. СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА

§ 19. Средства Общества воинствующих материалистов-диалектиков (ОВМД) составляются из:

а) вступительных и ежегодных членских взносов;

б) субсидий правительственных учреждений и общественных организаций;

в) доходов от принадлежащего Обществу имущества;

г) доходов от всей деятельности, предусмотренной § 3 настоящего Устава.

IV. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА И ЕГО УПРАВЛЕНИЕ

§ 20. Высшим руководящим органом Общества является Всероссийский с'езд Общества.

§ 21. Для управления делами Общества, выполнения решений с'ездов избирается на с'езде правление Общества.

§ 22. Организациями Общества на местах являются филиальные отделения, утверждаемые правлением Общества.

Правление Общества

§ 23. Правление Общества избирается Всероссийским с'ездом Общества в количестве 13 человек на период между двумя очередными с'ездами. Для текущей работы правление выбирает из своей среды председателя правления, его заместителей, секретаря и казначея.

Примечание. Впредь до созыва первого Всероссийского с'езда общим собранием первых действительных членов Общества избирается временное правление Общества, которому присвоиваются все права и обязанности правления Общества.

§ 24. Перевыборы членов правления могут быть произведены и до истечения срока полномочий путем созыва чрезвычайного с'езда.

§ 25. В круг ведения правления входят:

а) руководство текущей, научно-исследовательской и редакционно-издательской деятельностью Общества и отделений;

б) заведывание административно-хозяйственной и финансовой деятельностью Общества;

в) сношение от имени Общества со всеми учреждениями, организациями и частными лицами;

г) совершение от имени Общества всяких актов, договоров и обязательств, предусмотренных §§ 3 и 4 настоящего Устава;

д) созыв с'ездов Общества, подготовка к ним докладов, отчетов и проч.;

е) издание правил, инструкций и положений по всем видам деятельности Общества;

ж) прием и увольнение рабочих и служащих и

з) ведение делопроизводства, счетоводства и отчетности.

§ 26. Правление представляет Общество без особой на то доверенности во всех делах и обязательствах Общества, а также в сношениях со всеми учреждениями, организациями и частными лицами.

§ 27. Вся переписка по делам Общества, а также и различного рода обязательства, векселя, чеки и т. п. денежные документы, а равно и доверенности, подписываются председателем правления или его заместителем и скрепляются секретарем или казначеем.

§ 28. Правление должно созываться не реже, чем один раз в месяц.

§ 29. О составе избранного правления и всех происходящих в нем изменениях правление обязано ставить в известность Народный комиссариат внутренних дел.

§ 30. Ежегодно правление Общества обязано представлять отчет о своей деятельности в Народный комиссариат внутренних дел.

Ревизионная комиссия

§ 31. Ревизионная комиссия Общества избирается Всероссийским с'ездом на период между двумя очередными с'ездами в количестве не менее 3 лиц из числа не входящих в состав исполнительного органа Общества.

Примечание. Впредь до созыва I Всероссийского с'езда ревизионная комиссия избирается общим собранием первых действительных членов.

§ 32. Ревизионная комиссия проверяет административно-хозяйственную деятельность Общества, денежный отчет и дает свое заключение по существу правильности хранения и расходования средств.

Отделения Общества

§ 33. Местные филиальные отделения Общества организуются по постановлению правления на основании заявления местной инициативной группы из лиц, отвечающих требованию § 8 Устава, в количестве не менее 7 человек.

§ 34. Отделения на местах действуют на основании настоящего устава и регистрируются явочным порядком в соответствующих административных органах, отвечающих масштабу деятельности отделения.

§ 35. Отделения работают под руководством правления Общества и подчиняются таковому.

§ 36. Для постоянного руководства работой отделения распорядительным общим собранием членов данного отделения избирается правление местного отделения сроком на один год, в количестве не менее 3 человек.

Примечание. В Москве все права и обязанности Московского отделения возлагаются на правление Общества.

§ 37. Отделения Общества должны представлять правлению Общества приходно-расходные сметы, протоколы общих собраний и ежегодные отчеты о своей деятельности с заключением ревизионной комиссии.

§ 38. Все поступления и членские взносы расходуются отделением в пределах сметы, утвержденной правлением.

§ 39. Отделения имеют право, с разрешения правления Общества, иметь свою печать, присвоенную Обществу § 6, с добавлением наименования отделения.

§ 40. Для проверки деятельности отделения Общества и правильности расходования средств отделения распорядительным общим собранием отделения избирается ревизионная комиссия в составе 3 человек, сроком на один год.

Группы содействия Обществу.

§ 41. При отделениях Общества, по инициативе самих отделений или же по инициативе общественных, профессиональных и других организаций, могут быть образованы группы содействия Обществу.

§ 42. Участниками групп содействия могут считаться лица, разделяющие общие принципы Общества воинствующих материалистов-диалектиков и желающие подготовить себя теоретически и практически для вступления в Общество.

§ 43. Группы содействия работают всецело под руководством правлений местных отделений.

V. С'ЕЗДЫ ОБЩЕСТВА И ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ОТДЕЛЕНИЙ

§ 44. Всероссийский с'езд созывается не реже одного раза в 3 года.

§ 45. Всероссийский с'езд Общества созывается правлением Общества с обязательного предварительного разрешения Народного комиссариата внутренних дел.

§ 46. Место с'езда, срок созыва с'езда определяются правлением Общества. С'езд созывается повестками и об'явлениями в печати. С'езд считается состоявшимся при наличии определенного кворума, установленного правлением Общества, о чем сообщается в повестках о с'езде.

§ 47. Всероссийский с'езд имеет целью:

а) рассмотрение отчетов о деятельности Общества и докладов ревизионной комиссии;
б) утверждение сметы расходов, плана работ;
в) утверждение положений и инструкций правлению и ревизионной комиссии;
г) выборы правления и ревизионной комиссии;
д) изменение и дополнение устава Общества;
е) определение размера членских взносов;
ж) разрешение вопроса о закрытии Общества;
з) заслушивание докладов по своей специальности.

§ 48. Все решения с'езда проводятся открытым голосованием и принимаются простым большинством голосов, за исключением постановлений об изменении и дополнении устава и о закрытии Общества, для решения которых требуется не менее $^2/_3$ голосов присутствующих. В случае равенства голосов вопросы считаются отклоненными.

§ 49. По требованию ревизионной комиссии или по заявлению $^1/_4$ членов Общества непосредственно или через отделения, может быть созван внеочередной с'езд, причем правление Общества должно созвать его в 3-месячный срок.

Собрание отделений

§ 50. Собрания отделений Общества бывают очередные и распорядительные.

§ 51. Очередные собрания отделений Общества, созываемые для заслушивания и обсуждения научных докладов и вопросов, связанные с текущей деятельностью отделений Общества, являются открытыми.

§ 52. Распорядительные общие собрания созываются не реже одного раза в год.

§ 53. Распорядительные общие собрания отделений созываются как по постановлению правления отделения, так и по требованию ревизионной комиссии или по заявлению не менее $^2/_3$ членов данного отделения.

§ 54. Ведению распорядительных общих собраний отделения подлежат:

а) рассмотрение и утверждение отчета правления отделения и ревизионной комиссии;
б) утверждение плана работ и приходо-расходной сметы отделения;
в) установление размера членских взносов, если это разрешено с'ездом;
г) выборы правления отделения и ревизионной комиссии;
д) утверждение членов и исключение членов данного отделения;
е) обсуждение вопросов о закрытии данного отделения;
ж) обсуждение вопроса об изменении и дополнении устава Общества;
з) обсуждение вопроса о ликвидации Общества;
и) научные доклады по своей специальности.

§ 55. Все вопросы в общем распорядительном собрании отделения решаются открытым голосованием и принимаются простым большинством голосов, за исключением вопросов, указанных в п. п. «ж», «и», «з» § 54, для решения которых требуется обязательное большинство $^2/_3$ голосов присутствующих на собрании и утверждение с'езда Общества, по пункту же «е» § 54 требуется решение $^1/_3$ и утверждение правлением Общества.

VI. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

§ 56. Общество воинствующих материалистов-диалектиков может быть закрываемо как по постановлению с'езда Общества, так и по распоряжению Народного комиссариата внутренних дел.

§ 57. В случае ликвидации Общества, все оставшееся имущество и средства после его ликвидации передаются государственным учреждениям или общественным организациям по указанию Народного комиссариата внутренних дел.

Об'единение зарегистрировано в Народном комиссариате внутренних дел РСФСР и занесено в регистр за № 22.

31 декабря 1928 г.

Нач. отд. адм. надзора (подпись).

ОТ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ВОИНСТВУЮЩИХ МАТЕРИАЛИСТОВ-ДИАЛЕКТИКОВ

Ко всем товарищам, занимающимся изучением, разработкой, пропагандой марксизма.

Дорогие товарищи!

Уже давно назрела необходимость создания боевого, централизованного, идейно-монолитного широкого об'единения марксистских сил, ставящего своей задачей разработку, пропаганду и защиту диалектического материализма.

В современных условиях борьба за марксизм необычайно усложняется. Обострение классовой борьбы в стране, попытки наступления на социализм со стороны враждебных ему элементов выражаются в различных формах, в частности, в форме обострения идеологической борьбы против господствующей теории пролетариата—диалектического материализма, марксизма, ленинизма.

Мелкобуржуазная, кулацкая, неонароднические идеология, индивидуалистические, суб'ективистские настроения городского мещанства и интеллигенции, вульгарный практицизм, позитивизм и пренебрежение к теории, религиозная проповедь и возрождение сектантства—все это является ярким показателем того, что обострение классовой борьбы в экономике и политике немедленно «отдается» в надстройках и обостряет борьбу на идеологическом фронте.

Выстраивающемуся против нас идеологическому фронту, всем открыто-антимарксистским, ревизионистским выступлениям—мы должны противопоставить *сплоченный, боевой, воинствующий марксистско-ленинский фронт*.

Всяким шатаниям в области теории, всяким ревизионистским поползновениям, в каких бы утонченных формах они ни проявлялись, всяким откровенно-антимарксистским выступлениям «дипломированных лакеев поповщины», всем тем, кто в разных областях науки выполняет «социальный заказ» кулака, работает на потребу нэпмана, антисоветского буржуазного спеца, обывателя, мещанина, нужно дать отпор с точки зрения боевой, подлинно-научной теории марксизма.

В области философии марксизма, наряду с известным оживлением в открыто идеалистическом или полуидеалистическом лагере, мы имеем теперь значительное ревизионистское течение, словесно прикрывающееся знаменем «защиты диалектического материализма», а на деле по всей линии отвергающее его.

Этот своеобразный современный «бунт на коленях» против диалектического материализма характеризуется: невиданным упрощением и вульгаризацией марксизма, уступками кантианству, позитивизму и эклектике, приближением к социал-демократическому этическому социализму, механистическим извращением материалистической диалектики, обвинениями по адресу творцов и классиков марксизма в идеализме и гилозоизме, стремлением соединить Маркса с Фрейдом и т. д. и т. п.

В связи с таким положением дел, особое значение получает организация Об-ва воинствующих материалистов-диалектиков. Это О-во образовалось от слияния двух Об-в: 1) «О-ва воинствующих материалистов» и 2) «О-ва материалистических друзей Гегелевской диалектики».

Об-во воинствующих материалистов-диалектиков заявляет, что целью своей деятельности оно считает выполнение тех задач, которые были намечены В. И. Лениным в его статье «О значении воинствующего материализма».

О-во ставит своей задачей об'единение всех сил, которые ведут теоретическую и практическую борьбу за марксизм против ревизионизма, против всяких буржуазных теорий, против идеализма и поповщины в ее грубом или утонченном виде.

О-во ставит своей задачей стать боевой организацией в области теории, в области борьбы с религией, за атеизм, за последовательно-материалистическое миросозерцание.

Ближайшая задача Об-ва состоит сейчас в том, чтобы расширить влияние марксизма в рабочих и партийных массах, подготовить в районах, на крупных предприятиях, в вузах и т. д. кадры активных борцов за диалектический материализм. Общий культурный и политический рост масс, массовое распространение марксистских знаний, общее усиление активности и энергии пролетариата являются основанием для развертывания этой работы.

Перед лицом тех, кто третирует изучение материалистической диалектики как схоластику, а диалектику рассматривает как второстепенную, несущественную часть марксистского мировоззрения; перед лицом тех, кто возрождает преодоленное Марксом, Энгельсом и Лениным механическое миропонимание, цепляясь за механистические предрассудки современной науки, вопреки диалектическому характеру достижений естествознания; перед лицом тех, кто отрицает значение и роль философии марксизма как мировоззрения и метода для всех областей знания, О-во воинствующих материалистов-диалектиков заявляет, что *основное* внимание на ближайший период времени оно обратит на борьбу за *материалистическую диалектику* против отвергающего его ревизионизма.

ОВМД ставит своей задачей осуществлять союз с естествознанием, привлекать к совместной борьбе тех его представителей, которые склоняются к материализму, не боятся его публично и открыто защищать, не боятся совместно с нами выступать в борьбе против реакции, витализма и всяких других видов мракобесия.

Не нужно однако забывать, что такой союз марксизма с естествознанием будет плодотворен, сможет действительно помогать естествознанию переходить на новые методологические рельсы лишь только в том случае, если он будет находиться под *идейной гегемонией* марксизма, диалектического материализма.

Подлинное преодоление витализма и идеализма в современных условиях возможно не на основе механистического мировоззрения, а только на основе диалектического материализма.

Осуществляя союз с механистом-естественником в борьбе с витализмом, мы не можем и не должны отказываться от критики его с точки зрения последовательного диалектического материализма.

Наконец, ОВМД ставит своей задачей стать *обществом воинствующего атеизма*. Выполняя прямой завет Ленина, старое общество воинствующих материалистов переводило и издавало боевую, атеистическую литературу 18 столетия. Вновь об'единенное О-во должно всемерно эту работу продолжать, дополняя ее современной боевой атеистической литературой, организуя всяческую борьбу против религиозного мракобесия, поповщины во всех ее видах и проявлениях.

Правление ОВМД призывает всех товарищей, занимающихся изучением, разработкой, пропагандой марксизма, разделяющих устав О-ва, это обращение и стоящие перед Обществом задачи, объединяться на местах в отделения ОВМД и организовывать группы содействия О-ву, предварительно связавшись с правлением О-ва для получения необходимых указаний и утверждения.

В ближайшее время предполагается созыв Всесоюзного совещания отделений и групп содействия ОВМД для оформления организации О-ва. Правление просит присылать все корреспонденции и материалы, связанные с работой ОВМД и предстоящим совещанием по следующему адресу: Москва, Остоженка, 53—Институт красной профессуры, Правлению Об-ва воинствующих материалистов-диалектиков.

Правление ОВМД.

Редакционная коллегия:

Бухарин, Н. И., Дволайцкий, Ш. М., Деборин, А. М., Крицман, Л. Н., Луначарский, А. В., Лукин, Н. М., Милютин, В. П., Пашуканис, Е. Б., Покровский, М. Н., Шмидт, О. Ю.

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ

Стр.

Подволоцкий, И. Ленинский конспект «Науки Логики» и проблемы материалистической диалектики 111

Лейкин, Э. Экономические взгляды Чернышевского 1

Переверзев, В. Теоретические предпосылки Писаревской критики 35

Гуревич, М. О биологической концепции психопатий 47

ТРИБУНА

Казанский, Б. Творческая критика или творчество критики 55

Лебедев, В. О некоторых вопросах теории исторического материализма и толковании их тов. Разумовским 88

Разумовский, И. В дебрях механистической критики 104

СТЕНОГРАММЫ ДОКЛАДОВ, ЧИТАЕМЫХ В КОММ. АКАДЕМИИ

Диманштейн, С. Проблемы национальной культуры и культурного строительства в национальных республиках 113

Фурщик, М. «Марксизм» Каутского 144

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Арутюнянц, А.—И. Я. Вайнштейн. Гегель, Маркс и Ленин 172

Чичикалов, А.—А. Тальгеймер. Введение в диалектический материализм 179

Михайлов, А.—Труды Института археологии и искусствознания РАНИОН . . . 185

ХРОНИКА

Ленин и искусство.
(Вступительное слово *В. М. Фриче*. Доклады *А. Михайлова, И. Нусинова, А. Сидорова, А. Бакушинского* и *А. Аршаруни*) 192

На Женевской дипломатической конференции по экономической статистике (Доклад *М. Н. Смит*) 223

Деятельность Коммунистической академии
1. Доклады 229
2. В президиуме и секциях 238

Устав Общества воинствующих материалистов-диалектиков (ОВМД).

ИЗДАТЕЛЬСТВО

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

Москва 19, Волхонка, 14. Тел. 5-71-38 и 3-59-48.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ НА 1929 ГОД

НА ДВУХМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

„Вестник Коммунистической академии“

6-й год издания

(Выходит раз в 2 месяца книгами размером в 18 печатных листов)

Научно-исследовательский журнал, выходящий под редакцией тт.: **Бухарина, Н. И., Дволайцкого, Ш. М., Деборина, А. М., Крицмана, Л. Н., Лукина, Н. М., Милютина, В. П., Пашуканиса, Е. Б., Покровского, М. Н., Шмидта, О. Ю.**

Журнал ставит своей задачей разработку вопросов методологии и исследования отдельных проблем в области общественных и точных наук в свете марксизма. Являясь органом Коммунистической академии, журнал отражает на своих страницах ее работу, как научно-исследовательского коллектива.

Помимо статей и исследований, в приложениях к журналу даются систематические библиографические указатели по различным вопросам.

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

Адоратский, В., Аксельрод, Л. (Ортодокс), Асмус, В., Базаров, В., Баммель, Г., Блюмин, И., Бронский, М., Бухарин, Н., Вайнштейн, И., Варьяш, А., Вейц, В., Волгин, В., Горев, Б., Дволайцкий, Ш., Деборин, А., Дубровский, С., Ерманский, О., Залманзон, А., Карев, Н., Кон, А., Кривцов, С., Крицман, Л., Кузовков, Д., Ларин, М., Левит, С., Леонтьев, А., Литвинов, И., Лозовский, С., Лукин, М., Луначарский, А., Луппол, И., Меерсон, Г., Мендельсон, А., Мещеряков, Н., Милонов, К., Милютин, В., Михалевский, Ф., Моносов, С., Мотылев, В., Нахимсон, М. (Спектатор), Никольский, В., Осинский, Н., Пашуканис, Е., Переверзев, В., Позняков, В., Покровский, М., Разумовский, И., Ронин, С., Ротштейн, Ф., Рудаш, Л., Рязанов, Д., Серебровский, А., Смит, М., Стеклов, Ю., Стучка, П., Тальгеймер, А., Телемкников, Ф., Тимирязев, А., Удальцов, А., Фриче, В., Фогараши, А., Харазов, Г., Хмельницкая Е., Цейтлин, З., Цеткин, К., Шмидт, О. и др.

Адрес редакции: Москва 19, Волхонка, 14, тел. 3-64-63.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

на 1 год (с 1/I по 31/XII)—14 р.; на полгода (с 1/I по 1/VII и с 1/VII по 31/XII)—7 р. 50 к.

Для годовых подписчиков допускается рассрочка: при подписке—6 р., остальная сумма равными частями: 1/III—4 руб. и 1/VI—4 руб.

В случае неуплаты в срок делается наложенный платеж при посылке очередных номеров журнала.

Подписка и продажа производится также в Ленинграде в отделении Изд-ва «Московский рабочий» и на Украине во всех отделениях Изд-ва «Пролетарий».

Подробные проспекты на журнал «Вестник Коммунистической академии» высылаются по первому требованию бесплатно.